И. Ильф

Е. Петров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

И. Ильф

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1923—1929)

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ (1925—1937)

Е. Петров

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1924—1932)

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ (1937—1942)

ОСТРОВ МИРА

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (1941—1942)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Под редакцией

А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, В. П. КАТАЕВА, К. М. СИМОНОВА

Составление, подготовка текста, примечания

Л. М. ЯНОВСКОЙ

И. ИЛЬФ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

(1923—1929)

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

(1925—1937)

Рисунки художников

Е. ВЕДЕРНИКОВА, А. ЕЛИСЕЕВА,
В. КОЗЛИНСКОГО, И. ОФФЕНГЕНДЕНА,
А. РАДАКОВА, К. РОТОВА, М. СКОБЕЛЕВА,
Г. СУНДЫРЕВА

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ
(1923—1929)

МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 7 НОЯБРЯ

В час дня

По Тверской летят грузовики, набитые розовыми детскими мордочками.

— У-р-р-а!

Мордочки и бумажные флажки улетают к Красной площади. Дети празднуют Октябрь. За ними, фыркая и пуская тоненький дым, грохочет зеленый паровоз М.-Б.-Б ж. д.

Прошли железнодорожники — идут школы. Школы прошли — опять надвигаются рабочие.

— Долой фашистов!

Через Страстную площадь проходят тысячи и десятки тысяч.

Тысячи красных бантов.

Тысячи красных сердец.

Тысячи красных женских платочков.

Манифестации, растянувшиеся по Страстному бульвару, терпеливо ждут своей очереди.

Десять часов. Одиннадцать. Двенадцать.

Но от Ходынки, от Триумфальных ворот все валит и валит. Вся Москва пошла по Тверской. Так зимой идет снег, не перерываясь, не переставая.

И в ожидании колонны рабочих на бульваре развлекаются чем могут.

Усердно и деловито, раскрывая рты, как ящики, весело подмигивая, поют молодые трактористы, ста-

рые агрономы, китайцы из Восточного университета и застрявшие прохожие. Поют все.

Вздувайте горны, куйте смело...

Кончив петь, становятся в кружок и весело, молодые всегда веселы, громко на весь мир кричат:

— Да здрав-ству-ет гер-ман-ска-я ре-во-лю-ци-я!

Смотрят на итальянцев, стоящих поближе к Петровке, смотрят на их знамя, читают надпись:

— А морте ла боргезиа мондиале!

— Буржуазия! — догадывается тракторист.

— А мондиале, что такое?

Итальянец в мягкой шляпе улыбается, все его тридцать два зуба вылезают на улицу, и он говорит:

— А морте! — и трясет кулаком.

— А морте — смерть! Ла боргезиа мондиале — мировая буржуазия! Смерть мировой буржуазии! А морте ла боргезиа мондиале!

Итальянец радостно хохочет и снова подымает кулак. Кулак большой.

— Фунтов пять в кулаке-то, а?

Трактористы хохочут.

А по Тверской все идут.

Мы, молодая гвардия...
Это есть наш последний...

Остальное теряется в ударах барабана. Это, поворачивая с Петровки на бульвар, возвращается с парада конница.

Колеблются и наклоняются пики. На пиках трепещут и взволнованно бьются красные и синие, треугольные флажки.

По три в ряд, всадники проходят мимо жадных глаз.

— Первая конная!

— Да здравствует Первая конная!

— Качать!

Десяток рук подымается и протягивается к первому кавалеристу.

— Не надо, товарищи! Товарищи, неудобно ведь! Нас там позади много. Задержка будет!

Но он уже схвачен. Его стаскивают с седла. Он уже не отбивается. Он счастливо улыбается, неловко переворачивается в воздухе и кричит:

— Лошадь, придержите лошадь!

Опять взлет, еще раз, еще раз.

Кавалерист радостно что-то кричит, качающие тоже страшно довольны. Наконец кавалериста отпускают. Еще не отдышавшись, он торопливо садится на лошадь и, уже отъезжая, кричит:

— Спасибо, товарищи!

Конница топочет и быстро скачет под дружеские крики.

— Ура, красная конница! — кричат в толпе.

— Ура, рабочие! — несется с высоты седел.

— Качать! — решает толпа.

И, придерживая сабли, кавалеристы снова летят вверх.

Их окружают, им не дают дороги.

— Возьми, братишка!

Дают папиросы — все что есть.

Работа кипит. Покачали, дали папиросы, дальше.

И, слегка ошеломленные этим неожиданным нападением, кавалеристы козыряют и исчезают.

Конная артиллерия проносится на рысях. Пушки подпрыгивают и гремят на каменной мостовой. Ее тяжелый бег ничем не удержать.

Но солдата с флажком, замыкающего отряд, все-таки качают. Напоследок качают особенно энергично. Бедняга летит, как пуля.

Между тем дорога освобождается.

— На места! На ме-ста!

Кавалерист догоняет свой отряд, колонны строятся, оркестры бьют:

Ни бог, ни царь и ни герой...

Колонны идут на Красную площадь, чтобы в шестую годовщину Октября повторить в тысячный раз:

— Дело, начатое в октябре семнадцатого года, будет продолжено, и мы его продолжим.

1923

РЫБОЛОВ СТЕКЛЯННОГО БАТАЛЬОНА

— Посмотрел я на эту рыбу...

Человеку, который это говорил, было тридцать лет. А мы валялись по углам вагона и старались не слушать.

— После рыбы хорошо пить чай,— продолжал голос.

Мы, это — первый взвод батальона. Никому не было известно, какого полка мы батальон. Числом мы тоже подходили: всего шестьдесят человек. Но нас называли батальоном.

— Стеклянный батальон! — сказал комендант Гранитной станции, когда нас увидел.

— Рвань! — добавил комендант.— Я думал, хороших ребят пришлют, а они все в очках!

Мы остались на охране Гранитной. Потом комендант переменил свое мнение, но кличка пошла в ход, и мы так и остались стеклянным батальоном.

— Посмотрел я на эту рыбу...

Никто даже не шевельнулся. От пылающего асфальтового перрона, шатаясь, брел ветер. Горячий воздух сыпался как песок.

Это был девятнадцатый год.

Я поднялся и вышел. Лебедь пошел за мной. Это он рассказывал про рыбу. Он всегда говорил о ней. Далась ему эта рыба.

Я пошел на станцию. Лебедь двинулся в противоположную сторону, и я знал, куда он идет.

Было очень скучно и очень жарко. Охрана станции — дело простое, а газеты не приходили уже вторую неделю.

Разгоряченный асфальт обжигал подошвы, с неба, треща и все разрушая, сыпалась жара.

У стенки, в тени, где стоял накрытый гимнастеркой пулемет, я обернулся. Лебедь уже был далеко. Виднелась только его плывущая в пшенице голова.

— Куда пошел? — закричал я.

Голова обернулась, что-то прокричала и унеслась дальше. Впрочем, я знал, куда пошел Лебедь.

Ему было идти версты полторы. До пруда. Там он удил рыбу, о которой говорил.

— Все к ней ходит? — спросил пулеметчик, зевая.

— Ходит,— сказал я.— А что слышно?

— Да ничего. Мохна, говорят, у Татарки стоит. Врут. Чего ему сюда идти? Не его район! А насчет рыбы Лебедь, конечно, запарился. Мне стрелочник говорил. Никогда ее там и не водилось.

Я ушел.

История рыбы такая. Видел ее в этом пруду один только Лебедь.

— Длинная и толстая. Вроде щуки.

Смеялись над ним сильно. Ну, откуда же в пересохшей луже рыба? Дела нет, скучно — и пошел смех, один раз вечером даже спектакль об этом устроили.

Первый акт. Сидит Лебедь и свою любовь к рыбе доказывает. Второй акт. Рыба свою любовь к Лебедю доказывает. Третий акт. Показывают ребенка грудного, который от этих доказательств произошел.

Совсем неостроумно. Ребенка у сторожихи одалживали. Очень скучно уж было и жарко.

Однако Лебедя этим довели до каления. Сидит и только об одном:

— Посмотрел я на эту рыбу.

Просто бред. Поклялся Лебедь, что эту рыбу поймает и все докажет.

Если человек захочет, то все сможет. Из всякой дряни Лебедь сколотил себе удочку и днями сидел над своей помойницей-лужей.



Комендант и рыболовом его называл и вообще крыл — не помогало. Дежурство кончит, о рыбке поговорит и сейчас же к ней на свидание. Удочку несет и винтовку. Без винтовки нам отходить от станции не позволяли.

Солнце в беспамятстве катилось к закату. Телеграфные провода выли и свистели. Швыряя белый дым, вылез из-за поворота паровоз и снова ушел за поворот. В пшенице кричала и плакала мелкая птичья сволочь. Солнце сжималось, становилось все меньше и безостановочно падало. Луна пожелтела, и поднялся ветер.

Батальон вылез из темных углов, где прятался от жары. Семафор проснулся и открыл зеленый глаз.

Пришел долгожданный вечер. Лебедя все не было. Черные тени уцепились за станционные постройки и попадали на рельсы.

— Не рыбу он видел, а русалку! Сам же он говорил, что только хвост видел! Разве человек из-за рыбы станет, как головешка? Рыба, рыба... У ней только хвост рыбий.

Комендант вышел из телеграфа, засовывая в карманы узенькие ленточки телеграмм, и сейчас же пошел переполох. То, что казалось выдумкой днем, вечером сделалось правдой. В Татарке сидели банды.

Фонари шипя погасли. Гранитную захлопнуло темнотой. Первый взвод нахмурился и забросил за спину винтовки.

Первый взвод, мой взвод и взвод Лебедя, выступал в сторожевое охранение на версту в сторону Татарки.

— Где Лебедь? — кричал комендант.— Ну, я этому рыболову покажу! Никогда его на месте...

Комендант не кончил. Со стороны пруда грохнул и покатился выстрел. Потом еще два. Остальное сделалось вмиг.

Первый взвод никуда не пошел. Идти было уже некуда: шли к нам.

Пулемет затарахтел по перрону и пошел в бок. Я посмотрел в лицо залегшего со мной рядом. Оно было желтое от света желтой луны. И сейчас же ударил пулемет. Внезапная атака махновцам не удалась. Гранитная уже была предупреждена выстрелами с пруда.

Тишина пропала. Все наполнилось звоном, грохотом и гулом. В черное лакированное небо полетели белые, розовые и зеленые ракеты. Из цепи брызгали залпами. Луна носилась по небу, как собака на цепи. Тишина пропала. Атака пропала. Они не дошли даже на триста шагов. Вслед резал пулемет. Вслед в спину нагоняли пули. Атака была отбита.

Атака была отбита, но на другой день мы хоронили Лебедя.

— Я, товарищи, плохо такие речи говорю,— сказал комендант.— Что говорить? Не сиди он там у пруда вчера — еще неизвестно, что было бы! Может, их сила была бы! Могли взять врасплох!

А стеклянный батальон кидал землю на могилу рыболова. Но в тех рассказах, которые шли потом, его больше рыболовом не называли. А сторожиха плакала даже.

1923

«МАЛЕНЬКИЙ НЕГОДЯЙ»

Все удалось скрыть, кроме цены на арбузы. Цена эта, выросшая за неделю впятеро, внесла некоторый испуг. Потом стало еще хуже. Арбузы исчезли вовсе.

Крошечная арбузная гавань, тесно заставленная барками, гавань, которая из-за плававших в ней арбузных корок походила на чудесный персидский, нежно-зеленый и светло-розовый ковер, эта гавань в несколько дней опустела, стала геометрически пустой и пугающе правильной.

Парусники ушли и обратно с арбузами больше не возвращались.

Газеты выходили исправно и каждое утро накачивали читателей брехней о светлом будущем.

Те, кто понимал, почем фунт лиха, не верили и пили. Они уже поняли, что Трифоновка (место, откуда возили арбузы) занята большевиками.

Те, которые верили газетным клятвам, тоже пили. Чтобы поверить, надо было пить.

Стенька Митрофанов газет не читал и ничего не пил. Вода не в счет. Но о том, что должно было случиться, он знал хорошо.

У него был длинный, мальчишеский, мокрый язык, и поэтому он навсегда потерял для себя теплый, мусорный ящик, где блаженно спал во все зимние ночи.

— Холера тебе в бок! — орал управляющий тем домом, где находилась пышная Стенькина спальня.— Я тебе покажу большевиков! Во-н! У тебя, хулиган-

ская морда, вырастет борода до колена, прежде чем они сюда придут!

И в этот оглушительный, гудящий весенний день случилось три очень важных для Стеньки события.

Я уже рассказал, что он потерял свой ночлег. Кроме того, он еще покрылся неувядаемой славой. Это главное, но об этом потом. И еще — он отомстил управляющему. Я не хочу порочить Стеньку, он мне даже друг, но он украл петуха. Конечно, это был петух управляющего.

Петух кричал, как роженица, и бешено крутил глазом. Стенька мчался по мокрому светлому от воды асфальту и удушливо хохотал.

Так, смеющиеся, орущие и растрепанные, оба они очутились перед желтым дворцом главнокомандующего.

Для караула, стоявшего у гигантских арочных ворот, появление возмутительного оборвыша и воющей птицы было почти смертельным оскорблением и невыносимым нарушением порядка.

Раздался короткий свисток.

Стенька опасливо осмотрелся, приготовился к отлету и крепче прижал к себе петуха. Петух не выдержал адского объятия и душераздирающе запел отходную.

Расстроенная куча австрийских жандармов устремилась на Стеньку, желая немедленно и дотла искоренить очаг воплей и суматохи. Стенька оцепенел, считая здоровеннейшие кулачища, которые неслись на него, и предчувствуя бесславные побои.

В ту же секунду голубое небо жутко загудело и лопнуло. Воздушный вал навалился на Стеньку, земля дернулась, выскочила из-под ног, и Стенька обрушился. Кругом все рвалось и тряслось от страшного бомбового разрыва.

Ослепленная и задушенная кучка развалилась. Стенька, погребенный под пятипудовыми животами, трепетал.

Сверкнуло еще раз, стало непереносимо тихо, и все, что могло еще ходить, ринулось в дворцовый подъезд, увлекая с собой ошеломленного Стеньку и агонизирующего петуха. С крыши по налетевшему аэроплану задребезжали пулеметы.

В подъезде Стеньку прижали к огромной красивой двери. Стенька никогда еще не видел такой. Но, нахлыстываемый страхом, он не стал разбирать и поскакал по лестнице вверх, захватывая ногами по три ступеньки сразу.

На втором пролете он опомнился и остановился. Сверху катились бледные лица и стучали сабли. Все это сбегало вниз, не замечая Стеньки и не обращая на него внимания.

Петух недовольно забормотал, и это вывело Стеньку из оцепенения. Решив, что жандармы внизу опаснее бомб сверху, он сделал чудовищный прыжок, влетел в огромную залу и, завопив от неожиданности, с размаху остановился.

Зала не имела конца. Стен залы не было видно. Огромные паркетные площади уходили вдаль, вперед, вправо, влево и терялись в стальном дыму. И все это колоссальное пространство было битком набито голодранцами и петухами. Сто тысяч голодранцев и сто тысяч петухов.

Стенька ахнул и опустился на пол. Петух вырвался, побежал по паркету, поскользнулся и смешно упал на бок. Сто тысяч голодранцев тоже присели, и сто тысяч петухов сразу упали. Стенька радостно захохотал, поднял руки и сказал:

— Дураки!

Голодранцы разом раскрыли рты и подняли руки.

— Как на митинге! — сказал Стенька.— Опустите руки, сволочи!

И сам опустил. Все руки разом упали. Это была зеркальная зала и все Стеньки были один Стенька. Зала была пустая.

Стенька подобрал петуха и подошел к окну.

Я не могу и никто не сможет точно описать того, что случилось со Стенькой. Он прыгал под потолок, и петух летел туда вместе с ним, проклиная тот позорный час, в который Стенька его украл.

Причину Стенькиной радости можно было увидеть из окна.

Внизу, в порту, по Приморской улице, поминутно останавливаясь и прячась за выступы домов, перебе-

гали три солдата. Земля задрожала, и впереди солдат выскочил пышущий, полный треска, броневик. Красный флаг метнулся и пропал за высоким зданием. С моря, с большого рейда, палили окаменевшие громады броненосцев. Испуганное небо хоронилось под черным дымом. Это была знаменитая атака красных с суши и с моря 11 апреля.

В пустой зале грохотали восторженные крики Стеньки:

— В будку! Долой кайзерликов! Амба австриякам и...

Стенька поспешно обернулся на треск паркета. Прямо на него, к выходной двери, ломая паркет тяжестью своего тела, шел венгерский офицер.

Он шел в несчастную минуту, в то время, когда через края Стенькиного сердца переливалась отвага, когда этот «маленький негодяй» воображал, что именно он из своего высокого окна руководит атакой города.

Но венгерец видел только малыша и торопливо шел к двери. Сверкая всем лицом и любезно, по-детски, улыбаясь, Стенька ждал.

Офицер приближался, хрустальная люстра нервно шевелила своими цацками и звенела. Стенька ждал и не сходил с дороги.

Офицер недоуменно и высокомерно покосился, но не свернул.

Давид ждал своего Голиафа. Голиаф самоуверенно стремился к гибели. Как только расшитый рукав венгерской куртки поравнялся со Стенькиным носом, разразилась катастрофа. В эту же минуту Стенька покрылся неувядаемой славой.

Через час куча красноармейцев, появившаяся в широких и высоких дверях зеркальной залы, изумленно созерцала весьма странный пейзаж.

В самом конце залы на полу сидел венгерский офицер. Вместо лица у него было одно негодование и обида.

В пятнадцати шагах от него, держа в руке крошечный, сиявший, как серебряное солнце, браунинг, стоял Стенька.

— Сиди, сиди,— шептал Стенька.— А то стрелять буду!

Между Стенькой и венгерцем расхаживал петух, лишенный главного своего атрибута — разноцветного хвоста. Сердце же петуха было разбито. Он уныло рассматривал себя в зеркалах и горько причитал о своей тяжкой потере.



Из всех трех доволен был только Стенька. Сзади раздалось хихиканье. Стенька посмотрел вперед в зеркала и увидел стоявших в дверях красноармейцев. Он угрожающе махнул браунингом в сторону офицера и кинулся к дверям.

Там, хохоча и плача, он бешено врал о своих подвигах. Его перебили:

— Как же ты такого слона взял?

Стенька горделиво завертелся вокруг себя, как смерч, и ляпнул:

— Ой! Он идет на меня, а я подножку раз, он встал, я вторую, а потом петухом, петухом по морде, по морде. Так он с перепугу даже браунинг потерял. А петух без хвоста. Сильно бил.

В зеркалах четыреста тысяч красноармейцев приседали от смеху и тормошили «маленького негодяя» и маленького героя Стеньку.

1924

БЕСПРИЗОРНЫЕ

Ветер кроет с трех сторон. Сугробы лежат крепостным валом. Метель рвет и крутит снежным пухом и прахом. Улица мертвеет.

Мимо окаменевших извозчиков бредет закутанная в невообразимое барахло (семь дыр с заплатками) маленькая фигурка.

Днем фигурка бегала и отчаянно защищала свою крошечную жизнь — выпрашивала копейки у прохожих, забегала отогреваться в полные чудесной, хлебной духоты булочные, жадно вгрызалась глазом в туманные витрины, где напиханы великолепные и недостижимые вещи — штаны и колбаса, хлеб и теплые шарфы.

Но теперь поздно. День доеден до последней крошки. Двенадцать часов. Ветер и снег. Магазины закрыты, прохожих нет, надо искать ночевку.

Тысячи живущих в Москве не знают, что такое ночлег беспризорного. Мусорный ящик, беспримерно вонючий, но теплый, это блаженство. Но в мусорный ящик попасть трудно, дворники зорко стерегут это сокровище. Парадная лестница тоже прекрасный и тоже трудно находимый ночлег.

Беспризорному долго выбирать не приходится. Мороз тычет в щеки и хватает за ноги.

Если найдется асфальтовый чан, беспризорный спит в чану. Спят в яме, если отыщется яма. Но при-

ходится спать и на снегу, укрывшись сорванной со стенки театральной афишей, подложив под щеку одеревенелый кулачок. Спят где попало и как попало. Это в городе. А есть еще вся Россия, бесчисленные населенные пункты, станции и вокзалы. Какой транспортник не видел на своей станции таких же картин?

Тысячи детей, ставших после голода двадцать второго года одинокими в самом точном смысле этого слова, живут и растут на улице. Так ребенок долго не проживет — срежет болезнь, недоедание или задавит мороз.

Но если даже удастся кое-как набить желудок, сохранить тельце от нагаечного мороза, тогда еще остается улица, ночлежка, Хитров рынок.

«Улица» дышит гнилью и гибелью. «Улица» даром с рук не сходит. В комиссию по делам о несовершеннолетних ежедневно доставляют детей, замеченных в правонарушениях.

Этот мальчик пробрался на кухню, примус украл. И этот крал и этот. В большинстве случаев — кражи. А эта маленькая — это уже посерьезней — это проституция.

Ночлежка — это школа и даже «университет» преступлений. Ребенок, попавший туда, в отличное общество подонков, быстро обучается в ночлежке на Гончарной: при опросе сорок пять процентов детей сознались, что они «нюхают».

Детей надо спасать. Советская власть еще в двадцать первом году осознала всю важность детской беспризорности. Мы имеем многочисленные детские учреждения и воспитываем большие тысячи детей.

Но всего этого мало. Мало денег, и «улица» попрежнему еще продолжает губить детей. Приток их в Москву, даже из самых отдаленных мест беспрерывно продолжается.

И вот рабочая Москва в первую голову, а за ней вся трудовая Россия, всерьез взялась помочь голодным и одичавшим детям. Рабочие делают отчисления, производится обложение нетрудового элемента, *организовано общество «Друзей детей», имеющее триста тысяч членов. Вербовка «друзей детей» ведется широ-*

чайшим фронтом. Предположено в общество завербовать пятьсот тысяч человек. Наконец, несомненно, гигантскую помощь окажет «фонд Ленина».

Дети, о которых завещал Ленин, будут спасены!

Тут дело не только в одних деньгах. Когда буржуазия разводила филантропию в своих приютах, она убирала с улиц «некрасивое» зрелище детского нищенства и растила нравственных калек.

Нам надо сделать иначе. Надо устроить беспризорных так, чтобы у них появилось желание учиться и работать. Относительно ребят младшего возраста — дело простое. Их нужно устроить в лучшие детские дома, окружив их особым вниманием. Главная трудность с подростками, которых «улица» уже сломала, которые вдосталь хлебнули горя, озлобились, исхулиганились. Они плохо приспособляются к жизни детского дома.

Надо устраивать для них ночлежки, сколачивать их в коммуны, втягивать в ученье и самое главное — создать возможность трудового заработка.

Такие трудовые коммуны беспризорных уже есть. Они есть уже во многих городах, и в Ленинграде, и в Москве.

В Сокольниках. Порядком разрушенная дача, но ребята, пятьдесят два человека, держатся довольно стойко. Зарабатывают тем, что готовят бумажные пакеты. Работа до четырех, затем клубные занятия. На Арбате, в Калошном переулке, десять мальчиков, шестнадцать девочек. Пошивочная мастерская. Серпуховская площадь, Валовая улица. Сапожная и пакетная мастерские.

Беспризорные дети, как правило, очень предприимчивы, живы и наблюдательны: маленькая, но полная лишений жизнь многому учит. Вот эти раздеты (пальто одевает тот, кто идет в город), а есть своя стенная газета. Управляются они сами, много трудятся и гордятся своей организацией.

Маленькие теперь, они скоро станут большими. Они не хотят быть ворами и бездельниками. Они хотят вырасти в больших и честных людей. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Они знают почем фунт лиха и больше этого лиха не хотят.

Им надо помочь. Помочь должны мы, у которых уже крепкие руки, те, кто видит беспризорных каждый день, каждый день и каждую ночь может сам убедиться, что этих легендарных лишений дети переносить не могут и не должны.

Беспризорного мальчика надо воспитать рабочим, девочку — работницей.

В советской республике не может быть покинутого ребенка. *Лучше чем кто бы то ни было это должен знать транспортник. Мимо него по железным путям перекатывают эти тысячи детишек. Больше чем кто бы то ни было транспортники нагляделись на страшное зрелище бедствий маленьких ребят.*

И можно не сомневаться в том, что та твердая воля, которой в полной мере владеет железнодорожный пролетариат, обратится в числе других важнейших задач и на ликвидацию детской беспризорности.

1924

ПЕРЕГОН МОСКВА—АЗИЯ

Последние пакеты и тюки газет летят в темноту багажного вагона. Двери его захлопываются, и ташкентский ускоренный быстро выходит из вокзала.

За Перовым полотно дороги пересекают тонкие железные мачты Шатурской электростанции. Их красная шеренга делает полкруга и скрывается в зеленом лесу.

Поезд идет картофельными полями, под мягким небом. К вечеру начинаются страданья поездной бригады.

— Делегация села!

Беспризорных «делегатов», скромно засевших в угольных ящиках под вагонами, выволакивают.

Но это лишний труд.

«Делегат» от поезда не отстанет. Утром его белая голова, казалось, навсегда покинутая в Рузаевке, сонно и весело трясется на подножке вагона, мотающегося перед Сызранью. Зло неискоренимо. Даровитый прохвост продолжает свое путешествие за рыжую Волгу и далее.

Пропитывается «делегат» тем, что на больших остановках распевает антирелигиозные куплеты:

Поп кадит кадилою,
Все глядит на милую.
Господи, помилую
Степаниду милую.

Среди одичавших в долгом пути пассажиров куплет пользуется громовым успехом. В шапку «делегата» обильно падают медяки.

Проходят в небе антенны мощного оренбургского радио. Стрелочник-киргиз в войлочной шляпе провожает поезд на выходной стрелке. У него желтое лицо, черные прямые волосы и толстые губы. Поезд идет уже по территории Казахстана.

От московских облачных, лепных небес нет следа. Над огромной республикой киргизов блещет вечное солнце.

Круглые юрты кочевников стоят в необозримых ковыльных степях. Легкий ветер трогает пушистые стариковские бороды ковыля, раскачиваясь, проходят верблюды, и цветными кучами рассыпаны стада.

Перевалив Мугоджарские горы, поезд входит в пески. Ослепительно и невыносимо для глаза горят на солнце кристаллы пересохших соляных озер. Поросли потерявшей цвет клочковатой дряни прерываются темно-синей неподвижной громадой Аральского моря.

Станционные бабы торгуют трехаршинными осетровыми балыками и засушенным до полного одеревенения лещом — самым соленым товаром, какой только можно найти в этой горько-соленой стране.

Но жирные, лоснящиеся на доведенном добела солнце, рыбы привлекают немногих.

Пассажиры набрасываются на кумыс и ледяное кислое молоко. Замаранный по уши кочегар спрыгивает с паровоза и бежит к молоку. И сам дежурный по станции на минуту свертывает свои флажки и глотает чудесное холодное месиво.

Дальше степь все буреет, становится какого-то верблюжьего цвета и, наконец, переходит в перворазрядную, захлебывающуюся в горячем ветре пустыню.

В палящей тишине поезд пробегает свои перегоны. Здесь станции стараются возможно больше окружить себя деревьями.

Но полтора десятка насквозь пропыленных деревьев в станционном палисаднике это — неисчерпаемое богатство тени и прохлады.

Этим станциям завидуют, туда мечтают перевестись, потому что есть станции, где всего пять акаций, есть разъезды с одной только акацией и есть разъезды, где не растет ничего.

Такой разъезд подвергается казни жаром и светом по восемнадцать часов в сутки.

Ночью, на третьи сутки дороги, поезд проходит станцию Джусалы, втягивается в огромное болото Бокалы-Копа и подвергается нападению бесчисленных комариных шаек.

Стодвадцативерстные владения лихорадки, ее стоячие воды, поросшие мерзкими зелеными волосами и камышом, ужасны. Поезд баррикадируется, подымает оконные рамы и даже тушит свет. Но все это не в помощь.

Дохнущий во тьме и духоте пассажир все же слышит похоронный комариный звон над своим ухом. Комары ворвались в вагоны через тамбуры, через незавернутые вентиляторы, и изъязвленный пассажир, много еще дней спустя, глотает горьчайшую хину и ждет приступа малярии.

Поезд не спит всю ночь, отчесываясь от комаров. И волей-неволей бессонные глаза глядят сквозь окна на переливающуюся неровным светом карту звездного неба.

Пятое утро начинается станцией Арысь и захватывающим всесторонним жаром. С безумного неба льется не свет, а горячая, вплотную обтекающая тело, лава.

На станциях исчезает даже кислое молоко. Тут продают связки черепаховых щитов, живых черепах и черепашьи яйца.

На всем восточном горизонте лежит белая, железная вата, снеговые отроги Тянь-Шаньского хребта. Впереди всех матовым и молочным светом сияет двурогая вершина Казы-Курта.

Это местный и по счету кажется уже десятый на земле Арарат. Жителями выдается за место остановки Ноева ковчега. Событие маловероятное, хотя еще и теперь киргизский певец, играя на домбре, подробно перечисляет всех животных, спасшихся в Ноевом корыте на вершине Казы-Курта.

Поезд медленно пробирается среди откосов красной глины, беря последний подъем перед Ташкентом.

Белый пар бежит по засохшим склонам. Реомюр в тени показывает 37°.

Это последнее усилие пустыни. Катясь по склонам Дарбазы, по сотне мостиков, пересекая оросительные каналы, поезд влетает в изумительный темно-зеленый и дышащий зеленью ташкентский оазис.

Горизонт застилают темные массивы пирамидальных тополей. Пепельные финиковые деревья блаженно жарятся на солнце. Качаются и шумят высокие стены джугары — тропического проса. Адские пески сразу переходят в ветхозаветный рай.

Проезжают арбы на тонких, величиной с мельничные, колесах. Мелкими шажками бегут крохотные ослики, с невероятным терпением вынося на своей спине многопудовых толстяков в снежных чалмах.

Но поезду нет удержу. Мимо библейских глиняных построек, мимо древесных кущ и рощ поезд продолжает свой путь за Ташкент.

Под утро дорога вступает в ущелье Санзара — единственный проход сквозь горы Нура-Тау, древнейший путь торговцев, полководцев и завоевателей.

Справа на утесе высечены две арабские надписи. Нижнюю из них приводим в сокращенном виде:

«Да ведают проходящие и путешествующие на суше и воде, что в 979 происходило сражение между отрядом тени всевышнего великого хакана Абдулла-хана в 30.000 человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50.000 человек и служащих людей до 40.000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно».

Хвастливая запись «счастливого обладателя звезд» задела тщеславие русского царя, и над арабской пу-

таной вязью утвердился толстый позолоченный орел и надменная медная доска:

«Николай II 1895 г. повелел: «Быть железной дороге». 1898 г. исполнено».

В февральскую революцию медная эта глупость была сорвана рабочими руками тех, о которых никто не писал на порфировых скалах, хотя именно они пеклись живыми на прокладке полотна Среднеазиатской дороги.

Поезд гремит по мостику над арыком Сиаб. Пройдя лежащие расколотыми зеркалами затопленные рисовые поля, он шумно подходит к Самарканду, «лику земли», как звали его мусульманские писатели, древнейшему городу Средней Азии, история которого потерялась в тесячелетиях и теперь начинается снова словами:

«Столица Узбекистана».

1925

ГЛИНЯНЫЙ РАЙ

Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вагончики клацают по узкой колее и стремглав несутся в город.

Европейские его улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и, утверждают, прекрасно шоссированы. Так ли это, узнать невозможно, потому что они покрыты трехдюймовым пластом пыли.

В этих районах библейский бог создал Адама, первого человека. Поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины. Здесь нет другого материала.

Весь старый город слеплен из глины.

Узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов, дувалов. Дома с плоскими, соломенными, залитыми той же глиной крышами выходят наружу только глухими своими стенами.

Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятка виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улице остается только висящая занавесами пыль и ошеломительное солнце.

В арыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчики-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты. На затылке волосы оставлены и за-

плетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек.

По двое на некованом коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах и на диво скрученных чалмах.

Передний из них держит в губах розу. У второго роза заткнута за ухо. Они подпоясаны пестрыми ситцевыми плакатами, важны и спокойны.



Ушастый, большеглазый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки, гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которой он поколачивает ослика по шее, другой он держится за свою бороду алюминиевого цвета.

Под стенкой проходит женщина в голубоватой парандже — халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным, страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса.

Она обута в ичиги, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их — в кожаные, остроносые калоши. Мрачная

ее фигура исчезает в водовороте пыли, поднятой проезжающей арбой.

Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются наземь. Над головой висит настойчивое и мощное солнце.

Больше ничего.

Это Иерихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова. Этому тысяча лет или две тысячи.

— Среднеазиатские республики,— говорил нам в поезде, довоенно и по-петербургски картавящий молодой человек,— это ветхий завет плюс советская власть и минус электрификация.

О существе советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была и наполовину есть еще сейчас.

Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую, синюю черту, и красными, крашеными ноготками.

Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо Гур-Эмир, могилы повелителя.

Железный Хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами.

С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосиновую лампочку и ведет в сводчатый холодный подвал.

Тимур, в четырнадцатом веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.

У обнаженных кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Железного Хромого.

В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое (ворами, которые хотели ее украсть) плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезен из Китайского Туркестана.

Базар начинается неподалеку от ив и карагачей, окружающих Гур-Эмир.

Над всем этим местом стоит беспрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы. Медлительно тарахтят арбы. С бьющими наверняка, мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие. С круглого медного подноса продают вялые розы.

Весь базар похож на поднос с перепачканными розами.

Чалмы белые, пестрые и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом.

Затканные золотыми нитками тюбетейки сверкают на солнце быстро переливающимся светом.

Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают.

К текущим лавой разноцветным толпам подъезжают все новые конные группы. Сегодня базарный день. Тонколицые горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым уличкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов.

Внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек, торгующих местным, похожим на головки шрапнелей мылом.

Медные ряды оглушают звонким клепаньем молоточков: чеканят блюда, чайники и кумганы.

Половину базара занимает торговля московскими, пестрейшими ситцами. В лавочках тесно. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги на библиотеч-

ных полках. Пробиться в эти ряды почти невозможно. Уж с прохладного рассвета они туго набиты покупателями.

В конце главной базарной улицы расположен Регистан. Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитектуры. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шир-Дор. Квадратным обжигающим кубом на площади стоит солнечный свет. И выше стрижей, выше голубых минаретов Улуг-Бега мчатся над Самаркандом белокрылые коршуны.

Это добровольный придаток к старогородскому ассенизационному обозу. По мере мощных своих сил они способствуют очищению города от падали.

Чайханы наполняются. В них сидят, подогнув ноги на палласах, коврах без ворса, пьют зеленый горьковатый чай без сахару, едят круглые лепешки и дышат прохладой, которую дает бегущий под ногами арык и тень белой от пыли ивы. Из губ в губы переходит похрипывающий и пускающий белый дымок гилим, кальян.

Против чайханы прямо на земле разместилось точильное заведение.

Полуголый, светло-коричневый старик быстро тянет взад и вперед кожаный кушак, одетый на валик точильного камня. Так «старик-привод» работает до ночи.

Страна почти не знает машины.

И совершенно неизбежно, что в такой стране в машину превращается человек.

Старик давно перестал быть человеком, он только привод к точильному станку.

Людям, мечтающим о «добром, старом времени, когда все было так чудесно», полезно съездить в Среднюю Азию.

Он увидит там тщательно описанный в коране рай, красную глину, идиллические стада, земледельцев, покорных земле, пророкам и муллам пророка.

Но, кроме того, он увидит деревянный плуг, первобытный омач, которым дехкан обрабатывает свое поле. Перед омачом русская соха кажется завоеванием тех-

ники. Глиняный рай возделывается каторжным трудом.

Муллы, бородатые чалмоносцы, бешено вопят при всяком новшестве, и тракторы, маленькие пока отряды советского железа, с трудом пробивают себе дорогу сквозь ветхозаветные толщи.

Но в этой борьбе с тысячелетней косностью на стороне советской машины вся молодая, горячая Азия, проделывающая сейчас тяжелейшую дорогу от родового быта к советам.

Об этом в следующей статье.

1925

АЗИЯ БЕЗ ПОКРЫВАЛА

Тяжелой, гробовой плитой лег ислам на прекрасные народы Азии.

Как солнце и луна, жизнь мусульманина сопровождает коран, сборник откровений Магомета, и шариат, указывающий, как поступать во всех случаях жизни.

Уклонение от шариата есть кюфр, неверие.

Каждый уклоняющийся сейчас же после смерти будет взят в огненный адов переплет.

Ничего не нужно знать и не к чему стремиться. Шариат предусмотрел все, включая способы обработки полей, покрой халата и форму лепешек.

Он убил в мусульманах любознательность, остановил их развитие и создал две страшные язвы:

затворничество женщин и многоженство.

Без покрывала, чачвана, ходят только древнейшие из старушек и девочки.

Девочка иногда продана уже с младенчества и знает, что у нее есть муж, в рассрочку уплачивающий отцу калым, цену жены.

Мухадам Сали-Хаджаева жила, как все, и даже хуже всех. Отец и мать ее умерли.

Мухадам осталась одна в отстоящем за пятнадцать верст от Самарканда кишлаке Каш-Хауз, и какая-то старуха из кишлака взяла ее к себе на воспитание.

Воспитывать молодую узбечку недолго и несложно. До и после замужества она остается невеждой. Образование женщины дальше уменья печь нан, хлеб, и тканья маты, грубой и простой платяной ткани — не распространяется. Она низшее существо, и науки не для нее.

Девочка прислуживала старухе и росла.

Ее черная широкая бровь, милое лицо и персидские глаза возбудили в старухе жадность.

— Мухадам можно выдать замуж! Она стоит много баранов!

Девочка отказывалась, плакала и вспоминала отца.

— Ты у меня и дочь и сын! — говорил отец.— Ты всегда будешь со мной и замуж не пойдешь!

Но старуха думала только о богатстве, которое можно получить за девочку. Тогда Мухадам — розовый, черноволосый ребенок — решила умереть.

У торговца галантереей на кишлачном базаре она купила ртуть и влила себе в ухо.

Голова сразу наполнилась необыкновенным шумом. Густая боль засела в черепе. Кругом все смолкло.

Это ей только казалось. По-прежнему скрипели арбы, шумела падающая вода и кричал разгневанный вечной работой ишак.

Мухадам всего этого не слышала от шума в ушах. Вечером она легла спать, зная, что больше не встанет.

Однако утром она проснулась живой и здоровой. Во время сна ртуть вылилась из уха на постель.

Старуха снова заговорила о женихе.

Мухадам хотела броситься в хауз, но стало уже поздно. За ней следили: калым не должен был утонуть.

В кишлаке был клуб, но пойти туда оказалось невозможным, старуха не спала дни и ночи, все следила.

Мухадам терпеливо ждала, и в один из дней ей удалось выбежать из дому.

Чем может кишлачный клуб, настоящий советский клуб, без денег и даже без скамеек, помочь глазастой

девочке, которая решила жить иначе, чем живут женщины ее племени?

— Мухадам, иди в Самарканд,— сказали ей в клубе.— Там есть женские курсы.

И Мухадам, мужественное дитя, пошла пешком по дымящейся дороге в Самарканд.

Всю дорогу она плакала и спрашивала, где женские курсы.

Вечером, когда сгоревшее солнце свалилось в пески, Мухадам прошла затихающий базар, много замощенных кирпичом тротуаров и вошла в белый, одноэтажный дом, занимающий угол Ленинской и Катта-Курганской улиц.

В этом доме помещается одна из любопытнейших школ в мире. Это — центральные узбекские курсы ликвидации неграмотности при Наркомпросе Узбекистана.

Все ученицы этой школы, рассчитанной на то, чтобы в девять месяцев сделать из них учительниц по ликбезу, пришли сюда из кишлаков, и биография каждой из них не легче биографии Мухадам, теперь прилежнейшей ученицы.

Покрывала Мухадам уже не носит, и можно увидеть ее чудесные глаза, еще красные от плача на самаркандской дороге.

Но среди женщин, пришедших сюда из Ферганы, Хорезма, Кашка-Дарьи и долины Зеравшана, чтобы научиться жить по-советски, самой удивительной представляется жизнь Майрам Шарифовой, или, как зовут ее в школе, «русской Маруси».

Маруся, русская девушка, жила в девятнадцатом году в Оренбурге и, спасаясь от голодной смерти, вышла замуж за таджика Шарифова.

Венчаться пришлось по мусульманскому обычаю. Это не показалось страшным.

Мулла преподал Марусе необходимое наставление, на полу разостлали дастархан — цветную скатерть, заставленную угощеньем, пришли гости.

Потом мулла развернул коран над чашкой чистой воды, прочел что-то непонятное, задал полагающиеся вопросы, подул на воду, и венчание кончилось. Гости съели плов и ушли.

В Оренбурге Маруся прожила с мужем два года. Жила, как жила прежде, то есть была совершенно свободна, имела знакомых, бегала с открытым лицом на базар за продуктами, изредка ходила даже в кинематограф.

В двадцать первом году решено было поехать в Ташкент, к родителям мужа.

Их встретили очень ласково, но уже вечером муж завел длинный, путаный разговор, из которого Маруся поняла одно:

— Родители требуют надеть покрывало.

— Я этим ситом из конского хвоста лица не закрою!

— Не надо раздражать отца. Мы не на всю жизнь сюда приехали. Надень чачван. Через два месяца мы уедем в Россию. Будешь ходить как прежде!

Маруся была ошеломлена, но в чужом городе уйти не к кому.

— Потом, только на два месяца!

Она согласилась. Ее нарядили в длинное платье и пестрые шаровары до щиколоток, расплели косу на множество косичек, подарили чачван и серую паранджу.

Двухмесячный срок оказался басней. Даже через пять месяцев они никуда не уехали. За это время Марусю (теперь ее уже не звали иначе, как Майрам) энергично мусульманизировали.

Ее обучали языку и обрядам. А когда она упрямилась, приходил муж и заводил свою шарманку:

— Не раздражай отца! Мы скоро уедем!

В это время Марусю уже нельзя было отличить от настоящей мусульманки. Она научилась скромно и медленно, прижимаясь к глиняным заборам, ходить по улице, дома приготовляла нитки, красила их, ткала мату и, по обычаю, ни одно дело не начинала, не сказав вполголоса:

— Бисм-илля ар-рахман ар-раим! (Во имя бога милостивого, милосердного).

Каждый день Маруся ждала и требовала отъезда. Но на шестой месяц ее жизни в Шайхантур пришло самое худшее.

Муж заявил, что ему надо жениться второй раз.

В четырнадцатом году, когда его, как таджика, взяли на военную, окопную работу, он в городе Ура-Тюбе оставил невесту. Она ждала его семь лет.

— Я должен жениться, чтоб не опозорить семьи. Я этого не хочу, я уеду в Россию. Но это будет позор.

Все семь лет старый Шарифов по три раза в год нагружал на арбу пудовый котел горячего плову, двести пятьдесят лепешек в корзинах и голову сахара. Яства покрывались куском шелка на два платья, и арба торжественно, чтобы все видели, отвозила подарки родителям невесты.

Теперь старик пришел к Марусе-Майрам и стал просить ее не мешать мужу жениться вторично.

И, как это ни странно, Маруся согласилась. Ей стало жалко семь лет ждавшей невесты.

— Может быть, она его видела в лицо и любит. Делайте как хотите. Но я в Ура-Тюбе не поеду. Пусть она приедет в Ташкент и здесь живет.

Но Маруся-Майрам, сама того не замечая, уже катилась вниз и на все соглашалась.

Когда муж женился и вторая жена отказалась ехать в Ташкент, Маруся не нашла в себе силы возражать и поехала в Ура-Тюбе.

Хайронисо, вторая жена, встретила ее словами:

— Это наша судьба. Примиримся с нашим положением.

Четыре года обе женщины жили как сестры, но жизнь в затворничестве стала Марусе невмоготу.

Она узнала, что брат ее служит красноармейцем в Полторацке, и написала ему. Брат примчался и, увидев сестру, был потрясен.

Перед ним была мусульманка — женщина, полузабывшая русский язык.

Он уговорил сестру пойти в женотдел. С этого началась обратная дорога Маруси в мир живых людей.

Муж разрешил ей ходить в школу ликбеза, но умолял чадры не снимать. Она ходила туда под покрыва-

лом с мальчиком-провожатым и окончила ее в два месяца.

Женотдел несколько раз посылал ее заседательницей в народный суд.

На собрания родители мужа ходить ей не позволяли. Тайно от всех Майрам подала заявление о приеме ее в партию.

На заседании восьмого марта двадцать пятого года, в международный день работницы, на первом вообще собрании, в котором она была, женотдел передал ее в партию, и впервые за шесть лет Маруся открыла лицо, чтобы большими глазами посмотреть на новый мир.

Дома все пришло в смятенье. Отец мужа ушел из дому. Его братья вопили о позоре. Сам он молчал. С семьей пришлось порвать навсегда.

Теперь Маруся в самаркандской школе. Она узнала всю тяжесть [жизни][1] мусульманки и, когда кончит школу, пойдет работать в кишлак, чтобы освободить порабощенную женщину.

1925

---

[1] Квадратные скобки здесь и на стр. 129, 203, 227, 243, 260 заключают добавления редакции.

ДРАМА В НАГРЕТОЙ ВОДЕ

Поручик с умеренно злодейской наружностью и добровольческим трехцветным угольником на рукаве бродит по вестибюлю первой кинофабрики. Сегодня режиссер Роом снимает сцены затопления парохода для своей «Бухты смерти». Темное бархатное лицо поручика изображает готовность совершить некоторые подлости.

Но ему еще рано. Сперва будут затоплены пароходный коридор и каюта.

Для этого в ателье сооружены две огромные ванны из листового железа. Они настолько велики, что в одну из них целиком вставлен длинный коридор морского парохода, а в другую — каюта.



— Лифшиц, крысы готовы? — спрашивает Роом.

Традиционно бегущие с корабля крысы не готовы. Лифшиц комически взволнован.

— Всякую грязную работу делает Лифшиц! Красить крыс должен Лифшиц!

Дело в том, что крыс достать не успели. Пришлось купить мышей, да еще белых.

Теперь, для большего сходства с крысами, их надо перекрасить в серый цвет.

Пожаловавшись на судьбу, Лифшиц берет горстку сажи и уходит на свою странную работу.

СУХОЕ И МОКРОЕ

— Сначала сыграем сухие сцены. Потом мокрые.

Все готово. Актриса Карташева сняла жакет и распустила волосы. С аэропланным гуденьем зажглись и потухли прожектора. Свет проверен. Оператор приготовился. Двум солдатам из посредрабиса внушено, что они должны снести Карташеву в каюту. Солдаты приготовились.

Идет репетиция. С верхней площадки раздается голос Карташевой:

— Что, я без чувств?

— Вроде.

Актриса мигом закрывает глаза и болезненно опускается на руки солдат в суконных погонах.

— Приготовились! — кричит Роом.— Начали! Взяли! Понесли! Елизавета Петровна, глаза у вас закрыты! Так! Левая рука опущена! Товарищ солдат, головой вносите ее в дверь, а не ногами. Стоп! Еще раз!

Репетируют второй и третий раз, но у одного из солдат движенья по-прежнему не хороши, а лицо беспомощно-напряженно, будто он играет на большой медной трубе.

Когда сцена снята, Роом заинтересованно спрашивает его:

— Скажите, вы актер, электротехник или монтер?

— Я музыкант! — раздраженно отвечает солдат из посредрабиса.

КРЫСЫ

— Очистить коридор! Где крысы?

В клетке приносят перекрашенных мышей. Их только три.

— Больше нельзя. Все пальцы перекусали. Прокусывают кожаные перчатки.

Клетку ставят на пол.

— Пускай первую!

Мышка осторожно вылезает из клетки. Но напрасно Роом кричит свои «приготовились, начали, пошли».

Мышь испугана невыносимым светом и не движется с места. Даже подпихивания палочкой не действуют на нее.

Тогда все ателье, все монтеры, все белогвардейские солдаты, матросы, дежурные рабочие и сам злодейский поручик в золотых эполетах, начинают мяукать, шипеть и всячески пугать бедную мышку.

Один лишь оператор остается спокойным. Он стоит на небольшом ящике у аппарата и ждет.

— Пошла!

Робко побежавшая мышь вызвала всеобщее сочувствие. Ее снимали крупным планом. На экране она будет большая и жирная.

ПОТОП

К ванне, в которой помещается коридор, вода подается шлангом из водопровода. Пар для согревания воды идет по железной трубе, выведенной в ванну от парового отопления.

Медленно, спокойно и неотвратимо, как в настоящем несчастье, вода заливает пол. Светлые тени бегут по стенам пустынного коридора.

Это герой картины Раздольный открыл кингстоны белогвардейского парохода. Предполагается, что в одной из кают лежит без чувств Карташева. Спасать ее будет Раздольный.

Нагретая вода залила коридор выше колен.

— Давай волну! Сначала будет спасаться команда!

Сбоку, невидимо для строгого глаза аппарата, досками взбалтывают воду. Сцена идет без репетиции. Репетировать в воде, к крайнему сожалению для кинорежиссеров всего мира, невозможно.

— Свет! Приготовились! Первый, второй номера в воду.

Статисты храбро низвергаются в пучину и бредут в тяжелой, блистающей, как олово, воде. Они выдирают друг у друга спасательные пояса, показывают всю низость человеческой натуры в минуту смертельной опасности, они подымают своим барахтаньем океанские волны и спасаются наверх по мокрой лестнице.

Возвратившись назад и извергая из сапог, рта и носа струи теплой воды, они снова бросались в коридор и снова честно утопали.

Эти сцены сделаны были очень хорошо.



БОРОДА В ВОДЕ

— Приготовились! Пошел, Василий Ефремыч. Бороду только не замочи. Так, так! У двери стучи!

Увешанный пробками, Раздольный ищет героиню.

Она в это время уже очнулась и, ужасаясь, видит воду, бьющую сквозь двери в каюту. Сюда должен ворваться Раздольный, чтобы спасти героиню.

Но эта сцена будет снята позже. Потому что вода занята в коридоре и переливать ее в каюту будут только после того, как в коридоре все кончится. А сей-

час Карташева считается уже спасенной, и могучий Раздольный уносит ее на своих голых плечах.

Бороду свою он все-таки замочил, и в то время, как пожарные перекачивают воду в каюту, Раздольный сушится у юпитера.

Вольтова дуга пылает, и борода дымится. По углам ателье матросы спешно сбрасывают с себя промокшее и отяжелевшее платье.

Прожектора поворачиваются и заливают неумолимым светом каюту. Они тухнут только после сцен в утопающей каюте.

В этот день ателье работало подряд шестнадцать часов.

1925

НЕРАЗБОРЧИВЫЙ КЛИНОК

Для постановки картины «Дороти Вернон» американцы соорудили настоящий средневековый английский замок.

Картину засняли, и она пошла гулять по экранам. А замок остался. Разрушать его было жалко. Кроме того, пропадали напрасно аршинные парики, башмаки с пряжками, ленты, банты и прочий исторический шурум-бурум.

В результате — еще одна историческая картина из времен борьбы английского парламента с королем, разыгранная в том же замке: «Клинок Керстенбрука».

Замок, специально приспособленный для картины, был хорош. Сценарий, специально приспособленный к замку — менее удачен. Получилась картина, светящаяся отраженным светом.

Никакой такой борьбы парламента с королем, конечно, не было.

Просто на экране суетилось множество джентльменов в нарядной сбруе, в париках и кружевах. Все они находились в сложном, но для зрителя очень скучном, родстве между собой.

К половине картины некоторых джентльменов поубивали, и экран немного расчистился. Тогда выяснилось, что Керстенбрук — защитник парламента. До этого он смахивал просто на неистового дуэлиста.

Ричарду Бартельмесу, способнейшему актеру, де-

лать было нечего. Сценарий давал работу только клинку. И шпага Керстенбрука работала вовсю.

Режиссер злоупотреблял крупным планом. Но, по правде сказать, смотреть в этом плане такое мужественное и выразительное лицо, как у Бартельмеса, было приятно.

Не убили Бартельмеса-Керстенбрука в этой картине только потому, что он главный герой и без него пришлось бы кончать дело много раньше.



Зато его мучили, избивали и оковывали цепями.

Это становится постоянным амплуа Бертельмеса. Он всегда, кажется, играет мужественного страдальца.

Хороши в картине пейзажи, зеленые леса и поляны «старой Англии». Но все это — вместе с париками и водевильной «борьбой» — взято напрокат из «Дороти Вернон» и в прокате изрядно попорчено.

Кстати, так и осталось неизвестным, чем же кончилась «борьба парламента с королем». Ибо всякая борьба прекратилась, как только «их уста слились в поцелуе».

Трафарет вступил в свои права.

1925

БАНКИР-БУЗОТЕР

В летнем саду железнодорожников ст. Курск, в Ямской слободе, громкоговоритель расположен под экраном и работает во время демонстрации кинокартины. Получается чепуха.

Рабкор *И. М. Лучкин*

— Това-рищи! Занимайте места согласно купленного билета!..

Товарищи занимают места согласно купленного билета. На экране прыгает зеленая надпись:

Жертва пампасов,
или
Три любовницы банкира
в 8 частях
2 000 метров

Зал чрезвычайно доволен и радостным хором гремит:

— В восьми частях! Две тысячи метров!.. Ого!..

Между тем действие развертывается со сказочной быстротой. Ненасытные любовницы безостановочно и

безоговорочно шлют свои воздушные поцелуи акуле-банкиру Смитту.

В это время громкоговоритель грозно мычит на всю Ямскую слободу:

— Алло! Алло! Алло! Говорит Москва на волне тысяча пятьдесят метров! Слушайте лекцию агронома Удобрягина о пользе рогатого скота в домашнем хозяйстве.

Нежный тенорок агро-Удобрягина наглядно иллюстрирует проделки хитрого банкира:

Банкир и три любовницы



— Заболевание рогатого скота чумой наблюда...

Банкир (на вид здоровый дядя) беззаботно играет в карты, не зная, что на него надвигается страшная болезнь.

Банкир в карточном клубе. Играет.

Пьет вино

— ...приносят также молоко, которое особенно полезно детям... Особенно породистые...

Спасаясь от трех любовниц, неунывающая акула-банкир уезжает в пампасы на океанском пароходе.

Удаляющийся пароход



— ...что же касается баранов,— заговаривает зубы агро-Удобрягин,— то таковые передвигаются стадами...

После ряда замысловатых приключений напроказивший банкир попадает в лапы свирепых тигров.

Тигры нападают на банкира



— ...овцы отличаются мирным характером и быстро привыкают к людям...

Громкоговоритель рычит, а зрители, распираемые массой впечатлений, тихо воют.

— Ну и штуку же я видел, Степановна!.. И-эк!.. В кине сидел. Поучительные крестьянские виды показывали. Вроде банкира. Интересно. Сперва как бы чумой болел. А там ничего, крепкий мужик — поправился. И бабочки при нем. Три головы. Породы Смитт. Молоко давали. А он, банкир этот, пил. Говорит — детям полезно... Хозяйственная картина. А потом в кине баранов иностранных показывали, не чета нашим росейским. По воде плывут стадами. И дым из них идет, как из мельницы... А напоследок комическое показывали. Смехота. Овцы на банкира бросились и шею ему намяли... А жалко, хорошего человека попортили.

1927

ПЕШЕХОД

Наша жизнь в последнее время как-то обеднела сильными, незабываемыми минутами. Живешь по большей части в маленьком городке. Вместе с тобой живут еще четыреста двенадцать трудящихся. Триста из них женаты, остальные неохотно волочатся за девушками и вдовами, число которых доходит до полутораста. Есть еще девятнадцать торговцев и одна особа с порочными наклонностями, девица только по паспорту. Всех знаешь в лицо.

Служба тоже не доставляет радости. Так все надоели, что стол личного состава, которым заведуешь, невольно превращается в стол каких-то личных счетов. Все это очень скучно.

Не удивительно поэтому, что нашу общественность начинают волновать проблемы. Пресыщенная столица наседает на половые задачи, но провинция этим не интересуется. Ей хочется переменить обстановку, побегать по земному шару. Каждому хочется стать пешеходом.

Однако искусство хождения пешком очень трудно.

Неопытный пешеход взваливает на спину зеленый дорожный мешок и покидает родной город на рассвете. Уже в самом начале он совершает роковую ошибку — действительно идет пешком, любопытно глядя по сторонам и наивно перебирая ножками.

Назад он возвращается через несколько дней, не достигнув мандариновых рощ Аджарии, к которым

так стремился. Он хромает, потому что ногу ему повредила встречная собака. Он бледен, потому что повстречался на дороге с лохматым гражданином, который в молчании отнял у него дорожный мешок, сандалии и рубашку «фантази».

Опытный пешеход чужд этим детским забавам. У него нет дорожного мешка, и он вовсе не считает лето лучшим сезоном для туризма. Двухнедельный или месячный срок для пешеходной прогулки он считает мизерным и нестоящим внимания. Он разом опрокидывает все мещанские представления о путешествиях с целью самообразования.

Пешком он ходит только в подготовительном периоде, пока не получает мандата от какого-нибудь совета физкультуры. Обыкновенно мандат напечатан на пишущей машинке с давно выбывшей из строя буквой «е», но это единственный изъян, во всем остальном мандат великолепен и читается так:

УДОСТОВЭРЭНИЭ

Дано сиэ в том, что т. Василий Плотский вышэл в сэмилэтнээ путэшэствиэ по СССР с цэлью изучэния быта народностэй. Тов. Плотский пройдэт пэшком сорок двэ тысячи километров со знамэнэм N-го Совэта физкультуры в правой рукэ.

Просьба ко всэм учрэждэниям и организациям оказывать тов. Плотскому всячэскоэ содэйствиэ.

Прэдсэдатэль Совэта *В. Богорэз*

Сэкрэтарь *А. Пузыня*

Ослепленный будущими тысячекилометровыми переходами товарища Плотского, совет выдает ему также десятку на постройку знамени.

Этой скромной суммой пешеход вполне удовлетворяется. Он знает, что сразу рвать нельзя. К тому же десяти рублей хватит на проезд в скором поезде к ближайшему крупному центру.

Отныне пешеход Василий Плотский пешком уже не ходит. Пользуясь услугами железнодорожного транспорта, он перебирается в губернский город и по-

сещает редакцию тамошней газеты, предварительно испачкав свои сапоги грязью.

В редакцию он входит, держа в правой руке знамя, сооруженное из древка метлы, и лозунг, похищенный еще из домоуправления в родном городе.

Удостоверение, написанное с турецким акцентом, оказывает магическое влияние даже на осторожных журналистов. На другой день фотографический портрет товарища Плотского и соответствующая подпись под ним украшают отдел «Новости физкультуры» на последней странице газеты.

Теперь для пешехода открыто все. Перед семилетним удостоверением и газетным интервью с портретом никто устоять не может.

Можно, конечно, таскать с собой еще связку лаптей, якобы предназначенных в подарок всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу, но можно обойтись и без этого.

И без лаптей на Василия Плотского посыплются блага земные.

Знаменитому пешеходу бесплатно отводится номер в гостинице, ему суют обеденные талоны, он получает денежные пособия для того, чтобы мог беспрепятственно выполнить свой великий пешеходный подвиг.

Через два месяца ему показывают музеи и достопримечательности, а еще через месяц, когда Плотский проезжает какой-нибудь маленький городок (четыреста двенадцать трудящихся, сто семьдесят пять вдов и девушек, тридцать частников и две особы с порочными наклонностями) на старинном, высоком, как кафедра, исполкомовском автомобиле — все глядят на него с почтением и шепчут:

— Это пешеход! Пешеход едет!

И если кто-нибудь удивленно спрашивает, почему пешеход катит в автомобиле, что как-то не соответствует его званию, все презрительно отворачиваются от болвана и на всех лицах появляется одно выражение:

— Где ж это видно, чтоб настоящие пешеходы ходили пешком! Пешком ходят только любители, дилетанты, профаны!..

1928

МОСКВА ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

Рядовой октябрьский день в Москве. В такой день отрывной календарь «Светоч» рекомендует называть новорожденных детей Станиславом и Фокой, если это мальчики, или Ефросинией и Матильдой, если это девочки. В этот день солнце восходит в 5 часов 44 минуты и заходит в 17 часов 08 минут. Произведя несложные арифметические выкладки, «Светоч» определяет долготу дня равной двенадцати часам и шестнадцати минутам.

Все это верно и убедительно, но если под словом день понимать работу, то ночи в Москве нет совсем, и все двадцать четыре часа московских суток представляют собой день.

Темная календарная ночь стоит над столицей, набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь.

На Красноворотской площади глухо ревут паяльные лампы, десятки людей вырывают, как репу, булыжники из мостовой — идет смена изношенных, сбитых трамвайных рельс. На Берсеневской набережной, у Большого Каменного моста, сияют высоко подвешенные электрические лампы, шумят бетономешалки, и, отбрасывая по несколько теней каждый, работают каменщики — здесь строится дом-великан.

Ночью работают третьи смены на фабриках, ночью только и вступают в работу ротационные машины в газетных типографиях. С мостика у Александровского вокзала можно увидеть, как в белом дыму и огнях маневрируют паровозы. Ночью Москва работает, как днем.

В предчувствии солнца небо становится пепельным, синие тучи, сидевшие до сих пор кучно на горизонте, приходят в движение, и зеленые кафли на шатровых кремлевских башнях начинают поблескивать.

В этот час по пустым улицам, сотрясаясь, звеня и подпрыгивая по неровной мостовой, пробегает прокатная автомашина, нагруженная истомившимися за ночь весельчаками. К милиционеру, расхаживающему на перекрестке, доносится тоскующий возглас из машины: «А салату не хватило, совсем не хватило», и машина, покрякивая, уносится прочь.

Когда в полном соответствии с указаниями календаря «Светоч» солнце высовывается из-за горизонта, оно уже застает на улицах дворников, размахивающих своими метлами, словно косами. Дворники — народ по большей части весьма меланхолический. Может быть, причина здесь та, что им приходится собирать остатки прожитого дня: все бумажки, ломаные папиросные коробки, тряпье, слетевшую с чьей-то ноги рваную сандалию — весь мусор и конские яблоки, оставленные за день на улицах двумя миллионами московского населения и многими тысячами лошадей.

Но еще раньше дворников появляются на улицах редкие собиратели окурков. Собирание окурков не есть, конечно, профессия, но человеку, вынужденному курить за чужой счет и небрезгливому, приходится вставать спозаранку. Окурок, валяющийся посреди улицы, ничего не стоит — он почти всегда выкурен до «фабрики», его не хватает даже на одну затяжку. Опытный собиратель направляется прямой дорогой к трамвайной остановке. Здесь валяется много больших, прекрасной сохранности, окурков. Их набросали пассажиры, садившиеся вчера в подоспевший вагон. Тут можно найти и «Аллегро», и «Червонец», и «Люкс»,

а при случае даже «Герцеговину флор». Остается только выбирать по своему вкусу.

Собирателей окурков вспугивают дворники, а дворников свежевымытые вагоны трамвая, пробегающие с предельной скоростью по свободным еще от народа улицам.

Проходит около получаса. Солнце ломится во все окна, а город, кажется, и не думает просыпаться. С ведром мучного клейстера, кистью и рулоном афиш под мышкой медленно идет расклейщик; ночные сторожа распахивают свои сторожевые тулупы и обмениваются несложными новостями; редкие пешеходы, точно стесняясь, что их так мало, пропадают в переулках.

Но впечатление это минутно и обманчиво.

Город просыпается волнами. В седьмом часу утра возникает рабочая волна. К восьми часам по улицам катится вал домохозяек и школьников, а к девяти из подъездов и ворот выносится третья волна — движутся советские служащие.

До этого жизнь города концентрируется в отдельных пунктах — на рынках, на вокзалах, в газетных экспедициях. Город готовится, подтягивает резервы для того, чтобы встретить сотни тысяч людей, которые с минуты на минуту выступят из своих квартир в будничный трудовой поход и потребуют себе всего сразу — два миллиона завтраков, полмиллиона газет, все трамвайные и автобусные вагоны, чтобы проехать в них, и все московские улицы, чтобы пройти по ним.

И город готовится, подтягивает силы. На огромные площади торопливо стягиваются фургоны с продовольствием. На Болотный, Смоленский, Сухаревский, Тишинский, Центральный и прочие рынки свозят картофель в мешках, овощи в ящиках, фрукты в корзинах, хлеб и сахар, капусту и соль, свеклу и дыни.

Город проснется и потребует мыла, спичек и папирос. Ему нужны башмаки и костюмы. Он захочет колбасы десяти сортов и сельдей, он захочет молока.

Поэтому в ранние часы утра на вокзалах слышатся громы выгружаемых бидонов с молоком и на вокзальные площади высыпают толпы молочниц в пла-

точках. Поэтому на рынках столько суеты, поэтому внутренние дворы кооперативных магазинов заполняются площадками, обитыми оцинкованной жестью: на них навалены мясные туши, покрытые перламутровой пленкой; поэтому у газетных экспедиций происходят баталии газетчиков: они стремятся как можно скорее получить свою пачку газет.

Надо торопиться: город сейчас проснется, а еще не все готово. Делаются последние приготовления. Распахиваются огромные деревянные ворота рынков. Разносчики газет занимают свои посты на улицах и бульварах. Солнце приподымается повыше, словно желая получше увидеть все происходящее в городе.

И огромный город просыпается. Сон покидает его не сразу. В центре еще спят, но окраины проснулись. На Тверском бульваре нет еще ни души, когда Краснохолмский, Устьинский, Замоскворецкий, Каменный и Крымский мосты переходят многотысячные, слитные и рассыпанные толпы, направляясь на работу.

Паровыми криками, гудками зовут к себе рабочих предприятия машиностроительные, текстильные, конфетные, электротехнические, швейные, табачные и вагонные — «АМО», «Борец», «Геофизика», «Гознак», «Красная звезда» и «Большевичка», «Металлист» и «Красная Пресня», «Новая заря» и «Буревестник», «Пролетарский труд», «Серп и молот», «Спартак», «Шерсть — сукно», «Ява» и еще сотни фабрик и заводов собирают в своих корпусах пролетариев Москвы для кипучей работы. Разноцветный дым вылетает из высоких колонноподобных труб паровых станций; беззвучным и легким перемещением рубильника на мраморной распределительной доске включается электроэнергия, и разнообразный шум наполняет кирпичные корпуса. Фабричное кольцо, опоясывающее Москву, приступило к работе.

Между тем день растет. С окраин он перебрасывается в центр, он становится шумливым и деятельным. У нефтелавок собираются женщины с жестянками для керосина, образуя болтливые группки.

Настал хлопотливый час домохозяек. Они наполняют кооперативные магазины, критически осматри-

вают развешанную на изразцовых стенах говядину, нюхают фарш, прицениваются к петрушке и закидывают продавцов вопросами о том, когда получится денатурированный спирт. Продавцам с ними много хлопот: они требовательны, разборчивы и в то же время нерешительны. Домохозяйка долго рассматривает морковь и, уже собравшись брать ее, вдруг уходит, решив, что в соседнем отделении «Коммунара» морковка лучше.

Домохозяек с их мягкими плетеными кошелками сменяют на улицах дети-школьники. Первая ступень бежит вприпрыжку, подкидывая на ходу шапки в воздух, останавливаясь, чтобы подобрать валяющийся у обочины кусочек синего стекла или поправить съехавший на плечо красный галстук.

Девочки из второй ступени трясут стрижеными кудрями и дорогу в школу сокращают разговорами о моде и обществоведении. Молодые граждане из той же ступени говорят о футболе, «Красине», делах своего учкома и о красоте желтых кожаных курток, так привлекательно рисующихся в витрине «Москвошвея».

Домохозяйки исчезают с улиц. Они разошлись по своим кухням. Дети откричали свое и расселись по партам. Девятый час — девятый вал; во всех направлениях движутся к своим учреждениям советские служащие.

Мелькают толстовки всех мыслимых фасонов — с открытым воротом и с застегивающимся наглухо, с пояском на пряжке и на пуговицах, с японскими рукавами и рукавами простыми. Портфелей столько же видов, сколько и толстовок — с ручкой и без ручки, окованные и неокованные, желтого, черного и даже лилового цвета.

Час критический — девять без десяти минут. Нужно позавтракать и попасть на службу без опоздания. В столовых раздается нетерпеливый звон ложечек о стаканы.

В закусочных люди завтракают, стоя за высокими, по грудь, столами. Трамвайные вагоны подвергаются исступленным атакам. Воинственное настроение овла-

девает людьми, стоящими в трамвайных очередях. И если вагоны не разлетаются в щепы, то явление это граничит с чудом.

Московский трамвай никак не может удовлетворить всех желающих, а все-таки перевозит. Это чудо, и, как всякое чудо, оно идет вразрез с материалистическим мировоззрением. Поэтому деятелям из коммунального хозяйства необходимо искоренить чудеса на городском транспорте. Для этого нужно добавить побольше вагонов.

Перегруженные до того, что у них лопаются стекла, вагоны с тяжелым ревом высаживают служащих у огромных тысячеоконных зданий Дворца Труда, ВСНХ, комиссариатов и прочих учреждений, направляющих жизнь всей страны.

Утро кончилось в девять часов, хотя календарь «Светоч» и будет оспаривать это. Он станет доказывать, что астрономическое утро кончается в двенадцать часов пополудни. Но в Москве утро кончается тогда, когда все пущено в ход. А к девяти часам работает все.

Фабрики на ходу, дети уже в школе, обеды варятся, в учреждениях бурно звонят телефоны и топочут пишущие машинки. Все на полном ходу, все заняты. Работает правительство и партия, работают профессиональные союзы, рабочие, директора, вузовцы, врачи, шоферы, ломовики, профессора, инспекторы, портные, работают все, начиная с ученика фабзавуча и кончая членами Политбюро.

И в эти рабочие часы московские толпы теряют свои характерные особенности. Теперь уже не видно на улицах однородных людских потоков, состоящих только из служащих, только рабочих или детей. Теперь на улице все смешано и можно увидеть кого угодно.

Бредет кустарь со взятой в починку мясорубкой, модница недовольно выскакивает уже из пятого обувного магазина, где она примеряла лаковый башмачок; можно увидеть и лицо свободной профессии, провожающее модницу сахарным взглядом, и толстую даму, на лице которой пятнами запечатлелось крымско-кавказское солнце.

В это время люди труда видны больше на мостовых, чем на тротуарах.

Длиннейшие обозы с товарами тянутся на вокзалы и с вокзалов. Битюги выступают медленно и свои закрытые шерстью копыта ставят на мостовую торжественно, как медную печать. Сотрясая землю, проносятся на пневматиках грузовики «бюссинги», которые возят песок на постройку с Москвы-реки, где его выгружают с больших грузоемких барж.

Плетутся извозчики в синих жупанах. Они трусливо поглядывают на милиционера и его семафор с красными кругами. До сих пор московские извозчики полагают, что все правила езды созданы с тайной целью содрать с них, извозчиков, побольше штрафов. Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, где есть милицейские посты.

Постоянные взвизгивания и стоны автомобильных сирен и клаксонов рвут уши. Чем меньше по своим силам машина, тем быстрее она мчится по улице. Таков уж своенравный обычай московских шоферов.

Черные, чахлые фордики проносятся со скоростью чуть ли не штормового ветра. В то же время реввоенсоветовский «паккард» болотного цвета, машина во много раз сильнейшая фордовской каретки, катится уверенно и не спеша. Слышно только шуршание ее широких рубчатых покрышек о мостовую. Никто пока не может объяснить, почему так темпераментны шоферы маленьких машин. Это загадка российского автомобилизма.

На победный бег широкозадых автобусов, низкорослых такси и легковых машин, которые создают шум на московских улицах, грустно глядят со своих облучков бородатые извозчики. Увы, пролетка — это карета прошлого. В ней далеко не уедешь, и грусть извозчиков вполне понятна.

Если ранним утром в большом спросе пищепродукты, а немного попозже разные хозяйственные предметы — синька, щелок, ведра или мыло для стирки, то в разгаре дня наполняются магазины, торгующие одеждой, башмаками, чемоданами, галстуками и галошами, одеялами и цветами.

Покупатели теснятся у лакированных кооперативных прилавков. В стеклянной галерее ГУМа движение больше, чем на самой людной улице Самары или Одессы. Универмаг Мосторга за субботний день пропускает сквозь свои зеркальные двери столько покупателей, что если бы их запереть в магазине, то можно было бы организовать здесь большой губернский город, настоящий — там были бы и свои рабочие, и профессора, и врачи, и журналисты, и нетрудовые элементы. Было бы только немного тесновато.

К шуму, который усердно производят машины и извозчики, присоединяется кислый визг продавцов духов, старых книг, дамских чулок или крысиного мора. Китайцы у Третьяковского проезда восхваляют свои портфели и сумочки, пятновыводчики хватают прохожих за рукава и насильно уничтожают пятна у них на одеждах. Средство для склеивания разбитой посуды предлагается с такой настойчивостью, как если бы от того, купят его или не купят, зависело счастье или несчастье всего человечества.

Небо чернеет от дыма, ветер гоняет пыль столбиками. Московский день продолжается. Множество событий, замечательных и крохотных, совершается в большом городе. А толпы циркулируют все поспешней.

Надвигается дождь, собиравшийся уже с полдня; готов обед дома, и тесно стало в столовых, закусочных и ресторанчиках. Пятый час дня.

Обратные валы катятся с завода по Пятницкой, Тверской, по Мещанским, Арбату, по всем артериям столицы. Учреждения извергают из своих недр канцеляристов. Трамвай подвергается нападению, еще более ожесточенному, чем утром. Истошными голосами выкрикивается название вечерней газеты. Вегетарианцы — пожиратели бураков — забегают в столовую под сладеньким названием «Примирись» или «Убедись». Толчея деловая или бездельная усиливается, но это уже последняя вспышка. День догорает и дымится.

После короткого отдыха, после получасового затишья на улице и площадях движение снова усиливается, на этот раз по совершенно новым направлениям.

Утром передвижка населения происходит из домов на предприятия, в банки, школы, вузы, редакции и канцелярии. В послеобеденное время целью передвижения являются спортивные площадки, клубы, читальни и парки.

На Ленинградском шоссе пятнадцатитысячная толпа с трудом пробирается через узкие ворота на стадион. Над толпой беспомощно пляшут фигуры конных милиционеров. А по аллеям и велосипедным дорожкам Петровского парка торопятся на футбольный матч еще новые группы, кучки и колонны людей.

Низко и тихо идет на посадку алюминиевый «юнкерс», прилетевший из Германии. Когда он пролетает над футбольным полем, пассажиры его видят густо усаженные зрителями деревянные трибуны, мяч, задержавшийся в воздухе, и обе команды, перемешавшиеся в игре.

На спортплощадках, в гимнастических залах молодежь тренируется и в этом находит настоящий отдых.

Солнце, раскидавшее в последнюю минуту мягкие лепные облака, отражается в оконных стеклах малиновым сиропом и оседает за крыши одноэтажных домиков на окраине.

Наступил час лекций, театров, время яростных диспутов о литературных и половых проблемах, о Волго-Доне и засухоустойчивых злаках.

Центрами притяжения становится Свердловская площадь с ее тремя театрами, Деловой клуб на Мясницкой, Садово-Триумфальная, иллюминированная световыми надписями кино, и все цирки, многочисленные клубы и красные уголки.

Из задымленных пивных и ресторанчиков под утешительными названиями «Друг желудка» или «Хризантема» вырывается на улицу струнная музыка и скороговорка рассказчика. Здесь заседают друзья пива и воблы, любители водки стопками или графинчиками.

У тесового забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие и завсегдатаи этого места, деклассированные за-

булдыги, промышляющие нищенством, а порою и кражами.

Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает фиолетовый свет, электрический город Могэса, расположенный у Москвы-реки, работает безостановочно. Трудовой шум заглушает все.

И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры, и клубы, и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой,— даже и тогда светятся кремлевские здания и шумно дышит Могэс.

В столице труда и плана работа не прекращается никогда.

1928

СЛУЧАЙ В КОНТОРЕ

В конторе по заготовке рогов и копыт высшим лицом был Николай Константинович Иванов. Я особенно прошу заметить себе его имя и отчество — Николай Константинович. Также необходимо договориться о том, на каком слоге его фамилия несла ударение. Ударение у Николая Константиновича падало на последний слог. Фамилия его читалась — Ивано́в.

Дело в том, что Ивано́вых, то есть людей, несущих ударение на последнем слоге своей фамилии, необходимо отличать от их однофамильцев, у которых ударение падает на второй слог. Ивано́в и Ива́нов ничуть не схожи. Говоря короче, все Ивано́вы люди серенькие, а все Ива́новы чем-нибудь да замечательны.

Ивано́вых великое множество. Ива́новых можно перечесть по пальцам.

Ивано́вы занимают маленькие должности. Это счетоводы, пастухи, помощники начальников станций, дворники или статистики.

Ива́новы люди совсем другого жанра. Это известные писатели, композиторы, генералы или государственные деятели. Например, писатель Всеволод Ива́нов, поэт Вячеслав Ива́нов, композитор Ипполитов-Ива́нов или Николай Иудович Ива́нов, генерал, командовавший Юго-Западным фронтом во время немецкой войны. У них у всех ударение падает на второй слог.

Известность, как видно, и служит причиною того, что ударение перемещается.

Писатель Всеволод Ива́нов, до того как написал свою повесть «Бронепоезд», безусловно, назывался Всеволод Ивано́в.

Если помощнику начальника станции Ивано́ву удастся прославиться, скажем, перелетом через океан, то ударение немедленно перекочует с третьего на второй слог.

Так свидетельствуют факты, история, жизнь.

Возвращаясь, однако, к конторе по заготовке рогов и копыт для нужд гребеночной и пуговичной промышленности, я должен заметить, что заведующий конторой был человек ничем особенно не замечательный. Николай Константинович был, если можно так сказать, человек пустяковый, с ударением на последнем слоге. Служащий — и ничего больше.

Николай Константинович находился в состоянии глубочайшего раздумья.

Дело в том, что все служащие по заготовке роговых материалов были однофамильцами Николая Константиновича. Все они были Ивано́вы.

Приемщиком материалов был Петр Павлович Ивано́в.

Артельщиком в конторе служил Константин Петрович Ивано́в.

Первым счетоводом был Николай Александрович Ивано́в.

Второго счетовода звали Сергеем Антоновичем Ивано́вым.

И даже машинистка была Ивано́ва Марья Павловна.

Как все это так подобралось, Николай Константинович сообразить не мог, но ясно понимал, что дальше это терпимо быть не может, потому что грозит катастрофической опасностью. Он отворил дверь кабинета и слабым голосом созвал сотрудников.

Когда все собрались и расселись на принесенных с собою темно-малиновых венских стульях, Николай

Константинович испуганно посмотрел на своих подчиненных. Снова с необыкновенной остротой он вспомнил, что все они Ивано́вы и что сам он тоже Ивано́в. И, не в силах больше сдерживаться, он закричал что есть силы:

— Это свинство, свинство и свинство! И я довожу до вашего сведения, что так дальше терпимо быть не может!

— Что не может? — с крайним удивлением спросил приемщик Петр Павлович.

— Не может быть больше терпимо, чтоб ваша фамилия была Ивано́в! — твердо ответил Николай Константинович.

— Почему же моя фамилия не может быть Ивано́в? — сказал приемщик.

— Это вы поймете, когда вас выгонят со службы. Всех нас выгонят, потому что мы Ивано́вы, а следовательно, родственники. Тесно сплоченная шайка родственников. Как я этого до сих пор не замечал?

— Но ведь вы знаете, что мы не родственники! — возопила Мария Павловна.

— Я и не говорю. Другие скажут. Обследование. Мало ли что? Вы меня подводите. Особенно вы, Мария Павловна, у которой даже отчество общее с Петром Павловичем.

Приемщик вздрогнул и тяжко задумался.

— Действительно,— пробормотал он,— совпадение удивительное.

— Надо менять фамилии,— закончил Николай Константинович.— Ничего другого не придумаешь. И чем скорее, тем лучше. Лучше для вас же.

— Пожалуй, я обменяю, раз надо! — вздохнул артельщик.— Нравится мне тут одна фамилия — Леонардов. У меня такой старик был здесь знакомый. У него даже один директор хотел купить фамилию. Очень ему нравилась. Десять рублей давал, но старик не согласился.

— Леонардов — чудная фамилия,— заметила машинистка,— но как вы ее примете?

— Теперь можно. Старик уехал во Владивосток крабов ловить.

Мария Павловна с минуту помолчала, рассматривая свои белые чулки, от стирки получившие цвет рассыпанной соли. Наконец она решилась и бодро сказала:

— Какую же взять фамилию мне? Мне бы хотелось, чтобы фамилия была, как цветок.

И Мария Павловна принялась перекраивать названия цветов в фамилии.

Душистый горошек, анютины глазки и иван-дамарья были сразу отброшены. Мария Душистова, Мария Горошкова и Мария Душистогорошкова были забракованы, осмеяны и преданы забвению. Из иван-да-марьи выходила та же Ивано́ва. Хороши были цветы фуксии, но фамилия из фуксии выходила какая-то пошлая: Фукс. Мадемуазель Фукс увяла прежде, чем успела расцвесть.

Тогда Мария Павловна с помощью обоих счетоводов отважно врезалась в самую глубь цветочных плантаций. Царство флоры было обследовано с мудрой тщательностью. Гармонические имена цветов произносились нараспев и скороговоркой: Левкоева, Ландышева, Фиалкина, Тюльпанова.

Счетоводы выбились из сил.

— Хризантема, орхидея, астры, резеда! Честное слово, резеда чудный цветок.

— Так мне ж не нюхать, поймите вы!

— Георгин, барвинок, гелиотроп.

— Или атропин, например! — сказал вдруг молчавший все время артельщик.

Покуда счетоводы измывались над артельщиком, объясняя ему, что атропин не цветок, а медикамент, Мария Павловна приняла решение называться Ананасовой.

Это было нелогично, но красиво.

У Сергея Антоновича все обстояло благополучно, хотя воображения у него не хватило. Свою фамилию Ивано́в он обменял на Петрова. Все снисходительно улыбнулись.

— У меня лучше! — похвастался первый счетовод.— Меня теперь зовут Николай Александрович Варенников.

Приемщику понравилась фамилия Справченко. Это была фамилия хорошая, спокойная, а главное — созвучная эпохе.

Довольнее всех оказался Николай Константинович Ивано́в, заведующий конторой по заготовке рогов и копыт для нужд пуговичных фабрик.

— Я очень рад,— сказал он приветливо,— что все устроилось так хорошо. Теперь никакие толки среди населения невозможны. В самом деле, что общего между Справченко и Варенниковым, между Ананасовой и Леонардовым или Петровым? А то, знаете, Ивано́ва, да Ивано́в, да снова Ивано́в и опять Ивано́в. Это каждого может навести на мысли.

— А вы какую фамилию взяли себе? — спросила Мария Павловна Ананасова.

— Я? А зачем мне новая фамилия? Ведь теперь Ивано́вых в конторе больше нет. Я один, зачем же мне менять? К тому же мне неудобно. Я ответственный работник, я возглавляю контору. Даже по техническим соображениям это трудно. Как я буду подписывать денежные чеки? Нет, мне это невозможно, никак невозможно сделать.

...Все пошло своим чередом, и через установленный законом срок отдел записи актов гражданского состояния утвердил за пятью Ивано́выми их новые фамилии.

А спустя неделю после этого погасла заря новой жизни, пылавшая над конторой по заготовке рогов и копыт. Николая Константиновича уволили за насильственное понуждение сотрудников к перемене фамилии.

Получив это печальное известие, Николай Константинович тихо вышел из своей комнаты. В тоске он посмотрел на Константина Петровича Леонардова, на Петра Павловича Справченко, на Николая Але-

ксандровича Варенникова и на Марию Павловну Ананасову.

Не в силах вынести тяжелого молчания, артельщик сказал:

— Может быть, вас уволили за то, что вы не переменили фамилии? Ведь вы же сами говорили...

Николай Константинович ничего не ответил. Шатаясь, он побрел в кабинет,— как видно, сдавать дела и полномочия. От горя у него сразу скосились набок высокие скороходовские каблучки.

1928

РАЗБИТАЯ СКРИЖАЛЬ

Был он сочинителем противнейших объявлений, человеком, которого никто не любил. Неприятнейшая была эта личность, не человек, а бурдюк, наполненный горчицей и хреном.

Между тем он был вежлив и благовоспитан. Но таких людей ненавидят. Разве можно любить сочинителя арифметического задачника, автора коротких и запутанных произведений? Нельзя удержаться, чтобы не привести одно из них:

«Купец приобрел два цибика китайского чаю двух сортов весом в 40 и 52 фунтов. Оба эти цибика купец смешал вместе. По какой цене он должен продавать фунт полученной смеси, если известно, что фунт чаю первого сорта обошелся купцу в 2 р. 87 коп., а фунт второго сорта — в 1 р. 21 коп., причем купец хотел получить на каждом фунте чая прибыль в 99 копеек?»

Такие упражнения очень полезны, но людей, которые их сочиняют, любить нельзя, сердце не повернется.

Сколько гимназистов мечтало о расправе с Малининым и Бурениным, составителями распространенного когда-то задачника!

В какие фантастические мечты были погружены головы, накрытые гимназической фуражкой с алюминиевым гербом!

«Пройдут года, и я вырасту,— думал ученик,— и когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов. Малинин и Буренин, обедневшие и хромые, стоят у пекарни Криади и просят подаяния. Взявшись за руки, они поют жалобными голосами. Тогда я подойду поближе к ним и скажу: «Только что я приобрел семнадцать аршин красного сукна и смешал их с сорока восьмью аршинами черного сукна. Ка́к вам это понравится!» И они заплачут и, унижаясь, попросят у меня на кусок хлеба. Но я не дам им ни копейки».

Такие же чувства внушал мне сосед по квартире — бурдюк, наполненный горчицей и хреном, человек по фамилии Мармеладов.

Квартира наша была большая, многолюдная, многосемейная, грязная. Всего в ней было много — мусора, граммофонов и длиннопламенных примусов. В ней часто дрались и веселились, причем веселье по звукам, долетавшим до меня, ничем не отличалось от драки.

И над всем этим нависал мой сосед, автор ужаснейших прокламаций.

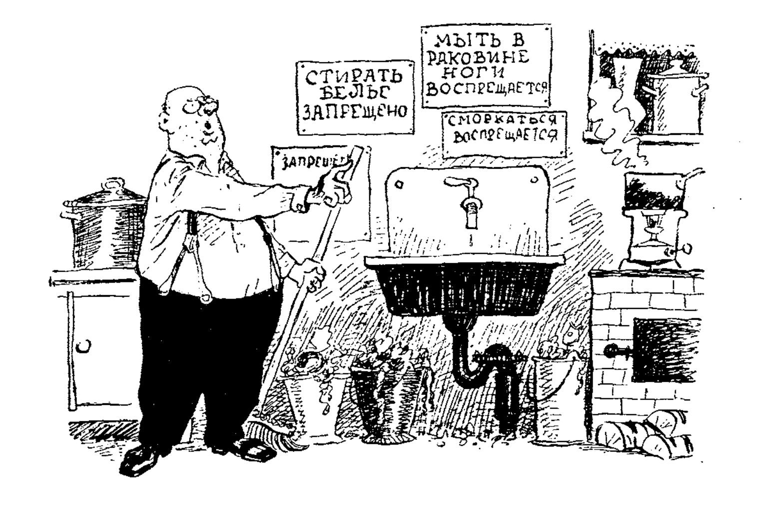
В кухне, у раковины, он наклеил придирчивое объявление о том, что нельзя в раковине мыть ноги, нельзя стирать белье, нельзя сморкаться туда. Над плитой тоже висела какая-то прокламация, написанная химическим карандашом, и тоже сообщалось что-то нудное.

Мармеладов где-то служил, и нетрудно поверить, что своей бьющей в нос справедливостью и пунктуальностью он изнурял посетителей не меньше, чем всех, живших с ним в одной квартире.

Особенно свирепствовал он в уборной.

Даже краткий пересказ содержания главнейших анонсов, которыми он увешал свою изразцовую святая святых, отнимет довольно много места.

Висела там категорическая просьба не засорять унитаз бумагой и преподаны были наиудобнейшие размеры этой бумаги. Сообщалось также, что при пользовании бумагой указанных размеров уборная будет работать бесперебойно к благу всех жильцов.



Отдельная афишка ограничивала время занятия уборной пятью минутами.

Были также угрозы по адресу нерадивых жильцов, забывающих о назревшей в эпоху культурной революции необходимости спускать за собой воду.

Все венчалось коротеньким объявлением:

«Уходя, гасите свет».

Оно висело и в уборной, и на кухне, и в передней — и оттого темно было вечером во всех этих местах общего пользования. Двухгрошовая экономия была главной страстью моего соседа — бурдюка, наполненного горчицей и хреном.

— Раз счетчик общий,— говорил он с неприятной сдобностью в голосе,— то в общих интересах, чтоб свет без надобности не горел.

От его слов пахло пользой, цибиками, купцами, смешанными аршинами черного и красного сукна, и перетрусившие жильцы вообще уж не смели зажигать свет в передней. Там навсегда стало темно.

Расчетливость и пунктуальность нависли над огромной и грязной коммунальной квартирой, к удовольствию моего справедливого соседа. Отныне дома, как на службе, он размеренно плавал среди циркуляров, пунктов и запретительных параграфов.

Но не суждено ему было цвести.

Наш дом захватила профорганизация парикмахеров «Синяя борода», и обоих нас переселили в новый дом, двухкомнатную квартиру.

В первый день мой бурдюк был чрезвычайно оживлен. Внимательным оком он рассмотрел все службы — кухню и переднюю, ванную комнату и сиятельную уборную, как видно, примериваясь к местам, где можно развесить всякого рода правила и домовые скрижали.

Но уже вечером бурдюк погрузился в глубокую печаль. Стало ему томительно ясно, что на новом месте незачем и не для кого развешивать свои назидательные сочинения. В прежней квартире жило тридцать человек, а здесь только двое. Некого стало поучать.

И бурдюк сразу потускнел. Уже не бродит он вечерами по коридорам, одергивая зарвавшихся жильцов, а в немой тоске сидит у себя.

Иногда к нему приходит его приятель, и оба они что-то жалобно напевают, очень напоминая обедневших Малинина и Буренина из мечтаний разъяренного ученика первого класса.

1929

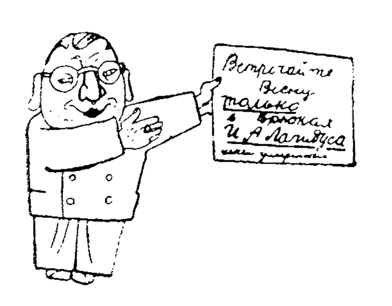
КАК ДЕЛАЕТСЯ ВЕСНА

Весна в Москве делается так.

Сначала в магазинной витрине фирмы «Октябрьская одежда», принадлежащей частному торговцу И. А. Лапидусу, появляется лирический плакат:

Встречайте весну в брюках И. А. Лапидуса *Цены умеренные*

Прочитав этот плакат, прохожие взволнованно начинают нюхать воздух. Но фиалками еще не пахнет. Пахнет только травочкой-зубровочкой, настоечкой для водочки, которой торгуют в Охотном ряду очень взрослые граждане в оранжевых тулупах. Падает колючий, легкий, как алюминий, мартовский снег. И как бы ни горячился И. А. Лапидус, до весны еще далеко.



Потом на борьбу с климатом выходят гастрономические магазины. В день, ознаменованный снежной бурей, в окне рос-

кошнейшего из кооперативов появляется парниковый огурец.

Нежно-зеленый и прыщеватый, он косо лежит среди холодных консервных банок и манит к себе широкого потребителя.

Долго стоит широкий потребитель у кооперативного окна и пускает слюни. Тогда приходит узкий потребитель в пальто с воротничком из польского бобра и, уплатив за огурец полтора рубля, съедает его. И долго еще узкий потребитель душисто и нежно отрыгивается весной и фиалками.

Через неделю в универмагах поступают в продажу маркизет, вольта и батист всех оттенков черного и булыжного цветов. Отныне не приходится больше сомневаться в приближении весны. Горячие головы начинают даже толковать о летних путешествиях.

И хотя снежные вихри становятся сильнее и снег трещит под ногами, как гравий,— весенняя тревога наполняет город.

Три писателя из литературного объединения «Кузница и усадьба» также путем печати оповещают всех, что пройдут пешком по всей стране, бесплатно починяя по дороге кастрюли и сапоги беднейших колхозников. Цель — ознакомление с бытом трудящихся и собирание материалов для грядущих романов.

Универмаги делают еще одну отчаянную попытку. Они устраивают большие весенние базары.

Зима отвечает на это ледяным ураганом, большим апрельским антициклоном. Снег смерзается и звенит, как железо. Морозные трубы вылетают из ноздрей и ртов граждан. Извозчики плачут, тряся синими юбками.

В это время в универмагах продают минеральные стельки «Арфа», радикально предохраняющие от пота ног.

Горячие головы и энтузиасты покупают минеральные стельки и радостно убеждаются в том, что соединенными усилиями мороза и кооперации каче-

ство стелек поставлено на должную высоту — ноги действительно не потеют.

А снег все падает.

Не обращая на это внимания, вечерняя газета объявляет, что прилетели из Египта первые весенние птички — колотушка, бибрик и синайка.

Читатель теряется. Он только что запасся саженью дров сверх плана, а тут на тебе — прилетели колотушка, бибрик и синайка, птицы весенние, птицы, которые в своих клювах привозят голубое небо и жаркие дни. Но, поразмыслив и припомнив кое-что, читатель успокаивается и закладывает в печь несколько лишних поленьев.

Он вспомнил, что каждый год читает об этих загадочных птичках, что никогда они еще не делали весны и что самое существование их лежит на совести вечерней газеты.

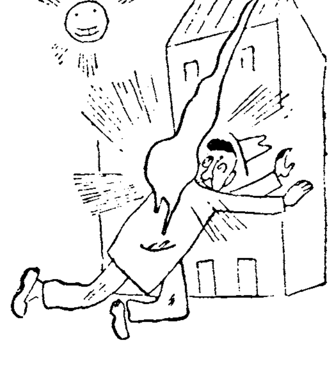
Тогда «вечорка» в отчаянии объявляет, что на Большой Ордынке, в доме № 93, запел жук-самец и что более явственного признака прихода весны и требовать нельзя.

В этот же день разражается певучая снежная метель, и в диких ее звуках тонут выкрики газетчиков о не вовремя запевшем самце с Большой Ордынки.

Наконец галки начинают тяжело реять над городом и по оттаявшим железным водосточным трубам с грохотом катятся куски льда. Наконец граждане получают реванш за свою долготерпеливость. С удовольствием и сладострастием они читают в отделе происшествий за 22 апреля:

Несчастный случай. Упавшей с дома № 18, по Кузнецкому мосту, громадной сосулькой тяжело изувечен гражд. М. Б. Шпора-Кнутовищев, ведший в вечерней газете отдел «Какая завтра будет погода». Несчастный отправлен в больницу.

Повеселевшие граждане с нежностью озирают ручейки, которые, вихляясь, бегут вдоль тротуарных бордюров, и даже начинают с симпатией думать о Шпоре-Кнутовищеве, хотя этот порочный человек с февраля месяца не переставал долбить о том, что весна будет ранняя и дружная.



Тут, кстати, появляется в печати очерк о Кисловодске, принадлежащий перу трех писателей из группы «Кузница и усадьба». И граждане, удивляясь тому, как быстро теперь ходят писатели пешком, убеждаются в том, что весна действительно не только наступила, но уже и прошла.

1929

ДИСПУТЫ УКРАШАЮТ ЖИЗНЬ

Непреодолимую склонность к диспутам люди начинают проявлять еще с детства.

Уже в десятилетнем возрасте будущие диспутанты заводят яростные споры по поводам, которые даже при благожелательном рассмотрении могут показаться незначительными.

— Кто плюнет на наибольшее расстояние?

Или:

— Кто раньше прибежит от Никитских ворот к памятнику Пушкина: Боба или Сережа Вакс?

Словопрению здесь уделяется самое малое время. Противники быстро приступают к практическим испытаниям,— либо мечут дальнобойные плевки, либо наперегонки мчатся по скрипучим от гравия аллеям Тверского бульвара в благородном стремлении первым финишировать у монумента великого поэта.

Диспут кончается тем, что Боба верхом на Сереже Вакс возвращается к исходному месту. Дикая радость сияет на лице Бобы. О том, что победил именно Боба, свидетельствует также его выгодная позиция на плечах маленького Вакса.

Здесь все ясно.

Совсем не то бывает на диспутах взрослых людей. Там все туманно, и различить победителя в толпе диспутантов абсолютно невозможно.

В интересах публики, всегда желающей знать, чья же точка зрения восторжествовала, удобно было бы, конечно, чтобы победитель на диспуте уезжал домой на плечах побежденного. Тогда мы стали бы свидетелями необыкновенных и вместе с тем поучительных картин.

Зимняя ночь. Кристаллический снег разнообразно сверкает на электрифицированных улицах. Ветер извлекает из телеграфных проволок заунывные, морозные симфонии. А по Лубянскому проезду верхом на критике Федоре Жице проезжает поэт Владимир Маяковский. Картина величественная и волнующая душу.

Теперь все запоздалые путники, повстречавшиеся с этой кавалькадой, будут точно знать:

— Сегодня был литературный диспут. На нем взял верх Маяковский. Что же касается Жица и Левидова, то их взгляды оказались несозвучными эпохе, за что они, Левидов и Жиц, и понесли вполне заслуженное наказание.

Но такие концовки диспутов, как видно, могут быть осуществлены только в будущем.

Прежде чем приступить к подробному описанию московских диспутов и проанализировать, как любят говорить шахматисты-любители, необходимо предпослать несколько слов о лекциях.

Всякая лекция является зародышем диспута, и есть даже такие лекции, отличить которые от диспутов почти невозможно.

Как правило, лекции могут быть разбиты на два ранга, а именно: клубные и общегражданские.

Клубный лектор по большей части человек седой и представительный. Он называет себя профессором, но не любит указывать университета, к которому прикреплен. У профессора белые усы и розовеющие щеки. Летом он иногда облачен в крылатку с круглой бронзовой застежкой у горла. Портфель его набит удостоверениями от заведующих клубами. Эти бумаги, скрепленные печатями, гласят об успехе, который выпал на долю лекции профессора в различных городах.



В общем, профессор — фигура весьма сомнительная и всюду читает одну и ту же лекцию под названием: «Человечество — рабочая семья».

Клубные посетители слушают профессора с мрачной терпеливостью, покуда с задней скамьи не раздается тревожный возглас:

— Ки́на не будет!

Этот печальный крик наполняет сердца такой тоской, что все разом поднимаются и с шумом спугнутой воробьиной стаи покидают зал. Взору лектора представляются пустые скамьи. Тогда он застегивает крылатку своей бронзовой пуговицей и идет к завклубу за гонораром и удостоверением о том, что лекция прошла с громадным успехом.

Получив все это, профессор перекочевывает в Рязань, читает там лекцию, получает удостоверение и уезжает в Пензу. Городов и дураков на его жизнь хватает.

Лекции общегражданские блещут разнообразием и нуждаются в подразделениях:

а) Лекция обыкновенная, честная.

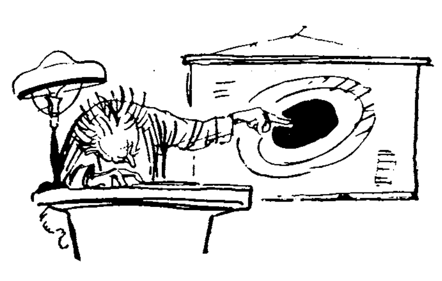
Честность ее характеризуется прежде всего названием и ценой билета (не дороже 25 коп.): «Строение земной коры» или «Новгородский быт XIV века».

Гражданин, попавший сюда, остается доволен. Он действительно узнает кое-что о строении земной коры или о быте Великого Новгорода.

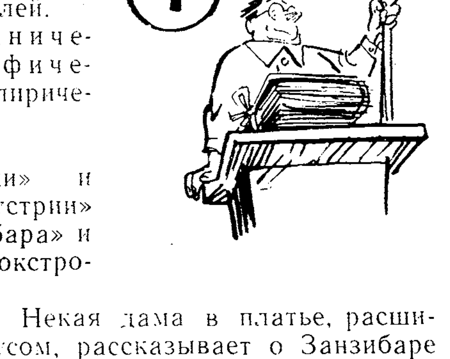
б) Лекция мирская.

Название ее значительно ароматней, чем название предыдущего вида лекции, и звучит так:

«Безволие и его причины».



Тут уже пахнет тем, что лектор будет говорить о половых болезнях, а потому билеты котируются от 75 коп. до полутора рублей.



в) Лекция техническая или географическая с уклоном в лирический туризм.

Названия:

«Чудеса техники» и «Форд, король индустрии» или «Красоты Занзибара» и «Париж в дыму фокстротов».

Билеты от рубля. Некая дама в платье, расшитом черным стеклярусом, рассказывает о Занзибаре или Париже по сохранившимся у нее воспоминаниям о своей свадебной поездке, состоявшейся в 1897 году. Вместо обещанного нового кинофильма показывают волшебным фонарем картинки из журнала «Природа и люди». На негодующие записки не отвечают.



г) Лекция хлебная.

Хлебная лекция читается сметливым гражданином из бывших адвокатов и называется так, чтобы все сразу поняли, в чем дело:

«Парный брак, или Тайна женщины».

Аудитория слушает, затаив дыхание. Из-под прокуренных усов лектора часто срываются слова: «Как известно, женский организм...» Внимание аудитории, большей частью мужской, достигает предела. Венеролога-гинеколога забрасывают записками. Сбор обильный и даже прекрасный.

Лекции последнего рода почти приближаются к

диспутам, история которых будет здесь изложена с возможной полнотой.

Славится Москва не словопрениями о том, жил ли Христос, и если бы жил, то к какой социальной группировке примыкал бы сейчас, и не вечерами, на которых вернувшиеся из заграничной поездки граждане рассказывают о своих впечатлениях.

Нет, рассказчики о загранице приелись. Все они докладывают так:

— Рабочих окраин Берлина мне посетить не удалось,— начинает обычно гражданин, приехавший из Берлина.

Гражданин же, приехавший из Парижа, предваряет слушателей, что рабочих окраин Парижа ему не удалось посетить.

Когда докладчики доходят до фразы: «Потоки такси и автобусов заливают улицы Берлина (или Парижа)», слушатель, надрывно зевая, уходит. Он знает, что сейчас будет рассказано о дансингах,— где «под звуки пошлых чарльстонов буржуазия топит мрачное предчу... револю... в шампа...»

Не этими лекциями славится столичный город: славится он диспутами пылкими, диспутами литературными.

Утром прохожие ошеломленно останавливаются перед большой афишей, на которой черными и красными литерами выведено:

Политехнический музей

ДИСПУТ

на тему:

На кой черт нам беллетристика

Тезисы: В первую голову надо вычистить Всеволода Иванова.— Гони Эфроса в дверь, он войдет в окно.— Последний зубр — Алексей Толстой.— О брусках, тихих Донах и драматурге Безыменском.— «Кузница и усадьба».— Искусство для Главискусства.— Нам нужны пожарные хроникеры!

Кроме всего этого, афиша обещает прения, ответы на записки, выступление Всеволода Иванова в последний раз перед отъездом, а также чтение стихов, романов и повестей слушателями Цандеровского института физических методов лечения, обучившихся стихосложению по руководству Георгия Шенгели «Как писать стихи, рассказы, повести, романы, фельетоны, очерки, поэмы и триптихи».

Афиша извещает также, что к участию в прениях приглашены все писатели, все поэты, три наркома и рабочие завода «Нептун», оставшиеся в живых современники Пушкина и писатель Катаев, автор книги «Растратчики», переведенной на шесть языков, включая сюда и сербский.

Путник ошалело покидает афишу, но долго еще в его голове прыгают черные и красные литеры. Прыгают они до тех пор, покуда путник не купит билета на диспут, имеющий прямой своей целью растереть в порошок изящную литературу в пределах кипучего Союза Республик.

В вечер диспута у дубового портала Политехнического музея разъезжают верховые милиционеры. Они водворяют порядок среди толп, устремившихся послушать прения о последнем зубре и пожарных.

В толпе кружатся участники диспута, которых озверевший контролер не впускает. Прибывшие спешным порядком с Цветного бульвара жулики тащат кошельки у зевак.

Утопающие контрамарочники хватаются за соломинку — поэта Кирсанова. Поэт обещает всех сейчас же провести в зал, но сам падает под ударом одичавшего контролера. Из среды поклонников изящной литературы несутся самые неизящные выражения.

Наконец, контролера, засевшего как некий Леонид в Фермопильском ущелье Политехнического музея, опрокидывают, и безбилетные с гиканьем врываются в зал.

Начинается дележка мест, грабеж зрительного зала, безбилетные с презрением оглядывают полтинничные места и рассаживаются на двухрублевых. Вскоре прибывают законные владельцы мест, завя-

зывается перебранка, но безбилетные побеждают, и застенчивые обладатели билетов с бараньей покорностью удаляются в проходы, где и переминаются с ноги на ногу до окончания вечера.

Куранты давно прозвонили час начала диспута, а на эстраде только стол, покрытый экзаменационным красным сукном, никелированный колокольчик и тыквообразный графин с водой.

Безбилетные громко ропщут.

Через час на эстраде показывается миниатюрная фигура беллетриссы Веры Инбер. Но это — мимолетное виденье. Испуганная ревом зрителей, беллетрисса убегает. Еще через полчаса на эстраду выходит критик проф. Гроссман-Рощин, подходит к столу, наливает воду в стакан, под рукоплескания выпивает ее и тоже уходит.

К десяти часам шесть неизвестных дам рассаживаются по стульям у стены. Это слушательницы Цандеровского института, пишущие стихи и романы по системе Шенгели. Публика громовыми голосами обсуждает их туалеты и успокаивается только тогда, когда с топотом высыпавший президиум занимает свои места.

Диспут начинается обещанным докладом «На кой черт нам беллетристика».

Читает его самый тихий по характеру поэт из лефов. У него серые глаза, костюм цвета полированного железа и пепельные волосы. Он похож на стального соловья и никак не может скрыть своих лирических наклонностей.

Мягким девичьим голосом он требует гильотинирования Джека Алтаузена и Феоктиста Березовского. Он также сообщает публике, что четвертование Олеши и Наседкина явится лишь справедливым возмездием за их литературные грехи.

На этом месте его прерывает теоретик бывшего лефа Осип Брик. Теоретик предлагает разрубить Пильняка на сто кусков по китайскому способу, но под гул публики умолкает.

Остальных писателей докладчик полагает возможным утопить с полным собранием сочинений каж-

дого на шее. Не имеющих же еще полного собрания — передать на службу в акционерное общество «Утильсырье», дабы они с пользой служили стране, собирая тряпки и кости.

Сообщив все это в высшей степени задушевным голосом, докладчик садится при жидких аплодисментах Осипа Брика и читает поданные ему записки.

Заинтересованная публика с дрожью ждет дальнейшего развертывания событий. Развертываются они следующим образом.

Председатель встает и нудным голосом объявляет:

— Выступление Всеволода Иванова не может состояться по болезни такового.

Из последующих слов председателя явствует, что заболели также все три наркома, все рабочие завода «Нептун» и автор, переведенный на шесть языков.

Что же касается современников Пушкина, то таковых в живых не оказалось и вследствие этого прибыть на диспут они не смогли.

Безбилетные зрители визжат от негодования, зрители платные помалкивают.

Слушательницы Цандеровского института физических методов лечения читают сочиненные ими триптихи и романы. Тут даже платные зрители начинают недоверчиво квакать.

Чей-то робкий голос требует деньги обратно, но в это время докладчик подымается с целью дать ответы на записки.

Диспут быстро потухает, потому что вопросы, заданные автору доклада «На кой черт нам беллетристика», довольно однотонны:

— Вам легко говорить, вы получили высшее образование.

— Вы бы лучше объяснили, почему нет в продаже животного масла?

— Сообщите, как писать стихи?

Получив разъяснения на все эти животрепещущие вопросы и так и не установив, нужно ли действительно снести с лица земли беллетристику, толпы покидают аудиторию и, ругая диспутантов, расходятся.

Многие клянутся никогда больше не ходить на диспуты. Но никто им не верит и сами они себе не верят.

Диспуты — украшение столицы, и через неделю новые афиши возвестят городу о диспуте под комбинированным названием:

ПИСАТЕЛИ — ПОПУТЧИКИ
И
ЖЕНЩИНА КАК ТАКОВАЯ

Как же тут не пойти, если диспуты... украшают жизнь?!

1929

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОДЕССУ

Памятники, люди и дела судебные

Для того чтобы туристу из Вологды или Рязани попасть в Одессу, есть несколько способов.

Можно отправиться туда пешком, катя перед собой бочку с агитационной надписью: «Все в ОДН». Этот способ излюблен больше всего молодежью и отнимает не больше полугода времени.

Можно также проехать из Рязани в Одессу на велосипеде. Для этого надо приобрести билет третьей всесоюзной лотереи Осоавиахима и дожидаться, пока на него не падет выигрыш в виде велосипеда. На это уходит всего только один год.

Если же билет выиграет фуфайку или электрический фонарик, то надлежит ехать в Одессу поездом. Фонарик можно захватить с собой и по ночам пугать его внезапным светом железнодорожных кондукторов.

Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для наблюдений.

Одесса один из наиболее населенных памятниками городов.

До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их еще уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея Истории и Древностей до сих пор валя-

ются ее отдельные части — голова, юбки и бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей.

Но сейчас в Одессе не меньше трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрестках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята.

Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных рощ сиротливо произрастают две акации.

Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчетливо выделяются однообразные надписи — «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу.

Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу.

Кроме памятников, город населяют и люди.

Об их числе, занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей».

«Остров» занимает целый квартал бывшей Дерибасовской улицы, от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности в твердых соломенных шляпах, чудом сохранившихся люстриновых пиджаках и когда-то белых пикейных жилетах.

Это бывшие деятели, обломки известных в свое время финансовых фамилий.

Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший люстрин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие.

Это погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время свое они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову.

Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице.

Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За патрициями следуют начальники когорт и преторы. За преторами бегут какие-то нумидийцы и пращники. За пращниками следуют тяжеловооруженные воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несет в кресле очень тощего Юлия Цезаря.

Делается шумно и скучно.

Всем становится ясно, что ВУФКУ пошло на новый кинематографический эксцесс — опять ставит картину из быта древнеримской империалистической клики.

Подъехавшие на семи фаэтонах кинорежиссеры устанавливают римско-одесский народ шпалерами и организуют Юлию Цезарю большой триумф. Статисты, стоя на фоне книжного магазина Вукопспилки, машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов.

Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации.

После триумфа фаэтоны с режиссерами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте «бубликами-семитати».

На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков — все едино.

Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма.

Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть и уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные.

Но это уже специальность не «Чудака», а скорее «Наших достижений». Ибо не одними хороводами ВУФКУ может похвалиться Одесса.

1929

МОЛОДЫЕ ДАМЫ

— Понюхайте этот цветочек.

— Спасибо, я его уже нюхал.

Радиолекция о конном спорте обычно начинается такими словами:

— Лошадь, надо по правде сказать, существо далеко не умное.

К сожалению, и здесь, в небольшом докладе об особом сорте молодых советских дамочек, приходится начать теми же словами:

— Советская гурия, надо по правде сказать, существо далеко не умное.

Главные ее признаки легче всего обнаружить на семейной вечеринке со шпротами и вином, которое для важности перелито в стеклянный бочонок.

В продолжение всего пира молодая хозяйка ударными недомолвками старается дать понять гостям, что таких шпрот и такого вина никак не найти на вечеринках, кои устраиваются враждебными ей гуриями.

К концу вечера хозяйка уходит в угол комнаты, за колеблющиеся ширмы, и возвращается оттуда в новом костюме. На ней голубая куртка с белыми отворотами. Такие же отвороты украшают ее голубые брюки. Сшито все из ткани, употребляющейся на теплую подкладку к папахам.

Мужчинам становится неловко. Они не смотрят в сторону хозяйки и стараются отогнать всплывшие

внезапно мысли о ее нелепом аристократизме. Но это не удается, и гости грустнеют.

Что же касается хозяина, то глаза его сверкают сумасшедшим огнем. Он доволен своей женой и победоносно поглядывает на гостей.

Однако голубая или оранжевая пижама только начальная веха в деле изучения очаровательных молодых хозяек.

Иногда гурию можно сразу узнать по имени.

Никогда ее не зовут Прасковьей, или Марией, или Инной. Она носит имя, высоко приподнятое над нашим пошлым миром. Ее зовут Бригиттой или Мери. Среди гурий в ходу также имя Жея. Считается, что Жея звучит тоже лучше и изящней, чем Анна.

Совершенно естественно, что обладательнице торжественного имени и голубых брюк с белыми манжетами неприятно вести свой род бог знает от кого.

И время от времени гурия, о которой всем ее знакомым точно известно, что отец ее и по сию пору честно служит перронным контролером на Сызрано-Вяземской железной дороге, начинает тревожный рассказ о своем папаше.

Оказывается, что папаша гурии, польский граф Август Пахомов, был дьявольски богат, но разорился по пылкости натуры.

Версия о графе Пахомове подкрепляется демонстрацией эмалевого медальона, на котором изображены голубь и дышло.

Насчет эмалевого дышла особых объяснений не дается. Как правило, гурия фантазии не имеет, привирает убого и смешно, а мозговой работы не ведет совсем.

От всех остальных событий, происшедших в мире, гурия отделывается невнятными междометиями и короткими возгласами. На сообщение о перелете полюса она отвечает писком, на вопрос о том, понравился ли ей «Севастополь» Малышкина, она отвечает: «Дивная книга». Тупость и расплывчатость ответа объясняется тем, что гурия не читает.

Русских книг она не читает, потому что считает французский язык, несомненно, выше русского, а

французских книг она не читает, так как не знает языка, на котором они написаны.

Главные свои силы, всю свою лисью ловкость и все выцарапанные у мужа деньги гурия употребляет на покупку предметов элегантного обмундирования.

И если гурия начинает охоту за новыми туфлями, то экспедиция эта растягивается на месяц и проводится в большой тайне.

Нужно найти какого-то сверхъестественного сапожника, который сошьет туфли настолько совершенные по фасону и материалу, что все враждебные гурии захиреют от зависти.

Нужно во что бы то ни стало скрыть от мужа истинную стоимость новых туфель, иначе даже он, долготерпеливый, может взбеситься. И мужу сообщается, что туфли обошлись всего лишь в сорок рублей.

Для подруги сердца завеса немного приподнимается. Ей говорится, что туфли стоили сорок пять рублей.

И только сама гурия знает, что за туфли заплачено пятьдесят пять рублей.

В этих сложных махинациях,— в обмане и соперничестве с другими гуриями,— проходит жизнь молодой домашней хозяйки.

И когда в Столешниковом переулке вам укажут на молодую, полуграмотную красавицу, одетую с непонятной и вызывающей смех пышностью, когда ваш спутник ошалело вдохнет запах ее духов, называющихся «Чрево Парижа», и пролепечет: «Посмотрите, какой прелестный цветочек»,— отвечайте сразу:

— Спасибо, я этот цветочек уже нюхал!

1929

ИСТОЧНИК ВЕСЕЛЬЯ

Переступив украшенный препарированными пальмами порог парка культуры и отдыха, московский житель жадно озирает раскрывшиеся перед ним просторы.

Дома он так представлял себе парк:

— Рощи, рощи, рощи! Кущи, кущи, кущи! А в рощах и кущах — аттракционы, аттракционы и аттракционы! Электрические колеса! Комнаты гигантов! Воздушные сани! Говорящая краковская колбаса!

Но природа мудро разделила парк на две части. В одной есть аттракционы, но нет ни одного деревца. В другой имеются и рощи и кущи, но аттракционов нет.

Пока житель сетует на несправедливость судьбы, на песочной аллее, между двумя рядами зеленых и стройных урн для окурков, появляется служащий парка.

Согнувшись, он несет шест с плакатом:

Стой! Здесь сейчас будет происходить занятная беседа!

Впереди человека с шестом, веселясь и подпрыгивая на полметра от земли, бегут дети. Позади, постепенно увеличиваясь в числе, идут взрослые граждане.

А человек с шестом все кружит по дорожкам. Убедившись, что за ним следует уже изрядная толпа, он



втыкает шест в землю и, дружелюбно улыбаясь, говорит:

— Сейчас доктор Стульян проведет с вами занятную беседу.

Доктор просит пропустить детей вперед, чтобы им было лучше слышно, и слабым голосом начинает:

— Товарищи, темой моей сегодняшней беседы будут глисты у детей. Дело в том, что глисты у детей — вещь весьма вре...

Первыми уходят дети.

Потом уходит человек с шестом. Шест ему нужен для организации другой беседы. За ним мало-помалу расходятся и взрослые.

Через пятнадцать минут проходящие мимо этого места граждане наблюдают весьма странную картину.

На совершенно пустой площадке стоит человек в рубашке с расшитым воротом и сандалиях «Дядя Ваня». Размахивая ручонками, он горячо убеждает невидимых слушателей.

— Напрасно вы скептически улыбаетесь! Я повторяю снова, что для детей глисты являются болезнью весьма вре...

Граждане опасливо обходят доктора.

Они спешат к источникам веселья. Им хочется в лабиринт. Но лабиринт закрыт еще в прошлом году. Разносится зловещий слух, будто это сделали потому, что пьяные заползали в лабиринт поспать.

— Самое удобное место. В лабиринте уж никто не отыщет.

— Глупости говорите. Этот лабиринт был виден насквозь.

— Ну, и что ж, что насквозь? А пьяному не все ли равно, видно его или не видно. Важно, что лабиринт.



В этих и иных глубокомысленных разговорах жаждущие веселья бодро строятся в очередь у подножья «Чертовой комнаты». Ныне, на том основании, что чертей и чудес не существует, она переименована в «Таинственную комнату».

На этом же точно основании фокусники теперь выступают под культурно-просветительным флагом «разоблачителей чудес и суеверий».

Из «Таинственной комнаты» люди выходят молча и устремляются в гигантскую закусочную, под крышей которой летают и поют птицы. Только за сосисками с капустой посетители «Таинственной комнаты» приходят в себя, но долго еще в их глазах вращается закусочная, летают бутерброды с телятиной и отдельные детали Нескучного сада.

Нет, пожалуй, ни одного учреждения, которое так бы оправдывало свое название, как «Комната смеха».

К этой комнате подходит хмурый человек.

Он недоволен. Он женат, и у его жены нехороший характер. Он служит, и начальники его чрезмерно придирчивы. Он пришел в парк отдохнуть душой и телом, а тут почему-то обличают сектантов и с визгом играют в волейбол. Он, конечно, купит билет в эту «Комнату смеха», но заранее убежден, что ничего смешного там не увидит. И вообще он страдалец, а на земле нет справедливости.

Но едва этот человек вступает в комнату, где не надеется найти ничего смешного, как оттуда раздается его протяжный смех. Через пять минут он выходит оттуда обессиленный, пошатываясь, садится на скамейку и досмеивается еще полчаса, вспоминая, каким толстым и коротконогим чурбаном выглядел он только что в кривых зеркалах.

И если час назад пушбол казался ему игрой, в которой убивают за раз не меньше двухсот человек, то теперь он приходит к мысли, что это спортивное развлечение не так смертоносно и что стоит, пожалуй, самому побегать за огромным, закрывающим полнеба мячом.

В читальне разыгрываются сцены из «Тома Сойера». За правильный ответ на устную «викторину» выдается один желтый билетик. За два правильных ответа выдают два желтых билетика. Три ответа дают три билетика.

А четыре билетика дают сведущему человеку право вытянуть лотерейный билет. И в конце концов добродетель увенчивается выигрышем: гипсовым мопсом и книжкой о пчеловодстве.

Расходясь из парка, граждане натыкаются на человека, ораторствующего среди урн для окурков.

— Глисты имеются нескольких видов. Глисты, так называемые долговязые, лимитро...

Это доктор Стульян проводит пятую занятную беседу.

1929

НОВЫЙ ДВОРЕЦ

В довоенное время, если судить по газетным и журнальным объявлениям, самым распространенным бедствием была лысина.

С лысиной боролись. Против лысины восставали герои — изобретатели средств для ращения волос.

Средства эти рекламировались в извещениях самого трогательного свойства.

Я БЫЛ ЛЫСЫМ!

Моя мать была страдалицей. Мой отец был лысым от природы. Я сам уже в детстве потерял всякую растительность. Но в прошлом году, в горах Швейцарии, я встретился с профессором Х., который снабдил меня баночкой чудодейственного бальзама «Киска-Волосатин». И с тех пор я отличаюсь завидной пышной шевелюрой.

Все это вранье подкреплялось штриховым портретом господина, чья мать была страдалицей, чей отец был лысым от природы и который сам был лысым до употребления бальзама «Киска-Волосатин».

И хотя лысина не побеждена, но граждане уже не так болезненно относятся к своему облысению. Может быть, это происходит оттого, что теперь труднее, чем в мирное время, попасть в Швейцарию, а может быть, и потому, что беда более важная, чем плешь, постигла человечество.

Если бы нашлось средство борьбы с новым бедствием, то о нем нужно было бы дать объявление такого свойства:

Я ХОДИЛ НА ЗАСЕДАНИЯ!

Моя мать была активной страдалицей. Мой отец начинал заседать в 6 часов утра. Он кончил тем, что сошел с ума и съел председательский колокольчик. Я сам из цветущего юноши превратился в развалину. Виной всему были бесконечные заседания, на которых мне приходилось бывать. И внезапно в горах Кавказа я встретился с молодым человеком, который снабдил меня чудоде...

Пора уже дать такое объявление, потому что чудодейственный бальзам найден. Найдено средство борьбы с самой могучей ветвью бюрократизма,— бесконечными, многочасовыми заседаниями.

Конечно, это не налог на никелированные колокольчики и не высылка портфеледержателей за пределы административных центров.

Наше средство является несравненно более могучим.

Для борьбы с заседаниями нужно построить огромный дворец заседаний. Во дворце должно быть множество зал, и в каждой зале длинный стол, и на каждом столе суконная скатерть, и на каждой скатерти — колокольчик с хрустальным звоном и кувшин с водой для освежения гортани докладчика и гортани содокладчика, и выступающих в прениях, и высказывающихся по вопросам порядка дня, и вносящих внеочередные предложения, и высказывающихся по мотивам голосования, и кричащих с места «правильно», и зачитывающих резолюции, и прочих, и прочих.

Новому дворцу можно присвоить красивое наименование:

«Слушали и Постановили».

В разговоре это получается весьма импозантно:

— Вы куда?

— Я — в филиал Центрального дома секции печати работников просвещения! А вы?

— Я — во Дворец «Слушали и Постановили»!

Но главное, конечно, не в полнозвучности названия нового заседательского комбината, а в том, что он нанесет смертельный удар всем любителям много-

часового потребления чаю и бутербродов с собачиной, всем приверженцам двухсуточных заседаний с докладами, содокладами, контрдокладами и докладищами по мотивам голосования.

Дворец «Слушали и Постановили» будет широко открыт для всех бюрократов. Все двери его будут открыты настежь:

— Приходите! Володейте нами! Заседайте!

Вообще заседания всякого рода разрешается устраивать только во Дворце «Слушали и Постановили».

Главарям любого учреждения предоставляется право заседать в любой из дворцовых зал на таких условиях:

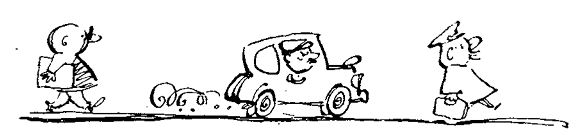
а) первые 30 минут — совершенно бесплатно;

б) еще 2 минуты — с платой за счет учреждения по карательному тарифу из расчета 20 рублей за минуту;

в) неограниченное количество времени — с взысканием платы по 500 рублей в час из личных средств участников заседания. Плата может быть заменена тюремным заключением из расчета за каждые лишние полчаса — два месяца заключения.

И можно считать верным делом, что больше тридцати двух минут ни одно заседание продолжаться не будет.

Конечно, из нудного стана бюрократов послышится ужасный визг.

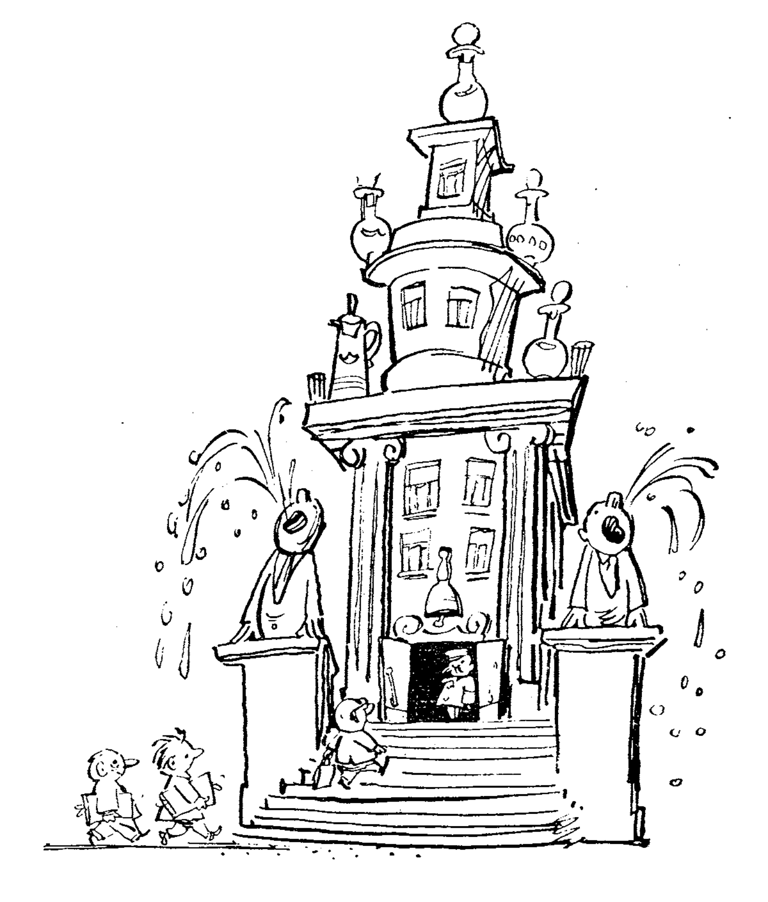


Они будут протестовать. Они начнут кричать о гибели страны. Они потребуют, чтобы разрешили проработать вопрос о Дворце «Слушали и Постановили» на заседаниях по старой норме времени.

Но этого позволять не надо!

Кто вообще установил, что заседания не ограничиваются временем?

Ограничены известным, заранее установленным временем, и рабочий день, и пароходный рейс, и сеанс в кино, и солнечная ванна.



В театре за один вечер спектакля Гамлет решает важнейшие вопросы, а восемнадцати надутым чиновникам из конторы «Торглоханка» нужно шесть часов, чтобы решить вопрос о закупке одного кило гвоздей для нужд своего лоханочного производства.

Если они уже иначе не могут, то пусть заседают за свой счет! По карательному тарифу! «Чудак» за постройку Дворца «Слушали и Постановили».

1929

ПРИНЦМЕТАЛЛ

Петровка всем своим видом хочет доказать, что революции не было. Что если она даже была, то ее больше не будет. Оттого эта улица так пыжится. Оттого так перемараны там пудрой дамские лица. Оттого эта улица пахнет, как будто ее облили духами из целой пожарной бочки. Оттого магазинные витрины доверху напичканы шелком всех карамельных цветов и шелком всех возможных на земле фасонов кальсон.

Петровка отчаянно отрицает семь прошедших революционных лет, отрицает Красную Пресню, взятие Перекопа и власть рабочих мускулов.

На этой улице я увидел своего старого знакомого, Принцметалла. Он был на своем месте. Петровка была ему по плечу. Он плавал по ней, как рыба плавает во вкусной воде, и сверкал поддельным котиком своей вызывающей шубы.

Он свалился на мое плечо и даже поплакал от удовольствия.

— Когда вы сюда приехали?

— Когда? — протянул он.— Когда? Когда все сюда приехали, тогда и я сюда приехал.

Для меня так и осталось неясным, когда он приехал. Впрочем, не раньше двадцать первого года. Потому что в двадцатом году он жил в Одессе, и я даже знаю, что он там делал.

Одной рукой он перетаскивал ведром спирт к себе на кухню, а другой звонил в только что образовавшийся ревком, сообщая о малосознательном населении, которое грабит, оставленный в этом доме добровольцами, спирт.

Сухопарые студенты уволокли остатки спирта, а Принцметалл в воздаяние своей революционной заслуги (спасение спирта) сам назначил себя председателем домкома с диктаторскими полномочиями.

Остальное сделалось как-то само собой. У Принцметалла появилась груда продовольственных карточек и столько подсолнечного масла, что сам опродкомгуб подыхал от зависти.

Принцметалл не дал моим воспоминаниям развиться. Он схватил меня за руку и увлек в маленькое кафе с полосатыми стенками. Он накачивал меня кофе, давился от смеха и говорил очень громко. Он стучал языком по моему лицу, как нагайкой.

— Христофоров! — говорил он, втаскивая мою голову под столик, чтобы я мог лучше рассмотреть его ботинки.— Лучший сапожник в Москве. Могли ли вы подумать, что Принцметалл...

— Нет, не мог!

— Калош я не ношу! Дешевое удовольствие! Калоши носит в Москве только один человек — Михаил Булгаков.

Принцметалл явно врал. Я пробовал возразить. Но он не допустил меня до этого. Он расстегнул пальто, отогнул ривьеры своего пиджака и блеснул присосавшейся там, почему-то дамской и совершенно уже нелепой по величине, пылающей бриллиантовой брошью.

— Маленькие сбережения Принцметалла... Почему она вколота именно здесь? Маленькая хитрость Принцметалла... Опасно дома держать! А носить эту штуку «на улицу», чтобы все видели?.. Это неудобно. Еще подумают, что у меня на груди пожар.

Потом он размахивал руками и голосил о своих успехах. Цифры вылетали из его рта, огромные, как птичьи стаи, и во рту же колесом вертелось слово — «червонец».



— Могли ли вы подумать...

— Нет, не мог! Но откуда все это?

Принцметалл развел глаза по сторонам, положил подбородок на самый мрамор столика, заскромничал, поломался и, наконец, вывалил секрет своего богатства.

— Я гений! — сказал он просто.

Это была просто наглость. А по лицу Принцметалла катились счастливые волны.

— Тише! — шепнул он. — Я гений борьбы с детской беспризорностью.

Я отвалился на спинку стула. Я был совершенно сбит с толку. К тому же лучи, которые тянулись ко мне от брошки Принцметалла, резали глаза.

— Спрячьте вашу драгоценную подкову,— сказал я,— и рассказывайте.

Принцметалл говорил час.

— Посмотрите в окно! Что, по-вашему, думает эта дуреха в обезьяньем меху. Она ни о чем не думает. Она живет с того, что ее муж грабит какое-то учреждение. Как это грубо! Через месяц ее муж получит свой кусок «строгой изоляции», а она сама станет такая же обезьяна, как ее мех. Зачем красть, когда можно заработать. Ну, до свиданья. Не забудьте посмотреть на мою работу.

Принцметалл радостно ухнул и пошел откаблучивать по Петровке, а я, последовав его совету, очутился в ГУМе.

— Пять тысяч билет! — орала женщина, стоя за маленькой стоечкой в стеклянных переходах ГУМа.— Пять тысяч! Остался один билет! Берите, граждане! На борьбу с детской...

Граждане пихали деньги и получали билетики с номерками. Загудело электричество и на стоечке завертелись крохотные, номерованные паровозики. Электричество смолкло. Паровозики стали как вкопанные.

— Выиграл номер два.

Номер два нервно хохотнул и взял свой выигрыш. Это и было изобретение Принцметалла. Маленькая вариация рулетки на помощь беспризорным детям и довольно большие деньги, полученные Принцметаллом в соответствующем учреждении за остроумную выдумку.

Уже никого больше нельзя соблазнить обыкновенной лотереей.

Принцметалл волновался:

— Ну, кому нужна гипсовая мадам Венера или открытка с мордой композитора Сметаны? Сметана это бедствие. Что с этого имеют дети? Никто там не играет. Другое дело деньги. Пять поставил — двадцать берешь. Еще пять беспризорники имеют. Мое изобретение! Знаменито, а? И поверьте мне, за гений я тоже что-то получил. Правда, есть какие-то слухи! Говорят, что нельзя устраивать для помощи детям азартную игру. Ду-раки!

— Билет пять тысяч! — хрипела лиловая девица.— Граждане... детям...

Граждане пихали. Жадный глаз ловил пролетающие номерки Над всем гудело электричество. Гений Принцметалла торжествовал — паровозная рулетка очищала карманы вовсю.

Оторвавшись наконец от стойки, гражданин, балдея, начинал понимать, что он пожертвовал свой дневной заработок и, кажется, вовсе не детям.

Когда я в последний раз встретил Принцметалла, то вместо лица у него было какое-то зарево.

— Гениально! — рычал он.— Гени-ально! Совершенно новое дело! Каждая беспризорная дешевка станет миллионером в золотом исчислении.

Я слушал.

— Небесный олух! — кричал Принцметалл.— Знаменитый проект. Продажа титулов в пользу детям! Патент мой! Мне десять процентов! За двадцать рублей золотом каждый гражданин может стать граф Шереметьев или князь Юсупов. На выбор! Всюду будки и всюду продажа. Всего двадцать рублей золотом. Мне два рубля, содержание будок и печатание графских мандатов два рубля, остальное кушают дети.

Накричавшись и наоравшись на моей груди, Принцметалл оборвался с моего рукава и устремился хлопотать о своем гениальном проекте.

Борьба с детской беспризорностью принимала потрясающие размеры.

НЕЛИКВИДНАЯ ВЕНЕРА

Братьев Капли, представителей провинциального кооператива «Красный бублик», приняли в бумазейном тресте очень ласково.

Зам в лунном, осыпанном серебряными звездочками жилете был загадочно добродушен.

Он заинтересовался лишь — зачем нужна «Красному бублику» бумазея. Узнав, что и пекаря не согласны ходить нагишом, зам быстро согласился выдать тысячу метров, с тем чтобы мануфактура продавалась братьями по божеской, иначе трестовской, цене.

Взволнованные этим феерическим успехом, Капли быстро помчались в склад.

Там все было уже приготовлено.

Поближе к выходу лежала столь популярная среди пекарей бумазея (по белому полю зеленые цветы, казенная цена шесть гривен за метр), а рядом с ней пять штук тонкомундирного сукна и семь дюжин прекрасных касторовых шляп.

И сейчас же братья с ужасом заметили, что на все это добро написан один счет.

Братья слабо пикнули, но были сейчас же оборваны.

— Бумазея без сукна не продается, а шляпы из неликвидного фонда. Впрочем, можете не брать!



Капли не поняли, что такое неликвидный фонд и почему пекаря должны этот фонд на своих головах носить, однако не стали вдумываться. Сзади набегали еще какие-то кооператоры. Они страстно глядели на бумазею, и было ясно, что они возьмут ее с чем попало, даже если к бумазее будет придано неисчислимое количество библий в кожаных переплетах.

Братья уплатили за бумазею шестьсот рублей, а за приложения еще четыреста.

Валясь на койку уносившего их из Москвы поезда, старший брат ясно представил себе пекаря в костюме из тонкомундирного сукна, в неликвидной шляпе на засыпанных мукой волосах, и закатился горьким смехом.

Младший брат промолчал. Он думал. И оба не спали всю ночь.

К утру младший вздрогнул и вымолвил:

— А знаешь, брат, в этом принудительном ассортименте есть что-то удобное.

— Мне тоже кажется это! — ответил старший.— У нас, например, давно лежат гипсовые Венеры. Эти Венеры какие-то совершенно неликвидные.

Как видно, старший из династии Каплей тоже думал.

Думали они об одном, потому что младший отпрыск засмеялся и сказал:

— Ничего, мы их сделаем ликвидными!

А потом оба они стали действовать.

Густейшая толпа, приведенная в восторг прибытием белой с зелеными цветками по полю бумазеи, ворочалась в кооперативе «Красный бублик».

Торг шел прекрасно.

Приказчики ежеминутно справлялись с таинственными записями в своих книжечках и бойко орудовали.

— Вам пять метров бумазеи? Саша,— кричал приказчик в кассу,— получи с них за пять метров, одну шляпу мужскую и манометр к паровому котлу системы «Рустон Проктор».

— Кому четырнадцать? Вам четырнадцать? Платите в кассу! За четырнадцать метров по шестьдесят — восемь сорок, две Венеры по рублю, пару шелковых подвязок неликвидных — три пятьдесят и картину «Заседание Государственного совета» — четыре двадцать. Итого — восемнадцать рублей десять копеечек-с! Следующий!

Сначала покупатель фордыбачил.

Он ревел. Он ругался уму непостижимыми словами. И даже топал ногами.

Но потом смирялся. Уйти было некуда — во всем городке один только «Бублик» имел мануфактуру.

И пока покупатель со злостью кидал свои деньги в кассу, братья сидели за перегородкой и радовались друг на друга.

К вечеру кипучие операции в «Красном бублике» затихли. «Бублик» расторговался вдребезги.

Бумазея, а с ней вся заваль, собравшаяся в кооперативе за два года, исчезла. Распродали всю гадость, которая лежала еще с того времени, когда «Красный бублик» не был «Бубликом», а назывался «Булкой Востока», то есть со времен доисторических.

Кислый одеколон, зацветшие конфеты, остаток календарей за 1923 год и поломанные готовальни, калоши неходовых номеров и вонючие спички — все было продано, все шло приложением к бумазее.

Братья оглядели очищенный магазин, прислушались к шелесту денег в кассе и с наслаждением забормотали скороговоркой:

— Принудительный ассортимент!

С улицы неслась божба и зловредная ругань.

Эта история имеет свое окончание.

Через два дня у старшего Капли порвались сапоги, и он пошел к сапожнику.

— Здрасте! — сказал брат.

И сразу осекся.

Сапожник сидел во фраке. Из-под фрака выглядывала новая рубашка из знакомой брату Капли бумазеи — по белому полю зеленые цветы.



Оправившись, дивный кооператор сделал вид, что ничего не заметил.

— Можно на мой сапог заплаточку наложить?

— Можно! — любезно ответил сапожник.— Двенадцать рублей.

— Да что...

Но сапожник пресек дивного брата. Он ткнул себя пальцем в лацкан и строго спросил:

— Это что?

— Фрак! — сказал непонятливый Капля.

— Сортамент это, а не фрак! У вас куплен. С бумазейкой. Бери фрак назад, починю за два рубля. А иначе двенадцать.

— Зачем же мне фрак? — возопил кооперативный гений.

— А мне зачем? — с ехидством спросил сапожник. — Однако я взял!

Уйти Капле было некуда. У него была прекрасная память, и он хорошо помнил, что в эти дни успел одарить всех сапожников небольшого городка ненужными вещами.

И сапожник, пользуясь принципом принудительного ассортимента, одержал над гениальным Каплей страшную победу и взял с него сколько хотел — взял око за око.

ДЛЯ МОЕГО СЕРДЦА

Какие смешные вещи происходят в Москве.

Удивительный город! На его перерожденных окраинах выстроены пепельные здания научных институтов с именами ЦАГИ, НАМИ, НИТИ. Окраины перешли в лагерь науки. Там говорят:

— Энерговооружение. Магистраль. Куб.

А в центре города расположился бродячий базар. Здесь на горячих асфальтовых тротуарах торгуют шершавыми нитяными носками и слышен протяжный крик:

— Вечная игла для примуса!

Зачем мне вечная игла? Я не собираюсь жить вечно. А если бы даже и собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса! Какая безрадостная перспектива.

Но граждане в сереньких толстовках жадно окружают продавца. Им нужна такая игла. Они собираются жить вечно, согреваясь огнем примуса-единоличника.

Почти обеспечив себе бессмертие покупкой удивительной иглы, граждане опускают глаза вниз. Давно уже нравятся им клетчатые носки «Скетч», которые соблазнительно раскинуты уличными торговцами на тротуарных обочинах.

Носки называются как попало. «Клетч» или «Скетч», все равно, лишь бы название по звуку напо-



минало что-то иностранное, заграничное, волнующее душу. Персия, Персия, настоящая Персия.

На окраинах по косым берегам реки спускаются водные станции, с деревянных башен ласточками слетают пловцы, а в центре города Персия — нищий целует поданную ему медную монету.

Может быть, надо объяснять это путем научным или с точки зрения исторической, а может быть, и не надо — ясно видно, что Москва отстает от своих окраин.

На лучшей улице города у подъезда большого дома с лифтом и газом висит белая эмалированная табличка:

В. М. Глобусятников

Профессор киноэтики

Что еще за киноэтика такая? Вся киноэтика заключается в том, чтобы режиссер не понуждал актрис к половому сожительству. Этому его может научить любой экземпляр уголовного кодекса. Что за профессор с такой фальшивой специальностью!

Но бедных «персиян» легко обмануть. Они доверчивы, они не мыслят научно. И, наверно, у В. М. Гло-

бусятникова есть большая клиентура, много учеников и учениц, коим он охотно поясняет туманные этические основы, пути и вехи киноискусства.

Принято почему-то думать, что бредовые идеи рождаются в глухой провинции, в сонных домиках. Но вот письмо, прибывшее в редакцию с центральной улицы. «Поместите мое пожелание нижеследующее:

Со дня революции у нас, в советской республике, много развелось портфелей у начальствующих лиц, ответственных работников и у остальных, кому вздумается. Некоторые имеют по необходимости, а другие для фасона.

Покупают портфель, не считаясь, что он стоит 25 р. и дороже. Мое мнение: произвести регистрацию всех граждан, которые носят при себе портфели.

Регистрацию можно произвести через милицию. Сделать нумерацию каждого портфеля и прикрепить к нему, и самое главное — обложить налогом каждого, кто носит портфель.

Хотя бы за шесть месяцев 5 рублей.

Все собранные деньги передать в пользу беспризорных детей.

А поэтому я предполагаю, что против никто иметь не будет, а сумма соберется большая.

Тов. редактор, как вы смотрите на это дело?»

Все свое письмо безумноголовый адресат считает делом! Как далеко это от понятий — «энерговооружение, магистраль, куб».

Бедных граждан обманывают смешно и ненаучно. Считается, что гражданам нужно пускать пыль в глаза.

На бульварах простые весы для взвешивания, самые обыкновенные весы на зеленой чугунной стойке с большим циферблатом снабжаются табличкой:

МЕДИЦИНСКИЕ ВЕСЫ
ДЛЯ ЛИЦ,
УВАЖАЮЩИХ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Черт знает сколько здесь наворочено наивного вранья! И весы какие-то особенные (антисептические? Взвешивание без боли?), и граждане делятся на два ранга:

а) уважающих свое драгоценное здоровье и

б) не уважающих такового.

Только на восточных базарах еще применяются такие простейшие методы обморачивания потребителей.

По учреждениям, где скрипят перья и на столах валяются никелированные, сверкающие, как палаши, линейки, бродит скромно одетый человек.

Он подходит к столам и молча кладет перед служащими большой разграфленный лист бумаги, озаглавленный «Ведомость сборов на ...»

Занятый служака подымает свою загруженную голову, ошалело взглядывает на «Ведомость сборов» и, привыкший к взносам в многочисленные филантропические и добровольные общества, быстро спрашивает:

— Сколько?

— Двадцать копеек,— отвечает скромно одетый человек.

Служака вручает серебряную монету и вновь сгибается над столом. Но его просят расписаться.

— Вот в этой графе.

Служаке некогда. Недовольно бурча, он расписывается. Гражданин с ведомостью переходит к следующему столу. Обойдя всех служащих, он переходит в другое учреждение. И никто даже не подозревает, что скромно одетый гражданин собирает не в пользу МОПРа и не в пользу популярного общества «Друг детей», а в свою собственную пользу. Это нищий. Он узнал все свойства бюрократической машины и отлично понял, что человеку с ведомостью никто не откажет в двугривенном. Разбираться же в ведомости никто не будет.

И, вместо того чтобы как обычный стационарный нищий оглашать угол Тверской криком «братие и сестрие, подайте хотя бы одну картошечку», нищий скромно и вежливо подсовывает доверчивым гражданам-персиянам свою ведомость. Доходы его велики.

Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями.

В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворницкими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы.

— Для меня,— шепчет дама.

— Для моего дома.

— Для моего сердца.

— Чего не ожидаю.

— Чем дело кончится.

— Чем сердце успокоится.

И второй раз:

— Для меня, моего дома, моего сердца...

Бедная, глупая «персиянка». Скоро окраина двинется походом на центр, ЦАГИ, НАМИ, НИТИ возьмут всю Москву в плен науки и труда. Не останется больше сказочной иглы для примуса, дурацких носков «Скетч», налогов на портфеледержателей и профессоров шарлатанской этики, не останется всего того, что для сердца невыносимо.

ПЕРЕУЛОК

Настоящее значение этого слова можно понять только в Москве. Только Москва показывает переулок в его настоящем виде.

Вид этот таков, что всякий благонамеренный и не зараженный сентиментализмом гражданин предается восклицаниям, вкладывая в них модуляции ужаса.

Потом гражданин старается найти название этой щели, по сторонам которой стоят дома.

Потом старается найти милиционера, потому что переулок по своей длине три раза меняет название, три раза направление, а один раз становится поперек самого себя.

Потом гражданин останавливается. Положение его безнадежно. Переулок стал задом ко всему миру, и выхода из него нет. То, что сначала казалось выходом, оказывается частным владением, оберегаемым собаками с очень злым характером.

Тогда гражданин, если он недавно приехал в Москву, вытаскивает из кармана план города, раскладывает его на мостовой и отчаянным глазом ищет спасения.

Его нет. Из всего, что нарисовано на плане, гражданину нравится только бульварное кольцо. Оно хотя и не совсем круглое, но понятное. Отсюда пойдешь — сюда придешь.

Зато весь остальной план покрыт морщинами — переулками, и напрасно гражданин хватается за буль-

варное кольцо, как за спасательный круг. Оно помочь не может.

Гражданин теряет много времени, лежа на мостовой, которая режет ему живот острыми гребешками своих камней.

Когда тело гражданина начинает препятствовать уличному движению, ломовые извозчики спрыгивают со своих телег и, употребляя выражения, не подлежащие оглашению, перекладывают тело на тротуар.

На тротуаре гражданин может лежать, сколько ему понравится. По переулкам ходят мало, а тело вникающего в план красиво оживляет пустынный пейзаж.

К вечеру тело приподымается, и слышно томное бормотанье:

— Большой Кисловский, это не Малый Кисловский. Малый не Средний. Средний не Нижний. А Нижний?

Но никто не скажет гражданину, что такое Нижний Кисловский. Припадая на обе ноги, гражданин удаляется. Куда он пропадает, понять нельзя. Может быть, его съедает желтое, ночное небо. Или, попав в красный костяк недостроенного семиэтажного дома, он гибнет среди колючего щебня. Этого понять нельзя, и на это ответа нет.

Гражданин-москвич действует более осторожно.

Во-первых — старается переулками не ходить.

Второе — если ходит, то не один, а скопом, уповая при этом на вышние силы.

Третье — если ходит один, то спрашивает советов у мудрых.

Мудр же извозчик, ибо знает все.

Отвечает он немедленно:

— Факельный? Четыре рублика, гражданин.

Обладатели четырех рубликов спасены. Лишенные же денег получают только наставление:

— Два раза направо и четырнадцать раз налево. А как придете об это самое место, где сейчас стоите, тогда спросите, потому уже близко.

Белая извозчичья лошадь улыбается и трясет хвостом. Она ни во что не верит.

Она знает, что, сколько днем ни бегай, все равно прибежишь в одно место — в трактир «Кризис»,


КАРТА

где ее хозяин долго будет пить чай и хрипеть в блюдечко.

Лошадиный пессимизм заражает гражданина-москвича, и он быстро бежит домой.

С тем местом, куда шел, он старается снестись по телефону. При отсутствии телефона пишет письмо. Но сам дальше первого извозчика не ходит, потому что осторожен.

Во всем же остальном переулок очарователен. Его тротуары похожи на романтические горные тропинки, а освещен он так, что при литературном подходе к делу в голову немедленно влезает представление о темных, горных ущельях, воспетых Оссианом.

При нелитературном подходе нет ничего легче посчитать себя погребенным вживе и предаваться соответствующим нежным эмоциям.

Населен переулок по большей части старыми дамами в траурных шляпах.

Шляпами и манерами эти дамы напоминают похоронных лошадей, а профили их носят на себе явную печать лучших времен.

Дамы-лошади с легким страхом посматривают на высоченные, худые дома, явно выпирающие своей деловитостью из интимного ансамбля особнячков.

Окно высоченного дома распахивается. Из него выпадает оглушительная фраза.

— Пойдите в государственный ГУМ и там за эти деньги вы получите только болячку.

На что мрачный голос отвечает стихами:

Гоп, стоп, стерва,
Я тебя не знаю.

Вслед за сим собственник мрачного голоса выскакивает из переулка на пылающую большую улицу.

А дамы с неподходящими профилями остаются в своих Мертвых, Лялиных и Факельных переулках.

Будущее дамских переулков похоже на осеннее утро. Оно черное и серое. На смену дамскому переулку уже шагает широкая злая улица и дом высокий, как радиостанция.

БЛАГООБРАЗНЫЙ ВОР

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, у кого ты украл эту книгу.

Старинная поговорка

Обычно кража сурово наказывается, или, как говорят, законом наказуется.

Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, носильное платье, примусы или белье с чердаков. Таких людей закон, как говорится, наказует.

Кроме судебной кары, ворам достается и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом.

Но есть множество людей, самых настоящих ворюг, типичных домушников, а между тем ни закон, ни общественность и не пытается обуздать их преступные порывы.

Это книжные воры. Они опаснее всех.

Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью, в отсутствие хозяев. Торопясь и нервничая, он хватает что попадется под руку и убегает.

Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми. Скатерть весьма рваная и рыночной стоимости не имеет. Захваченное впопы-



хах пальто почти полностью амортизировалось, воротник осыпался, а суконце поиздержалось. От продажи оказавшегося в кармане пальто фотографического портрета какой-то девушки тоже особенных доходов не предвидится.

Кроме того, предстоят преследования по закону, возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение.

Таков тяжелый труд профессионального вора.

Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером.

Внешний вид книжного вора весьма благообразен. Он одет с приличествующей своему служебному положению роскошью. На нем шестидесятирублевый костюм и зеленоватые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадет не сразу.

Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем. Его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинками, которые хозяин приберегал себе на завтрак.

В конце концов гость съедает эти сардинки и приступает к тому, за чем пришел.

Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах хозяина, он подходит к книжным полкам и развязно говорит:

— Да у вас чудная библиотека.

— Да,— говорит хозяин беспокойным голосом.

— Прекрасные книги,— продолжает вор,— обязательно нужно взять у вас чего-нибудь почитать.

— Да,— говорит хозяин, хотя ему очень хочется сказать «нет».

— Давно мне хочется прочесть что-нибудь интересное.

С этими словами гость снимает с полки три лучших на его взгляд книги и бормочет:

— Почитаем, почитаем!

На взгляд хозяина эти три книги тоже лучшие. Поэтому он испуганно лепечет:

— Видите ли...

Но вор неумолим.

— Через неделю вы их получите назад. Вот я даже в книжечку запишу. Взял у Мирона Нероновича «Записки Пиквикского клуба», потом...



И он действительно заносит в книжечку какие-то каракули. Потом прощается с Мироном Нероновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдаст никогда.

Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, дает стрекача.

Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице, никто не спросит сурово:

— Ты где взял эти книги? Немедленно неси назад, не то убью.

И это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

(1925—1937)

* * *

Как забыть, Самарканд, твои червонные вечера, твои пирамидальные тополя, немого нищего, целующего поданную медную монету.

Ярко-зеленые женские халаты.

Персидские глаза Мухадам. Длинное до земли платье.

Над школой, распустив крылья, летит коршун.

С паранджи свисают длинные, у самой земли соединенные, хвосты.

Город замощен кирпичом.

Хозяин чайханы с огромным зобом.

...На уличках ишаки и лошади текут потоком. На Регистане пыль и гром. Возводят леса, реставрируют Шир-Дор. Уныло стонет нищий. Под сводом Улуг-Бег стол накрыт красным сукном — будет публичный суд.

На чалме поднос, на нем лепешки. Ослик тащит привязанные к его бокам молодые, очищенные от коры, стволы деревьев...

Женщины ходят все больше в голубоватых и синеватых паранджах. Только одну я видел в черной. Это персиянка. Одна была в серой парандже. Заслонив лицо от солнца портфелем, едет в зеленой тюбетейке ответственный.

Ишаков постукивают по шее толстой прямой веткой. Верх экипажа откинут назад и накрыт полотняным чехлом с нашитыми редко на нем красными звездами — это, кажется, экипаж Совнаркома. Нищий на Регистане сидит под самодельным зонтиком — на две перекрещенные планки нацеплено мешочное полотно.

Рынок. Палевые кувшины — гончарный ряд. Совершенно невыносимое по запаху коническое мыло. Здание, изнутри завешанное тюбетейками. В темноту его въезжают на ишаках и лошадях. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги. Женщины проходят скромно и молча. Бухарские еврейки паранджи не носят, но от мусульман закрываются халатом (надет на голову). Автомобили здесь редки и необычны. Женщина в белом. Вообще они в незаметных цветах. Спадают кожаные калоши, обнажая зеленые задники ичигов. На базаре мальчик продает мухоморы. Он долго и громко торгуется с хозяином трех корзин, наполненных мухами и абрикосами. Наконец хозяин берет листы. Сразу собираются люди посмотреть, как завязнет первая муха. Муха попадает, и большинство удовлетворенно расходятся. Мальчик идет дальше. Погибшая муха замещается тысячами других. Погибающая густо звенит.

В лавочках стучат молотки, выковывают подковки для калош, набивают гвоздиками на калоши и сбоку медные украшения-пластиночки. Красят в две краски (зеленое и фиолетовое кольцо) детские жестяные ведерки. К узбеку, присевшему наземь с сырой кожей (еще с рогами), прилипли целые кусты мух... Летит по рынку фаэтон с двумя завернутыми женщинами. Летает по небу местный ассенизационный обоз — коршун.

Узбеки любят полежать у арыков. Подстелет коврик и лежит по своему усмотрению. Молодые узбеки рядами идут через базар. Они прорезают старый рынок клином....

Мальчик с бритой головой и косичками.

Я уезжал из Самарканда ночью, которая расстраивает, трогает человека и берет его шутя. Фонарики экипажа, тишина, мягкое качанье, поблекшее, чудесное небо и половина луны, сцепившейся с прохожим облаком. Пыль смирно лежала в темноте, все трещало, казалось, трещало небо (цикады?). Это все было очень трогательно. Мухадам, когда говорила, вытягивала белую нитку из заплаты на своем красном в белую клетку платье.

У Владимира Яковлевича я обитал под ореховым деревом с крупными листьями. Керосиновый самовар сверкал своим слюдяным окошечком. Он никогда не снимал шапки. Когда его укусила в язык оса и ему было плохо, он снял шапку, но накинул на голову платок. Он худ и говорит медленно и всегда серьезно.

Коричневые почки, величиной и видом похожие на помидоры. Старик на самаркандском базаре предлагал их.

Маленький самаркандский вокзал с его зеленоватой и толстой изразцовой печью лежит далеко (6 верст) от города.

Долину Зеравшана проехали ночью. Утром успел глазом захватить какие-то горы — низкие и желтые на первом плане и высокие розово-фиолетовые позади. Станция Голодная степь. Дехкане в овечьих мономаховых шапках двух цветов — верх коричневый, низ из черной длинной закрученной шерсти.

Ташкент. Хороша его европейская часть. Старый город несравним с самаркандским. Русские улицы обсажены великолепными тополями и карагачами.

К Ташкенту мы ехали через абрикосовые и яблочные, геометрически расположенные сады. Мимо молодых узких тополей. Мимо зеркальных рисовых полей. Мимо вагонов, груженных баранами.

Узбек продает розы. Большой медный поднос, полный роз. Цветник на подносе.

Куриный базар. Кур не видно, зато сколько угодно штанов и местной рулетки. Это круглый стол, утыканный по всему краю гвоздями. Снизу крутится штуковина с гусиным пером. Стол завален собаками и зубными порошками. Можно выиграть и медный самовар. А можно и не выиграть.

Навострил свои карандаши и пошел в Красно-Восточные мастерские.

Вместе со мной пришли на экскурсию ученики 3-месячных профкурсов Среднеазиатского бюро ВЦСПС — узбеки, таджики, туркмены, уйгуры. Курсы готовят низовых профработников для кишлаков. Оттуда же (из кишлаков) и большинство курсантов.

Инструментальная. Ремонт и выделка инструментов. Шумит пневматическое сверло. Курсантка держит чадру в руках. Фрезерные станки. На насекальном станке производится насечка круглого напильника.

Станок для насечки плоских напильников. Делаются толстые, квадратные бруски. Молодой рабочий с предохранительными очками на лбу смущен и улыбается, что на него так смотрят. Сверла и сверла делаются. На стене висят рисунки скорой помощи. При случае могут починить для управления и пишущую машинку.

Кипчак. Хадырбаев Алтымбаш. С 12 лет работал батраком. Родители тоже были батраками. Пастухом был. Нигде не учился. 1 мая поступил на курсы. Послал Рабземлес. В 18-м году организовал коллективное хозяйство. От баев отобрали землю. В коммуне

были батраки, красноармейцы и рабочие. Это было до 19-го года.

В 19-м году в Ташкенте был Краевой комиссариат земледелия. Бай Хушбигиев сделался комиссаром. Он потворствовал баям, возвращал землю, выгонял артели и давал землю отдельным лицам. Хадырбаев в феврале 19-го года приехал в Ташкент и обратился к начальнику особого отдела. По материалам Хадырбаева собрали собранье в три тысячи человек. На собрании был Куйбышев. Хадырбаев, оборванный, выступил с часовой речью и разоблачениями. Хушбигиева на другой день убрали и посадили.

[Хадырбаев] остался работать в городе. В сентябре 19-го года поехал в Фергану для борьбы с басмачами. Участвовал в съезде народов Востока.

Развод с мужем. Ей было 10 лет, и 3 года она жила с 45-летним мужем, который купил ее у матери во время голода за небольшую сумму.

Страшноватая ночь в гостинице. Одеяла нет, вместо подушки дается наволочка. Цыганки в черных митрах и цыганята. Девочка с зеленой серьгой в носу, и другая — с продетым через бок носа большим кольцом с украшениями. У них нет ни квартиры, ни революции, ни газеты. Цыганки все в перстнях и браслетах. Серебро и большие камни. У девочек на груди большая серебряная медаль. Велики глаза, черны лица и курносы носы. Толпа спорит из-за них. «У них форма такая». Симфония черных и фиолетовых цветов. Руки татуированы темно-синими мелкими и часто поставленными рисунками. Цыган в халате (фиолетовые полоски) и кремовой феске. Небольшая борода и усы.

За Джагалашем по всему горизонту дым, как от взрывов снарядов,— горит камыш. По камышу ползет молодая саранча, еще летать не может, но иногда на четверть аршина обкладывает путь — приходится высылать паровозы для очистки пути. Колеса буксуют, саранча жирная.

В 10.20 выехал из Москвы в Нижний. Огненный Курский вокзал. Ревущие дачники садятся в последний поезд. Они бегут от марсиан. Поезд проходит бревенчатый Рогожский район и погружается в ночь. Тепло и темно, как между ладонями.

Утро. На станции Сейша машинист хватает тонкий жезл, как шпагу.

В трамвае кондуктор ужасно завопил «простите, граждане».

Нижний Новгород. Белоснежный, вышедший из ремонта в первый свой рейс, «Герцен». Украшен плакатами, транспарантами. 22-аршинная надпись «4 тираж крестьянского займа». Выставка НКФ в салоне 1-го класса. Электрические тиражные колеса в зале 3-го класса. Сегодня первый день тиража. Звенят медные трубы, созывая всех на розыгрыш. Походные штаты Наркомфина — машинистки. Выставка исторически показывает развитие и ход денежной системы СССР от тряпочек самоуправлений до блещущих червонцев.

Начинается тираж. За столом председателя радиоусилитель.

Комиссия приступает к свертыванию билетиков. Пакет с опечатанными билетами имеет пять комплектов, от ноля до девяти. Кроме миллионов, они от ноля до четырех. Желающие проверить технику беспрерывной цепью тянутся перед столом. На пароходе бойко торгуют облигациями. Рослый бородач приходит как в трактир: «Дайте парочку».

Пристань Нефторга. Черное Сормово. Нефтеналивные баржи. Собрались с пионерами на горке, засыпанной щепками и мусором. Сормово — город пролетариев. В пыли под наклоненными лучами солнца бегут к «Герцену» пионеры...

Когда начинается «да здравствует», то музыканты уже надувают щеки. Читается не резолюция, а текст, годный для конституции республики средних размеров.

Выступление Синей блузы на второй палубе перед народом, собравшимся разноцветной толпой на берегу и на пристани, с знаменами. Киноаппарат работает. Идет под аккомпанемент гармоньи. Пришла с иконой садиться в паром. Прощаемся и отваливаем. Ребятишки плещутся в воде и орут: «Снимай меня».

Бармино. Толпа на берегу. Большое село. На деревянной пристани полно ног и рук. Нас обгоняет из Нижнего теплоход «Карл Либкнехт».

Юрино. Труба зовет из села. С лесного берега пришли черемисы. Замок Шереметьева. Кирпичная безвкусица....

Козьмодемьянск стоит на высоченном горном берегу.

Село Ильинка. Председатель Госбанка углубился в дебри. Велосипед, лежащий на земле, похож на большие очки в стальной оправе. Из разрозненных изб выходят правильные отряды. По-русски — Ильинка, по-чувашски — Илинка.

Чебоксары. Чуваши. Вывески на двух языках. Пароход «Парижская коммуна», полный нежности и москвичей. При подходе с его шканцев тяжело бухается вниз корзина с фруктами. Немедленно с берега понеслись лодки с волгарями на поимку....

— На том свете за красненькую не увидишь, что тебе здесь покажут! — уговаривают старушку.

Приходит барышня, спрашивает, нельзя ли вклады класть тайно от мужа, он пьет и курит.

Казанский мост проезжали на закате солнца.

Казань. Луна над лесным гребнем. Черная и желтая волжская вода. Кремль и аккуратная Сумбек-башня. Этнографический музей и буддийские молитвенные мельницы. (Обстановка реки, знаки на перекатах.) Зародыши с лягушачьими лапками. Клуб деревянный. Великое безмолвие библиотеки-читальни.

Собрание в саду «Эрмитаж». Мягко звучащее дыхание медных труб.

Шлепнется на твою облигацию тысяча, вот и поднял хозяйство.

С высоченного крутого берега по тропкам и зигзагообразной лестнице спускаются делегации. Знамена реют на дорогах. Первыми на «Герцен» проникают пионеры.

Тетюши. Лесенка в 840 ступеней. Зеленый и розовый берег.

Сенгилей. К маленькой пристани бегут в розовых рубашках дети и медленно идут из-за зеленой рощи взрослые. Оркестр уходит в город собирать на митинг.

* * *

Двое молодых. На все жизненные явления отвечают только восклицаниями: первый говорит — «жуть», второй — «красота».

Борис Абрамович Годунов, председатель жилтоварищества.

Человек в лунном жилете со львиной прической. По жилету рассыпаны звезды.

Целые жернова швейцарского сыра.

Девица. Коротконосая. Жрет лимон с хлебом и поминутно роняет на пол трамвайные копейки.

В прекрасную погоду заграничный академик стоял посреди Красной площади, растопырив ноги, и в призматический бинокль смотрел на икону над Спасскими воротами.

Совхоз называется «Большие Иван Семенычи».

Артель «Красный бублик». Или «Булка Востока».

Настасья Пицун. Бенек. Братья Капли. Мадам Подлинник. Кокос. Лгин. Члек. Весотехник. Всевышний.

* * *

3. VI

Серпухов. Ходили две барышни. В коридоре — бульдог. Ока — так себе. Явилась мысль о Военно-Грузинской дороге. Женя хочет прямо в Тифлис.

5.VI

Минеральные Воды. Еле-еле съели баранину. Прибыли в Пятигорск, беседуя с человеком закона о холерных бунтах 1892 года в Ростове. Штрафы он оправдывает.

В Пятигорске нас явно обманывают и прячут куда-то местные красоты. Авось могилка Лермонтова вывезет. Ехали трамваем, которым в свое время играл Игорь. Приехали к цветнику, но его уже не было. Извозчики в красных кушаках. Грабители. Где воды, где источники? Отель «Бристоль» покрашен заново на деньги доверчивых туристов. Погода чудная. Мысленно вместе. Воздух чист, как писал Лермонтов....

Извозчику отдали три. Взял и уехал довольный. А мы после роскошной жизни пошли пешком. Неоднократно видели Эльбрус и другие пидкрутизны. (Бештау, Змейка, Железная, Развалка и т. д.)

Сидим. Пробовали взобраться на Т. Д., но попали в «Цветник». Взяли 32 копейки. Вообще берут. Обещают музыку. Но что за музыка, ежели все отравлено экономией.

Местные жители красивы, статны, но жадны. Слова не скажут даром. Даже за справку (устную) взяли 10 коп. Это не люди, а пчелки. Они трудятся.

На празднике жизни в Пятигорске мы чувствовали себя совершенно чужими. Мы пришли грязные, в плотных суконных костюмах, а все были чуть ли не из воздуха.

Вопль: «Есть здесь что-нибудь не имени?»

Курган имени поручика.

Галерея как галерея. Берут.

Прошла рослая девица. В будние дни замещает монумент Лермонтова.

Владикавказ.

Кошмарная ночь, увенчанная появлением Кавказского хребта. Оперные мотивы — восход солнца с озарением горных вершин. Гор до черта. Носильщик № 52 обманывает нас. В поезде мы едем с профработником Евгением Петровичем и рабиспрофработником. Во Владикавказе каждая улица упирается в гору. Женя все время сидит ко мне ухом, которое не годится.

«Терек — краса СССР». За красу взяли по гривеннику. Были вознаграждены видом Столовой горы Нарпита и Тереком. «Дробясь о мрачные... кипят и пенятся». Утесистых громад еще нет. Но деньги уже взяли.

Терек, Терек, ты быстéр,
Ты ведь не овечка.
В порошок меня бы стер
Этот самый речка.

И. А. Лермонтов *(Пселдонимов)*

Везли бесплатно в автоколымаге Закавтопромторга. Завтра уезжаем на механическом биндюге. Душа не ведает, что творит.

Вот мельница. Она еще не развалилась.

И. А. Пушкин *(Пселдонимов)*

Военно-Грузинская дорога.

Лицо у меня малиновое. Все оказалось правдой. Безусловно Кавказский хребет создан после Лермонтова и по его указаниям. «Дробясь о мрачные» было всюду. Тут и Терек, и Арагва, и Кура. Все это «дробясь о мрачные». Мы спускались по спиралям и зигзагам в нежнейшие по зелени пропасти. Виды аэропланные.

Забрасывали автомобиль цветами, маленькими веничками местных эдельвейсов и розочек. Мальчишки злобно бежали за машиной с криками: «Давай! Давай деньги!» Отплясывали перед летящей машиной и снова галдели «давай». Кончилось тем, что мы сами стали кидать в них букеты с криком «давай».

Нелепые пароксизмы надписей на скалах, барьерах, табуретках и всех прочих видах дикой и недикой природы....

На Крестовском перевале мы зацепились за облако. Было мрачновато. Полудикие дети предлагали самодельный нарзан и просили карандашей. Паслись на крутизнах миниатюрные бычки с подругами своей горной жизни — коровками. Шофер-грузин в клетчатых носочках и особо желтых ботиночках. Дикость Дарьяльского ущелья. Необыкновенный ветер.

Тифлис — город жаркий. Живем в «Паласе» (Дворцовые номера) на Пушкинской улице.

Напротив — духан «Олимпия».

Фуникулер. Волшебное зрелище пылающего Тифлиса. Отплясывающие лезгинку девочки. Гора Давидова — гора ресторанная.

10. VI

Дождь и прохлада. Жизнь начинается, кажется, завтра и, кажется, на Зеленом мысу.

* * *

Упаковочная контора «Быстроупак».

Пивная «Вавилон».

Столовая «Аромат».

[Татары привели в свою квартиру лошадь с живодерни.]

Голубец. Карликов. Братья Глобус.

Глава учреждения купил картину и созвал художников, чтобы узнать ее качество.

[Голый, намыленный человек.]

Утирает лицо лозунгами.

[Сумасшедший слесарь унес ворота. Хотел строить метро.]

Новелла о закрытых дверях.

Каждый человек благороден только в своей среде.

Стоял на острове св. Елены и через остров Эльбу смотрел на родимую Францию.

Профессор поэзии.

[Кто дуба дает, кто в ящик сыграет, преставился, приказал долго жить, перекинулся, гигнулся, почил в бозе, протянул ноги.]

В кустах сверкали брильянты.

[Диковинка, полшишки, сотка, мерзавчик, гусь, бутылка, сороковка, две полбутылки, двадцатка.]

Бывший потомственный почетный гражданин.

Полевая кошка, сиречь заяц.

[Голубые ослы.]

На лбу вытатуировали нецензурное слово.

Люди нашего круга не умирают с голоду.

Изобретенческие вопросы.

Выдали замуж за налетчика.

Бабаедов.

Она знала все языки, но после тифа все забыла.

Низкий, страстный голос унитаза.

Не Осетрова, а Петухова.

[Жена нашла пропавшего мужа по рабкоровской заметке, которая его обхаивала.]

Как солдат на вошь.

Как архиерей на приеме.

Разыграли лотерею до срока.

[Разве вы не видите, что я закусываю?]

[На такие шансы я не ловлю.]

Лихорадушка, мужа старого, ты тряси его, тряси.

Наряду с недочетами есть и ответственные работники.

Урчанье гитар (желудок).

Бюро любовных писем.

О юмористах, темистах и редакторах сатирических журналов.

Попойников.

Фельетонисты и Даль. Он смотрит в Даль.

[Словарь Шекспира, негра и девицы.]

[Члек и Сóбак.]

Единственное кокетство мужчины:
— Пришейте мне пуговицы к жилету.

Секта Хис-Хис. Филиал. Наше вам с кисточкой.

Машина, которая печатает, складывает и даже прочитывает журнал.

Человек и жалобная книга.

Бега. Остап выигрывает.

Ловелас с шоколадом.

Циничная погода.

Планомерная ангина.

Нет такого обидного слова, которое не давалось бы в фамилию человеком.

[К Иванопуло приходили агенты, спрашивали Воробьянинова].

* * *

Поедем в город, там хорошо, коммунальные услуги.

Дело о будильнике.

Колода тасуется — 36 карт, однокопных, одномысленных, скажите всю истинную правду, что ожидает и что случится (говорится шепотом).

Выкладывается карта. Если рыжий — то бубновый король, если женатый — то червонный король. Колода раскрывается тройками. Пока в тройке не найдется король. Справа — будущее. Слева — прошедшее....

Ваша судьба. Письмо в скорой дороге с вашим интересом и вашими письмами...

Это сбесишьси.

В передней на крюке под потолком висит велосипед в простыне.

Предел застенчивости. Курьер, открывающий крышку рояля перед концертом, всю жизнь волнуется.

Калоши счастья.

Как трудно было их достать и как они погубили владельца. Он обменивал их и в театре убегал за пять минут до конца. Однажды в театре толпа, увидя его бегущим, подумала, что пожар, и в панике искалечила его.

Полк на параде и впереди командир на извозчике.

Я пришел к вам, как мужчина к мужчине.

Такой некультурный человек, что видел во сне бактерию в виде большой собаки.

Со времени разрушения храма не было кушанья вкуснее рубленой печенки.

Костистая извозчичья лошадь бежала так быстро, что взорвалась, когда остановилась.

Побоища беспризорных.

1. Хамите.
2. Хо-хо.
3. Знаменито!
4. Мрачный.
5. Мрак.
6. Жуть.
7. Парниша.
8. Не учите меня жить.
9. Как ребенка.
10. Красота.
11. Толстый и красивый.
12. Поедем на извозчике.
13. Поедем на таксо.
14. У вас вся спина белая.
15. Подумаешь!
16. Уля.
17. Ого.

Высокий класс.

Я страшно люблю деньги.

Ляпсус.

* * *

Застенчивый влюблен в машинистку и подает ей для перепечатки объяснение в любви. Взрыв клавиш. В секунду все напечатано. Только легкий дымок вьется над машинкой. Она даже не заметила, что это объяснение. Застенчивый глубоко оскорбился и всю жизнь ходил пришибленный.

[Сон Щукина — хамите, медведюля!]

[Чарушников Максим Петрович.]

[Никеша и Владя.]

Пополамов.

Ужаснов.

Пешая статуя.

Две двойни.

Подпись: 7 лосиноостровских матерей.

Дамочка «Скорая помощь».

Гигиенишвили.

Голубые ослы.

Шары, увядшие за праздник, падали в деревню.

Серна Моисеевна.

[Набережная.
Чаль за кольцы,
решетку береги,
стены не касайся]

[Дым курчавый, как цветная капуста.]

[Легкий секучий дождь.]

[Страдальческие крики пароходов.]

[Железные когти крючников.]

[Ахают, скрипят и летают качели.]

[Напрасно вы здесь стоите, здесь ничего не будет показано, показано будет только внутри, билет стоит тридцать копеек, напрасно вы здесь стоите, показано будет только внутри.]

Боязнь подхалимажа дошла до такой степени, что с начальством были просто грубы.

[Гостиница «Стоимость».]

Артель «Рефлекс».

Столовая «Фантазия».

Заносис.

Кофточка в полумесяцах. Красная в желтых.

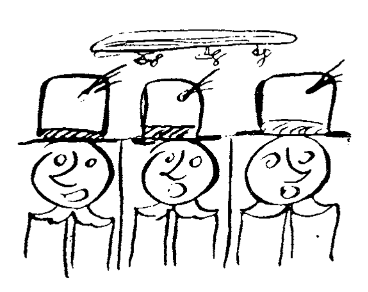
Управдом-скульптор.

Человек, потерявший память, живет чужой жизнью и в конце концов действует против самого себя.

Конрад Вейдт ищет комн., жел. в центре, плата по соглаш. Тел. 2-05-27.

Сов. Иосиф.

Братья Бабец.



Извозчик заплакал, тряся синими своими юбками.

Военный в бешенстве покинул трамвай. Полы его шинели свистели на ходу.

Гостиница «Лобзик».

— Врешь.
— Нет, не вру. Ошибаюсь.

Белые, эмалированные уши.

От весны было такое впечатление, будто играют на барабане.

Так медлителен, что мог бы жить на Юпитере.

Жилтоварищество «Воздушный замок».

Часовщик Дворца Труда. Его бродячее (из комнаты в комнату) ремесло.

Меерович-Данченко.

Косвенная улица, Гулевая улица.

Минеральные стельки. Идеал от пота ног. Радикальное средство.

[В конторе все Ивановы. Директор боится обвинения в засилии родственников. Предлагает менять фамилии. А одному Иванову не нашлось — выкинули.]

Просьба о скатерти руки не вытирать.

В 1920 году в пустынный порт пришел итальянский пароход со шляпами-канотье.

Над городом послышался скрип колеса фортуны.

Ввести в известную пьесу еще одно лицо, которое перевернет все действие.

Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу.

Маруся Верхняя, девочка из Глезера и Петцольда.

За время революции многие не успели вырасти, так и остались гимназистами.

Актер умирает и беспокоится, почему с ним не заключают ангажемента. Чтобы его успокоить, приезжает директор лучшего театра и подписывает с ним невероятный контракт. Актер выздоравливает и получает неслыханный гонорар.

Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла.

Файфоклок с колбаской. Дамы в пижамах, мужчины в толстовках.

Благоуханыч.

Так хотелось аплодировать, что был зуд в ладонях. Но так как попасть на пьесу не удалось, то на ладонях сделалась нервическая экзема.

Человек хороший и приятный, но так похож лицом на брата, что поминутно ждешь от него какой-то гадости.

— Кина не будет! — раздался крик на докладе, и зал опустел.

Контора заготовляет голубиный помет или тигровые когти (или башлыки).

Куриная грудь.

Плоская ступня.

Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Распутин местного почтового отделения.

Стютюэтки.

Пардон, еще пардон.

Ну, я не Христос.

«Содержимое этой тубы
Спасет ваш рот и зубы».

Время, когда все рекламы были в стихах.

Ко мне хорошо относятся крестьяне обоего пола.

У обезьян крадут бананы и снабжают ими Москву.

Загорелся сыр-божий.

Что вы испытываете, ковыряя в носу? Наслаждение или тоску?

— Прошлое?
— Нет. Предыдущее.

Вывалив язык, бежал человек.

Из гравюры предложили сделать пьесу.

Порвал с сословием мужчин и прошу считать меня женщиной.

Саванарыло.

Братский союз кирпичей.

Ежемесячный календарь «Циклоп».

Сидя на кукаречках.

Нормальный железнодорожный пейзаж.

— Крепкий у вас волос,— сказал парикмахер, который в будние дни играл на скрипке.

Золотой теленочек.

Жаре навстречу.

Справченко.

В марте в саду растут розги.

Говорил «слушаю» в телефон, всегда не своим голосом. Боялся.

Его окатили потные валы вдохновения.

Внезапно в театзал вбежали пожарные и затрубили. Паника. Оказалось, что анонс лотереи.

Кот-идиот. Когда ни откроешь дверь, он обязательно влезет в квартиру. И ничего за три года не нашел, а лезет.

Кольцо с масонскими знаками. Череп и кости. Имеется отделение для яда.

Двое в А. Зажиточный доктор смотрит сквозь кулак. Его спутник в пенсне и смотрит еще через пенсне, которое держит, как лорнет. Мнения не высказывают. Достойно молчат.

Нашему тыну двоюродный плетень.

Путешествие в страну идиотов.

Тов. Кретищенко.

Преждевременная аллея.

Упрямый центр.

* * *

Мещанская родословная. Сам служил, и деды служили. Дед нашел знаменитую ошибку в копейку в балансе Государственного банка и тем выбился в люди. Внук этим гордится так же, как гордятся все аристократы.

Слабый пол доводит примус до безумия, накачивая его так, как ни один мужчина не посмеет.

Во дворе была когда-то скульптурная мастерская. И до сих пор стоит посреди жилтоварищеского дома конная статуя Суворова и пешая какому-то герою 12-го года, а какому, уже нельзя узнать. Видны только баки Отечественной войны.

Палата мер и весов. Самая главная палата. Палата мер и весов решила... Палата постановила...

Улыбин, Меерович-Данченко, Муселевич-Фердинанд, Кониболоцкий.

Филипп и 5 его дочерей: Фатыма, Зайре, Мейсере, Мерзна, Мариам.

В Дворце Труда в какую комнату ни войди с вопросом «товарищ Шапиро здесь занимается?» — дают ответ: «Подождите минуточку, он вышел».

Самоубийца предъявляет вынувшему его из петли милиционеру судебный иск за ушиб.

Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у него было выигрышное положение.

Учитель-гармонист. Придя в сельскую школу, задаст урок, а сам сидит играет на гармонии.

Фамилии: Темпаче, Бабский, Невинский, Забава, Гадинг, Тец, Андреев-Трельский, Крыжановская-Винчестер, Шпанер-Шпанион, Манылам Попейко, Дыдычук, Буря, Варенников, Глобус, Выходец, Ежели.

Из этого надо сделать соответствующие оргвыводы.

Жон-Дуан.

А, колесно-мазутный техник! (О смазчике.)

Человек ci-devant[1] считает службу в совучреждении продолжением службы в армии и повышает себя в чинах за выслугу лет, за стычки и мелкие свары.

Оставался на службе и, подбирая окурки, узнавал по внешнему виду, чей это окурок.

Страшный сон. Снится Троя и на воротах надпись «Приама нет».

Зелизейские поля. Катедраль.

Имена: Куба, Бука, Клака.

Это был такой город, что в нем стояла конная статуя профессора Тимирязева.

Толкайте меня уже, толкайте.

Во сне он увидел самого Кассия Взаимопомощева.

Басис-Спилер, Овчиникос, Изражечников, Стопятый, Юсюпова, Помпейцев, Угадайс, Размахер.

Так же не нужно, как твердый знак в азбуке глухонемых.

Непреклонный возраст, мелкодраматический талант.

Богатства, накопленного миром, уже достаточно для того, чтобы открыть всеобщий праздник.

Торговал титулами в пользу детей.

---

[1] ci-devant — бывший человек (*франц.*).

Советский служащий, а был в молодости тореадором в Байоне.

Жена ходила на кладбище жаловаться покойнику мужу на тягость жизни. Сторож, которому это надоело, сказал загробным голосом из-за дерева:

— Пеки бублики!

— Как же я буду печь? У меня нет денег.

— Тогда не пеки.

— Как же мне не печь? Ведь я умру с голоду.

— Так пеки.

Писатели-чертежники. В романах у них всегда похищают чертежи.

Какая-нибудь необходимость воспользоваться оружием исторического музея.

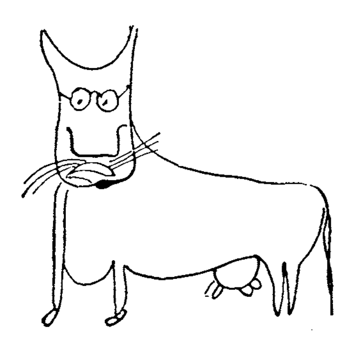
* * *

Ясно, что имеются достатки: шубки, юбки, крашены губки, подведены бровки, каждый день обновки, красивы завитушки, в ушах побрякушки, и все в этом роде, что ноне по моде.

Бойтесь данайцев, приносящих яйцев.

Приказано быть смелым.

Мне нужен покровитель с сосцами, полными молоком и медом.



Какие мосты на кисельных берегах.

Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу.

Иванов решает нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола.

Крахмальный замороженный воротник.

Деревьянный, мьясо, пьять.

Украденный мальчик. Вырос и, желая разбогатеть, искал пропавшего ребенка (самого себя).

Военно-полевые цветы.

Уксусные усы.

Розовый плюшевый носик.

Что может родиться у Рулетки и Тирана? — Тайна?

Известковая луна.

Человек объявил голодовку, потому что жена ушла.

Новелла о полюсе.

Человечество хорошеет с каждым днем. Некрасивых уже совсем нет.

Уши трепались от ветра, как вымпела.

На плече — порнографическая хризантема.

Табачная живопись в подвале. Месаксуди. Стамболи.

Вулкан Пока-Пока.

Дантистка Медуза-Горгонер.

Нимурмуров.

Не горит ли ваше имущество, когда вы в театре?

Сад зловещих предостережений.

Тен-Богорез и Тан Богораз.

Яблоко с родинкой.

Плохой сбор. Грабеж зала. Публика делит лучшие места. Выбирают хорошие и покидают их для еще лучших.

Дирижер размахивает желтым гамеровским карандашом с металлическим наконечником.

Стол личных счетов.

Барбадос Тринидадович.

Уважай себя.
Уважай Кавказ.
Уважай нас.
Посети нас.

Человек, устраивающий дела за 100 рублей. Если не устроится — то ничего. Если устроится — тем лучше. Сам же не прилагает никаких усилий.

Вечером, в субботу, когда все требуют полбутылки, барышня капризным голосом спрашивает:
— Есть у вас консервированный горошек?

Рыбья голова на тарелке, большая, как голова собачья.

Извозчики ничего не знают о себе, о том, что целый класс общества пишет о них.

* * *

Ну, сделайте ему клизму из крепкого чаю.

Горе тебе, Боря.

Многоствольная роща.

Прессованное стекло.

Рис по-султански.

Контора рогов и копыт. Ивано́в и Ива́нов. Как в бухгалтерских книгах отражается жизнь. Описание конторы. 6 однофамильцев. Их ранг — кто старше, у того счеты лучше — от сосновых до пальмовых.

Кукольный театр тети Кати.

Мальчик с оторванным ухом.

«Пачему?» «А курица потеет?»

Когда все в Одессе разрушится, морские ванны попрежнему будут сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны.

Пианист бросил играть, потому что в первом ряду сидел господин и вертел носком желтых ботинок.

2 роск. фикуса прод.

Собаки — Альма, Ничевок, Джемка.

Поэтические имена -- Алла, Муза.

Вы думаете, что детей звали Каин и Авель? Нет, история не повторяется.

Горящий обломок луны и весь дикий руинованный пейзаж, тяжелое, лунное море, черный столб от потухшего прожектора.

Ученый нарочно совершает мелкое преступление. Его сажают в допр, и там он кончает свой труд.

Гражданин Грубиян.

Каламбуркул.

Отдаться мало!

У него была искусственная рука, и рука эта не знала жалости.

Странный город, куда памятники навезли с кладбища.

Трое на ходу перед фотографом, напряжены. После съемки сразу смеются и идут вольнее и быстрее.

О человеке, просидевшем 20 лет в крепости. Он выходит и видит свою дочь такой, с какими он боролся.

И присоединился к великому стану золотоискателей, расположившихся лагерем на Камергерском переулке.

Седеющее бебе.

Бедные титаны! Они помахивали тросточками, но их лица, желтые, как сера, выдавали явное раздражение.

Объявление в саду: пиво отпускается только членам союза.

Надпись на магазинном стекле в узкой железной раме — «Штанов нет».

Ящеричные и лягушачьи галстуки.

Больной моет ногу, чтоб пойти к врачу. Придя, он замечает, что вымыл не ту ногу.

Пожаром признается всякое несчастие, происшедшее от огня, какие бы причины его ни вызвали.

Я не от градобития или мордобития какого-нибудь. Я чистейший агент по страхованию от огня.

Полное спокойствие может дать только полис.

Шапиро-Скобелев.

Император-кооператор.

Гражданин Сууп.

Человек, живущий ребусами.

В машинке нет «е». Его заменяют буквой «э». И получаются деловые бумаги с кавказским акцентом.

Трест «Метеорит» образовался для разработки метеорита.

Как изменились сновидения.

Девочка пасла шары.

Дама с мальчиком остановилась у окна парикмахерской. Красные и розовые болванки с париками.
— А я знаю, что это такое,— говорит мальчик.
— Что?
— Скальп.

Есть здесь люди, собирающие спичечные коробки? — А какие коробки вы собираете?

Арарат-Арарат. Ковчега не видно, но у подножия горы лежал очень пьяный Ной.

* * *

Профессор киноэтики.

Секция пространственных искусств.

[Череп, голый луковичный череп.]

Огонь и пепел. Когда она проходит мимо телефона, мембрана сама по себе начинает звучать.

Поступил в продажу зеркальный сом, живой и сонный.

Слезы, пролитые на спектаклях, надо собирать в графины.

[Не стучите лысиной по паркету.]

Тот час праздника, когда с деревьев сыплются электрические лампочки.

Грезидиум.

Ассоциация парикмахеров «Синяя борода».

Долго и душисто он отрыгивался шашлыком.

Шляпами закидаем.

[Полноценный усач.]

«Я не выношу катаклизмов».

Трубчатые макароны, вермишель, суповая засыпка.

Мейерхольд, окруженный адъютантами и адъютантшами.

Одеколон «Чрево Парижа».

[Кушаковский.]

Могила неизвестного частника.

[Он произошел не от обезьяны, а от коровы.]

Как будто собиралась родить овцу.

Дьяволы и бесы ремонта

[Адам и Ева в парке культуры.]

Мордофей и Стрекозей.

[Холодный философ.]

Потухшее рыло.

Золотые французские булочки, франзоль.

Золотая перчатка, поросенок, крендель.

Мамцев.

Памятник Первоопечатнику.

[Невыпеченные ноги.]

Известковые кренделя на стеклах новых домов.

[Летели целлулоидные, прозрачные самолеты.]

Улучшанский-Ухудшанский.

Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно.

Птицу делят на мельчайшие части.

Почему я должен уважать бабушку? Она меня даже не родила.

[Пароходный, свежий ветер.]

Цинковый носик.

Заяц на цеппелине.

[Всемирная лига сексуальных реформ.]

Салат «Демисезон».

Меня тошнит от запаха чистой воды.

Молодые длинноногие курсанты.

Так не везло. Купил «Жиллет» без дырочек.

Брюки-калейдоскоп. Водопад. Европа-«а».

Анализ мочи — на стол мечи.

Надо показать ему какую-нибудь бумагу, иначе он не поверит, что вы существуете.

[Шакалы и мопсы.]

[Не давите на мою психику.]

Он вел горестную жизнь плута.

[Бывший князь, а ныне трудящийся Востока.]

Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду?

Наше время — молодецкое.

Мародерский.

Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу.

[По лицу его бродила безобразная улыбка.]

[Есть так хочется. Нет ли у вас котлеты за пазухой?]

[С нарзанным визгом поднялись фонтаны.]

Плохо! Вам известно из физики, что на каждого человека давит столб воздуха с силой 214 фунтов.

Мороженое из синего стаканчика и костяная ложечка. Глазированное яблоко и сладкая кукуруза.

Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла.

[Гигиенишвили.]

* * *

В квартире, густо унавоженной бытом, сами по себе выросли фикусы.

Название для театра — «Принципиальный театр».

[Профессор Скончаловский.]

От почтительности медленнейшим образом опускались на стулья. Замедленная съемка.

Фасонное обращение: «Друг мой».

Представитель акционерного общества «Жесть», как ужаленный, посмотрел на девушку в черном шелковом пальто.

И угол шкафа, срезанный, как лыжа.

Оперный певец хороший, но плохо играет. И только роль Германа ему удается, потому что он страстный картежник.

Опасно ласкать рукой радиаторы парового отопления — они всегда покрыты пылью.

Меня пригласили на пароход и обещали кормить. На второй день есть не дали. Чиновник, к которому я обратился, во время объяснения со мной упал в трюм. И два дня мне не давали есть. Он болел, а без него дела не решались.

Что сделал конкурс гримас.

Подносят подарки уезжающему. Он прячет их и остается.

Шницель под брильянтовым соусом из слез.

Шерсть мексиканской коровы, захваченная концессией.

Две заботы — пьеса и хлеб.

Повесть о двадцати братьях.

Чтоб дети ваши не угасли,
Пожалуйста, организуйте ясли,

[Мадам и месье Подлинник.]

Шахматная доска в чернильных пятнах, похожая на старую парту.

На каждого автора из 9 ряда сурово смотрел сквозь бинокль лысый господин.

По улице бежит Иван Приблудный. В зубах у него шницель. Ночь.

Критик Двугорбов и фельетонист Не-Тыква.

Ответ заключенному в тюремной газете.
«Картинки из сельской жизни вам не удаются. Пишите лучше из жизни допра».

«Лица, растрачивающие (расход) свыше 3 рублей, могут требовать счет».

Две знаменитых экспедиции — Колумба и Голомба.

Царь-кустарь.

В телефонной книжке хорист вместо юриста.

[Государство затаскал по судам.]

И снова Г. продал свою бессмертную душу за 8 рублей.

К концу вечера хозяйка переменила костюм и оказалась в голубой пижаме с белыми отворотами. Мужчины старались не смотреть на хозяйку. Глаза хозяина сверкали сумасшедшим огнем.

Человек не знал двух слов — «да» и «нет». Он отвечал туманно: «Может быть, возможно, мы подумаем».

Город Колоколамск.

Колоколамск украшается статуями.

Объявление: «Зашли три гуся».

[В Колоколамске жил портной Соловейчик, настоящий разбойник.]

Ах, как трудно быть красивым, когда некрасива.

Лучшие бороды в стране собрались на спектакль.

Как колоколамцы нашли Амундсена. Сначала шли айсберги, потом вайсберги, а еще дальше — айзенберги.

Семен Маркович Столпник.

На стол был подан страшный, нашпигованный сплетнями гусь.

Никелированный, усыпанный цветными клавишами бюст кассы «Националь».

Человек-ребус говорит:
— Эх, идеология заела!

Лорд главный судья посоветовал ему не питать никаких несбыточных надежд и убедительно просил его приготовиться к переходу в вечность. Смертный приговор будет приведен в исполнение 14 июня.

— Ну, что, старик, в крематорий пора?
— Пора, батюшка.

Культпоход в Колоколамске, или как 1000 грамотных обучала одного неграмотного.

Гимназист в отставке.

Человек с перламутровым носом.

Тяжелая, чугунная, осенняя муха.

Новый Мир Божий.

Человек, который мог творить чудеса,— уборную он перестроил в уютную комнату.

Взбесившийся автомат.

В Колоколамске жильцы выпороли жильца за то, что он не тушил свет в уборной.

[Гражданин Лошадь-Пржевальский.]

Василевский (не-Шиллер).

— Клавдия Ивановна дома?
— Нет.
— А Глафира Ивановна?
— Нет.
— А Валентина Ивановна (ребенок)?
— Дома.
— Тогда я, пожалуй, войду.

В Колоколамске была Академия художественных наук.

Надькинд.

Из статьи в газете: «По линии огурцов дело обстоит благополучно...»

[Серьги раскачивались, тяжелые, как колокола.]

В носу растет табак.

Фирма «Шариков и Подшипников».

Лишены избирательного права в Англии: несовершеннолетние, пэры и идиоты.

— Ф., иди по начатому тобой пути.
И она пошла.
— Ф., прекрати начатый тобой путь.
Но она уже не прекратила.
Никакого созвучия душ.

Нужно унизить горный хребет.

Порцию аиста!

Ему 33 года. А что он сделал? Создал учение? Говорил проповеди? Воскресил Лазаря?

Драматическая сцена, которая не удалась из-за пожара. Объяснение при свете факелов оказалось бледным. И только поздно ночью загрохотали рюмки и послышался громовой голос.

Как уменьшилась вражда между собаками и кошками.

[Только у актеров в наше время остались длинные высокопарные титулы.]

Общество, которое вымирает, в противность другим обществам, каковые процветают.

Торопитесь, через полчаса вашей даме будет сто лет.

На ней был голубой фетровый колпачок, украшение которого составлял стеклянный полумесяц впереди.

Актеры не любят, когда их убивают во втором акте четырехактной пьесы.

Репетиция оперетты. В холодном темном зале. «Дайте станок для танго». Маэстро играет, когда давно уже окончился танцевальный номер. В ложах сидят розовые балерины. В фойе повторяют танец. Балетмейстерша в кудряшках прыгает во все стороны. Костюмы из глазета.

Афина — покровительница общих собраний.

Ни пером описать, ни гонораром оплатить.

Попугай-сквернослов.

Ах, это кузница здоровья? И Г. извивался перед человеком в барашковом сером воротнике.

Сам себе писал множество писем, чтобы досадить почтальону.

Несудимов.

Человек, который проникновенно произносил: «Кушать подано».

Волосы из прически лежали на столе, похожие на паука.

Столичная штучка. Выбритый лоб, бородка, литературно-артистически-художественное лицо, открытый ворот рубашки «апаш» и шарф из розового фланилета.

Дом, милый дом, родной дом. Я ходил по всему дому, обсуждал все квартиры.

Физиономия американского миллионера, за которой нет ни Америки, ни миллионов. Физиономия ни к чему.

Промкооптоварищество «Любовь».

Электрическими искрами сверкала замороженная штукатурка.

Шестигранный карандаш задрожал в его руке.

Профессор киноэтики. А вся этика заключается в том, что режиссер не должен жить с актрисами.

Разорились на обедах, которыми угощали друг друга.

На чистой сливочной лирике.

Человек, в котором неукротимое стремление к симметрии, порядку.

Он не выносил катаклизмов.

Подсознательный насморк.

Человек в кино, похожий на Суворова в бобровой шапке.

Посреди комнаты уборщица в валенках стряхивала термометр.

«О пожарах звонить по №»
«О растратах звонить по №»

Все зависит в конце концов от восприятия: легковерные французы думают, что при 3° мороза уже нужно замерзать — и действительно замерзают.

[В городе не было кожи. Она вся ушла на портфели.]

От постылых знакомых человек ушел в анабиоз на 100 лет. И, проснувшись, нашел их же.

Конкурс лгунов. Первый приз получил человек, говоривший правду.

Зачем подвергаться анабиозу, когда можно переменить квартиру?

Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком.

Дымоуправление.

Емельянингс — киноактер.

Дворницкие лица карточных королей. Тонкая и сатирическая улыбка валета треф. Глуповатая немецкая красавица дама бубен с поднятыми бровями. Туз пик, похожий на одинокую репу. Малиновые ягодицы червей.

В моде были кожаные бутылочки на ногах.

Старомодный человек — он пел цыганские романсы, играл на биллиарде и бегах.

Московская гурия.

Кот повис на диване, как Ромео на веревочной лестнице.

Секция Труб и Печей.

Вор-вегетарианец.

Вакханюк, Вакханский, Вакханальский.

Сон. Калиф на день.

Глупый ангел.

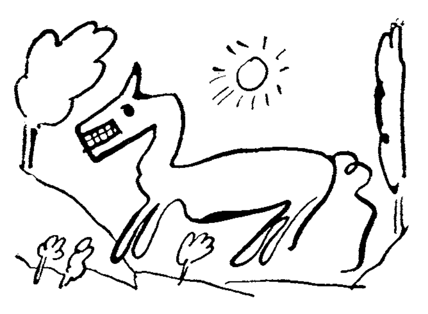
Глаза у кота, как мишени.

О Гаммере она еще слышала, но о Гомере ничего не знает.

Вышестоящий товарищ.

Бытово.

Белая лошадь, высокая и худая, бежит во весь опор.



На высокой лестнице в книжной лавке приказчик сидел, как скворец.

Судя по сообщениям о нищих, можно подумать, что легче всего разбогатеть, сделавшись нищим.

Омолодился и умер от скарлатины.

Не курил 12 лет, и все это время ему хотелось курить.

Муки человека, бросившего табак. Мысли о плачевной участи табачной промышленности. И так в жизни мало радостей. Жаль благородного занятия, чисто мужского и мужественного.

Последний промысел. Отдавать пса в женихи.

В нем жила душа гуся.

Тусклый, цвета мочи, свет электрической лампочки.

По рублю с мозоли.

Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли — в коньяк «Три звездочки». Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей.

Шкаф типа «Гей, славяне».

Дылды. Некультурные люди. Останавливаются в дверях магазинов. Прочитывают плакаты, а потом спрашивают: «Ботинки — это налево?»

Аптека. Провизоры яростно растирают порошки и яды в толстых чашках. По автомату говорят влюбленные и спортсмены. Парочки сидят вдоль стен. Нищие отворяют двери. Не хватает только пинг-понга и тира.

В корне отметаю!

Глупость хлынула водопадом.

— Крыса О-ский бежит с корабля.
— Неверно,— робко ответил из толпы крыса.

П. Г. в травяном пальто, белый, розовый и голубой, с розовыми очками.

Я как коммерческий директор тоже отвечаю за идеологию.

1001 день, или Новая Шахразада.

Брови, как серп луны в начале апреля, дамасские лилии, нильские огурцы, египетские лимоны, горные тюльпаны и жасмины из Алеппо.

Кусок мяса, завернутый в листья бананов.

Сахарные завитки на масле. Лимонные паштеты. Воздушные пирожные, сделанные на масле, молоке и меде.

Знайте же, о члены комиссии по сокращению штатов, что жил некогда бедный счетовод в Багдаде.

Щеки, как горные тюльпаны.

И подарил ему 1000 анкет.

О, зловещая борода!
О, зрачок моего глаза!

Великий комбинатор.

Минеральный фонтан. Профессор киноэтики. Секция пространственных искусств... Ребусы. Идеология заела.

* * *

Ему не нужна была вечная иголка для примуса. Он не собирался жить вечно.

Кончен, кончен день забав,
Стреляй, мой маленький зуав.

Наша жизнь — это арфа.
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье,—
Любовь играет на другой.

Четыре певицы, четыре хорошо одетых женщины пришли жаловаться. Речь: «У нас в посредрабисе при квалификации происходит колоссальная петрушка». Хорошо одеты, а писать грамотно не умеют.

Вечер. Маленький оркестр из саксофонов. Мраморные салфетки. Девушка в очках. Дети с громкими фамилиями. Сын такого-то, дочь чайного короля. Стоптанные башмаки и ноги, длинные, как лук-порей. Немецкий профессор с деревянной бородкой. Его облили ледяной водой из шампанского ведра. И вода замерзала на его конической лысине. Толстобедрый С. в толстом пенсне.

Человечество делится на две части. Одна, меньшая, переходит дорогу при виде трамвая или автомобиля, другая — ждет, чтобы экипажи прошли.

Откуда у русского человека фамилия Попугаев?

Цыплячья скрипка. Снилось ему, что он продавал скрипку по частям, как цыпленка.

Толстый биллиардист приехал в Гагры, провел весь день в биллиардной, стуча шарами, а к вечеру уехал, заявив:

— Я здесь не могу жить. Горы меня душат.

В большой пустой комнате стоит агитационный гроб, который таскают на демонстрациях.

Твердое мальчишеское лицо и аккуратный затылок. Пальто реглан.

Длинные волосы. Скороговорка. Узкие глаза.

Маленькие лужицы вздрагивают на мостовой.

Ходил на заседания покушать.

Две американки приехали в Россию, чтобы узнать секрет приготовления самогона.

Белая пароходная комната. Прикрепленная мебель. Быт пароходный, недвижимый, точный.

— Не называйте меня Жар-Птицей, зовите меня просто Нюрочкой.



[Последнее утешение он хотел найти в снах, но даже сны стали современными и злободневными.]

С трудом из трех золотых сделали один — и получили за это бессрочные каторжные работы.

Прыгает на ходу в трамвай. У него 10 руб. и 73 коп. Клянется, что у него только 73 коп., и отдает их. В трамвае замечает, что потерял заветный червонец, и бежит на поиски. Находит, но их отбирают как чужие деньги. На крики милиционер отвечает: «Ведь у вас денег не было». Напоминает ему о 73 копейках.

Переезжают на новую квартиру и видят, что там клопы... Сера. Дым пробивается в щели. Сосед высаживает две рамы. Дым вырывается наружу. Думают, что пожар. Вызывают команду. Результаты: клопы остались, 20 рублей за серу, 20 рублей за вызов пожарных и две разбитые рамы.

Женщина, при виде которой вспоминается объявление: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».

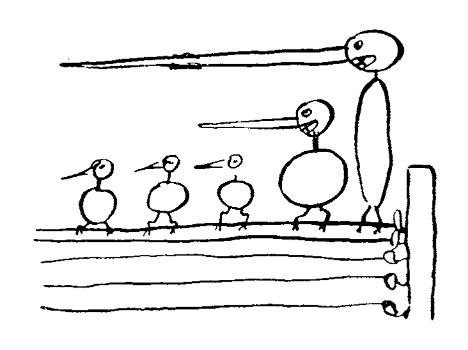
Сумасшедший, которому запретили иметь детей и у которого желание иметь детей стало манией.

Кегельбойм.

Часовая мастерская «Новое время».

Постройка воздушного замка.

Воздушная держава, подданные которой не спускаются на землю.



Человек, с которым надо сидеть рядом и указывать ему, что хорошо, а что плохо, иначе он может перепутать.

Если человек говорит: «Мне нужно освежить в памяти сюжет», это значит, что он ничего не читал.

Наследники американского солдата.

Когда гиганты, размахивая зонтиками, ушли на прогулку, в их дом пробрался карлик.

Идите, идите, вы не в церкви, вас не обманут.

— С таким счастьем — и на свободе!

Потерял репутацию из-за собаки, из-за лакейства перед ней.

В доме отдыха не знают ни профессий, ни должности друг друга.

Памятник в виде неликвидного фонда.

Пруды просвещения.

Девушка без мотора.

Золотая доска. И ошибка в надписи на ней.

Королева всех закусочных.

Он положил на стол браунинг, перочинный ножик. Вот все, что осталось от моего друга, он сошел с ума.

Выдвиженщина.

Шпиц, похожий на муфту.

Гей, ты моя Генриэтточка.

Как человек зарабатывал себе общественный стаж — стенгазета и семейные вечера.

Фабрика военно-походных кроватей имени товарища Прокруста.

Начало. Белые суконные брюки в полоску. Эти брюки он прожег папиросой, и с этого начался рассказ о меценатке. Фарфоровая чашка, костюмы, визитные карточки, 3000, ложа в Большом театре. И позорный конец, левая живопись. Вильно. Арендная плата.

Не знали, кто приедет, и вывесили все накопившиеся за 5 лет лозунги.

Водопада нет. Калейдоскоп. Европа-«а». Брючник «Львиное сердце». А водопада не было.

Что странно для иностранцев в Москве — духи, продающиеся в комиссионном магазине.

Черно-блестящий цвет.

Доктор Страусян.

В зоосаду некоторые звери сумасшедшие.

Вайнторг.

Атлетический нос.

Обвиняли его в том, что он ездил в баню на автомобиле. Он же доказывал, что уже 16 лет не был в бане.

Частники и соучастники.

Низко на поле горели лампы. Трава чистила ботинки. Росли цветочки. Стояли часовые. Бледно светили автомобильные фары. Уезжающие стояли с бледными лицами — боялись, что их будут бить. Потом выбросили корреспондентов за борт, в море зеленой травы. Принесли в жертву.

Внесметные и сверхсметные толпы.

Регистрация граждан, желающих кушать ананасы.

Прогулка в воздухе. Желая во что бы то ни стало попасть в число участников, все начали с маленьких подлостей, а окончили такими большими, что произошел общий крах.

Военно-полевые цветочки.

Акушерка Интересных-Девушек.

В окнах пейзажи. Написанные, они вызывали бы скуку.

Узнавание Москвы в различных частях Ярославля. Очень приятное чувство.

С криком «не видала ты подарка» бросали в воду разные предметы.

Вывез дочь на пароход, чтобы найти ей жениха.

Витрина Швея. Две куртки — милиционера и пожарного. «Прием в ремонт одежды».

Шофер Сагассер.

Чуть суд — призывали Сагассера — он возил всех развращенных, других шоферов не было.

Шофер блуждал на своей машине в поисках потребителя.

Ну, как ваши воры, негодяи и государственные преступники?

Гулкая зала суда. Реплики грохочут. Заседатель, у которого только один вопрос: «А вы с ним давно знакомы?»

Стригут и бреют газон.

Беспокойный город. Все что-то хотят купить и нервно входят и выходят из магазинов.

Пайщики разделяются совсем не по стажу — разделяются на губошлепов и крикунов.

Показательный пайщик — 18 лет. А вы, еще молодой человек, просите площадь.

Вы шкура! Этим я хотел определить место, которое вы занимаете среди полутора миллиардов людей на земле.

Фотограф. Фон — колоннада и Аврора. На углу висит матросская форменка для желающих сняться в этом боевом виде.

Хохотала, хохотала, пока не охрипла.

Заработок — переносил людей через грязную улицу — брал 2 коп. За право перехода по доске — 1 коп.

Кино приехало.

Кипятил свои мозоли.

Мундир пожарного. Пришлось купить — другого не было.

Артель «Красный петух».

У нас общественной работой считается то, за что не платят денег.

Самоубийства дворников весной, когда в апреле внезапно выпадает густой снег.

Как многие из малограмотных, он очень любил писать, и не столько писать — просто он уважал те приборы, которыми пользовался,— чернильницу, пресс-папье и толстую сигарную ручку.

У растолстевшей девушки бедра сделались большими, как у извозчика зимой.

Медицинские весы для лиц, уважающих свое здоровье.

На островах Жилтоварищества.

Сушил усы грелкой. Любимое было удовольствие.

Один этаж надстроило одно учреждение, второй — другое. Причем, оба между собой враждовали.

Лицо, не истощенное умственными упражнениями.

Человек, получивший новую комнату, невыносим. Он требует восторгов сначала молча, а потом и иными способами. Он обращает внимание гостя на достоинства плинтуса, на чудный сад, на величину комнаты и т. д.

Магазин дамского трикотажа. Мужчины сюда не ходят, и дамы ведут себя совершенно как обезьяны. Они обступили даму, примеряющую пальто, и жадно ее рассматривают.

Он так много и долго пьет, что изо рта у него пахнет уже не спиртом, а скипидаром.

Дождь дробил лысину.

А она все летала в трамвае мимо дома.

Учреждение в доме, где раньше была больница.

Работницы на газоне работают в позе пишущего амура.

Крытых-Рынков.

Крайних-Взглядов.

20 сыновей лейтенанта Шмидта. Двое встречаются.

В учреждение вбежал человек с палкой и ударил кого-то по голове.

Вас я помню, а стихи забыл.

В городе все были Фаины, Маргариты. Переменили имена — Матрены, Феклы.

Автомобиль имел имя. Его часто красили.

Даже не для собаки, а для кошки украшение.

Торговала, как испанцы с индейцами.

По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда.

Хамил, а потом посылал извинительные телеграммы.

Генеральное общество французской ваксы.

Станция Анадысь.

Шахматист — лекция. Внезапно он заявил, что девятка дает больше комбинаций, чем шахматы.

Купили замечательную машину и стали из-за нее спорить. А машина стояла.

* * *

Лоб, изборожденный пивными морщинами.

У старушки узкий ротик, как у копилки.

Сползаешь на рельсы, скатываешься!

Однообразная биография турецких госдеятелей: «Повешен в Смирне в 1926 г.»

По каким признакам объединяются люди? Служащие, вдовы...

Подбородок, как кошелек.

Два знаменитых человека. Беспокойство. Кто раньше будет говорить речь над могилой.

Одну пару рогов я заготовил, но где взять копыта?

Под портретом плакат: «Соблюдайте тишину». И это казалось заповедью.

«В ночной тиши слышен был только стук лбов».

Никто не спрашивал его о том, что он думает о мещанстве.

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу.

Рыба южных морей? Селедка!

Солист его величества треснулся лбом.

Нам такие нужны. Он знает арифметику. Он нам нужен.

Оратор вкрадчивым голосом плел общеизвестное.

Человек, потерявший жанр.

Все языки заняты, кроме языка черноногих индейцев.

Думалкин и Блеялкин.

Выгнали за половое влечение.

Украли пальто, на обратном пути все остальное. И он вышел из вагона, сгибаясь под тяжестью мешка с дынями, которые подарила ему мама.

Отравился наждаком. Первый случай в истории клиники Склифасовского.

Чистка больных.

А рожать все так же трудно, как и 2000 лет назад?

Дети говорят, как взрослые: «Понравилась тебе эта дамочка?»

Блудный сын возвращается домой.

У трамвайной остановки: — Меня преследуют, — хрипло сказал он.

Что может изготовлять кооптоварищество «Любовь»?

Гефтий Иванович Фильдеперсовых-Чулков.

Тов. Жреческий.

Гуинпленум.

Филипп Алиготе.

Усвешкин, Ушишкин и Усоскин.

Бронзовый свет.

Такое впечатление, будто все население в трамваях переезжает в другой город.

Одинокий ищет комнату. Одинокому нужна комната. Одинокий, одинокий, страшно одинокий. Одинокий с дочерью ищет комнату.

У него было темное прошлое. Он был первый ученик, и погоня за пятерками отвлекла его от игр. Он не умел кататься на коньках, не играл на бильярде.

Он был такого маленького роста, что мог услышать только шумы в нижней части живота своего соседа, пенье кишок, визг перевариваемой пищи. Пища визжит, она не хочет, чтоб ее переваривали.

Голенищев-Бутусов.

— Ай, какие шары! Я из этих шаров питался.

Правда объектива, бинокля, телескопа.

Нападение тигра, подшитого биллиардным сукном, на бунгало.

«Иногда мне снится, что я сын раввина».

На основе всесторонней и обоюдоострой склоки.

При расстановке основных сил на театре вы будете сметены.

— Что, молния скоро ударит в это невинное здание?
— Скоро.
— А грозы и бури будут?
— Будут.
— И фундамент затрясется?
— Да, фундамент затрясется.

У вас туманные представления о браке. Вас кто-то обманул.

Опять смотреть, как счастливцы спускаются по мраморным ступеням.

Номера нет, пальмы растут, настоящие Гагры.

Искусство на грани преступления.

Хозгод.

Что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию.

Немцы вопили: «Ельки-пальки».

Теперь этого уже не носят. Кто не носит, где не носят? В Аргентине? В Париже не носят?

Собаковладельцы-страдальцы. Перед собаками надо унижаться.

Потенциальная гадюка.

Настроение было такое торжественное, что хотелось вручить ноту.

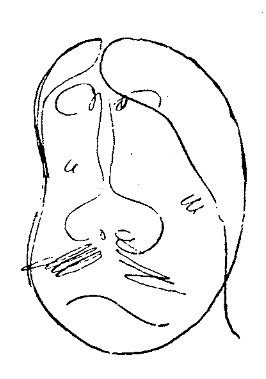
Снег падал тихо, как в стакане.

Теория потухающей склоки.

Девушка шла через приемную, прижимая к глазам платок.

Х. уцелел от взрыва, но ходил с обгорелыми усами.

Ветчинное рыло.



Подлейший из ангелов.

Старые анекдоты возвращаются.

До революции он был генеральской задницей. Революция его раскрепостила, и он начал самостоятельное существование.

Не гордитесь тем, что вы поете. При социализме все будут петь.

Самогон можно гнать из всего, хоть из табуретки. Табуреточный самогон.

У меня расстройство пяточного нерва.

Невинные на вид люди. Но при прикосновении к ним преображаются, как при ударе электричеством.

За срастание со львами — царями пустыни.

Молодой человек в трамвае, девушка и платок.

Бог правду видит, да не скоро скажет. Что за волокита?

Умалишенец.

Мрачная лавина покупателей, дефилирующая перед прилавками и, не останавливаясь, направляющаяся к выходу.

Носил все вещи с пломбами.

На почтамте оживление. «Дорогая тетя, с сегодняшнего дня я уже лишонец».

Быстрое течение вещей. Они мелькают. И вдруг все останавливается (обеднение), каждая вещь становится значительной — резервом,— каждую вещь подолгу осматривают.

Старуха, которая никогда ничего не заработает. Она слишком громко кричит о своем товаре — средстве от пота ног. «При средней потливости, а также подмышек».

Пришли два немца и купили огромный кустарный ковш с славянской надписью: «Мы путь земле укажем новый, владыкой мира будет труд».

Боченочков.

Это была обыкновенная компания — дочь урядника, сын купца, племянник полковника.

Он за советскую власть, а жалуется он просто потому, что ему вообще не нравится наша солнечная система.

Одеколон не роскошь, а гигиена.

Долговязыч и Сухопарыч.

Если у вас есть сын, назовите его Голиафом, если дочь — Андромахой.

Не красна изба углами,
А красна управделами.

И голова его, стуча, скатилась к ногам.

Лампа в 1000 свечей. Счетчик срывается со стены и летает, как гроб, по комнатам.

Девочка с пальмочкой на голове.

Не помню я, чтоб мой отец насаждал у нас дома коллективный быт.

Татуированные сотрудники.

Сумасшедший дом, где все здоровы.

Заскакиванье. Бытовое загнивание.

* * *

— Вы культурное наследие царизма. Мы вас используем.
— Ну, не используете.
— Всосем.
— Нет, не всосете.

Что снится рыбе.

Осторожный и непонятный юридический язык.

Печальный влюбленный.
— «Собирайте кости своих друзей — это утиль».

Отправляясь в гости, собирайте кости.

Упражняйте свою волю. Не садитесь в первый вагон трамвая. Ждите второго.

А второй всегда идет только до центра.

Кара-курт. Все выбежали из учреждения. И в опустевшем доме жил паук. Поймали его только на 2-ой день.

Вчера во мне проснулся частник. Мне захотелось торговать.

Газеты, опоздавшие в пути.

Мать и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Допустим ли такой параллелизм в работе?

Журнал «За рулетку».

Страдания глухого после внедрения звукового кино.

Костюм из шерсти дружественных ему баранов.

Эй, Матвей, не жалей лаптей.

Медали лежали грудами, как бисквиты на детском празднике.

Бисквитное сиденье рояльной табуретки.

Резонансное дерево. Скрипка цвета копченой воблы.

Дирекция просит публику не нарушать художественной цельности спектакля аплодисментами во время хода действия.

Потребовались песни, стихи, романы, обряды, жилища и новое уменье хорошо держать себя в обществе.

Из-за головотяпства не выпустили календарей, и люди забыли, какое число. Продолжалось это месяц.

Торжество в восточном вкусе.

Июньский-Июльский.

Ледовитов.

Папахин.

Закусий-Камчатский.

Нерасторгуев.

Парижанский-Пружанский.

Младокошкин.

Командировочных.

Ослабленный страхом инженер. Личные его отношения с громкоголосым делопроизводителем.

Клубышев.

Кастраки. Плохачев.

Путаясь в соплях, вошел мальчик.

Каучуконосов.

Есть звезды, незаслуженно известные, вроде Большой Медведицы.

Поправки и отмежевки.

* * *

Мы летим в пушечном ядре. Ничего общего со звездами, с холодом сфер.

Выигрыш в 50 000 р. пал на гражданина нашего города Ивана Самойловича Федоренко (Виноградная, 17, кв. 5). Выигравший пожелал остаться неизвестным.

Хотели выменять граммофон без трубы в деревне, но мужики не взяли. Им нужен был с трубой, с идиотским железным тюльпаном.

За что же меня лишать всего! Ведь я в детстве хотел быть вагоновожатым! Ах, зачем я пошел по линии частного капитала!

Два-три человека могут изменить тихий город. Дать ему новые песни, шутки, обычаи.

«Я умру на пороге счастья, как раз за день до того, когда будут раздавать конфеты».

Главная аорта города.

«Стальные ли ребра?» «Двенадцать ли стульев?» «Растратчики» ли?»

[Средиземский.]

Собака так предана, что просто не веришь в то, что человек заслуживает такой любви.

Межрабпомфильм.
Система работы «под ручку». Работник приезжает на службу в 10 часов, а доходит до своего кабинета только в 4.

В огромной статье (800 строк) человек беспрерывно утверждал: «Товарищ такой-то отличается главным образом лаконичностью своего письма».

Всегда есть такой человек, который изо всех сил хочет высказаться последним.

Почему он на ней женился, не понимаю. Она так некрасива, что на улице оборачиваются.

Вот и он обернулся. Думает, что за черт! Подошел ближе, ан уже было поздно.

Ему важно только найти формулу, чтоб удобней было жить, лучше себя чувствовать. Ваша комната больше моей, но кажется меньше.

В защиту пешехода. Пешеходов надо любить. Журнал «Пешеход».

Переезжали два учреждения — одно на место другого. Одно выбралось со всеми вещами, а другое отказалось выехать. И оба уже не могли работать.

Крылечки. Видно, что люди собрались долго и тихо жить. Полковничий городок.

Побасенков.

Чтец-декларатор.

Романс:

«Это было в комиссии
По чистке служащих».

«Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» (Третьяковка).

Оказался сыном святого.

Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты.

Неваляшки, прыгалки, куклы-моргалки. Зайцы с писком.

Свежий пароходный ветер. Пароходная комната.

Вы, владеющий тайной стиха!

Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлежащему.

Нашествие старых анекдотов.

Стойкое облысение.

Клуб «Домосед».

«Пешеходы что делают! Так под машинами и сигают».

Хвост, как сабля, выгнутый и твердый.

Появился новый страшный враг — луговой мотылек.

Пер-Лашезов.

«Для моего сердца».

НАМИ, ЦАГИ.

* * *

«Как бурлит жизнь? Почему не описывается, как бурлит жизнь?»

Советский чтец-декламатор.

Орда взбунтовавшихся чиновников.

* * *

Левиафьян.

«Она полна противоречий» (романс).

Обрывает воздушные шары. «Любит — не любит».

Странный русский язык на проекте Корбюзье. «Президюм». «Выход свиты». «Зала на 200 человеков».

Велосипедно-атлетическое общество.

По линии наименьшего сопротивления все обстоит благополучно.

В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.

Я странствую по этой лестнице, я скитаюсь по ней.

Торжественное обещание. Я сын трудового народа, клянусь и обещаю... и самой жизни своей...

Утреннюю зарядку я уже отобразил в художественной литературе.

В годовщину свадьбы буду выставлять на балконе огненные цифры.

— Я, товарищи, рабочий от станка...
— И тут не фабриканты сидят.

Если бы Эдисон вел бы такие разговоры, не видать бы миру ни граммофона, ни телефона.

«Требуется здоровый молодой человек, умеющий ездить на велосипеде. Плата по соглашению». Как хорошо быть молодым, здоровым, уметь ездить на велосипеде и получать плату по соглашению!

Входит, уходит, смеется, застреливается.

Два брата-ренегата. Рене Гад и Андре Гад.

Был у меня знакомый, далеко не лорд. Есть у меня знакомая дама, не Вера Засулич. Художник, не Рубенс.

— Вы марксист?
— Нет.
— Кто же вы такой?
— Я эклектик.
Стали писать — «эклектик». Остановили. «Не отрезывайте человеку путей к отступлению».

Приступили снова.

— А по-вашему, эклектизм — это хорошо?

— Да уж что хорошего.

Записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».

Счастливец, бредущий по краю планеты в погоне за счастьем, которого солнечная система не может предложить. Безумец, беспрерывно лопочущий и размахивающий руками.

Ваше твердое маленькое сердце. Плоское и твердое как галечный камень.

Ария Хозе из оперы Бизе.

Чудесное превращение двух служащих в капитана и матроса. Буйный ветер нас гонит и мучит. Есть, капитан.

«Молю о скромности и тайне» (романс).

В первые минуты бываешь ошеломлен бездарностью и фальшью всего — и актеров и текста. И так на самом лучшем спектакле.

Я, как ворон, по свету носился,
Для тебя лишь добычу искал,
Надсмеялся над бедной девчонкой,
Надсмеялся, потом разлюбил.

Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна трамвая. Серый, адский свет. Загробная жизнь.

Это был не кто иной, как сам господин Есипом. Господин Есипом был старик крутого нрава. Завещание господина Есипома. Господин Есипом не любил холостяков, вдов, женатых, невест, женихов, детей — он не любил ничего на свете. Таков был господин Есипом.

Отрез серо-шинельного сукна. Теперь я сплю под ним, как фельдмаршал.

Когда в области темно-синего кавалерийского и светло-синего авиационного сукон обнаружатся новые веяния, прошу меня известить.

Мне обещали, что я буду летать, но я все время ездил в трамвае.

Вы даже представить себе не можете, как я могу быть жалок и скучен.

Утро. Тот его холодный час, когда голуби жмутся по карнизам.

Привидений господин Есипом не любил за то, что они появляются только ночью, а фининспекторов за то, что они приходят днем.

Если у нас родятся два сына, мы назовем их Давид и Голиаф. Давида мы отдадим вам, а Голиафа оставим себе.

Аппетит приходит во время стояния в очереди.



Можно собирать марки с зубчиками, можно и без зубчиков. Можно собирать штемпелеванные, можно и чистые. Можно варить их в кипятке, можно и не в кипятке, просто в холодной воде. Все можно.

Это я говорю вам, как Ричард Львиное Сердце.

Звезда над газовыми фонарями и электрическими лампами Сивцева Вражка.

Удар наносится так: «Дорогой Владимир Львович,— бац»...

Меня все время выталкивали из разговора.

— Ты меня слышишь?
— Да, я тебя слышу.
— Хорошо тебе на том свете?
— Да, мне хорошо.
— Почему же ты такой грустный?
— Я совсем не грустный.
— Нет, ты очень грустный. Может, тебе плохо среди серафимов?
— Нет, мне совсем не плохо. Мне хорошо.
— Где же твои крылья?
— У меня отобрали крылья.

Когда покупатели увидели этот товар, они поняли, что все преграды рухнули, что все можно.

Полны безумных сожалений.

Шляпа «Дар сатаны».

Кругом обманут! Я дитя!

Надо иметь терпениум мобиле.

Одинокий мститель снова поднял свой пылающий меч.

Что же касается «пикейных жилетов», то они полны таких безумных сожалений о прошлом времени, что, конечно, они уже совсем сумасшедшие.

Глуховатые, не слушающие друг друга люди. Большая часть времени уходит у них на улаживание недоразумений, возникших уже в самом разговоре, а не из-за принципиальных разногласий.

Я был на нашей далекой родине. Снова увидел недвижимый пейзаж бульвара, платанов, улиц, залитых итальянской лавой.

Холодные волны вечной завивки.

Лучшего пульса не бывает, такой только у принца Уэльского.

Привидение на зубцах башни.

В клубе. Там, где милиция нагло попирает созданные ею самой законы, там, где пьесы в зрительном зале, а не на сцене, диккенсовская харчевня, войлочные шляпы набекрень.

* * *

Бернгард Гернгросс.

т. Randerский.

— Нам нужен социализм.
— Да. Но вы социализму не нужны.

Писатель со странностями всех сразу великих писателей.

Толстые стаканчики.

Чудный зимний вечер. Пылают розовые фонари. На дрожках и такси подъезжают зрители. Они снимают шубы. П. взмахнет палочкой, и начнется бред.

Поэт. Соловей. Роза. А получается абсолютно выдержанное стихотворение.

Оробелов.

— Что у вас там на полке?
— Утюг.
— Дайте два.

Лодки уткнулись носами в пристань, как намагниченные, как к магниту.

Мы тебя загоним как кота.

Сначала вы будете считать дни, потом перестанете, а еще потом внезапно заметите, что вы стоите на улице и курите.



Замшевый, кошелечный зад льва.

Попугаи с трудом научили свою руководительницу выступать в цирке. Долго ее ругают за нечистую работу после каждого представления.
«Дай поцелую, дай поцелую».

Над писательской кассой:
«Оставляй излишки
не в пивной,
а на сберкнижке».

«Знаете, после землетрясения вина делаются замечательными».

Построили горы для привлечения туристов.

Завел себе знатока и обо всем его спрашивал, всюду с собой водил. «Хорошо? А? Браво, браво».

Как я искал окурки в Петергофе.

Конгресс почвоведов.

Гете, Шиллер и Шекспир организовывали пир.

Две папиросы дал мороженщик.

Этой книге я приписываю значительную часть своего поглупения.

Остап-миллионер собирает окурки.

Гостиница работает как большая электрическая станция. Снизу, со двора, доносятся тяжелые удары и кипенье, а в коридорах чисто, тихо и светло, как в распределительном зале.

«Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется.

За такого-то.
За сякого-то».

Учреждение «Аз есмь».

Кавказский набор слов, как поясок с накладным серебром.

Советский лук. Метание редиски.

Стоит только выйти в коридор, как уже навстречу идет человек-отражение. Служба человека-отражение.

Паркетные мостовые Ленинграда.

Бильярдистам: — Эй, вы, дровосеки.

Надо внести ужас в стан противника.

«Достиг я высшей меры».

Счастливые годы прошли. И уже показался человек в деревянных сандалиях. Нагло стуча, он прошел по асфальту.

Домашние хозяйки, домашние обеды, домашнее образование, домашние вещи.

Бороться за крохи.

Слепой в сиреневых очках — вор.

Пальто с кошельком в кармане.

Сумасшедший из Америки.

Теоретик пожарного дела. Нашел цитату. Стенгазета «Из огня да в полымя». Ходил с пожарными в театры. Учредил особую пожарную цензуру.

Осенний день в начале сентября, когда детям раздают цветы с цветников.

* * *

Семейство хорьков. Их принимал дуче. Они стояли, как римляне.

Очень были похожи лицами, как ни пытались это скрыть очками, баками. Все варианты одного лица.

«Здесь я читал интересную лекцию. Но до них не дошло — низкий культурный уровень».

Пушечное облако.

Когда в учреждении не вымыты стекла, то уже ничего не произойдет.

Женщина-милиционер прежде всего — женщина.

Женщина-милиционер все-таки прежде всего — милиционер.

В учреждениях человека встречают гнетущим молчанием, как будто самый факт вашего прихода неприятен.

* * *

Возьмем тех же феодалов.

В некоем царстве, ботаническом государстве.



Садик самоубийц.

Вы одна в государстве теней, я ничем не могу вам помочь.

Я не художник слова. Я начальник.

Толстовец-людоед.

Тыка и ляпа. Так медведи говорят между собой.

Он не знал нюансов языка и говорил сразу : «О, я хотел бы видеть вас голой».

По какому только поводу не завязывается у нас служебная переписка!

Он подошел к дяде не как сознательный племянник...

Бабушка совсем размагнитилась.

Кошкин глаз, полосатый, как крыжовник.

Пролетарский писатель с узким мушкетерским лицом.

Тот час утра, когда голуби жмутся по карнизам.

Писатель подошел к войне с делового конца — начал изучать вопрос о панике.

Неправильную установку можно выправить. Отсутствие установки исправить нельзя.

Наш командир — человек суровый, никакой улыбки в пушистых усах не скрывается.

Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелами.

На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья.

Вот и еще год прошел в глупых раздорах с редакцией, а счастья все нет.

Стало мне грустно и хорошо. Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел быть. Счастливцем, идущим по самому краю планеты, беспрерывно лопочущим. Это я таким бы хотел быть, вздорным болтуном, гоняющимся за счастьем, которого наша солнечная система предложить не может. Безумец, вызывающий насмешки порядочных неуспевающих.

Почему, когда редактор хвалит, то никого кругом нет, а когда вам мямлят, что плоховато, что надо доработать, то кругом толпа и даже любимая стоит тут же.

В тот час, когда у всех подъездов прощаются влюбленные.

* * *

Печальные негритянские хоры.

«Как тебе не стыдно бить жену в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.

Как тебе не стыдно пить водку в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник...

Как тебе не стыдно...»

Минск. Листья буфетной пальмы блестят, как зеленая кровля. Плитчатый одесский тротуар.

Столовая в Пуховичах, в сельскохозяйственном техникуме. Голубая комната, потолок, оклеенный обоями. Домашние кружевные занавески.

Дом со свежим лиловым цоколем недалеко от Пуховичей.

Грех Немезиды.

Левин съедает завтрак командующего.

Ильфа и Петрова томят сомнения — не зачислят ли их на довольствие как одного человека.

— У меня есть с собой вещества,— сказал фотограф.

Трехкотельная кухня. Один — для супов, второй для каш и пилавов, окружен глицериновой рубашкой, чтобы не подгорали (оба имеют топки), третий — для сладкого. Духовые помещения для утвари — противней, мясорубок, эмалированных мисочек — зависть домашних хозяек.

Прошла повозка с одетыми в зеленые чехлы медными трубами.

Внутренность танка. Вдоль стенок аптечные полки со снарядами.

Два близнеца — Белмясо и Белрыба.

Детская любовь к машине. Уверенность в том, что она может сделать все.

В соседней комнате внезапно поссорились врачи.

Ночью раскрылась дверь, показался комендант с крысоловным фонарем, кинул тюфяк, и на него молча бросился на постель и, видимо очень разозленный, сразу заснул.

Парикмахер с яркими зелеными петлицами.

Инспектор питания.

Бронепоезд (скульптура ранних кубистов).

Заяц считал, что вся атака направлена против него.

При виде танка самая хилая колхозная лошадь встает на дыбы.

Бронепоезд, декорированный зеленью.

Молодой командир, длинный, тонкий, ремни скрипят.

Атака танков через картофельное поле. Пушечные выстрелы. Поворот на пулеметы.

Атака пехоты на солнечной опушке.
— В уставе написано! — сказал он гневно.

Член Реввоенсовета сказал, что у меня вид обозного молодца.

Кладбище. Кресты, увешанные полотенцами и какими-то расшитыми фартучками.

Командир бронепоезда (бепо), похожий на Зощенко.

Фадеев, человек нерасторопный, наконец дорвался до атаки и солнца. Но тут ему в рамку попал режиссер. И Фадеев ужасным голосом закричал: «Назад!», так что атакующие остановились и стали оглядываться.

— Это не вам,— сказал Фадеев. И разрешенная кинооператором атака продолжалась.

Дождь капает с каски, как с крыши, и стучит по каске, как по крыше.

Ходил в тяжелых сапогах, как на лыжах, не подымая ног.

Все прячутся, будто от солнца, под разными кустиками. А на деле все готовы в любую минуту броситься.

Молодые люди в черных морских фуражечках с лакированными козырьками и их девушки в вязаных шапочках, ноги бутылочками.

* * *

Работа в литгазете. Длина критических статей. Пишите короче, вы не Гоголь.

Сюжетность. Она исчезла. Нельзя найти человека, который мог бы написать рассказ. Чего недостаточно? Не хватает ему места или дарования?

Самое смешное — 2 листа о том, что надо писать коротко.

За здоровое гулянье.

* * *

Дело обстоит плохо, нас не знают. Один читал отрывок в журнале «30 дней». Если читатель не знает писателя, то виноват в этом писатель, а не читатель.

* * *

Так кончилась жизнь, полная тревог... Несколько человек у пустынного берега.... На пыльном откосе автомобиль. Шофер Энвер-бея.

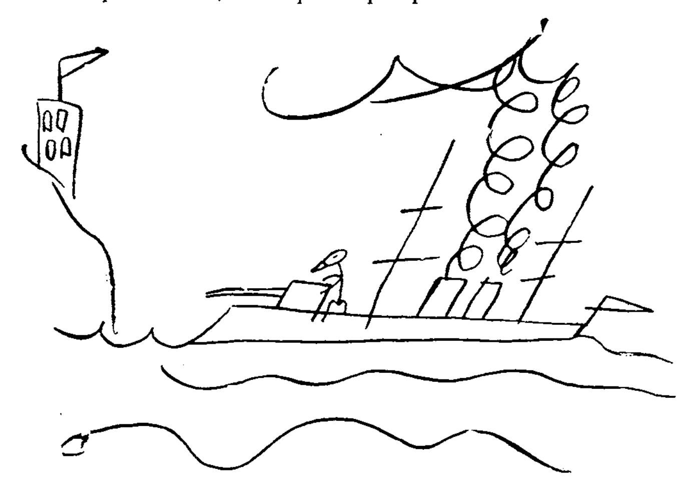
Ничего не видно, ничего нельзя разобрать. Лавочки, лавочки, печальные кафе, старики читают газеты хозяина. Девушки подплывают к кораблю.

По порядку. Консул. Мои привилегии. Пешком, глаза падают на витрины. Солнечные ювелирные витрины. Ая-София, Султан-Ахмет, Игла Клеопатры. Надо купить альбом стамбульский. Свет Ая-Софии, мир чуждый всему миру. Синие своды Султан-Ахмета. Вас все хотят обмануть и обманывают.

На крейсере тихо и жизнь равномерна...

Любопытства было больше, чем пищи для него.

Босфор утром. Города у воды, города, спящие над водой. Некий, уверенный в себе англичанин. Лоцман хотел заработать, но крейсер прошел мимо



Старик профессор в Ая-Софии. Он увлекал нас в бездну популярной архитектуры. Экривены и пентры смеялись...[1]

На рейде Стамбула. Мог ли я думать об этом. Ночь. Огни и раскрытая дверь каюты. Гудит вентилятор. Парадный трап. Баркасы, моторки катера, весь чистый парад морской жизни.

Белый пароход у самой улицы. В него упирается переулок. Красные трубы, голубые звезды, капитаны.

Восток, неимоверный Восток, добрый, жадный, скромный.

Не пейте кофе, кофе возбуждает. Он не спал всю ночь. Но не из-за самого [кофе], а из-за цены на него — 15 пиастров чашечка.

Перестаньте влачить нищенское существование. Надоело!

Трехслойные молочные берега на Эгейском море.

Команды прогремели с музыкой по улицам Стамбула.

Ночь, ночь. Эгейское море. Серп оранжевый над горизонтом. Толстая розовая звезда. Фиолетовая и базальтовая вода перед вечером. Пасмурное воспоминание о Корейском проливе, холоде и смерти Цусимы. Чувство адмирала. А ночь благоухала.

Поиски автобуса в Марафон. Мальчик-араб.... Официант тоже любит советскую власть. Он нарисовал серп и молот. Опытный Ефимов закончил этот рисунок.

Кафе у марафонских автобусов. Портрет хозяина в твердом воротничке, с черными усами. И он сам здесь же, красномордый, усы не такие гордые.

---

[1] Экривены и пентры — писатели и художники *(франц.)*.

Я. писал стихи, тужась и стесняясь.

Не в силах отвести глаз от витрин, так и не заметил он Стамбула и Афин.

28 октября

Темный лунный вечер в Средиземном море. Неподвижная, большая, чистая звезда.

29 октября

Шторм. Обещают, что он будет еще больше. Тонкая пыль из Сахары покрывает корабль. Мы пытаемся писать, но ничего из этого не выходит. Шторм не состоялся. Серое море. Серое небо. К 5 часам Сицилия по левому борту. Справа Апеннинский полуостров. Этна (на Сицилии), круглый, плоский, не работающий кратер. Во время обеда Мессинский пролив. Он весь в огнях. Справа — Реджо, слева — Мессина. Маяки, ракеты летят в небо — фашистский праздник. Культурные, населенные итальянские виды, два пассажирских больших парохода.

Из пролива выходим в море. Шторм. В 10 часов вечера с левого борта я увидел действующий вулкан Стромболи. Красный огонь с правого склона высокого острова. Ночью дождь, московский, холодный. Утром чистота, голубой холодок, высокое Капри, Сорренто в тумане, Везувий с лепным облаком дыма и Неаполь.

Помпея. И вот я вступил на плиты этого города. Чувство необыкновенное. Столько слышать, читать и, наконец, увидеть. Ворота, тихие, чистые, почти московские переулки, надписи под стеклами со шторами, фонтаны, прочное, добротное, богатое жилье. Изящный театр, грубоватая, но в высшей степени элегантная роспись на стенах. Баня вызывает зависть и уважение к этим людям. Надо полагать, что это был город изнеженный, гордый своим богатством, циничный и смелый («коммерческая отвага»). Виды, открывающиеся из-за колонн и руин. Здесь ходят ту-

ристы: одинокие и группами. Красавица в белой с повисшими полями шляпе. Ее не очень могучий муж и глаза любопытные и как бы скромные. Немцы идут кучей и задыхаются от смеха, слушая собственные шутки.

Опять улички, рыбный рынок, спруты, осьминоги, окровавленные рыбы. На улицах варят суп из осьминогов. Его пьют из маленьких, почти кофейных чашек.

Фонтаны шумят на площади св. Петра. Полосатые швейцарцы, желтое, черное, красное. Золотая статуя Христа у вокзала. Игра в карты в вагоне, горячая, сварливая.

Что же я видел сегодня? Пантеон, чудо освещения — круглый вырез в куполе; когда там молятся, дождь не попадает в здание, теплый воздух отбивает. Два карабинера с красными плюмажами, осенними астрами.

Могила Рафаэля, зеленоватый квадратный гроб в нише. Мраморщики что-то переделывают,— может, место для него.

Кампидоглио. Конный зеленый Марк Аврелий. Волчица и волк в клетке. Прибежала немецкая овчарка, и волк запрыгал легко и страшно.

Гробницы пап в подвалах Сан-Пьетро. Запах ладана (банный запах мыла). И всюду стоят на коленях, целуют и трогают руками святые скульптуры.

Дерево, обложенное кирпичом, под которым Тассо писал свой «Иерусалим».

Мы были в Ватикане, но не вошли. Закрыта на день Сикстинская капелла. Банковские мраморы и лифты, удобства международного отеля нового ватиканского входа.

Но когда чудная девушка едет в крохотной элегантной балила, тогда можно остановиться, это уже картина.

Вечер 7 ноября

Я вышел, когда магазины уже закрывались.

Я прошел на форум Траяна тем же путем, что и в первый день, когда мы только приехали, когда вечернее солнце пылало за колонной Траяна.

Зашел в церковь, там молча молились на коленях десятка три человек. Тишина и сиянье. Это на корсо Умберто. Через несколько минут я ушел.

Манекены в Гранди Магазини. Очень хороши, особенно те, что немножко карикатурны. Толстяки, холодные денди, фаты, мужественный носач вроде Яши Б. Автобус подвез меня к Чиди. Я оказался у вокзала. Зала эмигрантов. Кирасир спит, держа золотую каску в руке. Что было еще? Фонтан горел зеленой каймой. Я устал безумно... Машины, карабинеры, блеск и шум у железных ворот полпредства. Кажется, все.

Сравнили! Сонная громада — и эта девушка, гордая, застенчивая, некрасивая и самоотверженная.

Флоренция ночью. Пересекаем Апеннины. Утро, гребни, туманы. Суровое утро, когда надо ехать в шерстяном плаще.

Болонья. Электропередачи и устройства под открытым небом.

Феррара, Ровиго, Падова Местре, все ушли с поезда, я почти один еду еще одну «уна стационе».

Дождь в Венеции. Зеленый, нежный и прочный цвет воды, черные гондолы и сиреневые стекла фонарей.

Площадь св. Марка. Толстые, круглые, нахальные, как коты, голуби. Они слетаются на хлеб со всей площади, жадные, тупые. Ангелы с золотыми крыльями тоже похожи на голубей.

Венецианское стекло.

Венецианский трамвай, расписные причальные столбы с золотыми гербами и просто кривые палки.

Гондольеры в черном.

10. Вечер

Отъезд в Вену. Граница в Травизио. Деревушки в снегу под откосом. Фонари. Тишина. Снег.

Сразу новые люди. Это поразительно. Все итальянцы сошли, немцы в зеленых шляпах, перья. Тесный угол Европы. Словенец, поляк, социал-демократ, бывший офицер и мы.

Поляк — воевал против нас с Деникиным, потом против нас в польской войне, потом против Пилсудского, эмигрировал, разводил кур в Ривьере, теперь амнистирован, едет в Варшаву.

Словенец живет в Триесте, не терпит итальянцев. Австриец, бывший офицер, был в оккупации Украины, говорит по-польски.

Женя всю ночь говорит со словенцем на 16-ти языках.

Когда я пытаюсь восстановить в своей памяти...
Когда я вспоминаю...
Передо мной встает...

Конечно, мир безумен. Безумны нищие на улицах Вены, безумен порядок, все безумно и девушки в том числе.

15 вечером

Прощание с Гофманом, железнодорожный ресторан, автоматы, средневеково украшенные, и третий класс. Опять ночь среди томящихся и корчащихся пассажиров. Вена — Инзбрук, Цюрих, Базель, Мюльгаузен, Бельфор, Paris.

16 утром

Инзбрук. Катятся тележки продавца газет, сладостей, кухни на колесах, а всего один пассажир. Альпийские высоты и луга.

Швейцария. Букс.

Садики такие аккуратные, что похожи на кладбища.

Прейскурантская красота — нас не обманывали.

Цюрих. Цюрихское озеро, глянцевитое и спокойное. Грабеж в ресторане.

Базель. Индустрия. Сейчас же Франция. Толстоносый железнодорожник уже проверяет билеты.

Поезда на Страсбург и Дюнкерк и прочее.

Букс. Пришли швейцарцы черные с зелеными кантами. За ними австрийцы в горчичных мундирах и плащах.

Базель. Моет стекла француз с трехцветной повязкой.

* * *

Я торжественно клянусь, что все сказанное выше верно: я в этом убежден и уверен.

Раздражевский.

Вы не даете доформулировать.

Товарищи, если мы возьмем женщину в целом...

«Бежевые туфли и такого же цвета лиловые чулки».

Красивенький мужичок, дай копеечку.
Красивенький мужичок, дай пятачок.

* * *

Выехали 19 сентября в 10.45 минут из Москвы и на другое утро около 11-ти оказались в Минске. В ресторане очень услужливая и милая официантка, но сахар грязный. В половине третьего Польша, следовательно, снова половина первого. В Барановичах розовые, желтые, синие, черные околыши. Нельзя быть таким элегантным. Надо спокойнее относиться к красоте.

Станция Слоним — родоначальница всех Слонимов и Слонимских.

Вечером в 9.45 на Восточном вокзале в Варшаве.

21 сентября

Брился холодной водой, бегая из кухни в комнату к зеркальному шкафу. С горем выяснил, что жилет от черного костюма остался в Москве.

Прекрасное осеннее утро. Без пальто и шляпы пошел гулять. После Парижа Варшава казалась бедной, неэлегантной. Однако теперь это выглядит иначе. Бесконечное количество людей, и понять невозможно, гуляют они или идут по делам. Для гуляющих они идут слишком быстро, для дела — довольно медленно. В фотомагазине мне зарядили три кассеты пленкой Перутца за 6,60 злотых. Это дорого. В магазине все есть, а чего нет, могут достать за час. Улица Новый Свят. Саксонский сад. Могучие дети спят непробудным сном в колясочках обтекаемой формы. Нет нянек. Молодые красивые матери сидят у колясок. Как видно, это модно самим возить детей. Много извозчиков. Это непривычно после Москвы. Овальные металлические номера висят у них на спине как-то по-камергерски.

На площади Старо Място зашли в старинный ресторан Фуккера. Швейцар одет, как Федотов в сумасшедшем доме. Длинная ряса и мягкий колпак. Официант немолодой, спокойный, во фраке с медными пуговицами и буквой F на них. Маленькая коробочка паршивых папирос «Эрго».

Отправились в Налевки, но по случаю субботы старозаветных евреев там было мало. Но нестарозаветных и не очень красивых полна улица. Человек в очень светлом костюме и хамовато-элегантных башмаках — чуть-чуть не Аль-Капонэ.

У входа в Саксонский сад могила Неизвестного солдата. Неугасимый огонь и надпись на колоссальной черной плите: «Здесь лежит польский жолнер, легший за отчизну».

Отправил Марусе открытку на почте на плацу Наполеона, где помещается новое, очень скучное 16-тиэтажное здание контор.

Утром зашли к полпреду.

Честь здесь отдают, прикладывая к козырьку два вытянутых пальца.

В польском консульстве в Москве служащий, выдававший нам транзитные визы, объяснял, как нам на вокзале в Варшаве найти полицейского, говорящего по-русски (синяя форма, на рукаве флажки). Но здесь надо было бы почти всем жителям нашивать флажки, почти все говорят или понимают русский язык....

Неожиданно на улице вас снимают лейкой и вручают адрес фотографа, у которого через два дня, если пожелаете, можно получить свою фотографию. Расчет — если из 10 придут двое, то и тогда выгодно. И таких фотографов много. Нас сняли на Маршалковской.

В театре «Голливуд» военизированные балеты. О. и ее партнер, фербенксовидный осел в цилиндре и фраке. Сама О. вкладывает в исполнение столько парижской страсти, что уже не хочется ехать в Париж. В общем, дирекция сделала все возможное, даже цветы в публику бросали.

22 сентября

Поехали на еврейское кладбище. Большая толпа и беспрерывно подъезжают извозчики с еврейскими семействами — одесскими, киевскими и, пожалуй, даже нью-йоркского типа полнотелыми дамами. У входа меня схватили за руку и не пускали. Оказалось, что я без шляпы. Выручил один из хасидов, давший мне свою запасную крохотную ермолочку. В таком виде меня пустили. Мы направились к могиле цадика Исроэла, святого человека, умершего 60 лет назад. Оживленные веселые толпы на кладбище и среди них искаженные плачем лица. Темная каменная камора, где находится гроб цадика, освещена керосиновыми лампами. На гробе ящики с песком, куда воткнуты свечи. В трех громадных ящиках лежат тысячи записок с желаниями молящихся. И такой стоит плач, такие стенания, что делается страшно. Вообще тут умеют поплакать....

Потом мы поехали на Островскую и Волынскую улицы. Здесь уж совсем беднота, о которой и не подозреваешь, гуляя по Саксонскому саду. Хедер на Волынской, дети на мостовой играют во что-то абсолютно неинтересное. Крахмальная улица — Молдаванка Варшавы. Здесь можно зайти в любую квартиру любого дома и предложить краденые вещи — купят. Улица узкая, с выступами, с жалким базаром у обочины тротуара. Кабачок Годеля, где варшавские Бени Крики (дикие красные с синим сорочки, зеленые брюки и оранжевые ботинки) производят «Дин-Тойру», суд бандитов над бандитами, совершившими «неэтичные», с точки зрения Крахмальной улицы, поступки.

Затем мы выпили кофе и вермут в кафе «Ипс» на плацу Пилсудского. Так как было воскресенье, то до 2-х часов не разрешается подавать вина. Было только начало второго. Но официант сам предложил подать вермут в кофейных чашечках, филижанках. Мы выпили по филижанке и пошли домой пешком. В 5 часов 15 минут в карлсбадском вагоне уезжаем в Прагу. На границе все время мысль о том, как найти человека, которому надо сказать заученную фразу «Регистрирен зи битте унзер гельд»[1]. Но он, даже не считая, шлепнул печать на нами самими составленную записку — 358 долларов, 9.598 франков.

23 сентября

Мчались всю ночь с громадной быстротой, но все-таки опоздали на полчаса и в Прагу приехали в 7 часов утра. Обменяли деньги в бюро де шанж, за 10 долларов дали 235 крон. Сдали чемоданы в камеру хранения, умылись и побрились (здесь мажут холодной водой, пальцем растирают мыло по лицу и после бритья смывают мокрой губкой) и зашли в вокзальный ресторан поесть сосисок. Но сосисок нам не дали — не поняли, пили кофе с рогаликами и маслом. Из окна виден перекресток. Поразительная картина

---

[1] «Зарегистрируйте, пожалуйста, наши деньги» *(нем.)*.

движения на работу. Апогей — без четверти восемь, без 2-х минут уже тише, а ровно в 8 улица опустела. Напротив магазин платья — детске, дамске, паньске. Вокзал со статуей сидящего Массарика.

Шофер вместо полпредства повез нас в отель «Амбассад». С трудом распутали эту ошибку с помощью двух полицейских.

Тесный, красивый, романтический и очень в то же время современный город. По порядку. Мы смотрели так — цеховые дворы, часы на ратуше (золотая смерть тянет за веревку, часы бьют четыре), толпа на тротуаре напротив, пражская Венеция с моста Карла Четвертого (золотой Христос с еврейскими буквами и владычество янычар), синагога готическая, потом поехали на Злату уличку в Далиборку, казематы вроде казематов Семибашенного замка в Стамбуле.

Раньше этого обед у Шутеры. Моравские колбаски, жаренные на решетке, вино «бычья кровь» в кувшинчиках по четверть литра, фроньское вино и кофе в толстых чашках.

Ужин у Флеку в старом монастыре. Все это очень похоже на немецкие годы импрессионизма. До этого пили кофе на террасе Барандова. Ужасные мысли о войне.

Ночевали в консульстве среди металлической мебели на сверхъестественных постелях.

Уехали в Вену в 6.25 минут с вокзала Вильсона.

24 сентября

Гофман без шляпы, бедно одетый, ждал нас на венском вокзале.

Топичек — жаренный в масле и чесноке хлеб, коленка свиная, миндаль, орехи чищеные, редька, нарезанная машинкой плацки. Вообще все называется уменьшительно: бабичка, пивочко, хлебичка.

Мы сразу поехали на Вест-бангоф сдать чемоданы.

Потом пошли пешком и обедали в ресторане на Zum Schillerpark, где, однако, висел портрет Шуберта.

25 сентября

После суток езды в не очень мучительных условиях мы приехали в Париж в 9.30 вечера. Встреча на вокзале с Эренбургами и Путерманом. Отель Istria, 29, rue Campagne — Premiere, 5 этаж. Винт лестницы. Здесь жил Маяковский. Из окна виден громадный гараж и угол Распая.

26 сентября

Утром отправляемся завтракать, решаем найти новое место и завтракать дешево, но приходим в Лютецию и едим устрицы, антрекот минют.

Лавка «Sous la lampe» закрыта. Едем на Антилопе в Куполь, оттуда в Френч-лайн за билетами, оттуда в «100.000 chemises», оттуда в кафе, потом в гостиницу к Эренбургу и, наконец, Клозери де Лила.

30 сентября

Утром мне лучше, а к вечеру лихорадочное состояние продолжается. Болен я или просто сумасшедший? Совсем я не умею жить, оттого мне так плохо почти всегда. Всегда я дрожу, нет мне спокойствия. Это ужасно нехорошо.

Что я делал сегодня? Пошли в «Куполь» встречаться с П. Встретились. Скучноватые ответы на неопределенные вопросы, потом отправились в банк получать по чеку. Обменять франки на доллары не смогли, не было в банке (только 40). Придется ехать завтра. Пешком пошли на Елисейские поля в «Довилль». Выпил вермута, поехали в ресторан «Les maroniers». Все откровенно жалуются на то, что я скучный, и я нахожу, что это еще очень вежливо. Мне кажется, что я со своими испуганными глазами, худобой и мрачностью просто невыносим.

1 октября

Ложусь рано, как всегда перед отъездом встревожен и жалею, что оставил родной дом.

* * *

Записывает книжечку до конца деловыми телефонами и адресами, а потом выбрасывает, начинает новую.

Разговор с Витей:
— Как ты относишься к еде?
— Презрительно.
— Почему?
— Это мне лишняя работа. Утруждает меня.

Из отчета: «Заметно растет т. Муровицкая».

Витя был очень возмущен тем, что учительница говорила: «До свиданьица». «Кружавчики».

«Не говорите мне про вещь! Это была вещь. Теперь это уже не вещь. Теперь это водопровод».

В темной гостиной отец «точил голос».

Поплавок из карты в стакане с лампадным маслом.

«Пуля пробегает по виску». Что она, лошадь? Или клоп?

«Наряду с достижениями есть и недочеты». Это вполне безопасно. Это можно сказать даже о библии. Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы, например, автор призывает читателя верить в бога.

Потолстеть скорее чтобы,
Надо есть побольше сдобы.

Нам в издательстве нужен педантизм, рутина, даже бюрократизм, если хотите.

Живут в беспамятстве.

«Пошла в лад калинушка да малинушка». Веселые частюшки.

Нездоровая тяга к культуре.

Не только поит и кормит, а закармливает и спаивает.

То, что он живет в одном городе со мной, то, что я могу в любую минуту ему позвонить, тревожит меня, делает мою жизнь тревожною.

Плотная, аккуратная девушка, как мешочек, набитый солью.

Бокал яда за ваше здоровье!

Мальчик-статист кричит со сцены: «Лиза, ты меня видишь? Это я!»

Корней говорил: «Любитель я разных наций».

Зажим удава.

Говорил с нахальством пророка.

Здесь собралось туч на три сезона.

Он спал на тюфяке, твердом, как корж.

Поцелуй в диафрагму. Он думал, что в самом деле целуют диафрагму.

Он был совершенно испорчен риторикой. Простые слова на него не действовали.

Промчался монгол на лошади, за ним агент, за агентом переводчик. Они возвращались с прогулки в горах. Серого баранчика схватили под брюхо и втащили в автомобиль.

Он стоял во главе мощного отряда дураков.

«Они могли бы написать лучше». А откуда они знают, что мы могли бы написать лучше?

Жеманство в стихах и статьях. Век жеманства.

Необыкновенно красивая, больная чахоткой девушка. В нее влюблялись. Один заразился и умер. Она пережила всех, умерла после всех.

Арктика в Крыму. Ветросиловая станция. Три зимних месяца она отрезана от Крыма.

Бронзовый румянец на щеках тети Фани.

— Что вас больше всего на свете волнует? — спросил девушку меланхолический поэт.

Если человек мне подходит, я нуждаюсь в нем уже всегда, каждую минуту.

Незначительный кустарник под пышным названием «Симфорикарпос».

* * *

В долине Байдарских ворот. Как строили город. Пресную воду привозили на самолетах и выдавали ее режиссерам по одной чашке в день. А у Г. в палатке стояла целая бочка пресной воды. Это так волновало режиссеров, они так завидовали, что работать уже не могли и массами умирали от жажды и солнечных ударов. Долина талантов была переполнена трупами. Г. на верном верблюде бежал в «Асканию Нова», где его по ошибке скрестили с антилопой на предмет получения мясистых гибридов. Гибрид получился солнцестойкий, но какой-то очень странный.

Спор шел о картинах одного художника. «Это же фотография! — Хорошо, но что бы вы говорили пятьдесят лет тому назад, до изобретения фотографии?»

Декламация. Абас-Туман покрыл туман.

Человек из свечного сала.

Палочки выбивают бешеную дробь о барабанную перепонку.

Все, что вы написали, пишете и еще только можете написать, уже давно написала Ольга Шапир, печатавшаяся в киевской синодальной типографии.

Варшавский блеск. Огни ночного Ковно...,

Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло.

Остап мог бы и сейчас еще пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок. И очень бы хорошо жил, имел бы жену и любовницу. Все это должно кончиться совершенно неожиданно — пожаром граммофона. Небывалый случай. Из граммофона показывается пламя.

....Ей четыре года, но она говорит, что ей два. Редкое кокетство.

Он обязательно хотел костюм с двумя парами брюк. Портной не мог этого понять. «Зачем вам две пары брюк? Разве у вас четыре ноги?»

Такой тут отдыхает Толя, фотограф, очень жизнерадостный человек. Когда садится играть в домино, громко говорит: «Ну, курс на сухую, а?»

Гадкие, низкопробные мальчики.

Из книги о шулерах, написанной бывшим шулером: «Шулер должен иметь хорошо развитый большой палец правой руки и абсолютно здоровое сердце». И еще: «При такой складке пижонам нет спасения».

Кто же такие пижоны? Пижоны это все те, которые не дергают.

...Раньше зависть его кормила, теперь она его гложет.

В приемную Союза писателей вошел небритый человек в дезертирской ватной куртке и сказал, что он двоюродный брат Шолохова, что он возвращается из лагеря на родину, что в дороге его обокрали, что он, с женой и ребенком, нуждаются в помощи — деньги на билеты до Миллерова, на харчи и прочее. Секретарша пошла к Кирпотину и вышла оттуда с сообщением, что Союз не имеет средств на пособия двоюродным братьям писателей. Двоюродный брат мягко сказал: «Да ведь Миша вам все вернет!» Но, увидев, что и это не действует, вдруг заныл с опытностью старого стрелка: «Где же прогресс! Где же культура! Что же это такое!» Он еще долго вопил: «Где же прогресс, где же культура», с таким видом, словно ни минуты не мог обойтись без культуры и прогресса. Конца этой сцены я не знаю, я ушел.

Железная бестия.

Генерал от инфантерии Мылов, лейтенант Гадд, подполковник Бенуа, 3-его Восточно-Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона подполковник Бонч-Осмоловский, князь Гантимуров, подполковник Жеребцов, капитан Кватц, Фицкий, Кукурекин, Музеус, отставной генерал-майор Петруша, храбрый капитан Соймонов, вольнопер Холодецкий, барон фон Фонов, рядовой Ефим Провизион, отчаянной жизни человек, и прочие, и прочие, включая сюда дворянина Ножина и военного корреспондента Купчинского, который по большей части занимался тем, что вбегал с криком: «Спасайтесь! Японцы! Спасайтесь, господа!»
Процесс защитников Порт-Артура.

Ксидо. В нем вдруг и с необыкновенной силой пробудились: древнееврейское влечение к золоту и новогреческая страсть к торговле.

Он неизменно повторяет, когда пишет рецепт: «Аспирин... ин таблетис». «Тоны сердца чистые» и так далее.

Остафьево. Наконец это совершилось. К обеду она вышла еще более некрасивая и жалкая, чем всегда, но чертовски счастливая. Он же сел за стол с видом человека, выполнившего свой долг. Все это знали, и почтительный шепот наполнил светлое помещение столовой. В разгаре обеда, когда ели жареную утку, показался Ш. Его морда трактирщика лоснилась. Как видно, он только что выдул целый графин. Идиллия дома отдыха.

«В конце концов я тоже человек,— закричал он, появляясь в окне.— Что это? Дом отдыха или...» Он не окончил, так как сознавал сам, что это давно уже не дом отдыха, а это самое «или» и есть.

Утешало его только то, что сорок миллионов лет тому назад все люди были такие.

Соседом моим был молодой, полный сил идиот.

Дом обвиняемого адвокат называл «хижиной»....

Раньше, перед сном, являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландской битвой. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находились в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно. Теперь нет этого. Все несется в диком беспорядке, я просыпаюсь ежеминутно. Надоело.

Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников. «А на третье был компот из вишен». Сообщается это таким тоном, как если бы говорили о бегстве Наполеона с острова Эльбы. «Вы знаете, Бонапарт высадился во Франции».

«Так тихо, как будто вся Англия спит».

Повалился забор, выгнувшись, как оперение громадной птицы. Дачная картина.

Директор знал, с кем имеет дело. Каждый свой шаг он обдумывал на двадцать ходов вперед, как Ласкер. Забор. Заводская дача. Переименование предприятия. «Фабрика пряностей «Сингапур».

В первоклассном кафе официантка на просьбу дать нарзан отвечает: «Подождете!»

Ели косточковые, играли на щипковых.

Оскорбленный голос писательницы: «Товарищи, дайте мне доформулировать». Ах, какая беда, не дают доформулировать.

Рассказ домработницы. «На ней были фиолетовые чулки бежевого цвета». Выходило довольно складно.

Синеглазые старухи.

Жил на свете человек с проволочными зубами. Сказка.

Сентрал парк — это парк, в котором гуляют автомобили.

Чины. Монумент, истукан, статуя, изваянье.

Женский чин. Изваянье первого ранга.

Лучше всего взять самое простое, самое обычное. Не было ключа, открывал бутылку с нарзаном, порезал себе руку. С этого все началось.

Когда усилилось преподавание истории в школе, все узнали, кем была Мессалина, и Матрена, переменившая имя на Мессалину, оказалась в безвыходном положении.

Поселок Антигоновка.

В довольно большом городе на Волге.

Долго спорили, выбирали стиль, местная общественность почему-то склонялась к архаическому древнегреческому, наконец выбрали. Построили набережную эпохи божественного Клавдия, но с пальмами, голубыми елями и туями. Когда все было готово, набережная сползла в реку, поскольку, увлекшись архаикой и клавдианским стилем, забыли об оползнях. И долго еще голубые ели плыли вниз по течению, а римский парапет виднелся на дне реки. Но граждане не обратили на это никакого внимания. Их увлекла новая идея, рядом со своим городом создать еще один — киногород. Зачем это им нужно было, они и сами не знали, но очень хотелось. Поскольку клавдианский стиль себя скомпрометировал окончательно, киногород решили строить в архаическом древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть. Описать жизнь одной группы в Афинах и жизнь другой в Голливуде. По ошибке, единственный человек, говоривший по-английски, был включен в афинскую группу и бессмысленно оглашал криками «гау ду ю ду» маленькие площади афинского Акрополя. Приключения в Голливуде кончились более трагически — один из членов экспедиции, изучая кинематографическую технику, был случайно утоплен во время съемок картины «Мятеж на «Боунти». За него была уплачена большая страховая премия, и на эти деньги совершенно спились остальные участники экспедиции. Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона. Члены экспедиции у молокан. Чаепитие и исполнение духовных гимнов. Удивительный разговор о попах в Сан-Франциско. Прах утонувшего был сожжен, и члены экспедиции постоянно таскали с собой небольшую погребальную урну из пластмассы. В Афинах тоже было не сладко. Отпущенные драхмы вскоре иссякли, новые переводы не приходили, а изучение колонного дела

подвигалось очень медленно вперед, потому что изучать старые поломанные здания было неинтересно, а смотреть на классический фронтон местного банка противно, все из-за того же неприбытия переводов. В конце концов обе группы встречаются в Париже в «Сфинксе». Со страхом они возвращаются в родной город. Впрочем, о них уже забыли, и никакое наказание им не угрожает. Они сами вскоре не понимают уже, были ли в Афинах, ходили ли по берегу Тихого океана. Иногда только спросонок кто-нибудь из них заорет: «Ту дабл бэд». И это все.

Жила-была на свете тихая семейка: два брата-дегенерата, две сестрички-истерички, два племянника-шизофреника и два племянника-неврастеника.

Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников. Психопаты, покупайте продукты питания только здесь!

Лису он нарисовал так, что ясно было видно — моделью ему служила горжетка жены.

Появилось объявление о том, что продается три метра гусиной кожи. Покупатели-то были, но им не понравилось — мало пупырышков.

В зале, где висели портреты композиторов с розовыми губами и в белых париках, это, как говорят, не звучало. Внезапно запел аккомпаниатор. Он был похож на собаку и усердно скреб лапами по клавишам.

Звали ее почему-то Горпина Исаковна.

В коммунальной квартире жил повар Захарыч. Когда он напивался, то постоянно приставал к своей жене: «Я повар! А ты кто? Ты никто». Жена начинала плакать и говорила: «Нет, я кто! Нет, я кто!» Наконец ее устроили на службу в музей при Антропологическом институте, уборщицей. Новое дело ей очень понрави-

лось, и в квартире она сообщала соседкам новости: «Знаете, а у нас расовый отдел закрыли. Ремонт будут делать». Она даже повела одну из соседок в музей, и та долго потом приставала к антропологу с вопросом: «А что это у вас там жареный мужик лежит?» Это она видела мумию.

Они сейчас начинающие писатели, но никак не могут этого понять. Им все кажется, что они главные.

Был он всего только сержант изящной словесности.

Он пришел в шинели пехотного образца и сразу же, еще в передней, начал выбалтывать государственные тайны.

Мы пойдем вам навстречу. Я буду иметь вас в виду. Мы будем иметь вас в виду, и я постараюсь пойти вам навстречу. Все это произносится сидя, совершенно спокойно, не двигаясь с места.

Книжная инфляция, болезнь изнурительная, вроде сахарного мочеизнурения.

Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский, в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор окончен.

Биография Пушкина была написана языком маленького прораба, пишущего объяснения к смете на постройку кирпичной кладовки во дворе. «Материальное обеспечение» и так далее. В одной фразе есть: «вступление, владение, выяснение» и еще какое-то «ение».

Одной наивностью теперь не возьмете, дорогой мой. Надо еще и думать иногда. Одним темпераментом не обойдетесь.

Один архитектор-формалист построил тюрьму, из которой арестанты выходили совершенно свободно. За это его поместили в здание, построенное голым и грубым натуралистом. Он, видите ли, не учел специфики здания.

На дискуссии он признался не только в формализме, но и бюрократизме, а также волоките.

Воскобойников и Хладобойников. Два друга.

«Мы ваш творческий метод будем обсуждать в народном суде»....

«Там твои детки кушают котлетки, масло копают — собакам бросают».

Старый Артилеридзе.

....Толстого мальчика дети зовут «Жиртрест». Это фундаментальный, очень спокойный и неторопливый мальчик.

Сдавала экзамен на кошку.

«За ней, как тигр, шел матрос.
Вплоть до колен текли ботинки.
Являли икры вид полен.
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен».

Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?

В зале три женщины внимательно осматривали четвертую, на которой была розоватая вязаная шаль. И та достойно позволяла себя осматривать, понимая, что есть чем заинтересоваться.

И в некотором отношении безусловно достигает ходульности Кукольника.

Поедем в Крым и сделаемся там уличными фотографами. Будем босиком ходить по пляжу, предлагая услуги. Босиком, но в длинных черных штанах.

«Вчера, в 4 часа утра, в 22-е отделение московской милиции явился посетитель в странном костюме. На нем была верхняя рубашка, воротничок, галстук, трусики и легкие туфли. Вошедший назвался консультантом союза смешанной кооперации Крайнего Севера. Он был пьян». Я вижу, что явления в смешанной кооперации ничем, собственно, не отличаются от явлений в кооперации несмешанной и что на Крайнем Севере система обращения с казенными деньгами та же, что и на Юге, а также в равнинной части страны.

Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию на Любимов.

Сутяга Джефи прибыл из Америки.

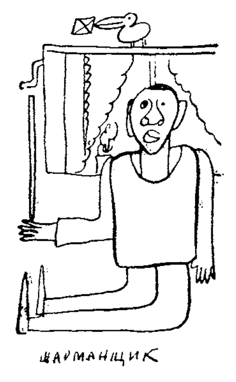
Из люков в Нью-Йорке подымается дым. Пьяный Чарльз кричал, что это дышит великий город.

Парикмахер с удивлением говорил: «Вот это бородка! Это с добрым утром! Тут до вас один армянин приходил. Вот это две бородки! Это с добрым утром!»

Неужели и у меня такая борода будет? У тебя такой бороды не будет! Почему не будет? Это выдающая борода.

Бог прислал меня к вам, чтобы вы дали мне работу.

Мальчики бежали за шарманщиком и называли его шарманистом.



Как продают пылесос в Америке. «Ваш старый пылесос — это очень хороший прибор, но вы, наверное, заметили, что вместе с пылью он высасывает часть вашего ковра».

Это был молодой римский офицер. Впрочем, не надо молодого. Его обязательно будут представлять себе кавалером в красивом военном наряде. Лучше, чтоб это был пожилой человек, грубоватый, может быть даже неприятный. Он уже участвовал в нескольких тяжелых, нудных походах против каких-то голых и смуглых идиотов. Он уже знает, что одной доблести мало, что многое зависит от интендантства. Например, доставили такие подбородные ремни, что солдаты отказываются их носить. Они раздирают подбородки в кровь, такие они жесткие. Итак, это был уже немолодой римский офицер. Его звали Гней Фульвий Криспин. Когда, вместе с своим легионом, он прибыл в Одессу и увидел улицы, освещенные электрическими фонарями, он нисколько не удивился. В персидском походе он видел и не такие чудеса. Скорее его удивили буфеты искусственных минеральных вод. Вот этого он не видел даже в своих восточных походах.

«Даже внуки внуков не могли без ужаса слушать рассказ о том, как Ганнибал стоял у ворот Рима» (Моммзен).

«Ну, ты, колдун,— говорили римляне буфетчику,— дай нам еще два стакана твоей волшебной воды с сиропом «Свежее сено». Фамилия буфетчика была Воскобойников, но [он] уже подумывал об обмене ее на более латинскую. Или о придании ей римских имен. Публий Сервилий Воскобойников. Это ему нравилось.

Легат посмотрел картину «Спартак» и приказал сжечь одесскую кинофабрику. Как настоящий римлянин, он не выносил халтуры.

Мишка Анисфельд, известный босяк, первым перешел на сторону римлян. Он стал ходить в тоге, из-под которой виднелись его загорелые плебейские ноги. Но по своей родной Костецкой он не рисковал ходить. Там над ним хихикали и называли консулом, персидским консулом. Что касается Яшки Ахрона, то он уже служил в нумидийских вспомогательных войсках, и друзья его детства с завистливой усмешкой говорили ему: «Слушай, Яша, мы же тебя совсем не держали за нумидийца». Яшка ничего на это не отвечал. Часто можно было видеть его на бывшей улице Лассаля. Он мчался по ней, держась за хвост лошади, как это принято среди нумидийцев. Шура Кандель, Сеня Товбин и Трубочистов-второй стали бриться каждый день. Так как они и раньше, здороваясь, вытягивали руку по-римски, то им не особенно трудно было примениться к новому строю. На худой конец они собирались пойти в гладиаторы и уже сейчас иногда задумчиво бормотали: «Идущие на смерть приветствуют тебя». Но мысль о необходимости сражаться голыми вызывала у них смех. Впрочем, крайней нужды в этом еще не было, потому что от последнего налета они еще сберегли несколько десятков тысяч сестерций и часто могли лакомиться сиропом «Свежее сено» и баклавой у старого Публия Сервилия Воскобойникова. Они

даже требовали, чтоб он начал торговлю фазаньими языками. Но Публий отговаривался тем, что не верит в прочность римской власти и не может делать капиталовложений. Римлян, поляков, немцев, англичан и французов Воскобойников считал идиотами. Особенно его раздражало то, что римляне гадают по внутренностям животных. Громко он, конечно, говорить об этом не мог, но часто шептал себе под нос так, чтобы солдаты, сидящие за столиками, могли его слышать: «Если бы я был центурион, я бы этого не делал». Если бы он был центурион, то открыл бы отделение своего буфета на углу Тираспольской и Преображенской, там где когда-то было кафе Дитмана. В легионе, переправившемся через Прут и занявшем Одессу, было пятнадцать тысяч человек; это был легион, полностью укомплектованный,— грозная военная сила. Легат Рима жил во дворце командующего округом, среди громадных бронзовых подсвечников. Так как раньше здесь был музей, то у основания подсвечников помещались объяснения, в которых бичевался царский строй и его прислужники. Но легат не знал русского языка. Кроме того, он был истинный республиканец и к царям относился недоброжелательно. В своей душевной простоте, он принимал девушек, навербованных среди бывших фигуранток «Альказара», за финикийских танцовщиц. Но больше всего ему нравилась «Молитва Шамиля» в исполнении танцоров из «Первого государственного храма малых форм». И иногда легат сам вскакивал с ложа и, прикрыв глаза полой тоги, медленно начинал «Молитву». Об этом его безобразном поведении уже дважды доносил в Рим один начинающий сикофант из первой когорты. Но, в общем, жизнь шла довольно мирно, пока не произошло ужасающее событие. Из лагеря легиона, помещавшегося на Третьей станции Большого фонтана, украли все значки, случай небывалый в военной истории Рима. При этом нумидийский всадник Яшка Ахрон делал вид, что ничего не может понять. Публий же Сервилий же Воскобойников утверждал, что надо быть идиотом, делая такие важные значки медными, а не золотыми. Двух солдат легиона, стоявших на карауле,

распяли, и об этом много говорили в буфете искусственных минеральных вод Публия Сервилия Воскобойникова. На другой день значки были подкинуты к казармам первой когорты с записочкой: «Самоварное золото не берем». Подпись: «Четыре зверя». После этого разъяренный легат распял еще одного легионера и в тоске всю ночь смотрел на наурскую лезгинку в исполнении ансамбля «Первой госконюшни малых и средних форм».

Резкий звук римских труб стоял каждый вечер над Одессой. Вначале он внушал страх, потом к нему привыкли. А когда население увидело однажды Мишку Анисфельда, стоящего в золотых доспехах на карауле у канцелярии легата, резкий вой труб уже вызывал холодную негодяйскую улыбку. У Мишки Анисфельда были красивые белые ноги, и он пользовался своей новой формой, чтобы сводить одесситок с ума. Он жаловался только на то, что южное солнце ужасно нагревает доспехи и поэтому стоял в карауле с тремя сифонами сельтерской воды. Легат угрожал ему распятием на кресте за это невероятное нарушение военной дисциплины, но Анисфельд, дерзко улыбаясь, заявил на обычном вечернем собрании у Воскобойникова: «А может, я его распну. Это еще неизвестно». И если вглядеться в холодное красивое лицо легионера, то действительно становилось совсем неясно, кто кого распнет.

Приезд в Одессу Овидия Назона и литературный вечер в помещении Артистического клуба. Овидий читает стихи и отвечает на записки.

Драка с легионерами на Николаевском бульваре. Первый римский меч продается на толчке. В предложении также наколенники, но спроса на этот товар нет.

Возобновление частной торговли.

Одесса вступает в сраженье. Черное море, не подкачай! Бой на ступеньках музея Истории и Древно-

стей. Бой в городском саду, среди позеленевших дачных львов. Публий Сервилий Воскобойников выходит из своего буфета и принимает участие в битве. Яшка Ахрон давно изменил родному нумидийскому войску и дезертировал. В последний раз он промчался по улице бывшей Лассаля, держась за хвост своего верного скакуна. Уничтожение легионеров в Пале Рояле, близ кондитерской Печеского. Огонь и дым. По приказанию легата, поджигают помещение «Первой госконюшни малых и средних форм».

Режиссеры говорят: «Назад к Островскому», а публика орет: «Деньги обратно».

Сенька Товбин — голубоглазый, необыкновенно чисто выбритый, пугающий своей медлительной любезностью. Глаза у него, как у молодого дога, ничего не выражают, но от взгляда его холодеет спина. Трубочистов-младший — дурак, но способен на все. Жизнерадостный идиот. На гладиаторских играх, устроенных по приказу легата, он кричал: «В будку!», вел себя, как в дешевом кино, как в кино «Слон» на Мясоедовской улице. У него громадная улыбка, она занимает много места.

Расскажите это вашей бабушке после двенадцати часов ночи, как говорят американцы.

«Божественный Клавдий! Божественный Клавдий! Что вы мне морочите голову вашим Клавдием! Моя фамилия Шапиро, и я такой же божественный, как Клавдий! Я божественный Шапиро и прошу воздавать мне божеские почести, вот и все».

Худая, некрасивая, похожая на ангела, Мари Дюба. Лопатки у нее торчат, как крылья.

«Когда я вырасту и овладею всей культурой человечества, я сделаюсь кассиршей».

Орден Контрамарки.

Поздно вечером я еду в Красково. На дороге — ни одного указания, куда она ведет. Сами должны знать, куда ведет. Идут машины без красных огней. Некоторые движутся с потухшими фарами. Один грузовик стоит на дороге, не оградив себя огнями. Велосипедисты, как правило, едут без красного сигнала. Пешеходы беспечно прогуливаются на дороге. Слышна гармоника. В общем, как говорят французы, вы едете прямо в открытый гроб.

«Двенадцать часиков пробило,
Вся публичка домой пошла.
Зачем тебя я полюбила,
Чего хорошего нашла?»

У баронессы Гаубиц большая грудь, находящаяся в полужидком состоянии.

Все войдет: и раскаленная площадка перед четвертым корпусом, и шум вечно сыплющегося песка, и новый парапет, слишком большой для такой площадки, и туман, один день надвигающийся с моря, а другой — с гор.

Бесконечные коридоры новой редакции. Не слышно шума боевого, нет суеты. Честное слово, самая обыкновенная суета в редакции лучше этого мертвящего спокойствия. Аппарат громадный, торопиться, следовательно, незачем, и так не хватает работы. И вот все потихоньку привыкли к безделью.

На таких бы сотрудников набрасываться. Пишите побольше, почему не пишете? Так нет же. Держат равнение. Лениво приглашают. Делают вид, что даже не особенно нуждаются.

Начинается безумие. При каждом кабинете уборная и умывальник. Это неплохо. Но есть еще ванная комната и, кажется, какая-то закусочная.

Если это записная книжка, то следовало бы писать подробнее и ставить числа. А если это только «ума холодных наблюдений», тогда, конечно... Начал я записывать в Остафьеве, потом делал записки в Кореизе, теперь в Малаховке.

Тоня, девушка, которая очень скучала в Нью-Йорке, потому что ее «не охватили». Она сама это сказала. «Неохват» выразился в том, что танцам она не обучается и английскому языку тоже. И вообще редко выходит на улицу. У нее ребенок.

Полынский. Братья Ковалики. Сестры Рабинович. И просто какой-то Набобов....

Всегда приятно читать перечисление запасов. Запасы какой-нибудь экспедиции. Поэтому так захватывает путешествие Стенли в поисках Ливингстона. Там без конца перечисляются предметы, взятые Стенли с собой для обмена на продовольствие.

Я ехал в международном вагоне. Ну, и очень приятно! Он подошел ко мне и извиняющимся голосом сказал, что едет в мягком, потому что не достал билета в международный. Эта сволочь считает, что если едет в мягком вагоне, то я не буду его уважать, что ли?

Название для романа, повести: «Ухо». «Палки». «Подоконник». «Форточка».

«Форточка», роман в трех частях с эпилогом.

В этой редакции очень много ванн и уборных. Но я ведь прихожу туда не купаться.... а работать. Между тем работать там уже нельзя.

«Блин», повесть.

Это постоянное состояние экзальтации уже нельзя переносить. Я тоже любил его, но мне никто не поверит, я не умею громко плакать, рвать свою толстую грудь ногтями.

Большинство наших авторов страдают наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности. Кастрюля, на дне которой катались яйца. Ненужно и привлекает внимание к тому, что внимания не должно вызывать. Я уже жду чего-то от этой безвинной кастрюли, но ничего, конечно, не происходит. И это мешает мне читать, отвлекает меня от главного.

Вечерняя газета писала о затмении солнца с такой гордостью, будто это она сама его устроила.

Сан-Диэго в Калифорнии, где матросы ведут под ручку своих девочек, торжественные и молчаливые.

Список замученных опечаток.

Раздался хруст — упал линкруст.

Художники ходят по главкам, навязывают заказы. «Опыт предыдущих лет... Голландская живопись... По инициативе товарища Беленького...» Деньги дают легко. Главконсерв. Табаксырье. Главчай... Деньги дали из фонда поощрения изобретений.

Композиторы уже ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге.

Истощенные беспорядочными половыми сношениями и абортами, смогут ли они что-нибудь написать?

Веселые паралитики.

Пойдем в немецкий город Бремен и сделаемся там уличными музыкантами.

В одной комнате собрались сумбурники, какафонисты, бракоделы и пачкуны.

На съезд животноводов приехал восьмидесятилетний пастух из Азербайджана. Он вышел на кафедру, посмотрел вокруг и сказал: «Это какой-то дивный сон».

Встретил коварного старичка в золотых очках.

Позавчера ел тельное. Странное блюдо! Тельное. Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное. Идиллия.

Лондонское радио: «Жизнь короля Георга Пятого медленно движется к своему концу».

Архитектурная прогулка: вестибюль гостиницы «Москва», магазин ТЭЖЭ в том же доме и здание тяговой подстанции метро на Никитской улице — вдохновенное создание архитектора Фридмана.

Полное медицинское счастье. Дом отдыха милиционеров. По вечерам они грустно чистили сапоги все вместе или с перепугу бешено стреляли в воздух.

Английское радио: «Кинг Джордж из деад»[1].

Поэма экстаза. Рухнули строительные леса, и ввысь стремительно взмыли строительные линии нового замечательного здания. Двенадцать четырехугольных колонн встречают нас в вестибюле. Мебели так много, что можно растеряться. Коридор убегает вдаль. Муза водила на этот раз рукой круглого идиота.

Дом отдыха в О., переполненный брошенными женами, худыми, некрасивыми, старыми, сошедшими с ума от горя и неудовлетворенной страсти. Они собираются в кучки и вызывающе громко читают вслух Баркова. Есть от чего сойти с ума! Мужчины бледнеют от страха.

Белые, выкрашенные известкой, колонны сами светятся. На соломенных креслах деловито отдыхают С. и Д. Брошенные жены смотрят на них с благоговением и надеждой.... Поэты ломаются, говорят неестественными голосами «умных вещей». Мы с А. подымаемся и идем к памятнику Пушкина. Александр Сер-

[1] Король Георг скончался.

геевич, тонконогий, в брюках со штрипками, вдохновенно смотрит на Г. К., который, согнувшись, бежит на лыжах. Мы возвращаемся назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто с воротником из гималайской рыси. Он торопится к себе на второй этаж рисовать «сапоги».... Так идет жизнь, не очень весело и не совсем скучно.

Вечером брошенные жены танцуют в овальном зале с колоннами. Здесь был плафон с нимфами, но люди из хозуправления их заштукатурили. Брошенные жены танцуют со страстью, о которой только могут мечтать мексиканки. Но гордые поэты играют в шахматы, и страсть по-прежнему остается неразделенной.

Детская коляска на колеблющихся, высоких, как у пассажирского паровоза, колесах.

«Женщине, смутившей мою душу». Кто смутил чистую душу солдата?

На диване лежал корсет, похожий на летательную машину Леонардо да Винчи.

Роман. «Возвращаю вам кольцо, которого вы мне не дарили, прядь волос, которой я от вас не получал, и письма, которых вы мне не писали. Возвращаю вам все, что вы думали обо мне, и снова повторяю: «Забудьте все, что я говорил вам».

«Жена уехала на дачу! Ура, ура!»

У нас уважают писателя, у которого «не получается». Вокруг него все ходят с уважением. Это надоело. Выпьем за тех, у кого получается.

Зозуля пишет рассказы, короткие, как чеки.

Шолом-Алейхем приезжает в Турцию. «Селям алейкум, Шолом-Алейхем»,— восторженно кричат турки. «Бьем челом»,— отвечает Шолом.

Своего сына он называл собакóлогом.

Шофер К. рассказывал, что на чердаке у него жили два «зайчнёнка».

— Бога нет!
— А сыр есть? — грустно спросил учитель.

«Лавры, что срывают там, надо сознаться, слегка покрыты дерьмом» (Флобер).

Синеглазая мама.

В парикмахерской.
— Как вас постричь? Под Петера?
— Нет! Под Джульбарса!

Низменность его натуры выражалась так бурно и открыто, что его можно было даже полюбить за это.

Сторож при морге говорил: «Вы мертвых не бойтесь. Они вам ничего не сделают. Вы бойтесь живых».

Писем я не получаю, телеграмм я не получаю, в гости ко мне не приезжают. Последний человек на земле.

Кроме того, что он был стар и уже порядком очерствел, он остался мальчиком, малодушным и впечатлительным пижоном.

Говорил он — на смерть. Оратор он был — на смерть.

«Надо портить себе удовольствие,— говорил старый ребе.— Нельзя жить так хорошо».

Инженера звали «Ай, мамочка». Это была целая история....

Я сижу в голом кафе «Интуриста» на ялтинской набережной. Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел

бы, чтоб жизнь моя была спокойней, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать. «Крым» отваливает в Одессу. Он тяжело садится кормой.

Осадок, всегда остается осадок. После разговора, после встречи. Разговор мог быть интересней, встреча могла быть более сердечной. Даже когда приезжаешь к морю, и то кажется, что оно должно было быть больше. Просто безумие.

Когда я приехал в Крым, усталый, испуганный, полузадохшийся в лакированном и пыльном купе вагона, была весна, цвели фиолетовые иудины деревья, с утра до ночи пищали новорожденные птички. В моей комнате пахло спиртом. Ее только что покрасили. Краска на полу еще прилипала к стульям.

Бал эпохи благоденствия. У всех есть деньги, у всех есть квартиры, у всех есть жены. Все собираются и веселятся. Джина не пьют. То ли смущает квадратная бутылка, то ли вообще не любят новшеств. За стол садятся во втором часу. Расходятся под утро. Тяжело нагруженная вешалка срывается с гвоздей. В следующий раз все происходит точно так же. Джин (не пьют), вешалка (срывается), расходятся только к утру.

Он придет ко мне сегодня вечером, и я заранее знаю, что он будет мне рассказывать, что тоже не отстал от века, что у него тоже есть деньги, квартира, жена, известность. Ладно, пусть рассказывает, черт с ним! Он лысый, симпатичный и глупый, как мы все.

Такой-то — плохой работник, ленивый, не хочет учиться. Но с хорошим характером. Он говорит: «Ты живи спокойно. Не волнуйся. Это же все игра. Посмотри, как этот ловко загримировался носильщиком. И где только он такой настоящий передник достал! А эти двое! Играют в мужа и жену. Прямо здорово играют. И ты тоже. Вчера ты на меня, там на службе,

кричал, а я на тебя смотрю и думаю: «Здорово ты стал играть ответственного работника, ну, прямо замечательно! Ты только один раз подумай, что все это игра, и сразу тебе станет легко жить. Вот увидишь». После этого он открывал корзинку. Там лежала бутылка водки, хорошая закуска, чистая салфетка. Он выпивал и продолжал разглагольствовать. Золотой, добрый, ленивый человек.

Рассказ шофера о непостоянстве женской души. «Как паук»,— сказал он в заключение.

Еще одна потерянная иллюзия. Всего только два года прошло, а она уже превратилась в могучую девку. Особенно огорчала его ее спина.

Перед приездом он сиял, как рыжий ангел.

Внезапно, на станции Харьков, в купе ворвалась продавщица в белом халате, надетом на бобриковое пальто, и хрипло заорала: «А ну кому ириски? Кому еще ириски? Есть малярийные капли!» Капли — это был коньяк.

На пароходе «Маджестик» возвращалась из Америки группа автомобильных инженеров. Английского языка они не знали, и громадная обеденная карточка вызывала у них ужас. Наконец им посоветовали заказывать рекомендуемый обед. Он помещается на левой стороне меню. С тех пор они, счастливо улыбаясь, говорили друг другу перед едой: «Закажем левую, а? Левую!» А съев обед, долго говаривали: «Хороша сегодня левая, хороша». «Маджестик» шел в последний рейс. Он уже был продан на слом. С шербургской пристани я хорошо рассмотрел его. Сильно дымя, он шел через канал, торопясь доставить своих пассажиров на похороны Георга Пятого. На «Маджестике» ехал англичанин с широким лиловым носом, из Армии Спасения. С ним ехала жена и семь штук их детей, мальчиков и девочек. Все они походили на папу и имели лиловатые широкие носы. Пароходная компания предо-

ставила им отдельный обеденный стол. Это была удивительная и не очень привлекательная картина — папа, мама и семь маленьких пап. Миссис Утроба тоже не сверкала красотой.

Кроме того, что она была подхалимка и дура, оказалось еще, что она незнакома с представлением о равновесии. Поэтому в первый же вечер она свалилась со стола и сломала себе руку. Руку вылечили, но это ничему не помогло, и весь год она била посуду. У нее были светлые глаза идиотки.

В больших и пустых ялтинских магазинах прохладно. Приказчики вежливы, товаров нет. На рейде потрескивают моторы дельфиньих шхун, висит над самой водой грязный дым. По набережной бредут экскурсанты с высокими двурогими тросточками. Ехал в автобусе с красными бархатными сиденьями.

Давнее объявление на Клязьме: «Пропали две собачки, маленькие, беленькие...» Видно было, что хозяин собачек очень их любил.

«Край непуганых идиотов». Самое время пугнуть.

«Целую неделю лопатой голос из комнаты выгребали — столько он накричал» (Н. Лесков. «Смех и горе»).

Пижон, на висках которого сверкала седина. На нем была синяя рубашка, лимонный галстук, бархатные ботинки. Весь куб воздуха, находящийся в комнате, он втягивал в себя одним дыханием. После него нечем было дышать, в комнате оставался лишь один азот.

Пошел в Малаховку покупать мисочку. В малаховском продмаге продается «акула соленая, 3 рубля кило». Длинные белые пластины акулы не привлекают малаховскую общественность. Она настроена агрессивно и покупает водку. В универмаге Люберецкого

общества потребителей стоит невысокий бородатый плотник в переднике. Ну, такой типичный «золотые руки». Дай ему топор, и он все сделает. И борода у него почерневшего золота. Он спрашивает штаны. «Есть галифе, 52 рубля». Золотые руки ошеломленно отшатывается. Хорош он был бы в галифе! У палатки пьет морс дачник в белых, но совершенно голубых брюках. Сам он их, что ли, подсинивал? В пыли, с музыкой едет на трех грузовиках массовка. Звенят бутылки с клюквенным напитком, гремит марш. Они едут мимо магазина, где продается соленая акула. Откуда в Малаховке акула? На выбитом поле мальчики играют в футбол. Играют жадно, каждый хочет ударить сам. В воротах стоят три человека. Еще просится четвертый, но его не пускают. Все-таки непонятно, откуда взялась соленая акула. Мисочки не нашел. Еще продается лещ вяленый и копченый.

Жили-были два друга: Телескопуло и Стетоскопуло.

Было время, когда роман назывался «творческим документом». Стихи тоже были документ. И это напоминало больше всего не искусство, а паспортный стол. «Предъявите документ и проходите. Товарищи, без документов вход воспрещен».

Творческая накладная. Творческий коносамент. Взамен творческого документа вам вручали платежный документ. Все получалось очень мило. Обмен документов.

Фамилия у него была такая неприличная, что оставалось непонятным, как он мог терпеть ее до сих пор, почему не обменял раньше.

«Жизнь в степи коротка и незаметна. Дни быстрей перелетных птичьих стай. И в пути и в бою я всегда одно пою: «Никогда, никогда не унывай». Ковбойская песня в исполнении джаза под управлением старика Варламова. И снова вздыхали испытанные сержанты.

В этот день мадам изображали лесную фею и чуть не изволили сломать себе ногу. За мною гнался лесной фей.

В конце концов все написанное по части пограничной романтики есть всего только прямое киплингование, ни разу не достигшее уровня подлинника.

Так вы мне звякните! — Обязательно звякну.— Значит, звякнете? — Звякну, звякну непременно.

Я тебе звякну, старый идиот. Так звякну, что своих не узнаешь.

Все пьяные на улице поют одним и тем же голосом и, кажется, одну и ту же песню.

Надпись в американском магазине: «Мы здесь для того, чтобы вы нас беспокоили (тормошили)».

В пыли, среди нищенских дач, толстозадая лошадка везет задумчивых седоков.

Пришел комендант, чтобы повесить, как он выражается, люли-качели.

Мари Дюба выходит на сцену в старомодном и ужасном розовом боа. На ней шляпа с голубыми перьями. Она обольщает публику, как это делали в 1909 году, и говорит: «Видите, сколько тогда приходилось вертеть задом, чтобы быть сексопильной».

Еще продаются в продмаге мухи. На маленьком черном куске мяса сидит тысяча мух, цена за кило мух 5 рублей. Недорого, но надо самому наловить.

«Мама, что это в кошке кипит?» Радость Чуковского.

Стоял, как в сказке, у забора добрый молодец в синей гимнастерке и сапогах, стоял, глубоко задумавшись, охватив затылок рукой, глаза уставил в землю. О чем же он думал, обдаваемый музыкой и пылью выходного дня?

В долине реки Колорадо. В далекой, и чуждой, и страшной долине реки Колорадо. Какой черт меня туда занес? Ты боишься меня, тебе скучно. Темно-красный кэньон, на дне его течет серая медленная река Колорадо.

Кажется, в «Бурсаке» Нарежный пишет, что «бурса есть малое подобие великолепного Рима». Так это приятно и чисто написано, что стало жалко — столько времени прошло, а роман все еще даже не начат.

«Нужен молодой здоровый человек, умеющий ездить на велосипеде для производства научных наблюдений. Оплата по соглашению. Площадь предоставляется». Что может быть лучше? Быть молодым, здоровым, уметь ездить на велосипеде и подвергаться научным наблюдениям!

Песок и сосны. Забор и пыль. Бледные и пухловатые дети. Тонконогие черные форды по выходным дням. Снова самоварный дым.

Прощай, Америка, прощай! Когда «Маджестик» проходил мимо Уолл-стрита, уже стемнело и в громадных зданиях зажегся электрический свет. В окнах заблестело золото электричества, а может быть, и настоящее золото, кто его знает! И этот блеск провожал нас до самого выхода в океан. Холодный январский ветер гнал крупную волну. Появился рослый англичанин. Он был пьян и торжественно озирал все вокруг. Пил он до самого Шербурга. Горничная сказала мне, что за пять дней он ничего не съел.... Через час никакого следа не осталось от Америки. В последний раз блеснул маяк — и все.

На острове Алкатрас, похожем на старинный броненосец, сидит Аль-Капонэ, а рядом над бухтой уже висят удивительные тросы новых висячих мостов.

Парадно, киноварью, покрашенный зал и все-таки довольно сахалинский вид пассажиров. Ливень. Бегут,

накрывшись газетами, как шалями, лупит через всю площадь молодая девушка в белой шляпе и красной кофте, но босая, некоторые идут медленным шагом, все равно промокли и бежать незачем, эти — странностью своего поведения похожи на факиров, они словно бы проделывают какой-то церемониал.

Анекдот о петухе, которого несут к часовщику, потому что он стал петь на час раньше.

Машина сейчас же скрылась за поворотом, и уже через минуту ее огни засверкали на верхнем шоссе. Провожающие едва успели поднять руки.

«За нарушение взимается штраф». Вот, собственно, все сигналы, которые имеются на наших автомобильных дорогах. Впрочем, попадается и такая надпись: «Пункт по учету движения». Пункт есть, учета, конечно, нет.

За месяц в Кореизе я успел посмотреть больше картин, чем за три года в Москве. «Конец полустанка», «Хижина старого Лувена», «Джульбарс», «Подруги», «Партийный билет», «Веселые ребята», «Семеро смелых», «Счастливая юность». И все это не в обстановке премьер или просмотров, [а] в самых обыкновенных условиях, то есть при дрянной передвижке, плохо напечатанной копии и ужасающем звуке. Впечатление не важнец, как выражаются в Киеве. Лучше других «Семеро смелых» и куски из «Подруг».

Томимая и томная, в широком черном поясе и белой футболке. В грязи вокзала, в сумбуре широких и мрачных деревянных скамей, где храпят люди и их громадные мешки. Мешки такие большие, будто в них перевозят трупы. Томится от сознания своей красоты и никем покуда не замечаемой молодости. Никто на нее не смотрит, все заняты, берут справки в бюро, выдающем справки только железнодорожного характера.

Все носильщики в своих синих формах оказались из деревни и с жаром рассуждали о благотворности разразившегося ливня.

«А по воскресеньям у нас идет большой дождь, так называемая ливня». По методу Чуковского, это тоже должно считаться обогащением языка.

Биллиард с шестью звонками в Юсуповском дворце в Кореизе. Царь, не попав кием в шар, нажимает на звонок и командует вошедшему слуге: «Шампанского и корону». Так потом и играет в короне. По два звонка на широких бортах и по одному на коротких.

«Я устал смотреть на вас. У меня глаза болят, когда я смотрю на вас».

Выскочили две девушки с голыми и худыми, как у журавлей, ногами. Они исполнили танец, о котором конферансье сказал: «Этот балетный номер, товарищи, дает нам яркое, товарищи, представление о половых отношениях в эпоху феодализма».

«Я вас, дядя Саша, люблю за то, что вы все можете объяснить. И почему экран в морщинах, и почему картина не в фокусе, и почему звук исчезает».

Опять дует северо-восточный ветер. Море пустынно. «Восемь лет, как жизни нет»,— как выразился один философ в общественной уборной.

— Кому вы это говорите? Мне, прожившему большую неинтересную жизнь?

Техас, где ковбои гонят своих коров, маленьких, лохматых и злых, как собаки.

Миновав иву вавилонскую, ясень обыкновенный, дуб обыкновенный, скамейку садовую и уборную женскую, мы прошли прямо в ресторан, расположенный возле нескольких деревьев, носивших напыщенное название «рощи пробковых дубов». Самое удивительное было то, что бутылка вина, которую нам подали, была

закупорена резиновой пробкой. Прислуживала нам собака, глаза у которой были полузакрытыми и злыми, как у Николая Второго. Так их рисуют в карикатурах.

Система Союзтранса. Толчея. Унижение. Высокомерие. В рентгеновском кабинете тоже самое. Больные толпятся возле аппаратов, врачи работают, и медицинская тайна блистает на их лицах.

«Вы послушайте, ребята, я вам песенку спою».

На площадке играют в теннис, из каменного винного сарая доносится джаз, там репетируют, небо облачно, и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде.

Книга высшей математики начинается словами: «Мы знаем...»

Чувство стыда не покидает все время. Пьеса написана так, как будто никогда на свете не было драматургии, не было ни Шекспира, ни Островского. Это похоже на автомобиль, сделанный с помощью только одного инструмента — топора. Унизительно, примитивно. Актеры играют так ненатурально, так ходульно, так таращат глаза и каратыгинствуют, что девочка, сидевшая позади меня, все время спрашивала: «Мама, она сошла с ума, да? Мама, он сошел с ума, да?» Действительно, они играют как сумасшедшие. Мама же спокойно отвечала: «Сиди спокойно, я все расскажу тебе дома». Хорошо художественное произведение, которое надо рассказывать дома.

Когда я смотрел «Человека-невидимку», рядом со мной сидел мальчик, совсем маленький. В интересных местах он все время вскрикивал: «Ай, едрит твою».

Лукулл, испытывающий муки Тантала. Ужасная картина.

«В погоне за длинным рублем попал под автобус писатель Графинский». Заметка из отдела происшествий.

В очерке об Италии написано, что против римского собора святого Петра стоит египетская пирамида. Это все то же. «Могучие своды опираются на легкий изящный карниз». Нет, не пойду я на ту станцию, где своды опираются на карниз. Всестороннее невежество и невнимательность.

Иногда раздается короткий и приятный звук, как бы губной гармоники. Это поворачивается флюгер на башне винного сарая. Он сделан в виде морского конька.

Чудный мальчик Вова. Каждое утро, когда видит меня, он обязательно говорит: «Папа дома».

Светит солнце, ночи лунные, но и днем и ночью деревья шипят от сильного норд-оста. Немножко раздражает этот постоянный шум природы.

«Посторонним вход разрешается», «Уходя, не гасите свет. Пусть горит», все можно будет, все позволится.

У нее была последняя мечта. Где-то на свете есть неслыханный разврат. Но эту мечту рассеяли.

Зеленый с золотом карандаш назывался «Копиручет». Ух, как скучно.

Два затуманенных от высоты самолета тащили за собой белые рукава.

Почти втрое или более чем вдвое. Но все-таки сколько это? И как это далеко от точности, если один математик о тридцать шестом годе выражался так: «У нас сейчас, грубо говоря, тысяча девятьсот тридцать шестой год». Грубо говоря.

«Кэптен Блай, вы жестоко обращались с матросами».

Он посмотрел на него, как царь на еврея. Вы представляете себе, как русский царь может смотреть на еврея?

Вы играете на мамины деньги, а вы сыграйте на свои, на кровные.

Прогулка с Сашей в холодный и светлый весенний день. Опрокинутые урны, старые пальто, в тени замерзшие плевки, сыреющая штукатурка на домах. Я всегда любил ледяную красноносую весну.

Куда ни посмотришь из окон, всюду дачники усердно раскачиваются в гамаках.

Американское кино, как великая школа проституции. Американская девушка узнает из картины, как надо смотреть на мужчину, как вздохнуть, как надо целоваться, и все по образцам, которые дают лучшие и элегантнейшие стервы страны. Если стервы это грубо, можно заменить другим словом.

«Кэптен Блай, вы находитесь перед судом его величества».

Хам из мглы. Он так нас мучил своими куплетами про тещу, командировки и машинисток, что уже не хотелось жить. Но один куплет он спел очень смешной.

Какой-нибудь восточный чин. Ну, император Трапезунда.

Медливший весь день дождь наконец начался. И так можно начать роман, как хотите можно, лишь бы начать.

Толстого мальчика звали Эмма. Он же назывался Мясокомбинат.

Часы «Ингерсол» бросали на землю, сбрасывали со стола, купали в нарзане, но им ничего не сделалось. «Идут, проклятые»,— с удивлением говорили о них.

Старуха рассказывала на бульваре, что в сибирских горах поймали женщину-зверь. Она весит сорок пудов и при ней дочка восьми пудов. Русского языка женщина-зверь не знает.

Бабушка вела мальчика по бульвару. Мальчик ей рассказывал, что в Америке все под землей.

О, горе мне! Тоска! Тоска навеки! («Тень стрелка», О-Кейси).

Весь золотой запас заката лежал на просеке.

На мутном стекле белела записочка: «Киоск выходной». Тоска, тоска навеки.

«Продажа кеп». Вольное и веселое правописание последнего частника.

«Мишенькины руки панихиды звуки могут переделать на фокстрот».

Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах.

Подали боржом, горячий, как борщ.

Впереди ехал грузовик с дачным скарбом. Сзади, на легковом автомобиле, ехала семейка — папа, мама, тетя Мура, дядя Сеня, детки, кошки. Из грузовика

вылез учрежденский агент. Лицо у него было полное и бледное. Жулик с печальными глазами. Сколько восточной неги в глазах обыкновенного учрежденского агента, обратили ли вы внимание на это?

«Как работник сберегательной кассы я прошу вас изложить в юмористической форме те условия, в которых приходится работать сберегательным кассам».

Курточка с легкими медными пуговицами, алого, королевско-гвардейского цвета. Яркий солдатский цвет.

В горах лежал туман, когда я ехал в Севастополь к поезду. Хотя он был сухой и редкий, но все-таки сильно мешал смотреть на дорогу.

Внезапно в кабацкую болтовню вмешался парикмахер Люся. Он сказал: «Как Байдарские ворота — так нет больше женатых и нет замужних. Тут у нас летом каждый кустик дышит». Все одобрили эту сентенцию и с видом заядлых сердцеедов продолжали говорить пошлости.

Сияющие облака лежали на дороге. Где это было — в Тексасе, Нью-Мексико или Луизиане? Не помню. Здесь, в мокром тумане, мистер Трон рассказал, как он застраховал свою жизнь в немецком страховом обществе и что из этого вышло.

Никто не будет идти рядом с вами, смотреть только на вас и думать только о себе.

Сто шестьдесят семь ошибок по русскому языку в дипломной работе.

Пусть комар поет над этой могилой.

Газетный киоск на станции Красково, широкой и стоящей между шеренгами сосен. Газет нет совсем,

имеется журнал «На суше и на море» за июнь прошлого года, хотя даже за этот год он не вызвал бы волнения, тем более что и общество, его издающее, уже ликвидировано, журнал «Ворошиловский стрелок», книжка на еврейском языке, химические карандаши «Копирка» и детские краски на картонных палитрах. Таким образом, узнать, что делается на суше, на море, на воздухе и на воде нельзя, надо для этого поехать в Москву. Солнце озаряет сосны, от сухого запаха разогревшейся хвои в горле немножко першит. Мимо на тяжелых велосипедах едут мальчики. Они счастливы. Да, еще продаются приборы для очинки карандашей под названием «Канцпром». Все.

Я не лучше других и не хуже.

А это, товарищи, скульптура, называющаяся «Половая зрелость». Художественного значения не представляет.

Весь месяц меня обдували в Кореизе отблески норд-оста, свирепствовавшего у Новороссийска.

Нет, я не лучше других и не хуже.

Ну, вы, костлявая Венера!

Два певца на сцене пели:
«Нас побить, побить хотели»,—
Так они противно ныли,
Что и вправду их побили.

Нет, вы не услышите больше скрипа шагов за спиной, и этот жалкий хвастун со своей вечно нахмуренной мордой уже не появится здесь.

«Моя половая жизнь в искусстве» — сочинение режиссера....

Диалог в советской картине. Самое страшное — это любовь. «Летишь? Лечу. Далеко? Далеко. В Ташкент? В Ташкент». Это значит, что он ее давно любит, что и она любит его, что они даже поженились, а может быть, у них есть даже дети. Сплошное иносказание.

Был у него тот недочет, что он был звездочет.

Гулянье. Ходила здесь молодая девушка в сиреневом шарфе и голубых чулках. Были молодые люди в розовых носках. Фиолетовая футболка с черным воротником, насчет которой продавец местного кооператива заявил, что зато цвет совершенно не маркий. В общем, носить приходилось то, что изготовляли пьяные растратчики из кооперации.

Картина снималась четыре года. За это время режиссер успел переменить трех жен. Каждую из них он снимал. Ни черта тут нельзя понять. То ли он часто женился, потому что долго снимал, то ли он долго снимал, потому что часто женился. И как писать для людей, частная жизнь которых так удивительно влияет на создаваемые ими произведения. Надо сказать так: «Мы очень ценим то, что вы любите свою жену. Это даже трогательно. Особенно сейчас, когда в укреплении семьи так заинтересована вся общественность. Но сниматься в вашей картине она не будет. Роль ей не подходит, да и вообще она плохая актриса. И мы просим вас выражать свою любовь к жене иными средствами».

Репертуар клоунов Бим-Бом. «Если бы все бумаги на свете была одна большая бумага, и если бы все ручки на свете была одна громадная ручка, и если бы все чернила на свете помещались в одной колоссальной чернильнице, я взял бы эту ручку, обмакнул бы ее в эту чернильницу и написал бы на этой бумаге, что я люблю вас». Несомненно, украдено из какого-нибудь восточного сказания.

Снова вечер — и голубой самоварный дым стелется между дачными соснами.

Вахтер с седыми усами отдает честь, я прохожу мимо. На меня смотрят с объеденных соломенных кресел, я прохожу мимо.

Бука, полнотелый и порочный, играет в теннис и дружелюбно смотрит на меня, я прохожу мимо. Библиотекарша с апостольским пробором встречается на дороге, я здороваюсь и прохожу мимо. И вот я в парикмахерской, где бреющиеся ведут между собой денщицкий разговор.

На его щеке еще горел раскаленный поцелуй предателя.

Мадам Везувий.

«Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон» *(А. Аверченко, «Настоящие парни»)*.

Мазепа меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу.

Он лежал в одних трусиках, и тело у него было такое белое и полное, что чем-то напоминало труп в корзине. Виной этому были в особенности ляжки.

«Я один против всего света, и, что еще хуже, весь свет против меня одного».

Действительно, тяжелое имя для девушки — Хеврония.

Напали на детку синие волки, синие волки с голубыми глазами.

Худые и голодные, как молодые черти.

В доме ужасное смятение. Маленькая девочка заявила, что хочет быть любовницей всех мужчин.

В картине появляются девушки, и кажется, будто играют первые роли. Но потом они вдруг исчезают куда-то и больше уже не появляются. Представьте себе «Ромео и Джульетту» без Джульетты. Походив немного по сцене, ошеломленный Ромео, конечно, уйдет.

«Это было в консульство Публия Сервилия Ваттия Изаурика и Аппия Клавдия Пульхра».

Докладчик: «На сегодняшнее число мы имеем в Германии фашизм». Голос с места: «Да это не мы имеем фашизм! Это они имеют фашизм! Мы имеем на сегодняшнее число советскую власть».

Докладчик: «Товарищи, мы еще не научились писать». Голос с места: «Не мы еще не научились писать, а вы еще не научились писать».

Он, как ворона, взгромоздился на кафедру и заболботал: «Семнадцать и девять десятых процента...» Когда он окончил доклад, то тем же вороньим сумрачным голосом возгласил: «А теперь, ребята, приступим к веселью».

Концерт джаз-оркестра под управлением Варламова. Ужасен был конферансье. В штате Техас от момента выхода на сцену такого конферансье до полного предания его тела земле с отданием погребальных почестей проходит ровно пять минут. Ковбои в бараньих штанах сразу открывают беспорядочную стрельбу. Джаз играл паршиво, но с громадным чувством и иногда сам плакал, растрогавшись («в маленьком письме вы написали пару строк, что меня любили»). Испытанные сержанты милиции, наполнявшие зал, шумно вздыхали, ревели «бис». В общем, растрогались все. Хорош был старик Варламов, трубивший нежные

слова любви в рупор, сшитый из зеленого скоросшивателя. Он был во фраке и ботинках.

У мальчика было довольно красивое имя: Вердикт. А ее звали Шишечка.

Уже известно, как надо писать рецензии: сценарий — хороший, играют — хорошо, снято — хорошо. А музыка? О музыке тоже уже известно, как надо писать. Музыка сливается с действием. Что это значит — никто не знает, но звучит хорошо — музыка сливается с действием. Ну и черт с ней, пусть себе сливается.

При исполнении «Куккарачи» в оркестре царили такая мексиканская страсть и беспорядочное воодушевление, что больше всего это походило на панику в обозе.

Персидская сирень, белая, плотная и набухшая, как разваренный рис.

Девушки-фордики. Челка, берет, жакетик, длинное платье, резиновые туфли.

По звукам казалось, что веселятся эскадронные лошади. На самом деле это затейник вовлекал отдыхающих в «массовку».

Только некультурностью населения можно объяснить то, что в редакции еще не выбиты все стекла. Это после появления заметки о том, что «лучшие женихи достались пятисотницам». Пропаганда пошлости.

Вся пьеса построена на честном слове. «Если вы мне верите, вы не станете меня спрашивать. Я говорю, что так было. Верьте мне».

Что-нибудь вроде «Ярмарки тщеславия». Обличение неправды. Может иметь большой успех.

Очень легко писать: «Луч солнца не проникал в его каморку». Ни у кого не украдено и в то же время не свое.

Требуются в отъезд ведьмы, буки, бабы-яги, кощеи бессмертные, гномы и кобольды на оклад жалованья от 120 рублей и выше. Квартира предоставляется.

Детский утренник. Один мальчик, как говорится, уже в самом начале праздника схлопотал от мамы по морде. Он был на самом дне ямы и вдруг вознесся на вершину славы. Его вызвали на сцену и вручили ему альбом для рисования, кубики и карандаш. Детям дарили портфели из какого-то дерматина, будь он проклят. Не хватало только, чтоб им дарили председательские колокольчики и графины с водой. Достаточно войти в магазин игрушек, чтобы понять, что люди, изготовляющие эти игрушки, ненавидят детей.

«Ты меня совсем не любишь! Ты написал мне письмо только в двадцать грамм весом. Другие получают от своих мужей по тридцать и даже пятьдесят грамм».

«Скульптура, изображающая спящего льва. Привезена морским путем из Неаполя в Севастополь, оттуда в Юсуповский дворец в Кореизе. Работа известного итальянского мастера Антонио Пизани. Художественной ценности не имеет».

Дядя Саша, бывший укротитель кур и мышей, теперь заведующий театральным сектором дома отдыха. Сколько таких дармоедов в Крыму — еще не подсчитано.

«Нет, это не жизнь для белого человека».

Отдыхающий спал на зеленой траве. На нем были сапоги, мундир, все ремни были затянуты, как на смотру. Только ветер позванивал колесиками его шпор. Он спал глубоким сном.

«Скульптура фонтана «Плачущая гимназистка». Работа известного шведского скульптора Бреверна. Художественной ценности не представляет».

«Дворец князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон. В постройке его принимали участие лучшие художники и архитекторы своего времени. Дворец обошелся в два миллиона рублей и вызывал удивление современников своей роскошью. Художественной ценности не имеет».

Волшебный оркестр — самодеятельный джаз. Каждый умеет играть, все умеют петь. Дирижер Миша Спивак. Он печет джазы, как блины. Через полчаса, в первую репетицию, уже играли вальс из «Петера». На пищалках играли и мама и дочка. Дочка была большая и толстая, похожая на дорогую заграничную куклу.

Он был в таком возрасте, когда вообще правды не говорят. Болезнь возраста.

Извинитесь. Скажите: «Я больше не буду».

Передо мной стоял человек с большими зрачками и прикушенной нижней губой.

Школа танцев. Маленькая учительница держит себя с достоинством командира дивизии. Филиппинская Венера. Тут потирают оцепеневшие от танцев руки, серьезно следят за учительницей. У одной девушки за бретелью сарафана были засунуты бумаги, с которыми она пришла. У другой был перевязан глаз. Все дышали здоровьем.

....Снялся на фоне книжных полок, причем вид у него был такой, будто все эти книги он сам написал.

Забудьте о плохом, помните обо мне только хорошее.

Обыкновенная фраза: «Тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели три обезьяны». Можно еще чище и спокойнее: «Три обезьяны сидели, тесно прижавшись друг к другу спинами». А вот как это будет написано в сценарии: «Спинами тесно прижавшись друг к другу, три обезьяны сидели». Сценарии пишутся стихами. Например: «Вышла Глаша на крыльцо».

Нет, разница все-таки есть. Тебе скучно со мной, а мне скучно без тебя.

Красноносая учительница музыки.

Ветер, ветер, куда деваться!

Котик с разными глазами.

Я ничего не вижу, я ничего не слышу, я ничего не знаю.

Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Все-таки договориться можно.

Пришел туповатый генуэзец с коричневой мордой.

Так страстно любить друг друга могут только чужой муж и чужая жена. Слишком они уже пожилые.

Я обращаюсь к чувству, я старею на глазах.

Раменский куст буфетов. Куст буфетов, букет ресторанов, лес пивных.

Шел Маяковский ночью по Мясницкой и вдруг увидел золотую надпись на стекле магазина: «Сказочные материалы». Это было так непонятно, что он вернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на надпись. На стекле было написано: «Смазочные материалы».

«Золотая рыбка» в гостях у художника. Замечательное происшествие с участием литератора П.

Пьяный в вагоне беседовал со своим товарищем. При этом часть слов он говорил ему на ухо, а часть произносил громко. Но он перепутал — приличные слова говорил шепотом, а неприличные выкрикивал на весь вагон.

Решено было не допустить ни одной ошибки. Держали двадцать корректур. И все равно на титульном листе было напечатано: «Британская энциклопудия».

В черном небе показались внезапно пароходные зеленые и красные огоньки. Это летели самолеты.

Вчера была температура, какой не было пятьдесят лет. Сегодня — температура, которой не было девяносто два года. Завтра будет температура, какая была только сто шестьдесят шесть лет назад, в княжестве Монако, в одиннадцать часов утра, в тени. Что делали жители в это утро и почему они укрывались именно в тени, где так жарко, ничего не сказано.

Литературная компания, где богатству участников придавалось большое значение. Деланье карьеры, по-

пытка образовать группу, все позорно проваливалось, потому что не хватало главного — уменья писать. Впрочем, может быть, крошечное уменье и было, но писать было не о чем, ничего не было за душой, кроме нежного воспитанья, любви к искусству и других альбомных достоинств. Там был один писатель, которого надо бы произвести в виконты — он никогда не ездил в третьем классе, не привелось. Каждая новая книга Дос Пассоса, Хемингуэя или Олдоса Хаксли отнимала у членов кружка последние остатки разума. Просто было вредно давать им читать такие книги. А занимались они в общем халтурой, дела свои умели делать. Это было даже странно для таких неженок. Но тут уже повлияло непролетарское происхождение.

В асфальтовых кафе тихо попискивают девушки, раздавленные дикой красотой разноцветных зонтов.

«Я от этого парохода нервный стал»,— сказал капитан.... Как только мы водворились на пароходе, обнаружилось, что повар проворовался. Составили акт. Это так расстроило повара, что блюда, им изготовленные за эти два дня, поражали неслыханной причудливостью. Диваны в каюте были обиты светло-коричневой акушерско-гинекологической клеенкой. Было жарко, простыни сползали и клеенка прилипала к голому телу.

«Как полагают, свидание будет иметь далеко идущие результаты».

....Сторож в поселке ходит с винтовкой и зеленым веником. Веником он угрожает ворам, а из винтовки стреляет по комарам. Его ноздри производят впечатление рваных, и вообще он похож на пугачевца после подавления мятежа и произведения экзекуции. Комары носятся всю ночь с воинственными атакующими песнями и воями.

Он вошел и торжественно объявил: «Мика уже мужчина».

Внезапно показался бегущий по откосу подросток в красной майке. За ним гнался продавец из «Гастронома». В пылу преследования с продавца слетела парусиновая туфля, но он не остановился. Стрелок железнодорожной охраны, скучая бродивший по платформе, неслыханно оживился. Он помчался наперерез мальчику, придерживая рукой кобуру револьвера. Мальчика схватили. Он хотел украсть коробку лапши. Через несколько минут уже слышался его сопливый плач в станционном здании — это писали протокол. Среди любопытных стояла невероятная баба в черной юбке и лиловой майке, босая, в берете и [с] такими грудями, что делалось даже нехорошо от изобилия этого продукта. Ей было лет семнадцать.

«Босая, средь холмов умбрийских, она проходит, Дама-Нищета».

Старопечатная книга петровских указов. Она принадлежала раскольнику, и он на полях всюду понаставил: «Зри».

При грудном ребенке сказали какую-то шутку, и он внезапно захохотал. Тогда решили, что он оборотень, и убили его.

Кому это приписывали бессословную лирику? Или мне это показалось?

Об этом уже надо писать статью под названием «Нет, Жан, это не недоразумение». Пароход «Экстения» в двадцать девятом году совершает переход из Нью-Йорка в Шербург за четверо суток. Это рекорд, которого не перекрыла даже «Квин Мери» в тридцать шестом году. Что до «Нормандии», то ей такая скорость может только сниться.

Некий Меерзон раскачивает шезлонг, в котором сидит его любовница. Занятие совершенно бесполезное — это не гамак и не качалка.

Палестинские пальмы имеют мохнатые ветви. Я таких не видел ни в Батуме, ни в Калифорнии. Обильные косы. «Маджестик», новый французский пароход, пришел в Яффу. А он английский, не новый и в Яффу не ходит. Нет, нет, Жан, это не недоразумение!

Вот мы снова встретились, а я все еще не в горящем золотом мундире, и вы тоже все еще не инженер.

Началось это с того, что подошла к нему одна девушка и воскликнула: «Знаете, вы так похожи на брата мужа моей сестры». Потом какой-то человек долго на него смотрел и сказал ему: «Я знаю, что вы не Курдюмов, но вы так похожи на Курдюмова, что я решился сказать вам об этом». Через полчаса еще одна девушка обратилась к нему и интимно спросила:

— Обсохли?

— Обсох,— ответил он на всякий случай.

— Но здорово вы испугались вчера, а?

— Когда испугался?

— Ну, вчера, когда тонули!

— Да я не тонул!

— Ой, простите, но вы так похожи на одного инженера, который вчера тонул!

Рассказ возчика, ужасный рассказ возчика. Жила в поселке одна красавица, полная такая. К ней ходил один горбун, совсем негодный для этого человек. Он семьсот рублей жалованья получал. Пищу она всегда ела знаете какую? Швейцарский сыр, кильки. Ну, тут приехал один француз. На нем желтые сапоги (показывает сапоги гораздо выше колена), рубашка чесучовая. Горбун, конечно, все понял, приходит и спрашивает ее: «Пойдешь со мной?» Она говорит: «Не пойду». Тут он ее застрелил. Потом побежал на службу, сдал все дела и сам тоже застрелился. Стали ее вскрывать — одна сала!

Когда я заглянул в этот список, то сразу увидел, что ничего не выйдет. Это был список на раздачу квартир, а нужен был список людей, умеющих работать. Эти два списка писателей никогда не совпадают. Не было такого случая.

Шестилетняя девочка 22 дня блуждала по лесу, ела веточки и цветы. После первых дней ее перестали искать, успокоились. Мир не видал таких сволочей. Что значит не нашли? Умерла? Но тело найти надо? Почему не привели розыскную собаку? Она нашла бы за несколько часов.

Черный негр с сёрыми губами.

Все время передавали какую-то чушь. «Детская художественная олимпиада в Улан-Удэ», «Женский автомобильный пробег в честь запрещения абортов», а о том, что всех интересовало, о перелете, ни слова, как будто и не было никакого перелета. И опять — «Бубонная чума охватила большую часть Маллакского полуострова»

Справедливость кретинов. Один раз я, другой раз ты. Равноправие идиотов.

Ноги грязные и розовые, как молодая картошка.

Чуть наклонившись, стоит лес. (Куб сосен.)

Это были гордые дети маленьких ответственных работников.

Стоял маленький рояль, плотный, лоснящийся, как молодой бычок.

Американцы едят суп из полоскательной чашки.

Толстые большие мухи гудели возле уборной так, как будто давали концерт на виолончелях.

Бесчувственная, ассирийская жажда жизни и наслаждений.

Ангел-хранитель печати.

Сто раз просыпаюсь за ночь. Каждый сон маленький, как рыбья чешуйка. К утру я весь в этой чешуе.

Среди миллионов машин и я пролетел — песчинка, гонимая бензиновой бурей, которая уже много лет бушует над Америкой.

Вода из кипятильника пахла мясом. Представляете себе, как это было отвратительно?

Фарфоровую вазу она очень любила и называла «банкой».

Деревянная голова. Твердая, как отполированный ясень.

Детский концерт. «Сейчас будем передавать проверку времени». Тах-тах-тах!

«Ярошко, по возбуждении настоящего дела, фигурировал сперва в качестве простого свидетеля, но затем был привлечен в качестве обвиняемого и в этом качестве скончался».

«Ильина была типичной мещанской Мессалиной, которая обворожила подсудимого массивностью и выпуклостью своих форм».

Вчера хлебнул горя — смотрел картину «Конец полустанка».

Страна, населенная детьми.

Мы ехали в поезде по Крыму. Когда моя соседка увидела зеленую траву, она так обрадовалась, как будто она была коровой, всю зиму проведшей в мрачном уединении хлева.

Она была так ошеломлена тем, что увидела, что выбежала из комнаты и тут же в коридоре превратилась в растение. Теперь это называется — «История одного фикуса в зеленой кадушке».

Как скучно быть кариатидой, подпирать какой-то некрасивый балкон.

Жить на такой планете — только терять время.

Напился так, что уже мог творить различные мелкие чудеса.

По всему полуострову зазвучали сигналы к обеду.

Крымский сад: иудино дерево, кукуля, кедр, тисс, благородный лавр, миндаль, кипарис, магнолия, дуб, ель, ель голубая.

Приехал отдыхать какой-то кинематографист в горностаевых галифе с хвостиками.

Начался сезон, и на полуострове ударили сразу двадцать тысяч патефонов, завертелись и завизжали пятьдесят или пятьсот тысяч пластинок.

Девушка-былинка.

Подали завтрак: холодное масло, завинченное розами, овальную вазочку с редиской, на длинной таре-

лочке — холодную баранину, телятину и просвечивающую насквозь брауншвейгскую колбасу, два яйца в мешочке, три ломтя сыру, сырную пасху, свежий темный хлеб. Море было пустынно, как все эти дни, и ослепительно сверкало.

Холодный, благородный и чистый, как брус искусственного льда, подымался «Импайр Стейт Билдинг».

Любовь к этим словам неистребима. Глубоко, на дюйм врезаны они в кору деревьев.

Тихомандрицкий. Мемфисов.

Если бы глухонемые выбирали себе короля, то человека, который говорит хорошо, они бы не взяли. Слишком велик был бы контраст.

Когда питекантроп заметил, что у него нет хвоста, он ужасно огорчился. Он думал, что это ставит его в зависимое положение от обезьян. Он даже не понимал, что он и есть владыка мира. Жена его, молодая питекантропка, долго пилила его и жалела совершенно открыто, что не вышла замуж за одного орангутанга, который ухаживал за ней прошлым летом.

Чувство уюта, одно из древнейших чувств.

Мама истицы говорила чудным музыкальным русским языком.

Разговор по междугороднему телефону: «Есть повидло бочковое! Покупать? Не надо? Кончено! Есть варенье бочковое! Покупать? Не надо? Кончено!»

«На вашем месте я бы сидел на месте».

«Отец мой мельник, мать — русалка».

Судья: «А вы скажите суду по части отреза».

Сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны.

Е. Петров

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

(1924—1932)

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

(1937—1942)

ОСТРОВ МИРА

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

(1941—1942)

Рисунки художников

А. ЕЛИСЕЕВА, Б. ЕФИМОВА,

А. КОКОРИНА, И. ОФФЕНГЕНДЕНА,

К. РОТОВА, М. СКОБЕЛЕВА,

Г. СУНДЫРЕВА

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

(1924—1932)

ИДЕЙНЫЙ НИКУДЫКИН

Вася Никудыкин ударил себя по впалой груди кулаком и сказал:

— К черту стыд, который мешает нам установить истинное равенство полов!.. Долой штаны и долой юбки!.. К черту тряпки, прикрывающие самое прекрасное, самое изящное, что есть на свете,— человеческое тело!.. Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд!.. Мы будем останавливать прохожих и говорить им: «Прохожие, вы должны последовать нашему примеру! Вы должны оголиться!» Итак, долой стыд!.. Уррррра!..

— И все это ты врешь, Никудыкин. Никуда ты не пойдешь. И штанов ты, Никудыкин, не снимешь,— сказал один из восторженных почитателей.

— Кто? Я не сниму штанов? — спросил Никудыкин упавшим голосом.

— Именно ты. Не снимешь штанов.

— И не выйду голым?

— И не выйдешь голым.

Никудыкин побледнел, но отступление было отрезано.

— И пойду,— пробормотал он уныло,— и пойду...

Прикрывая рукой большой синий чирий на боку, Никудыкин тяжело вздохнул и вышел на улицу.

Накрапывал колючий дождик.

Корчась от холода и переминаясь кривыми волосатыми ногами, Никудыкин стал пробираться к центру. Прохожие подозрительно косились на сгорбленную лиловую фигуру Никудыкина и торопились по своим делам.

«Ничего,— думал отважный Никудыкин, лязгая зубами,— н... н... иче-го... погодите, голубчики, вот влезу в трамвай и сделаю демонстрацию! Посмотрим, что вы тогда запоете, жалкие людишки в штанах!..»



Никудыкин влез в трамвай.

— Возьмите билет, гражданин,— сказал строгий кондуктор.

Никудыкин машинально полез рукой туда, где у людей бывают карманы, наткнулся на чирий и подумал: «Сделаю демонстрацию».

— Долой, это самое...— пролепетал он,— штаны и юбки!

— Гражданин, не задерживайте вагон! Сойдите!

— Долой тряпки, прикрывающие самое прекрасное, что есть на свете,— человеческое тело! — отважно сказал Никудыкин.

— Это черт знает что! — возмутились пассажиры.— Возьмите билет или убирайтесь отсюда!

«Слепые люди,— подумал Никудыкин, отступая к задней площадке,— они даже не замечают, что я голый».

— Я голый и этим горжусь,— сказал он, криво улыбаясь.

— Нет, это какое-то невиданное нахальство! — зашумели пассажиры.— Этот фрукт уже пять минут задерживает вагон! Кондуктор, примите меры!

И кондуктор принял меры.

Очутившись на мостовой, Никудыкин потер ушибленное колено и поплелся на Театральную площадь.

«Теперь нужно сделать большую демонстрацию,— подумал он.— Стану посредине площади и скажу речь. Или лучше остановлю прохожего и скажу ему: прохожий, вы должны оголиться».

Кожа Никудыкина, успевшая во время путешествия переменить все цвета радуги, была похожа на зеленый шагреневый портфель. Челюсти от холода отбивали чечетку. Руки и ноги скрючились.

Никудыкин схватил пожилого гражданина за полу пальто.

— П...п... прохожий... вввввв... долой... ввввв... штаны... вввввв...

Прохожий деловито сунул в никудыкинскую ладонь новенький, блестящий гривенник и строго сказал:

— Работать надо, молодой человек, а не груши околачивать! Тогда и штаны будут. Так-то.

— Да ведь я же принципиально голый,— пролепетал Никудыкин, рыдая.— Голый ведь я... Оголитесь, гражданин, и вы... Не скрывайте свою красо...

— А ты, братец, работай и не будешь голый! — нравоучительно сказал прохожий.

Никудыкин посмотрел на гривенник и заплакал.

Ночевал он в милиции.

1924

ГУСЬ И УКРАДЕННЫЕ ДОСКИ

Рассказ провинциального поэта

Ксаверий Гусь обладал двумя несомненными и общепризнанными качествами: большим красным носом и не менее большой эрудицией. Первое было необъяснимо. Второе он заимствовал на юридическом факультете. До революции он был помощником присяжного поверенного. О своем былом величии он вспоминал редко, предпочитая довольствоваться величием настоящего. Впрочем, служба в Уголовном розыске не мешала ему петь баритоном (именно баритоном): «Во Францию два гренадера...» под мой аккомпанемент в нашем неприхотливом сельском театре.

Я служил в «Югросте» районным корреспондентом. Служил честно и ревностно: разъезжал по волисполкомам и собирал животрепещущие сведения. В то, полное лишений, но от этого трижды прекрасное время я за день успевал бывать в разных концах моего района. В невозмутимых немецких колониях я рычал передовицы и хронику с клубных подмостков (систематическое проведение устных газет на местах). В безалаберных украинских селах я лихорадочно записывал в блокнот повестки дня очередных волсъездов. В степных хуторках я воевал со стаями одичавших собак. А сидя в подводе, нырявшей в желтых хлебах и зарослях кукурузы, под синим украинским небом я со-

чинял стихи. Все шло прекрасно, если бы не эта встреча. Эта встреча меня подкосила.

Мы встретились с ним в Народном доме. Я сидел за пианино. Рядом со мною сидела она. Она была блондинкой и, занимаясь педагогической деятельностью в местной школе, незадолго до этого знаменательного дня покорила мое честное корреспондентское сердце. Он вошел в залу в сопровождении милиционера, смерил мою соседку с головы до ног и сказал своему попутчику свистящим шепотом:

— А она недурна, эта блондинка.

Потом он посмотрел на меня в упор и сказал:

— Потрудитесь предъявить ваши документы.

Несмотря на июльскую температуру и трехаршинный мандат в кармане, я похолодел.

— Позвольте, товарищ, в чем дело? Кто вы такой?

— Кто я такой? Это мне нравится,— сказал он, поглядывая на мою даму,— я начальник Уголовного розыска Первого района. Потрудитесь предъявить документы, ибо в противном случае я буду вынужден вас арестовать.

Он внимательно прочитал мой широковещательный мандат.

— Простите. Маленькое недоразумение. Я ошибся. Во всяком случае, будем знакомы.— Он протянул руку.— Гусь. Ксаверий. А это милиционер Буфалов. Теперь ты, Буфалов, иди в район и скажи Перцману, что я сейчас приду.

Он познакомился с моей блондинкой и, живописно облокотившись на пианино, стал говорить. Он начал музыкой и кончил грустным повествованием о краже

со взломом двух гнедых кобыл. В промежутке он сообщил нам, что у него есть жена — пианистка и брат — секретарь Губревтрибунала.

Вечером мы были уже друзьями. Разгуливая по главной улице села, мы говорили, говорили и говорили. Он с энтузиазмом рассказывал о своих приключениях. Я восторгался. Слова: рецидивист, взломщик, убийца и бандит склонялись нами в единственном и множественном числе в продолжение четырех часов. Я был подавлен величием моего нового приятеля. Он предложил мне поступить в Уголовный розыск. Я долго не решался. Он корил меня. Он рисовал мне соблазнительные картины. Он показал мне «кольт». Я согласился.

Лежа в постели, я впервые за две недели не думал о покорившей меня блондинке. Я думал о моей будущей карьере. Мне приснился ужасный сон: я сидел в засаде и, сжимая в руке «кольт», поджидал бандита. Он появился. Я крикнул «руки вверх». Он, не обращая на меня внимания, шел. Я спустил курок. Осечка. Еще раз. Осечка. Еще. Осечка. Бандит шел прямо на меня. В его руке сверкнула бомба... Я проснулся, обливаясь холодным потом. Рассветало. Пели петухи.

В десять часов утра я был уже в милиции. Дежурный милиционер указал мне на дверь с табличкой — «Кабинет начальника Уголовного розыска. Без доклада не входить». Я был ошеломлен. Я попросил милиционера доложить о себе. Милиционер доложить отказался и, пнув ногой дверь, пригласил меня войти.

В небольшой комнате с деревянным полом и ободранными обоями стоял большой стол. За столом сидели Гусь и неизвестный мне здоровенный мужчина, который склеивал вместе несколько больших, испещренных цифрами, листов бумаги. Получалась простыня, которую он аккуратно развешивал на спинках стульев. В то время я был еще наивен. В то время я еще не знал, что эта простыня просто-напросто отчетная цифровая ведомость за июнь месяц.

Гусь встретил меня с достоинством.

— Здравствуйте. Познакомьтесь. Мой сотрудник Перцман. А это, Перцман, ваш будущий коллега.

— Вы умеете вести настольный реестр? — прогудел Перцман.

Этот вопрос поставил меня в тупик. Я пробормотал что-то о борьбе с бандитами.

— Какие там бандиты, когда чуть ли не каждый день нужно всякие ведомости посылать в Управление.

Перцман злобно плюнул и продолжал клеить.

— Молчите, Яша. Что вы мутите человека. Не пройдет и недели, как я достану делопроизводителя, и все пойдет как по маслу. Пишите заявление,— сказал Гусь.

Я написал. Он размашистым почерком наложил резолюцию: «Ходатайствую о зачислении»,— и сказал:

— Сегодня же я отошлю ваше заявление в город, и не позже, чем через три дня, вы сможете приступить к исполнению служебных обязанностей.

Он порылся в делах и крикнул в пространство:

— Дежурный! Приведите арестованного Сердюка.

Мое сердце екнуло. Мне предстояло присутствовать при допросе. Даже сейчас, когда мое сердце за три года успело окаменеть, я без содрогания не могу вспомнить об этом допросе.

Когда вводили арестованного, Гусь шепнул мне:

— Смотрите и учитесь.

Он облокотился на стол и уткнул нос в дела. Арестованный переминался. Я затаил дыхание. Перцман шуршал бумажной простыней. Минута напряженного молчания показалась мне вечностью. Вдруг Гусь вскочил и изо всей силы тарарахнул кулаком по столу.

Я похолодел.

— Где доски?! — закричал Гусь раздирающим голосом.

— Не могу знать,— прошептал арестованный и, прижав руки к груди, побожился.

— Где доски, я спрашиваю?!

— Та я ж...

— Где доски? Говори. Я все знаю. Куда ты их спрятал?

— Ей-богу, не знаю. Товарищ начальник, вы дядьку Митро допросите. Они вам усе подтвердят, как я в тот день дома сидел.



— Где доски?!

Арестованный молитвенно сложил руки. Гусь с рычанием бегал вокруг него и потрясал кулаками стол. Я замер. Перцман спокойно клеил. Гусь с добросовестностью испорченного граммофона хрипел:

— Где доски? Говори! Где доски? Говори! Где доски? Говори!!!

Арестованный молитвенно сложил руки.

Гусь сел на свое место и стал перелистывать дело. Он, несомненно, что-то замышлял. Перцман сложил простыню и стал запаковывать ее в конверт, равный по величине детскому гробику.

Гусь судорожным движением откинул волосы и откашлялся. Глаза его наполнились слезами. Он начал проникновенным голосом:

— Эх, Сердюк, Сердюк... Кажется, таким хорошим хозяином были... Да вы садитесь. Да... Нехорошо, нехорошо... Значит, вы утверждаете, что о досках, которые вы укра... то есть взяли, вы якобы понятия не имеете? Да?

— Так точно,— сказал арестованный и сделал глотательное движение,— не могу знать.

— Так, так...— продолжал Гусь,— а я вот имею понятие. Да. А так как вы не хотите мне об этом рассказать, то я вам расскажу. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня у гражданина села Васильевки Гоговича неизвестными злоумышленниками были похищены пять сосновых досок. Кража пустяшная, но дело, конечно, не в количестве и не в качестве украденного, а в принципе. Вы меня понимаете?

— Так точно,— прошептал арестованный,— очень хорошо понимаем. Только я...

— Ну-с,— продолжал Гусь,— как же это произошло? А вот как это произошло: некий крестьянин, ни в чем ранее не замеченный, хороший и семейный хозяин, не отдавая сам себе отчета в том, что он делает, и находясь, я бы сказал, в состоянии аффекта, по фамилии Сердюк, сказал своему приятелю... Этому, ну, как его? Черт возьми, забыл его фамилию...

Гусь щелкнул пальцами и взглянул на свою «жертву».

— Как его фамилия?

— Не могу знать.

Гусь поморщился.

— Ну, все равно, скажем — иксу. Так вот, он сказал иксу: «Послушай, икс, давай пойдем к Гоговичу и возьмем у него пять сосновых досок». «Давай,— сказал икс,— пойдем и возьмем у Гоговича пять сосновых досок». Они пошли. Это было в ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня. Была безлунная ночь. Где-то лаяли собаки (Гусь подмигнул мне глазом), Сердюк и икс перелезли через заборчик и подошли к сараю. Собака Гоговича залаяла. Сердюк и икс сломали замок, вошли в сарай, взяли доски и вынесли таковые из усадьбы вышеуказанного Гоговича. Непосредственно затем они спрятали эти доски. Я знаю, куда они спрятали эти доски. Я даже очень хорошо знаю, куда они спрятали вышеуказанные доски; но я не хочу сейчас об этом говорить. Я хочу, чтобы вы сами нам об этом рассказали. Почему же я хочу, чтобы вы сами нам об этом рассказали? А вот почему. Потому что мне жалко вас. Мне жалко вашей погибшей молодости. Мне жалко вашей бедной покинутой жены. Мне жалко ваших кро-

шечных детей, которые, хватаясь ручонками за... за что попало, будут кричать: «Где наш папа?» Да... Дело не в досках. В конце концов что такое доски? Ерунда. Тем более что в любой момент я могу их взять, так как знаю, где они спрятаны. Но что тогда будет с вами? Вас запрут в тюрьму. Да. Возьмут и запрут в тюрьму. Запрут не за то, что вы взяли доски. Нет. А за то, что не хотите в этом сознаться. Если вы сознаетесь, я вас сейчас же освобожу. В противном случае я принужден буду запереть вас в тюрьму. Скажите только одно слово: сознаюсь — и вы свободны. Ну?

— Сознаюсь,— прошептал арестованный и махнул рукой.

Гусь ожил.

— Вот и великолепно. Я так и знал, что вы сознаетесь.

Гусь торжествующе посмотрел на меня. Арестованный встал и покосился на дверь.

— Мне можно идти?

— Постойте! Где же доски?

— Да вы ж, товарищ начальник, знаете, а мы не можем знать, потому мы такими делами не занимаемся.

— Да ведь вы сказали — «сознаюсь»?

— Не могу знать.

Гусь вскочил и треснул кулаком по столу.

— Какого ж черта ты мне морочил голову столько времени?

Вежливый арестованный молчал.

— А? Как вам нравится этот фрукт? — спросил меня Гусь.

Гусь взял лист бумаги и обмакнул перо в чернила.

— Ну-с, Сердюк, теперь мы приступим к официальной части допроса. Как твоя фамилия?

— Моторный.

Я взглянул на Гуся и ужаснулся. На его лице прыгала ядовитая усмешка. Он прошипел:

— Что? Вы говорите, то есть, вернее, вы выдаете себя за Моторного? Так я вас понимаю?

Арестованный стал на колени.

— Ваше сия... Господин товарищ начальник... Ей-

богу...— Он перекрестился.— Я Моторный. Павло. Хоть всю деревню спросите. Сердюк Васька в одной камере со мной сидит. Что самогонку гонял — это верно. Было такое. Сознаюсь. А воровать — никак нет... Не решаюсь...— Он зарыдал.

Гусь прогулялся вокруг стола и стал насвистывать: «Во Францию два гренадера»... Моего взгляда он избегал.

Когда арестованного увели, Гусь закричал в пространство:

— Дежурный! Приведите Сердюка! Для допроса. Понимаете? — Сер-дю-ка!!!

Я вышел на носках.

1927

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

I

К дому № 6, что по Козихину переулку, с двух противоположных сторон приближаются два совершенно различных по виду человека. А так как дом № 6 является местом действия предлагаемого вниманию читателей рассказа и приближающиеся к дому люди суть герои этого рассказа, автор пользуется случаем для того, чтобы познакомить читателя с вышеозначенными героями, пока они не успели еще столкнуться в подворотне.

Абраша Пурис носит очки и отличается стойкостью характера. Если разбудить Абрашу ночью и спросить его, что такое капитал,— Абраша бодро сядет на постели и ответит на этот ехидный вопрос лучше самого Богданова, популярного автора той самой политэкономии, которую Абраша любит больше всего на свете. Абраша Пурис — светлый идеалист. Он может целый день ничего не есть, и не потому, что у него нет денег, а потому, что принятие пищи — очень хлопотливое дело, в особенности если оно связано с хождением в столовку. Идет Абраша по улице быстро, натыкаясь на прохожих и ежеминутно рискуя попасть под колеса автомобиля. К груди Абраша прижимает столбик толстых книг, придерживая их для крепости подбородком. Под мышкой у Абраши пачка газет, которые рассыпаются. Случается это обыкновенно в самом центре ка-

кой-нибудь большой и шумной площади. Чтобы спасти газеты, Абраша осторожно ставит книги на мостовую и начинает гоняться за газетами, как хлопотливая хозяйка гоняется за курицей для того, чтобы ее зарезать. Наконец Абраша подбирает газеты, спокойно свертывает их в тугую пачку и, зажав ее правой рукой, пытается при помощи свободной левой и подбородка под-



нять книги и установить их на груди. На помощь Абраше приходят нетерпеливый шофер ближайшего автобуса, постовой милиционер и несколько добровольцев из публики. Прижав книги подбородком, Абраша лепечет своим спасителям слова благодарности и со сбившимися на нос очками смело отправляется в дальнейший путь, расталкивая прохожих, спотыкаясь и пугая ломовых лошадей. Абраша очень худ и черен. Его кожанка до такой степени вытерлась и порыжела, что похожа скорее на уцелевшее со времен турецкой войны боевое седло, чем на общеизвестную часть мужского туалета, именуемую курткой.

Жоржик Мухин носит галстук бабочкой, чистит ботинки кремом «Функ», брюки — веничком «Счастье холостяка», а зубы — пастой «Идеал девушки». По воскресеньям Жоржик бреется самобрейкой «Жиллет» и ходит в кинематограф «III Интернационал». Если Жоржика разбудить ночью и спросить его, что такое капитал, Жоржик ответить на этот вопрос не сможет, как не сможет, впрочем, ответить на него и днем, при полном солнечном свете. По улице Жоржик идет не спеша, заложив свободные от книг руки в карманы, гордо подняв розовый с ямочками подбородок, держа в зубах папиросу «Ява» и вежливо уступая дорогу прохожим. Обедает Жоржик каждый день в общедоступной греческой столовой «Приятная польза», выпивает при этом бутылку пива, а вечером ужинает колбасой и булкой. Вот, собственно, и все, что можно сказать о Жоржике Мухине, тем более что пешеходы уже поравнялись с подворотней дома № 6 по Козихину переулку и у автора нет больше времени для описания своих героев.

— Здорово, Абрашка! Сколько книг потерял по дороге?

— Ни одной.

Подбородок Абраши приходит в движение, отчего книги, покорные закону Ньютона, нежно колышутся и собираются совершить беспересадочный полет на землю. Вмешательство Жоржика спасает положение.

Разделив ношу поровну, приятели входят во двор, сворачивают вправо и поднимаются по ободранной, пахнущей кошками лестнице на третий этаж, где на клеенчатой двери прибита картонная дощечка с надписью: «Звонить: Сорокову — 1 раз, Бородулиным — 2 раза, Клейстеру — 3 раза, Собаковой — 4 раза, Пурису и Мухину — 5 раз».

— Собаковой? — подмигивает Жоржик.

— Вали Собаковой.

Жоржик четыре раза прижимает кнопку. Клеенчатая дверь скрипит петлями, слышится мелодичное: «Шляются тут! Ключа не могут заказать!» — и друзья протискиваются в квартиру.

II

— Абраша!

— А?

— Слушай Абраша, я...

Жоржик Мухин останавливается посреди пустой дощатой, похожей на цирковую уборную, комнаты и строго добавляет:

— Я женился, Абраша. Понимаешь? Я сегодня женился, ты понимаешь?

— Да, я понимаю,— говорит Абраша подумав.

— Как? Ты? Понимаешь? Ты?

— Да. Я понимаю. Даже вполне понимаю.

— Но ведь ты всегда был противником брака! — с отчаянием восклицает Жоржик.

— Теперь я больше не противник,— слабо улыбается Абраша,— теперь я больше не противник. Я тоже женился. Сегодня.

Жоржик падает на продавленный волосатый диван и долго дрыгает ногами. Потом смотрит на Абрашу.

— Ты врешь, Абрам, ты не женился.

— Я все-таки женился. Честное комсомольское слово.

— А я, дурак, думал тебя удивить.

— Я тоже думал... удивить.

— А я хотел просить тебя уступить мне комнату. Думал, ты сможешь отлично устроиться у Юшки... Понимаешь, на время.

— Я тоже. Хотел просить... На время... У Юшки.

— Здорово!

Друзья молчат.

— Как же будет? — говорит Жоржик, любовно оглядывая комнату.

— Черт его знает!

Пауза.

— Придется жить вместе.

Вздох.

— Придется.

Вздох.

Выход найден.

Ах, молодые люди, молодые люди! Не женитесь,

молодые люди! Ай, не женитесь! Брак — это, это... трудно даже рассказать, насколько ответственная и серьезная вещь брак, в особенности при жилищном кризисе, в особенности когда ваш месячный бюджет колеблется между семьюдесятью пятью и шестью рублями, когда вся ваша мебель состоит из археологических древностей, к которым в первую очередь следует отнести волосатый клеенчатый диван и садовую скамейку, и когда ночью вам приходится укрываться старым демисезонным пальто.

— Кто она? — спрашивает Жоржик.

— Катя.

— Ну-у-у? Секретарь ячейки?

— Честное комсомоль... А твоя?

— Маруська. Знаешь, блондиночка такая.

— Знаю. Мещанка.

— Ну, что ты! Какая же она мещанка? Просто хозяйственный уклон. Любит принарядиться. Ну, там цветочки разные.

Жоржик не находит слов. Ведь хозяйственный уклон — уклон не опасный и даже наоборот. Жоржик отлично понимает всю ответственность положения. Он постарается перевоспитать, хотя, в общем и целом, он и сам любит домашний уют. Семейный очаг! Семейный очаг! В конце концов семейный очаг не так уж плохо, черт возьми!

Тогда уравновешенный Абраша откашливается, протирает очки и разражается обширной прочувствованной речью о браке, о советском браке и условиях капиталистического окружения.

— В первую голову, дорогие товарищи, что такое брак и какую таковой преследует цель? Брак — это соединение двух различных,— понимаете ли, различных,— полов с целью... Да. С целью чего? Вот кардинальный вопрос, который мы должны поставить во главу угла. С какой же целью? С целью, отвечу я, товарищи, общественной работы и воспитания масс. Да...

Абраша вытирает потный лоб.

Произнести хорошую речь очень трудно. Ах, как трудно, в особенности когда речь касается самого себя,

когда в Москве жилищный кризис, когда бюджет колеблется от... Абраша устал.

Тишина.

Смутный августовский вечер наступает быстрее обыкновенного. Стекла густо синеют. Комната превращается из цирковой уборной в просторный семейный склеп на восемь персон. Садовая скамейка и клеенчатый диван принимают очень чинный и даже официальный вид.

В кухне негромко и нудно ругаются супруги Бородулины: «Я говорил, что перегорит, вот и перегорел!» — «А я что говорила? Что я говорила?» — «Я, матушка, не знаю, что ты говорила, но зато я от-че-тли-во знаю, что ты дура!» — «Сам дурак!»

Звонок. Три... Четыре... Ого!.. Пять!

— Это Маруся,— говорит Жоржик.

— Или Катя,— думает Абраша вслух.

III

Маруся.

— Ах, Жоржик! Ты здесь живешь, Жоржик? Какой длинный коридор! Почему здесь темно? Ах, а это что? Почему здесь садовая скамейка? Здесь же не сад! А это кто? Ах, здесь так темно. А! Товарищ Пурис... Мы, кажется, знакомы... Здравствуйте, товарищ Пурис! О! Вы не платили за электричество? Но почему же?.. Зажгите же что-нибудь. На чем ты спишь, Жоржик? Как! На этой штуке? Как! У вас нет ни одного стула! На чем же вы сидите? Ах, на диване! А стол? У вас нет стола? Как же вы обедаете? Вы не обедаете! А чай? Вы не пьете чаю? Вы не ужинаете? Ах, иногда! На подоконнике?

— Маруся,— говорит Жоржик хрипло,— Пурис тоже женился. Нам придется жить всем вместе. Но ты, Маруська, не бойся. Мы сделаем перегородку. Тут два окна. Мы сделаем перегородку завтра.

— Мы сделаем перегородку завтра,— как эхо повторяет Абраша.

Маруся морщит гладенький, нежный, малообещающий лобик. Она обнимает Жоржика за шею и прижимает тепленькую щеку к бантику-бабочке.

— Какая неожиданность! Почему ты не сказал об этом раньше, Жоржик? Я тогда не ходила бы с тобой в загс сегодня. Ты не зна-ал!.. Бедненький... Ну, перегородка так перегородка! А сегодня? Как же будет сегодня? Ну, ну, переночуем как-нибудь, раз мы уже все равно были в загсе. Я сбегаю к сестре и принесу часть своих вещей. Устроимся. Какая наша половина, Жоржик? Вот эта? И диван? Очень мило. Боже, как много книг! До свидания, товарищ Пурис, вы разрешите, я буду называть вас по имени — Абраша. У вас очки, Абраша... Вы плохо видите? Бедненький!.. Я не прощаюсь. Я приду через полчаса... У вас нет часов? Как же вы узнаете время? Счастливые часов не наблюдают... Значит, я не прощаюсь. До свиданья!

Видение, чудесное видение с ультрахозяйственным уклоном исчезает. Друзья молчат. Вставленная в бутылку свеча своим неровным дрянным светом способствует превращению семейного склепа «Пурис и Мухин» в пустующую камеру для предварительного заключения в провинциальном районе милиции.

Жоржик критически озирает комнату. Что ж! Кубатура большая, но эти дощатые стены, эта паутина в углах, эти окурки — неимоверное количество окурков, какие-то бумажки и пыль! И как это он раньше не замечал? Да еще считал себя аккуратным человеком. А Абраша?

Абраша сидит на скамье в позе человека, проводящего воскресное утро на Тверском бульваре. Он читает газету. Он углублен. В стеклах его очков горят маленькие сусальные свечечки. Статья в «Правде» сегодня необыкновенно интересна. Вчера, впрочем, тоже была очень интересная статья. А завтра будет «Международная неделя». В полноте Абрашиного счастья усомниться трудно. Абраше все равно. Абраша заранее на все согласен, лишь бы у него были книги и, конечно, газеты. Или, может быть, это только так кажется?

Звонок. Пять резких, уверенных звонков. Явление следующее. Те же и Катя. Кожанка. Портфель. Клетчатая кепка. Черные кудряшки. Цыганские глаза. Мужская походка. Великолепная натура для портрета во весь рост. Прекрасный живописный материал для ахровца-бытовика и подписи: «Наша смена».

— К вам сюда можно? (У Кати прелестный низкий голос.) Здравствуй, Абрам! Здорово, Мухин! Что ты читаешь? Ага... Я уже успела прочесть. Ты переговорил с Мухиным? Что? Мухин женился? Ты женился, Мухин? Поздравляю!.. Чепуха!.. Устроимся как-нибудь!.. Смотри, Абрашка!

Катя подсаживается к Абраше на скамейку (совсем свидание на бульваре) и достает из портфеля книжку.

— Это здорово! И где ты достала? Я уже давно хочу ее прочесть. Молодец, Катя!

Абраша доволен, но сначала все-таки нужно окончить статью.

— Я буду подготовляться к докладу.

Катя сбрасывает куртку и кепку, встряхивает волосами и подсаживается к подоконнику.

— Катя! Послушай! — Жоржик задирает ноги на спинку дивана и закуривает.— Тебе нравится наша комната?

Жоржик пускает колечко дыма, протыкает его пальцем и ждет ответа.

— Мгу! Что ты говоришь? Мне? Ну да! Конечно! Отличная комната! А что?

— Ничего. Просто интересно.

«Странная девчонка, эта Катя! — думает Жоржик.— Сейчас не двадцатый год. Можно было бы одеваться и поизящнее».

Тишина. Жоржик мечтает на диване. Катя делает пометки карандашом в толстой клеенчатой тетради. Абраша читает статью.

«Интересная статья,— думает Абраша.— Как она сказала? «Вы плохо видите? Бедненький!» Какое ей дело? Мещанка!.. Вывоз леса за текущий операционный год выражается в довольно высоких цифрах... Она не пошла бы с ним в загс, если бы знала... Скажите

пожалуйста... Экспортно-импортный план выявил ряд... М-м-мещанка!.. Что такое загс? Предрассудок... Уступка мелкой буржуазии и крестьянству».

«Книги, книги,— думает Жоржик.— Одни книги, доклады и заседания... А жить же нужно! Не понимаю... Нужно жить немножко и для себя... Это тоже уклон, конечно, и уклон не менее вредный, чем кухня, пеленки и домашнее корыто... Нужно перевоспитать Маруську. Это трудно, но это моя обязанность... Да, обязанность... Женщина прежде всего должна быть женственной... Кепка, кожанка... Скажите пожалуйста!.. И портфель. А ногти, наверное, грязные. Надо будет посмотреть...»

«Начинается новая жизнь,— думает Катя,— но эта новая жизнь не должна изменять наших привычек... Цель брака, это — общественная работа... Хороший парень Абрашка, только немножко рассеянный».

IV

Фанерная перегородка проложила резкую черту между ослепительным богатством Мухина и открытой нищетой Пуриса.

В «половине» Пурисов так же пусто, как в желудке рабфаковца за три недели до стипендии. Забракованный Марусей непосредственно после первой брачной ночи археологический волосатый диван сейчас — основная мебель жилища молодых Пурисов. Садовая скамья успешно заменяет книжный шкаф, а верный, испытанный друг — облупленный подоконник — служит молодой чете письменным столом и буфетом одновременно. Катина старая корзиночка вмещает весь семейный гардероб, а большие клубные портреты Маркса и Ленина, прикрепленные к фанерной перегородке, смягчают общий вид пурисовской жилплощади.

У Маруси совершенно явный и определенный хозяйственный уклон.

Распевая неверным, детским голоском «Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь», Маруся совершает регулярные рейсы между домом № 6 по

Козихину переулку и Большой Полянкой, где Маруся обитала до своего замужества. Каждый такой рейс обогащает «половину» Мухиных разными полезными вещами, среди которых доминирующее положение занимает пузатый коричневый комод — Марусино приданое. На окнах, как победные флаги, развеваются чистенькие ситцевые занавески — эмблема семейного очага. Швейная машинка украшает начисто вымытый и выскобленный подоконник. Зеркало на комоде отражает портрет Марусиного дедушки-машиниста в молодости, а у дверей, тщательно прикрытые простыней, висят платья молодой хозяйки и «воскресные» штаны молодого хозяина. На полочке, застланной вязаной салфеткой, аккуратненько лежат Жоржины вещи: бритва «Жиллет» в футляре и паста «Идеал девушки». Веничек «Счастье холостяка» тоже не забыт — он висит на гвоздике, готовый каждую минуту обрушиться на пыльные Жоржины брюки.

А кровать? Чудесный пружинный матрац на двух пустых ящиках съел, правда, половину Жоржиной получки, но зато он вполне заменяет кровать и потом он очень красив, в особенности когда покрыт шерстяным синим одеялом и снабжен горкой пухлых белоснежных подушек. В кухне, рядом с примусами Бородулиных, Клейстеров и Собаковой, мелодично шипит новенький, сияющий мухинский примус — свадебный подарок Марусиной сестры, а на примусе в алюминиевой кастрюле (3 р. 60 коп.) кипит первый семейный суп с лапшой.

— Жоржик! Наконец-то ты пришел, Жоржик! Я так соскучилась... Ты устал, бедненький! Дай я поцелую тебя в носик. Ты проголодался, бедненький. У нас сегодня суп с лапшой. Ты любишь? И котлетки. Маленькие, маленькие котлетки...

Маруся гордо произносит это «у нас сегодня суп с лапшой», как будто бы вчера у них был какой-нибудь рассольник или свежие щи, а не честная студенческая колбаса (хлопоты, связанные с переездом).

— Бедненький...

Маруся бегло целует Жоржика в нос и устремляется в кухню. Надоедливый мотив «Сильва, ты меня

не любишь» вьется вокруг Маруси, как упорная пчела вокруг цветка.

Жоржик подходит к зеркалу, поправляет галстучек, приглаживает волосы и жмурится. Сейчас он будет обедать, много и вкусно обедать, а потом ляжет на красивый пружинный матрац, который, право, не хуже настоящей кровати, и вздремнет часок-другой или почитает газетку, а Маруся... Что будет делать Маруся? Она, наверное, будет шить что-нибудь или штопать Жоржику носки.

— Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь,— неожиданно для себя мурлычет Жоржик.

Жизнь прекрасна. Жоржик не сомневается в этом ни одной минуты.

Стол накрыт.

— Я положу тебе побольше лапши. Ты любишь, когда много лапши? Я знаю, ты хотел бы выпить водки, вы все мужчины любите водку, но нет...

Маруся кокетливо грозит пальчиком.

— Водки у нас в доме не будет ни капельки! Правда, Жоржик? Если ты меня любишь, ты не будешь пить водку. А ты меня любишь, Жоржик?

Этот вопрос за истекшие двое суток задается по меньшей мере в шестидесятый раз.

— Вне всякого сомнения,— с готовностью отвечает Жоржик,— факт.

— Понимаешь,— Марусины глаза испуганно круглеют,— мадам Бородулина рассказывала сегодня на кухне, что на Немецком рынке райские яблочки по шести копеек за фунт, а у нас, понимаешь, до сих пор нет варенья. Ни одного фунта варенья на зиму!

В это время приходит Абраша. Слышно, как он выгружает книги и спотыкается о скамью.

Абраша устал. Он слишком много работает. Соединять университет со службой, конечно, трудно, но до такой степени загружаться не следует. Да, черт возьми! Абраша забыл пойти в столовку пообедать... Сходить разве за колбасой? Черт с ним, не стоит! Да! Где обедает Катя, интересно знать? Наверное, в Нарпите.

Сегодня у нее доклад. Бедная Катя, она слишком загружена работой!

Абраша раскрывает органическую химию и начинает зубрить.

— Тебе нравятся котлетки, Жоржик?

У соседей стучат ножами и зубами. Абраша глотает слюну и начинает зубрить вслух.

Отличная вещь — органическая химия.

— Абраша, у тебя есть сегодняшняя газета? Ага! Спасибо!

Жоржик берет газету и сочувственно оглядывает Абрашино жилье.

— А где Катя? Да, я и забыл, она делает доклад. Ну, всего! Заходи, старик, милости просим.

Жоржик растягивается на постели и разворачивает газету. Приятно почитать после обеда что-нибудь серьезное, например, о событиях в Китае. В последнее время Жоржик здорово запустил международную политику. Нужно подогнать.

— Жоржик, сними пиджак и тогда ложись. Нельзя в пиджаке лежать!

— Почему же нельзя? — неуверенно протестует Жоржик.

— Потому что нельзя. Никто не лежит на постели в пиджаке.

Жоржик лениво стаскивает пиджак и снова ложится.

— Ни черта не понимаю... Чжан Цзо-лин... У Пей-фу... Необходимо разобраться.

— Жоржик, ты читаешь?

— А? Да, читаю.

— Интересное?

— М-да!

— Жоржик...

Нежная Марусина ручка щекочет Жоржино ухо. Ее распущенная коса покрывает газетный лист.

— Ты меня любишь, Жоржик?

— Безусловно,— отвечает Жоржик со вздохом.

— Поцелуй меня, миленький...

Взаимоотношения Чжан Цзо-лина и У Пей-фу остаются невыясненными.

V

Поздний вечер. У Мухиных уже отпили чай. Слышно, как Маруся перетирает стаканы и озабоченно высказывает свои соображения по поводу варенья из райских яблочек.

Катя читает газету. Абраша лежит на диване.

— Абраша, ты читал статью Крыленко? — спрашивает Катя.

Абраша тоскливо оживляется. Конечно, он читал. Его этот вопрос чрезвычайно интересует. Но он не согласен с Крыленко. Он скорее присоединяется к мнению Коллонтай. Кроме того, он против загса. Что такое загс? Это уступка мелкобуржуазным элементам и крестьянству. Брак должен быть совершенно свободным. Стороны ни в какой мере не должны зависеть друг от друга.

Катя согласна с Абрашей. Разве можно не согласиться с таким милым парнем, как Абраша? Он отличный парень. Только немного рассеянный.

Их головы склоняются над газетным листом. Катины кудряшки касаются Абрашиной горячей щеки. Газета прочитывается от первой до последней строки. Китайские дела выясняются на все сто процентов.

«Милая, милая Катя,— хочет сказать Абраша,— у тебя очаровательный носик, чуть-чуть раздвоенный на конце. У тебя изумительные черные глаза и длинные шелковые ресницы. У тебя очень маленькое и очень розовое ухо. Его до половины покрывают кудряшки (очень, очень милые кудряшки), и я... я очень хочу поцеловать твое ухо».

Но вместо этого Абраша спрашивает:

— Как прошел доклад?

Оказывается, отлично. Ребята охвачены общественной работой, беспартийные вовлечены, а недостатки выявлены. Работа среди женщин подвигается успешно, если не считать некоторой неувязки, которую, как Катя надеется, можно будет скоро изжить. А работа среди пионеров...

Абраша уже жалеет, что спросил Катю о докладе, но ничего не поделаешь — нужно слушать. И Абраша слушает, любезно улыбаясь и ловя из соседней комнаты обрывки разговора.

— ...Понимаешь,— слышится Марусин голосок,— очень миленькое платьице... такое воздушное... Ну да... Отсюда начинаются сборки... Понимаешь, сборки... О! Из крепдешина... И, представь себе, совсем не дорого... А ты знаешь, у мадам Бородулиной на левой щеке огромная бородавка. Может быть, потому ее фамилия — Бородулина... Да, верно, ты знаешь... А когда у них портится примус — это прямо умора, до того смешно... Клейстер сегодня уехал в отпуск, а Клейстерша, понимаешь, закатила ему утром перед самым отъездом та-а-акой скандал...

— Понимаешь,— утверждает Катин низкий голос,— так я им все и выложила... Работа среди женщин подвигается успешно, если не считать... понимаешь, если не считать некоторой неувязки... Тут, понимаешь, нужно быть совершенно откровенной... Так я и сказала: если не считать некоторой неувязки, которую... понимаешь... изжить... но объективно...

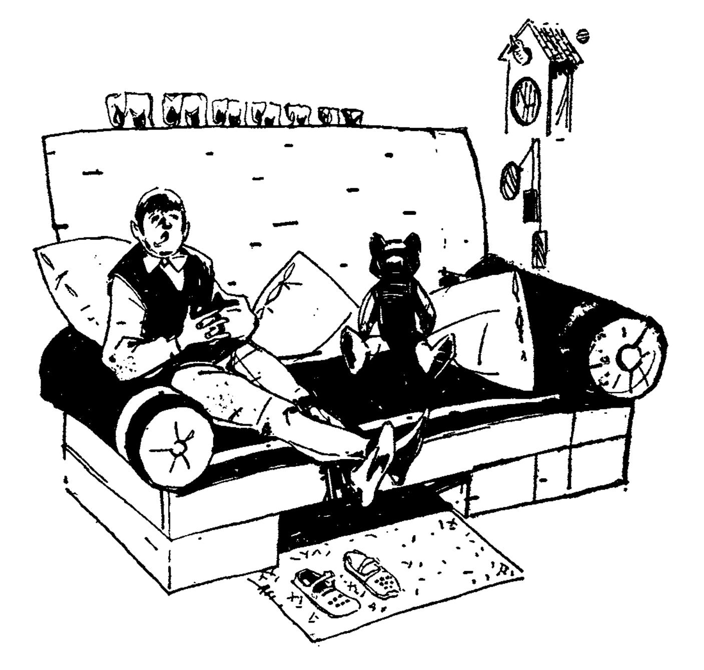
Абраша закрывает глаза и сейчас же представляет себе кучу огромных райских яблочек, чудесных яблочек из мяса с жирной вкусной подливкой.

— ...Охватить... вовлечь... на сто процентов... директивы... оглашу цифры... быть голословной,— ловит правое Абрашино ухо.

— ...пока они еще по шести копеек фунт... Мадам Бородулина говорила... Ты только подумай!.. Клейстерша хочет подавать в суд...— ловит левое ухо.

Абраша делает глотательное движение.

«Книги, книги,— думает Абраша,— одни книги, доклады и заседания... Это уклон, и уклон не менее опасный, чем кухня, пеленки и домашнее корыто... Нужно жить немножко и для себя... Райские яблочки!.. Какой миленький голосок у этой Маруси... Как она сказала?.. «Вы плохо видите? Бедненький!..» Славная девчонка!.. Бородулина... Совершенно верно. Теперь я припоминаю... У нее большая и очень смешная бородавка. На левой щеке».



Жоржик уныло смотрит на портрет дедушки-машиниста. Портрет слегка засижен мухами, и его стекло отражает электрическую лампочку, волнисто сияющую на самой груди почтенного машиниста. Очевидно, в то время, когда машинист жил на свете, электричества еще не было. Да... Конечно, не было...

— Сборочки, сборочки... вставные челюсти... нет, ты только подумай! — бубнит Маруся.

— Это не марксистский подход... Нужно увязать... вовлечь... охватить,— ураганом несется из-за перегородки.

Сытый Жоржик закрывает глаза и сейчас же представляет себе большое пестрое комсомольское собрание. И Катю-докладчика. Кудряшки рассыпались по ее вспотевшему лбу, рука со свистом рубит воздух. Собрание аплодирует.

«Черт возьми,— думает Жоржик,— я пропустил уже два общих собрания... Как она сказала?.. Да...

«Ты проголодался, бедненький!..» Что за черт?.. Какое мне дело до вставной челюсти Собаковой... Мещанка... Ей нужен загс... Скажите пожалуйста!.. Что такое загс в конце концов? Предрассудок!.. Уступка мелкой буржуазии и крестьянству... Славная девчонка эта Катя!»

VI

Жоржик удручен. Он не хочет райских яблочек, он хочет исторического материализма. Ему не нужен дедушка-машинист, ему нужен Карл Маркс. Ему не интересны интимные делишки мадам Клейстер, но зато его очень интересуют взаимоотношения Чжан Цзо-лина и У Пей-фу.

— Катя!

— А, это ты, Жоржик!.. Наконец-то соизволил прийти на собрание!

— Сегодня твой доклад?

— Да. О международном положении.

— Отлично!

«Как хорошо говорит Катя. Молодец девочка! Это вам не крепдешин!..»

Катя раскраснелась. Кудряшки рассыпались по ее вспотевшему лбу. Рука со свистом рубит воздух. Очень, очень интересно. И вполне понятно. Собрание бурно аплодирует.

— Ты куда, Катя? В столовку?.. Я с тобой!

— Валяй!

Отличные щи. Отличные котлеты. И недорого. И Катя совершенно изумительная девчонка. И как это он раньше не заметил? Во время обеда можно читать газету — никто не отнимет. Чудесно! Что такое брак в конце концов? Соединение двух различных полов с целью... Да, с целью обоюдной общественной работы и воспитания масс. Это ясно, как китайские дела.

Абраша выгружает книги. Спотыкается о скамью. Он очень устал. Да. Так и есть! Он позабыл пообедать. Проклятая рассеянность!.. Гм... Кати нет...

«Семейная жизнь,— думает Абраша,— хорошенькая семейная жизнь, когда видишь жену два раза в неделю. Когда по-прежнему укрываешься демисезонным пальто и ешь колбасу или сыр с собственной слезой. Когда после лекции по историческому материализму слушаешь снова исторический материализм и после доклада о международном положении слушаешь снова доклад о международном положении. Семейное счастье! Это уже не семейное счастье, а семейное горе!..»

Абраша удручен. Он не хочет исторического материализма, он хочет райские яблочки. Ему не интересно в тысячный раз выслушивать рапорт о надоевших ему до тошноты китайских делах. Ему интересно узнать кое-какие интимные подробности из жизни супружеской четы Бородулиных.

— Абраша! Вы опять не обедали сегодня? Не отпирайтесь, я вижу это по вашим глазам. Вы голодны? Бедненький! Что же вы молчите? Идемте, Абраша, я накормлю вас супом, превосходным супом с лапшой. И котлетками, маленькими и очень вкусными котлетками. Идемте же! Бедненький! Посидите же здесь немного. Я сейчас принесу и суп и котлетки. Хорошо?

Маруся повязывает поверх розовенького платьица передник и устремляется в кухню. «Сильва, ты меня не любишь,— фальшиво и весело проносится по коридору.— Сильва, ты меня забудешь»,— умирает в кухне.

«Какая она миленькая,— думает Абраша,— чистенькая, аккуратненькая и... очень хорошенькая... очень!.. И как это я раньше не заметил?»

— Вы знаете, Абраша (Марусины глаза над дымящейся тарелкой супа испуганно круглеют), Бородулина рассказала, что в Козихином переулке вчера были налетчики... Понимаете, пришли, хотели кого-то ограбить, но не ограбили и ушли...

— Что вы го-во-ри-те? — восторгается Абраша, набрасываясь на суп.— Так и ушли?.. Бедненькие!..

— Что вы, Абраша! Какие же они бедненькие? Они же налетчики! — испуганно говорит Маруся.

— Видите ли,— бормочет Абраша, давясь супом,— может быть, они были голодные...

— Налетчики? — шепчет Маруся.

Отличный суп! Изумительная лапша! Решительно, хозяйственный уклон не такая уж опасная вещь! И даже наоборот! В общем и целом Абраша ничего не имеет против семейного уюта. В конце концов семейный очаг не так уж плох, черт возьми!

VII

Развязка наступает быстро.

— Жоржик! Наконец-то ты пришел, Жоржик!

— Да, я пришел. Это так же верно, как и то, что капитал суть средства и орудия производства, которые...

— Ты устал, бедненький...

— Увы, как это ни грустно, но я принужден констатировать, что я нисколько не устал. Даже наоборот. Я чувствую себя бодрым и сильным, как никогда!

— Ты проголодался, бедненький. У нас сегодня суп с лапшой. Ты любишь суп с лапшой?

— Я ненавижу суп с лапшой! Я презираю суп с лапшой! После зрелого обсуждения я пришел к безотрадному выводу, что суп с лапшой является гнилой отрыжкой старого быта...

— И котле-э-етки. Маленькие котле...

— Плевать я хотел на котлетки, как равно я хотел плевать на варенье из райских яблочек. И, кроме того, я уже успел пообедать в столовке Нарпита.

— Что с тобой, Жоржик? Ты чем-нибудь недоволен?

— Да. Я слегка недоволен вот этими занавесками и этим пузатым, глупым комодом. Я недоволен также швейной машинкой, которая мешает мне заниматься самообразованием, и конусообразной грудой этих купеческих подушек, на которые нельзя лечь в пиджаке. Я люблю читать за обедом и целоваться никак не чаще пятнадцати раз в день! Я терпеть не могу старого дурака Бородулина, а также эту идиотку Собакову с ее вставной челюстью и другими мелкими физическими недостатками.

Маруся плачет.

Жоржик срывает со своей шеи красивый новый галстук-бабочку, швыряет на пол и тщательно растаптывает ногами. Потом стаскивает розовенькие, в цветочках занавески — эмблему семейного очага — и рвет их на мелкие кусочки.

— Так будет со всеми,— говорит Жоржик хмуро,— кто покусится на мое «я». Дура!!!

— Ты меня не любишь! — рыдает Маруся.

— Безусловно,— говорит Жоржик,— факт!

— Ба! Катя! Давненько, давненько мы не виделись...

— Разве? — удивляется Катя.

— Да уж денька два!

Абраша поправляет очки и становится в позу Цицерона, собирающегося обрушиться на вероломного Катилину.

— Совершенно верно,— вспоминает Катя,— эту ночь я переспала у Нади. Засиделась в клубе. Далеко было возвращаться. А что? Ты недоволен?

— Нет, зачем же! Я в восторге! Неужели ты не замечаешь этого по моим лихорадочно блестящим глазам и по цвету лица? Я в диком восторге, и единственное, что меня печалит, это то, что ты не осталась у Нади еще на недельку... или на месяц...

— Что с тобой, Абрам? Ты нездоров?

— Наоборот! Я чувствую себя превосходно! Эта паутина, эта пыль и эта садовая скамейка влияют на меня самым благотворным образом, и твои гениальные по своей новизне мысли, касающиеся основных тезисов по пионерскому движению. Кроме того, периодическая голодовка, по утверждению одного немецкого профессора, ведет к укреплению организма и к резкому увеличению кровяных шариков.

— Ты с ума сошел!

— Увы, я еще не сошел с ума, как это ни странно, не правда ли? Но я не далек от этого безрассудного поступка, и если ты, дорогая Катя, будешь по-прежнему вести среди меня работу, предназначенную для

женщин, и читать мне доклады, предназначенные для пионеров, мне придется расстаться с моим бедным подержанным умом...

— Ты меня не любишь! — говорит Катя.

— Да! На сто процентов! И изжить это невозможно. Даже при самом искреннем желании увязать и охватить.

Правдивый рассказ о Пурисе, Мухине и их молодых женах, собственно говоря, окончен. Но рассказ без развязки — это лошадь без головы. Приделать же развязку, когда она сама собой напрашивается, не так уж трудно. Поэтому автор, которому, говоря по совести, уже надоел этот слишком растянутый рассказ, приступает к эпилогу.

Обыкновенно средний добросовестный писатель восьмидесятых годов начинал эпилог так: «Прошел год... Ясный, погожий день клонился к вечеру...»

Мы же, принимая во внимание режим экономии, предложим вниманию читателей самый короткий эпилог в мире.

ЭПИЛОГ

Абраша Пурис женился на Марусе, а Жоржик Мухин женился на Кате. Они счастливы. Пока.

1927

ПРОПАЩИЙ ЧЕЛОВЕК

— ...Трудно приходится в борьбе, это что и говорить — очень трудно. Уж такой я человек — не могу молчать, да и только. Чуть увижу какой непорядок — пропал, погиб! Не могу молчать!.. Знаю, что не мое дело вмешиваться, а не могу — сознательность не позволяет. Оттого вся моя жизнь теперь не жизнь, а одно мучительное сострадание...

Он поник головой и покрутил грязный патлатый ус. Мы деликатно молчали. Редакция опустела, и только где-то за семью фанерными перегородками одиноко щелкала пишущая машинка, надрываясь под тяжестью запоздавшей переводчицы. Он попросил папиросу, суетливо затянулся и махнул рукой.

— Сейчас живу на вокзале, потому с последним билетом опять ничего не вышло. Я, видите ли, уже пять раз приобретал билеты — на родину ехать, да все никак не удается. В последний раз даже на поезд сел. Ну, думаю, теперь доеду. И даже на сердце полегчало. Доехал я до станции Малый Ярославец. Дай, думаю, за кипяточком сбегаю. Слез это я, честь честью, и побежал по путям к станции. Тут, вижу, идет человек в железнодорожной форме и несет мешок. Что, думаю, несет человек? Он от меня — я за ним... Даже не заметил я, как поезд ушел,— такое любопытство меня взяло... Пришли таким порядком в ближайшую деревню. Он в избу — я за ним. Что, спрашиваю,



в мешке несешь, подозрительный гражданин? Оказалось — кот. Так я в Москву и пер по шпалам... Не могу переносить, когда непорядок какой или преступление. От этого все мои сострадания на жизненном пути совершаются... Эх!.. Погибший я человек!.. На двенадцати местах служил... Везде ко мне придирались, потому правда-матка, она глаза колет, так-то...

— А скажите,— попросили мы робко,— как это у вас вышло, то есть как это к вам придирались и как вы ушли со службы?..

— Хорошо,— сказал он с готовностью,— я расскажу вам, как я погиб.

Он слезливо заморгал седовато-рыжими ресницами и начал...

Рассказ счетовода Брыкина о том, как он погиб

Служил я счетоводом у себя на родине, в провинции, в правлении треста «Кость и кожа». Хорошо. Семью держал — жена и дочка... Разряд имел, конечно, по сетке. Хорошо. И тут меня осенило. А оттуда пошла моя жизнь вверх тормашками. Погиб я от зава нашего, по фамилии был Канеръюмкер, Александр

Исакович Канеръюмкер. Хорошо. И узнал я, что Александр Исакович сожительствует с посторонней женщиной, не зарегистрировавшись с нею по законам нашей социалистической республики в загсе. Ходит к ней на ночь. Хорошо. Думал я, думал, и тут меня осенило. И написал я мой первый стих, и от него все пошло. Хороший стих был. До сих пор наизусть помню. Такой был стих:

В нашем тресте «Кость и кожа»
Есть заведующий тоже.
Звать его Александр Исакич,
И любит он к служащим придираться.
А сам про себя не замечает
То, что каждый про него замечает,
Нахально спит он, как с женою,
С посторонней женщиной одною...

Там дальше все про него и выложил, как есть. А кончался стих так:

Не пора ли поставить точку,
А то скоро Канеръюмкер будет иметь незаконную дочку.
Нужно прекратить безобразье
И покончить с развратом сразу!

И отнес в редакцию газеты «Трудящийся пролетарий». А подписал псевдонимом — «Красный очевидец». Хорошо. Не поместили. Оказалось, все они там одна шайка с нашим Канеръюмкером. Хорошо. И больно мне сделалось. И сразу я почувствовал, что не могу молчать, когда вокруг безобразие. А тут еще сослуживцы покою не дают. Дразнятся Пушкиным. «Пушкин, говорят, Пушкин, почему ведомость не готова?» Или: «Иди, Пушкин, в местком на собрание». Хорошо. Не стало мне покою от обиды, и решил я вывести зава нашего на свежую воду. Проходил я как-то поздно вечером мимо службы — смотрю, окошко у зава светится. А кабинет у него в первом этаже. Приник я к окну и вижу — сидит наш Александр Исакович, обложился делами для виду, а сам водку трескает. Нальет из графинчика полный стакан и хлопнет сразу, даже без закуски. И стало мне грустно. Вот, думаю, до чего дошло моральное разложение. Никому ничего не ска-

зал и решил хорошенько проверить. Прихожу на другой день. Сидит и хлещет. Прихожу на третий — то же самое. Надерется это до положения риз и едет на ночь к сожительнице. Такое безобразие! Пошел я в РКИ, доложил все честь честью. Так, мол, и так, при исполнении служебных обязанностей... Не поверили. Однако против факта не очень постоишь. Составили междуведомственную комиссию по всем правилам с представителем от милиции, дождались десяти часов и двинулись... Хорошо. Смотрим через окно — так и есть! Сидит Канеръюмкер, как будто бы работает, а сам нет, нет и нальет! Нет, нет и выпьет. Тут я не мог больше выдержать. «Вот! — кричу я.— Вот где предаются интересы трудящихся и передового крестьянства! Вяжите его, социал-предателя!» Тут представитель милиции первый влез в окно, а мы все вокруг — через двери, да так его, раба божия, и захлопали со стаканом в руке... Вот оно что... Да-а-а-а. А ведь оказалось, что не водка была в графинчике, а вода. Ну, кто бы мог подумать!.. Так вот... Уволили меня со службы. С тех пор пошло... И стал я пропащим человеком. Поехал в Москву, до Калинина доходил, да так тут и застрял... Так-то.

Счетовод Брыкин замолчал и понурился. Нам стало неловко. Пора было уходить. В редакции давным-давно окончились занятия и курьерша с ключами уже давно живым укором стояла в дверях. Мы стали собираться.

— Как же будет с заметкой? — хмуро спросил Брыкин.

— А заметочка ваша не пойдет! — с деланным весельем воскликнул секретарь.

— Почему же она не пойдет? — язвительно спросил Брыкин.

— Да помилуйте! Вы пишете, что начальник вокзала, на котором вы ночуете, купил своей жене новое пальто...

— Верно! Плюшевое пальто! Восемьдесят рублей выложил — тютелька в тютельку...

— Но какое нам с вами до этого дело?

— Значит, не пойдет?

— Не пойдет... к сожалению.

— Гм... Тогда дайте справку.

— Какую справку?

— Да вот, что не пойдет.

— Зачем же?

— Ладно. Скоро узнаете зачем. Тогда другое запоете. А то — не пойдет, не пойдет. Присосались тут к аппарату, бюрократы... Да уж ладно... Брыкин все знает. От него не вывернешься...

Поспешно уходя из редакции, мы слышали, как Брыкин говорил курьерше:

— ...Уж такой я человек... Не могу молчать... Люблю правду-мат...

Где он теперь, неугомонный счетовод Брыкин? Где он, этот светлый идеалист на трудном, тернистом пути общественного деятеля? Какие пороги он обивает? В какие двери ломится? Уехал ли он уже из столицы или идет обратно по шпалам со станции «Нара-Фоминское»?.. Или, может быть, он сидит в приемной Калинина, дожидаясь, когда представится возможность прочесть всесоюзному старосте свои последние стихи?..

Кто знает!.. Кто знает!..

1927

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

— Молчать! — говаривал директор Козолуповского городского банка Уродоналов.— Молчать и не разговаривать! Кто здесь начальник? — Уродоналов здесь начальник! Кто здесь царь? — Уродоналов царь! Кто бог? — Уродоналов. Ясно.

Служащие банка ходили на цыпочках. Клиенты вообще старались не ходить.

— Что такое клиент? — Червь! Что такое бумажка? — Гранит! Какой гранит должен перегрызть клиент, чтобы получить ссуду? — Бумажный гранит.

Уродоналов заливался звонким детским смехом.

По спинам служащих пробегали противные холодные мурашки...

В дверь просунулось испуганное лицо курьера.

— Так что разрешите доложить — клиент просится. Шестой месяц, извините за выражение, приходит...

— А разве сегодня приемный день? — строго спросил Уродоналов.

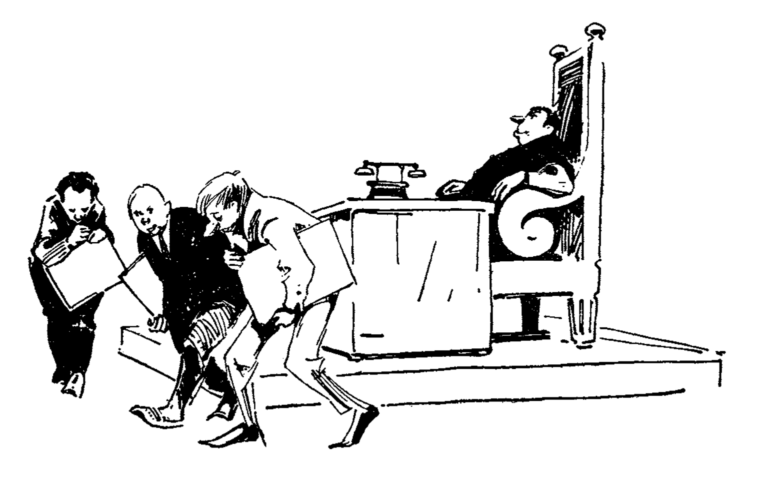
— Так точно. Приемный-с,— прошептал курьер.

— Ну, значит, часы не приемные.

— И часы, простите, приемные. Часы эти от трех часов пятидесяти шести минут до четырех часов пяти минут, а сейчас ровно четыре.

— А удостоверение от домкома у него есть?

— Как же-с.



— А свидетельство о благонадежности?

— Не извольте беспокоиться. Целых четыре.

— А свидетельства об оспопрививании небось нету?

— Есть. И из аптеки есть. Даже из пробирной палатки бумажку приволок.

— А к секретарю обращался?

— Обращался. Секретарь говорит, без вас невозможно.

— Наверное, чего-нибудь да нету!

— Все бумажки есть. На извозчике привез.

— Ну пусть войдет.

Вошел человек.

— Я председатель жилищного кооператива,— сказал вошедший,— я хочу получить ссуду на предмет строительства.

— Может быть, вы еще чего-нибудь хотите? — нагло спросил Уродоналов.

— Больше ничего не хочу,— простодушно ответил человек.

— А я хочу! — загремел Уродоналов.— Я хочу еще много больших бумаг с подписями, приложением печати и с установленным количеством гербовых марок.

— У меня есть много больших бумаг,— простонал человек,— с приложением печати и с марками.

— А выписка из загса у вас есть? О женитьбе?
— Я холост.
— Тогда справку из загса о том, что вы не состоите в браке. Небось нету?
— Нету.
— Ну вот, хе-хе-хе... Принесите справку.
— Но я уже не успею сегодня.
— Не беда. Придете месяца этак через полтора или лучше даже в начале будущего квартала... или в конце...
— Это волокита,— сказал человек фальцетом,— зачем эти формальности?.. Я протесту...
— Молчать! — крикнул Уродоналов, багровея.— Без доклада не входить! Не курить! Не плевать! Не сорить! Рукопожатия отменены! Обратитесь к секретарю!..
Он был страшен. Он был велик.

Уродоналов дочитал газету, в которой говорилось о необходимости борьбы с волокитой и бюрократизмом, и съежился. Потом немного подумал и улыбнулся широкой детской улыбкой.
— О люди, люди! — промолвил он.— Знаете ли вы, что такое че-ло-век? Нет, люди, не знаете вы, что такое человек. Человек — это сосуд, наполненный общественно-полезным эликсиром. Человека нужно любить и уважать! К человеку нужно относиться с доверием.
По щеке Уродоналова скользнула большая желтая слеза.
В дверь просунулось испуганное лицо курьера.
— Так что разрешите доложи...
— Милый!..— замахал руками Уродоналов.— Дорогой и многоуважаемый товарищ курьер, отныне докладов больше не существует. Идите и крикните на весь мир: «Люди! Уродоналов принимает без доклада!»
— Там вас спра...
— Бегу! Лечу!
Уродоналов вбежал в приемную и обнял посетителя.

— Голубчик! Милый! Входите! Входите! Гостем будете! Чаю? Пива? Шампанского?

— Шампанского,— сказал посетитель.— Я имею у вас получить ссуду. Мое торговое дело «Коопарфюмерия» нуждается в маленьком заемчике!

— С восторгом! — воскликнул Уродоналов.— Именно заемчик. Не извольте беспокоиться. В два счета.

— А я вам выдам векселек!

— Ну, что вы, милый? Какой там век... тьфу. Мне даже противно выговорить это гнусное бюрократическое слово. Что такое человек? Это — сосуд! А вы говорите!.. Эх!..

Глаза Уродоналова засверкали высоким огнем вдохновения.

— Зачем эти бумаги, затянувшие бюрократической паутиной живых людей и живое дело? Зачем? Зачем эти бездушные деревянные штуки с резинкой, которых злые люди называют печатями? Зачем?.. О!.. Эта итальянская бухгалтерия — порождение фашизма. А рес-контро? Да это просто — контра! Ясно! А вы говорите...

— Десять тысяч! — сказал посетитель.

— Получите.

— Так векселя не надо?

— Упаси бог. К чему эта волокита? К чему эти формальности?

Посетитель положил большую пачку молочных червонцев в боковой карман и, весело насвистывая, вышел...

А Уродоналов сел за письменный стол и стал сочинять план реорганизации банковского дела.

Когда Уродоналова вели в суд, он говорил конвоирам:

— Милые! Человек — это сосуд, наполненный эликсиром. Зачем вы ведете меня посредине улицы? Зачем в ваших руках обнаженные шашки? Зачем эти формальности? К чему эта волокита?

1927

НАХАЛ

Научное

Нахал, в отличие от дурака и негодяя, которым были посвящены солидные труды,— тип малоисследованный. Многие чудаки до сих пор еще смешивают нахала с обыкновенным сереньким хулиганом. Это глубокое заблуждение. Хулиган бузит просто так — благодаря ложным взглядам на жизнь, под влиянием среды, под действием винных паров. Хулиган бузит без причины и извлекает из своих поступков только одни неприятности.

Нахал бузит очень редко и только тогда, когда из бузы можно извлечь материальные выгоды. Нахал или ловкач (lovcatch) — холодный, злой, расчетливый человек. Он слегка плешив, всегда тщательно выбрит, носит брюки в полоску и чистит их по утрам метелочкой. Глаза у нахала светло-голубые и очень спокойные. Среди родственного ему общества малоповоротливых и тупых мещан — это щеголь и аристократ духа.

В гастрономическом магазине Моссельпрома нахал платит деньги вне очереди.

— Позвольте, позвольте,— говорит он, расталкивая публику,— мне не платить... Мне тут доплатить только... Двугривенный. Посторонитесь, бабушка! Один момент!.. Уно моменто, хе-хе...

Когда публика обрушивается на нахала целым водопадом проклятий и ураганом жестов, в его голубых глазах появляются искорки смеха и на щеках образовываются ямочки. Он смотрит на беснующихся людей с веселым удивлением и даже оборачивается назад: кого, мол, это ругают?

Это он, нахал, стучит палкой в оцинкованное стужей окно послеслужебного трамвая, желая ускорить движение выходящих на остановке пассажиров. Это он, приметив еще из дверей вагона уютное и удобное местечко у выхода, спешит поскорее занять его, садится, вынимает тугое портмоне и, полностью воспринимая радость жизни, говорит никнущему в проходе инвалиду:

— Передайте, любезный, деньги кондуктору. На полторы станции. Да сдачи не позабудьте.

— Да ведь у меня рук нет, милый,— скромно отвечает инвалид.

— А ты зубами. Я, брат, в цирке одного такого видел. Тоже из ваших. Без рук, стервец, обходится. Карты тасует... Ты пойди, полупочтенный, посмотри.

— Боже, какой нахал! — с молитвенным ужасом шепчет сидящая рядом старушка.

— Ну уж и нахал! Это вы, мамаша, слишком. Просто жертва империалистической бойни.

Если спросить нахала, сколько он заплатил за билет второго ряда в академическом театре, нахал начнет неистово хохотать и, плача от смеха, скажет, что ни разу в жизни не осквернял своего достоинства покупкою театрального билета.

Но вот нахалу нужно приобрести костюм. Как же нахал поступает?

Он идет в большой государственный магазин и, покрикивая на приказчиков, начинает рыться в грудах панталон и пиджаков.

— Черт бы вас разодрал сверху донизу! — говорит нахал смущенному приказчику.— Да разве ж это ка-

чество продукции? Это извозчичья кляча, а не пиджак. А это что? Я вас спрашиваю, что это та-ко-е?

— Брюки-с,— лепечет приказчик.

— Что? Как вы говорите? Я не расслышал.

— Брю...

— Ах, брюки! Так вас понимать? Ага! Так вы осмеливаетесь утверждать, что вот эти отбросы улицы, эти разрозненные кусочки навоза, эти инфузории, эта эманация хлопчатой бумаги — и есть брюки? Оч-ч-чень хорошо!

— Молчать! — кричит нахал подошедшему на шум заведующему.— Вы у меня попрыгаете! Я вас... Сколько стоит этот загрязненный, бывший в употреблении мешок, который вы называете костюмом? Что? Семьдесят пять? Без торгу? Что-о-о? Ну, ладно. Заверните. Деньги запишите за мной.



— Мы торгуем только за наличные,— хрипит заведующий, вытирая демисезонным пальто обильный пот.

— Ах, Коля, Коля,— говорит нахал с грустью.— Нехорошо это, Коля. Нехорошо, милый. Не ожидал я от тебя такой обывательской идеологии. За наличные, за наличные... Да что ты, частник, прости господи! Ах, Коля...

— Да ведь Иван я, а не Коля,— стонет заведующий.

— Тогда тем более,— тихо говорит нахал.— Ты, Ванька, брось бузить. Сам знаешь, что я не люблю этих фиглей-миглей. А туда же, кобенишься. Запиши, тебе говорят, Ванюша. В среду отдам, ей-богу.

— Шутите вы, гражданин,— шепчет заведующий,— не отдадите небось.

— Это я-то? Не отдам? Я? Дурачок же ты, Ванятка. Ну да ладно уж. Спасибо. Пойду я. До свидания, Николаша. В пятницу отдам. Кланяйся, Мишук, жене и детям. Адье.

Размахивая покупкой и расталкивая прохожих, нахал спешит к знакомым обедать.

Мы видели нахала в частной жизни.
Что же делает нахал на службе?
Да ничего не делает.
Таков нахал.

1927

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Старый Дыркин был очень жилист и очень глуп, что, однако, не мешало ему служить младшим делопроизводителем в учреждении.

Глаза у старого Дыркина были рыбьи — мышиного цвета с голубизной. Уши от старости поросли мохом и двигались даже тогда, когда хозяин не выражал ни малейшего желания ими двигать. Нос был зловредный, с зеленоватым отливом. А лицо в общем и целом болезненно напоминало помятое и порыжевшее складное портмоне образца 1903 года.

Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.

— Что же это, господа товарищи! Этак и жить на свете больше не приходится, наложили на меня шесть гривен за сажень полезной площади. Я человек трудящий и никому не позволю. Раз ставка по разряду, ты, господин хороший, и бери по разряду, а то что же это получается!..

— Не волнуйтесь, гражданин Дыркин,— сказал секретарь,— мы сейчас все выясним. Так и есть. С вас полагается сорок копеек. Ошибка.

— Тоже... ошибка... Засели молокососы взрослых людей обирать — да еще путают. Небось старый хозяин не спутал бы.

Дыркин раздраженно плюнул и пошел на службу.

— Тоже учреждение! — ворчал Дыркин, записывая

входящие номера.— Собакам на смех... Не то что при прежнем начальнике. Орел был!.. А теперь...

Дыркин пописал с полчасика и понюхал воздух.

— Опять накурено? — проскрипел он.— И вентилятор не работает. На что смотрит охрана труда?

Дыркин с негодованием бросил ручку и пошел в местком.

— Что же это, господа товарищи, почему такое, чтобы вентилятор не действовал во время исполнения обязанностей... Это даже довольно странно. Охрана труда, ау?!

— Простите, товарищ Дыркин, забыли починить. Сейчас исправим.

Через полчаса вентилятор приветливо зашумел.

— Тоже... Защитники выискались,— ворчал Дыркин,— вентилятора и того с толком поставить не могут...

Ровно в четыре часа Дыркин запер входящий журнал в шкаф и пошел в амбулаторию лечить зубы.

«Эх,— думал Дыркин,— все это не то. Вот при старом режиме...»

— Вы, извините, не имеете ни малейшего права задерживать в очереди трудящего человека! — визжал Дыркин в амбулатории.

— Не волнуйтесь, гражданин,— увещевала Дыркина сестра,— через час врач вас примет...

— Тоже... через час... И куда это только страхкасса смотрит,— горестно вздохнул Дыркин,— вот при старом режиме... Эх, да что говорить...

Дыркин с кошачьей ловкостью вскочил на подножку отходящего трамвая. Раздался свисток. Через минуту Дыркин, окруженный толпою зевак, стоял перед милиционером.

— Православные,— злобно кричал Дыркин,— убивают! Караул!..

— Что ж это вы, папаша, несоответственно выражаетесь,— укоризненно говорил милиционер, искренне сожалея, что милицейские правила ставят его в слишком узкие рамки «предупредительного отношения к гражданам»,— это вы, папаша, зря. Платите, папаша, полтинник за неисполнение уличного движения, а вовсе вас никто не убивает.

— Православные,— захныкал Дыркин,— грабят бедного старичка среди бела дня! Спаси...

— Да ладно уж,— со вздохом сказал милиционер,— уходите, вредный старичок, исполняйте в другой раз правила...

— Тоже... сполняйте,— прошептал Дыркин побелевшими губами,— вот при старом режиме-то... Ах! И квартальный же был!.. Не квартальный — ангел был!.. Ах, царица небесная... Вспомнишь — слеза прошибет!..

Остаток дня старый Дыркин провел в воспоминаниях о близком его старому недоброкачественному сердцу — старом режиме. Заснул Дыркин, обливаясь слезами умиления...

Здесь автор должен заметить, что юбилейный фельетон (а настоящий фельетон — юбилейный) писать очень и очень трудно. Все сюжетные приемы уже использованы. Автор должен сознаться, что сперва он хотел посадить старого Дыркина на уэльсовскую «машину времени» и отвезти глупого старика в «старый режим», но потом вспомнил, что об этом уже писал некий современный фельетонист в один из предыдущих юбилеев. Автор долго мучился. Ему не хотелось так нагло обкрадывать собрата по перу. А посему автор решил воспользоваться очень простым приемом, который преемственно выкрадывается работниками печати друг у друга еще со времен древних греков.

Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.

— Что же это, господа товарищи,— начал Дыркин привычную речь и осекся.

На месте председателя сидел бывший хозяин, генерал Доппель-Кюммель, и курил сигару.

— Батюшки! Отец родной! — воскликнул Дыркин.— Неужто старый режим наступил? Ах ты господи!.. С праздничком вас, ваше высокопревосходительство.

— Молчать! — рявкнул генерал. — Вот я тебя, сукина сына!.. За десять лет с тебя за квартиру, стервь болотная, причитается. Восемь тысяч как одна копейка. Я т-тебя, рассукина рассына...

— Ребеночка крестили у меня, Маркела, — рискнул Дыркин, — крестные отцы-с...

— А вот я тебя к крестной матери сейчас!..

В учреждении действительный статский советник Бородавка, который в течение десяти лет революции с честью выполнял обязанности швейцара, увидев Дыркина, сообщил:

— Дыркин, Модест Ипатьевич, увольняется за выслугой лет. Уходи, старик, не люблю... Не благодари... Швейцар! Выведи его.

В амбулатории врач, поковыряв в зубах у Дыркина крючком, сказал:

— Можно пломбировать. Можно рвать. Приходите завтра... Мы еще гм, гм, посмотрим... Может, и нельзя будет рвать... А может быть, и можно...



— Так точно-с,— прошептал Дыркин,— премного благодарен. Прощевайте, господин доктор.

— А кто же мне заплатит деньги? — прищурился доктор.

— Я же по страхка...

Оставив весь наличный капитал в амбулатории, Дыркин, шатаясь от незаслуженных обид, побрел по улице.

— Э-е-е-э-п-п-п!!!

И Дыркин, опрокинутый лихачом, уже лежал на мостовой.

Когда Дыркин поднялся, потирая ушибленное плечо, перед ним стоял квартальный и зловеще улыбался.

— Отец родной! Ангел!..— заплакал Дыркин.

— Осади!! — гаркнул городовой.— Почему скопление? Ты что здесь делаешь?

— Я-то? Батюшки! Ангел!.. Отец родной...— зашамкал Дыркин.

— Вот я тебя за общественное нарушение в часть сведу! — недружелюбно сказал городовой и ударил Дыркина тяжелым кулаком по морде.

Ночевал Дыркин в участке...

Дальше, как и следовало ожидать, когда Дыркин проснулся, он с удовольствием заметил, что лежит в своей постели...

Звонили юбилейные колокола.

1927

ПРОКЛЯТАЯ ПРОБЛЕМА

Хорошо ранней весной, когда пахнет фиалками и кошками, когда отвратительный вой трамваев становится похожим на вздохи эоловой арфы, когда наглое фырканье автомобилей превращается в переливы пастушеской свирели, а вопли газетчиков в шорох молодой листвы, и когда даже ответственные съемщики становятся похожими на людей...

Ранней весной медик Остап Журочка влюбился в педфаковку Катю Пернатову.

— Я человек холодный,— говаривал о себе Журочка с гордостью,— и любовных штук не понимаю.

А тут вдруг взял да и втрескался.

— Ну, что я нашел в этой дурехе? — терзался Остап, ворочаясь на твердых досках своего студенческого ложа.— И росту чепухового, и волосы какие-то серые, и глаза странные: не то синие, не то желтые... А главное — дура. Только и знает — хи-хи да хи-хи. Хаханьки ей все... Тьфу.

Медик отлично сознавал, что он несправедлив к Пернатовой, что вовсе ей не «хаханьки все» и что Пернатова девушка серьезная и начитанная. Сознавал, но боролся.

— Тоже,— злорадствовал медик, зарываясь головой в подушку,— к педагогической деятельности гото-

вится, дура, а сама небось о женихах думает. Сама книжки читает и на диспуты бегает, а у самой одеколоны на уме. Знаем мы этих женщин...

Всю ночь провел Журочка в деятельной борьбе с обольстительным образом Пернатовой, а наутро выяснилось, что борьба окончена полным поражением и что он, Журочка, лежит на обеих лопатках.

— Что же теперь будет? — ужаснулся медик.

Любовь, как известно, не картошка. Ее не сваришь на стареньком примусе в ободранной кухне студенческого общежития. Любовь — штука тонкая и требует подхода.

Целую неделю страдал медик в одиночестве, но наконец не выдержал и рассказал о своих страданиях соседу по койке Кольке Дедушкину.

Колька упал на садовую скамейку, заменяющую ему постель, и долго дрыгал ногами. Потом сказал:

— Что же ты, дурак, намерен предпринять?

— Жениться! — твердо сказал Журочка.

— Ну, и женись, если, конечно, тебя привлекает именно этот не особенно удобный способ самоубийства.

— А вдруг она меня не любит? — испуганно прошептал Журочка.

— Да ты спроси ее! — посоветовал Дедушкин.

— Неудобно как-то... Взять вдруг и спросить: а вдруг обидится?

— А ты попробуй.

— Попробуй, попробуй. Легко сказать — попробуй... А ты пробовал?

— Я? — нагло сощурился Колька.— Сколько угодно. К каждой девчонке нужно иметь особенный подход. Взять хотя бы, к примеру, твою Катьку. Чем интересуется Пернатова? Пернатова в данное время интересуется проблемой пола и брака. Я на днях видел ее на лекции «Здоровье и брак». Ясно. Напори ей что-нибудь на эту тему. Подготовь почву. Дело верное, старик. На эту темку Пернатова в два счета клюнет.

— Неужели клюнет? — оживился Журочка.

— Клюнет. Раз Дедушкин говорит, можешь быть спокоен. Дедушкин, брат, знаток в таких вещах. Это я тебе прямо могу сказать. Без всякого хвастовства.

— Здравствуйте, Пернатова,— робко сказал Журочка, подходя к Кате в университетском коридоре.

— Здравствуйте, Журочка. Что это вас так давно не видно? И бледный вы какой-то, будто всю ночь не спали... Ах... каким он франтом! Смотрите, смотрите... Галстук надел!.. Пойдемте гулять... Сегодня солнце... Дивная погода... Чудесно!..

Пошли. Катя взяла медика под руку.

«Нужно действовать»,— думал Журочка, ступая прямо в весенние лужи.

— Что это вы молчаливый такой сегодня? — спросила Катя, когда они уселись на бульварную скамью.— Скажите же что-нибудь.

— Здоровье — это могучий фактор...— промолвил Журочка, подумав.

— Да? — рассеянно сказала Катя.— Это интересно. Смотрите, какие смешные тени от деревьев. Совсем кругленькие.

— Дерево, как и человек, нуждается в заботе. Дерево, например, поливают водой, и человек тоже... должен каждый день обливаться... Это укрепляет мышцы и нервную систему...

— Неужели укрепляет?.. Это интересно... Вы знаете, Журочка, как странно... Вы мне эту ночь снились... Будто бы вы женились на Зинке Татарчук...

— Брак без гигиены немыслим... Здоровье брачущихся — могучий фактор.

Катя слегка отодвинулась от медика и с возмущением посмотрела на его красные уши.

— Вы твердо уверены, что здоровье могучий фактор?

— Да.

— С чем вас и поздравляю. Ну, до свиданья. Не провожайте меня.

— Не клюет! — грустно сообщил Журочка.

— Да, уж у такого дурака, как ты, клюнет — держи карман! — сказал Дедушкин.

— И говорить не хочет. Ушла, не провожайте, говорит...

— А ты о чем с ней говорил?

— О гигиене брака.

— Здравствуйте! Ты бы еще поговорил с ней о двенадцатиперстной кишке... Так знай же, дурак, что не далее как вчера я лично присутствовал при споре, когда Пернатова с пеной у рта говорила о естественном подборе и браке ради потомства.

— Ну?

— Вот тебе и ну...

Был прелестный вечерний час, когда заря еще не погасла, а молочные звезды уже проявлялись на бледном небе. Огромная апельсинная луна медленно и нахально выползала из-за деревьев. В уединенной аллее сада было тихо.

— Люди должны думать о своем потомстве,— хрипло говорил Журочка,— потому что потомство — это...

— Могучий фактор? — грустно спросила Катя.

— Да, именно могучий фактор. На основе естественного подбора мы в общем и целом можем обновить человечество. Был, например, такой случай, когда одна всемирная красавица предложила старому писателю Шоу вступить с ней в брак. «Я красива,— сказала она ему,— а вы умны. У нас должно быть отличное потомство»...

— А вам известно, что ответил писатель красавице? — желчно спросила Катя.

— Н-н-нет, а что?

— Он ответил так: «Я боюсь,— сказал он,— что наши потомки наследуют мою красоту и ваш ум». Хороший вечерок сегодня выдался. Не правда ли? Я сегодня здорово повеселилась. До свиданья, Журочка. Кланяйтесь всемирной красавице. Быть может, она найдет в вас подходящего мужа.

Катя быстро смахнула слезинку с бледной щеки и исчезла за поворотом аллеи.

— Не понимаю, чего ей еще нужно? — горестно воскликнул Журочка, сжимая руками голову.— Уж, кажется, целую лекцию ей прочел. Ни разу не запнулся.

А она... это самое... «Кланяйтесь, говорит, всемирной красавице...» А сама... плачет.

— С таким дураком, как ты, поплачешь,— сказал Дедушкин, зевая,— знаешь ли, дурья голова, почему она плакала? Плакала она, брат, потому, что сегодня я заметил у нее книжку Коллонтай «Любовь пчел трудовых», а ты ей всякую чепуху порол об обновлении потомства...

— Как? Ты сам видел? Читала?

Лопни мои глаза.

— Тогда прощай, Дедушкин. Побегу в библиотеку...

Лодка тихо скользнула от берега и закачалась в лунной ряби. Катя села у руля. Журочка взялся за весла. Некоторое время ехали молча. Медик проглотил слюну и сказал:

— Что такое брак? Брак это есть отрыжка старого быта. Человечеству грозит опасность задохнуться в тя-



желой атмосфере семейного очага. Любовь, связанная узами загса...

— Причаливайте! — сухо приказала Катя.— Мне пора домой.

— Нужно срывать цветы,— бормотал Журочка, послушно гребя к берегу,— долой... это самое... цепи, которые...

— Прощайте, Журочка,— твердо сказала Катя,—и, пожалуйста, никогда не зовите меня с собой гулять. Не пойду. Идите домой и займитесь вопросами брака среди туземцев Австралии и Океании. Почерпнутые сведения сообщите мне письменно с указанием источников, ха-ха-ха...

И Катя убежала, почему-то закрывая лицо платком.

— Н-ничего не понимаю...— прошептал Журочка, растерянно оглядываясь по сторонам.

И Журочка увидел... Что он увидел — описывать нечего, ибо это было описано миллионы раз. Журочка увидел перспективу сияющего многоточья ночных фонарей на реке. Увидел небо. Увидел луну и звезды. Журочка в первый раз в жизни увидел весну. И Журочка понял все.

— Черт возьми! — воскликнул он, бросаясь догонять Катю.— Еще не все потеряно!

— Пернатова,— пробормотал он, задыхаясь,— слушайте, Пернатова... Я... это самое... долой гигиену... К черту естественный подбор... Я... плевать хотел на это — как его... цепи очага... Я... Пернатова, я вас люблю, Пернатова!.. Хотите ли вы на мне жениться?.. И потом я хочу вас поцеловать... Можно?

Так они и сделали. Поцеловались.

1927

ВЕСЕЛЬЧАК

Почему, вспоминая о нем, я чувствую, как горло пересыхает от злости, по животу пробегают холодные противные мурашки и появляется одно неистовое, жгучее, безудержное желание — бить.

Ведь он не сделал мне ничего дурного. А вот подите!..

— Ваш папа случайно не был стекольщиком? — раздался сзади меня тусклый голос.

Я оторвал взгляд от уличной сценки, которую с интересом наблюдал, и оглянулся. За мной стоял рыжеусый человек с оловянными глазами, в драповом пальто, каракулевой шляпе с лентой и больших хозяйственных калошах.

— Нет,— сказал я,— мой папа не был стекольщиком, но я тем не менее не люблю дурацких затасканных как мир острот. Если я вам мешаю, так и скажите: «Вы, мол, мне мешаете смотреть, отойдите».

— Не всякая пустота прозрачна! — сказал рыжеусый.

И вдруг его усы задергались, оловяшки сделались совершенно круглыми, рот раскрылся, и рыжеусый затрясся от еле сдерживаемого смеха.

— Знаете ли вы,— промолвил я с досадой,— что этой остротой последовательно пользовались все пошляки, начиная с царя Гороха. И я не привык...

— Не беда,— возразил рыжеусый,— потерпите сорок лет, а там привыкнете.

Я с отвращением отвернулся.

Через несколько дней, когда я сидел у знакомых и пил чай, в комнату вошел человек, в котором я без труда узнал рыжеусого.

— А,— воскликнул хозяин,— здравствуй, Никанор.

— Наше вам с кисточкой! — сказал рыжеусый, расшаркиваясь.

— Познакомьтесь. Это мой старый друг, Никанор Павлович.

— Очень приятно,— любезно улыбнулся я,— мы, кажется, однажды встречались.

— Гора с горой, как говорится, не сходится,— сказал Никанор,— а человек с человеком... хе-хе...

— Хочешь чаю, Никанор? — предложил хозяин.

— Нет, спасибо, я уже отчаялся.

— Он у нас первый весельчак,— нервно сказал хозяин, похлопывая Никанора по плечу.— Зубастый. Так и режет.

— Ну уж и весельчак,— потупился Никанор,— так. Середка на половинку.

— Ну, Никанор, ты все-таки выпей чаю. Ведь ты любишь. Вприкуску.

— Вприглядку,— сказал Никанор вяло.

— Ну так выпей рюмочку вина.

— Бувайте здоровеньки, как говорят хохлы.

Никанор налил стаканчик, щелкнул языком и выпил.

— Дай боже, чтоб завтра тоже! — сказал он, вытирая усы.

Я почувствовал беспричинную злобу. Мне захотелось вскрыть этого человека, как арбуз. Захотелось узнать, о чем он думает, чем живет, что делает. Захотелось узнать, есть ли у него что-нибудь там, за рыжими усами и оловянными глазами.

— Скажите,— спросил я,— как вы смотрите на новый закон о браке?

Никанор тоскливо заерзал на стуле и сказал:

— С точки зрения трамвайного сообщения.

Чтобы успокоиться, я заговорил с хозяином. Стали

обсуждать достоинства и недостатки очередной вы ставки картин. Разговор не клеился. Фигура Никанора, уныло торчащая за столом, убивала малейшее проявление мысли.

— Не скажите,— заметил хозяин,— Серобаба художник большой силы.

Художник от слова худо,— сказал Никанор, раскрыв рыжую пасть,— хе-хе... Разрешите папиросочку, люблю, знаете ли, папиросы фабрики Чужаго...

Никанор оживился и порозовел. Он почувствовал себя душой общества.

— Есть такой анекдот Приходит один человек к другому и говорит· «Чик». Это значит — честь имею кланяться. А другой ему говорит· «Пс» прошу са диться... Хо-хо-хо... А знаете последнюю армянскую загадку?.. Зеленый, длинный, висит в гостиной и пищит?

Я закрыл глаза.

— Не знаете?.. Хе-хе... Ну так вот... Селедка. Зеленая, потому что покрасили, висит, потому что повесили, а в гостиной, чтоб трудней было отгадать.

Открыв глаза, я увидел, что Никанор корчится от приступов здорового, жизнерадостного смеха. Хозяин был бледен.

— Нет,— сказал я жестко.— Длинное и зеленое — это не селедка. Это — машинка для снимания сапог.

Никанор замер с раскрытым ртом и уставился на меня.

— Н-нет,— пробормотал он,— это селедка... Я знаю наверное!

Нет, машинка.

— Селедка!

— Машинка!

— Селедка,— плачущим голосом сказал Ника нор,— ей-богу же, селедка.

— Машинка! — промолвил я ледяным тоном.

— Но почему же? Почему?

— Так. Машинка.

Никанор забегал по комнате.

— Почему же она зеленая? воскликнул он, ломая руки.

— Потому что покрасили.

А почему висит?

Потому что повесили.

— А... это самое... в гостиной... Почему в гостиной?

— Чтоб труднее было отгадать.

Никанор в изнеможении опустился на стул. Его внутренний мир был разгромлен. Жизнь потеряла смысл. Усы Никанора опустились. Оловяшки потускнели.

— Что такое два конца, два кольца, а посредине гвоздик? спросил я в упор, скрежеща зубами.— Ну, говори?..

— Н-н-ножницы! простонал Никанор.

— Эх ты, дурак! сказал я с сожалением.— Не знаешь таких пустяков. Это не ножницы, а пожарная каланча. Не спрашивай меня, Никанор, причину столь странного утверждения. Тебе ее все равно не понять. Ты глуп. Ты глуп даже с точки зрения трамвайного сообщения, не говоря уже о таких необычных для тебя точках, как точка зрения театрального представления или приятного времяпрепровождения. Мозг у тебя, Никанор, отсутствует совершенно. У тебя нет мозга, даже фабрики Чужаго. И я с уверенностью могу сказать, что твой бедный папа был стекольщиком, потому что такой прозрачной башки, как у тебя, я не видел еще ни разу в жизни. Но ты, друг Никаноша, не печалься. Пройдет каких-нибудь сорок лет, и ты привыкнешь. Кстати, известно ли тебе, что такое «Пв», «Икчм» и «Иятрп»?.. Не известно? Ага!.. А это значит: Пошел вон! Иди к чертовой матери! Иначе я тебе ребра переломаю!!!

Больше я Никанора не встречал. И очень рад. Потому что, потому что... я за себя не ручаюсь!..

1927

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ СОЛНЦЕ

Когда начальник входил в статистический отдел, Козлодоеву казалось, что затхлая и унылая, как перелицованные штаны, канцелярская комната светлеет, становится огромной и ослепительно зеркальной. Козлодоев низко склонялся к своим таблицам и усердно скрипел пером, боясь взглянуть в сторону солнечного начальника, боясь вздохнуть или, упаси бог, чихнуть.

На самом же деле начальник походил на солнце столько же, сколько окурок махорочной цигарки походит на кровного рысака или пустая баночка от гуталина на Румянцевский музей.

Начальник был довольно паршивеньким желчным мужчиной лет сорока, с преждевременными мешочками под глазами, с табачными усами и зловредным пятнистым носом. Так начальника и называли в управлении Нос.

«Тише, Нос идет!» или «Идите доложите Носу как он скажет».

Короче говоря — Козлодоев был типичным подхалимом-середнячком, и каким бы ни был его начальник толстым, как графинчик с водкой, или худым, как старый уличный кот,— Козлодоеву он всегда казался сияющим и бестелесным.

Товарищ Козлодоев,— дразнили сослуживцы,— идите скорее. Нос зовет

Козлодоев бледнел и начинал мелко дрожать.

— Врете вы, товарищи,— говорил он, чувствуя, что его душа покидает теплое насиженное местечко между печенью и желудком и в панике перебирается в холодную и неуютную пятку,— врете вы. Нос даже не знает о моем существовании.

Вот вам и не знает Позвал только что начканца и как гаркнет· «Позвать сюда Козлодоева», что начканц с перепугу стал подмигивать глазом.

— Не может этого быть! — шептал Козлодоев трясущимися губами.

— Ну, ну, пошутили. Экий вы какой... Уже и перепугался.

Однажды в прескверный дождливый вечер Козлодоев пошел в театр. Весь первый акт он просидел, приятно улыбаясь, в амфитеатре, а в антракте пошел покурить и увидел в курительной комнате начальника. Нос мыкался из угла в угол и курил папиросу

«Курит,— подумал Козлодоев с молитвенным ужасом,— ей-богу, курит. Папиросу»

Козлодоев привычно задрожал, отошел в сторонку и с умилением принялся наблюдать за действиями Носа. Нос стал проталкиваться к урне.

Позвольте пройти,— сказал он какому-то высокому молодому человеку

— Ай-яй-яй! — ахнул Козлодоев.— У молокососа пройти просит!

— Толкаются тут всякие! — недружелюбно сказал юноша, глядя на Носа сверху вниз.— Не видите, гражданин, дама стоит, а вы прете, как на пожар!..

Козлодоев покачнулся, вдвинул голову в плечи и зажмурился. Сердце его усиленно забилось. Он не сомневался, что несколько ближайших секунд принесут грубому молодцу гибель, что весь театр бросится сейчас вот на юношу и растопчет его в порошок, а Нос будет стоять, заложив руку за борт ослепительного пиджака, и тихо говорить. «Не убивайте этого наглого отрока до смерти. Он еще молод и заслуживает снисхождения».

Козлодоев открыл глаза.

Нос стоял возле молодого человека.

Извините,— сказал Нос,— мне только окурочек бросить.

— То-то,— снисходительно ответил юноша,— окурочек, окурочек, а сам толкается.

— Пардон-с. Не заметил.

— То-то, не заметил.

Нос подобострастно улыбнулся, бросил окурок и пошел в зал. Козлодоев, осторожно пробираясь в толпе, последовал за ним.

«Боже, боже,— думал Козлодоев, глядя, как Носу наступают на ноги и не обращают на него ни малейшего внимания,— что случилось? Что произошло?»

Весь спектакль Козлодоев томился, будучи не в силах постигнуть причины столь низкого падения радужного начальника.

Как только занавес начал опускаться, зрители, аплодируя на ходу и огрызаясь друг на друга, бросились к выходу Пьеса была забыта. Все были обуреваемы одним неистовым желанием достать калоши.

Маленький, плюгавый Нос в изгибе лестницы попал в водоворот и был притиснут к стене.

— Проходите! — рычали Носу.

— Стал как истукан и стоит!

— Эй, вы! Не крутитесь под ногами!.. Ч-черт!

Когда растерзанный и багровый Нос пробился к вешалке, его ожидали еще большие мучения. Развевающиеся полы пальто хлопали его по лицу, грязные калоши плавно скользили по уху, а публика обливала его обильными потоками грязных, циничных ругательств.

Козлодоев потерял способность соображать. Он не замечал, что ему самому наступают на ноги, мажут калошами по лицу и ругают на чем свет стоит Он понимал лишь, что произошло нечто страшное, неожиданное, чудовищное. Начальник перестал озарять собою окружающее, потерял свой блеск. Сияющий, ослепительный Нос померк.

«Что случилось? мучительно думал Козлодоев.— В чем дело?» и не находил ответа.

Всю ночь Козлодоев не сомкнул глаз. А когда серый, как статистическая таблица, рассвет заглянул в его комнату, он понял. Конечно, Нос снят с должности и уже больше не начальник, а самый обыкновенный, глубоко смертный гражданин. И как это он сразу не сообразил. Ведь это же просто и ясно, как восьмой разряд тарифной сетки.

— Ура! закричал Козлодоев жене.— Носа сняли! Ур-ра!

Козлодоев, немытый и нечесаный, побежал на службу.

«Ага,— ехидно подумал он, видя, как начальник с портфелем входит в вестибюль,— дела пришел сдавать, голубчик!»

— Товарищи! воскликнул Козлодоев, вбегая в канцелярию.— Носа сняли! Дела сдает! Ей-богу!

— Ну что вы такое мелете, Козлодоев? сказал осторожный начканц.— Ну кто вам сказал, что *его* сняли?

— Будьте уверены! — хихикнул Козлодоев.

Козлодоева тесно обступили сослуживцы. Козлодоев из скромного регистратора сразу же превратился в героя дня.

— Сняли, сняли,— небрежно говорил он, дела пришел сдавать наш Носище. Уж будьте покойнички. Раз Козлодоев говорит — дело верное. То-то я вижу, что на нашего Носеныша никто внимания не обращает! А его-то и сняли, хе-хе-хе... Я, знаете ли, сам ему на ногу наступил и выругал его хорошенько. Верное слово. Где Нос? Ау!

По толпе служащих пробежал гул недоверия.

— Врете вы, Козлодоев,— плачущим голосом сказал начканц,— не наступили вы *ему* на ногу. Быть этого не может!

Козлодоев презрительно посмотрел на начканца.

Это я-то? Не наступил? Ха-ха! Хорошо же...

Козлодоев небрежно оглядел присутствующих.

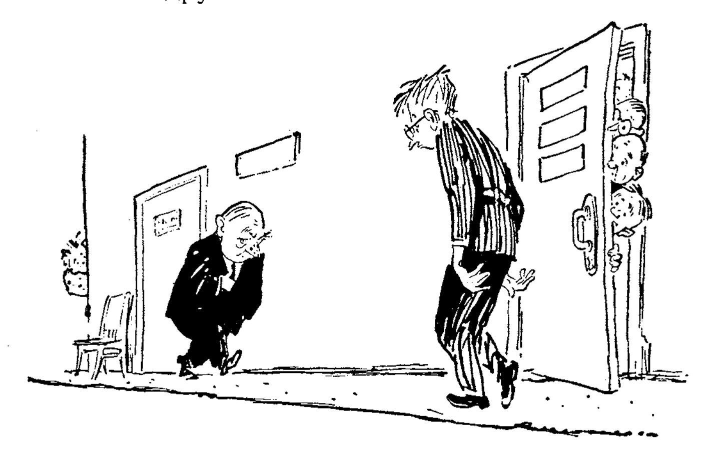
— Хорошо же... Идите все в коридор и смотрите, как я наступлю Носу на ногу, а он еще сам извинится, а я еще сам его выругаю хорошенько.

В коридор вышли всем отделом и стали ждать.

Через пять минут дверь начальникова кабинета растворилась, и в коридоре показался Нос.

Служащие вытолкнули Козлодоева вперед и замерли у стен. Козлодоев нервно кашлянул и пошел навстречу начальнику. Нос шел быстро, рассеянно поглядывая по сторонам.

«А вдруг я ошибся? — подумал Козлодоев, поравнявшись с Носом и покрываясь холодным бисерным потом.— А вдруг его не сняли?»



Но отступать было уже поздно.

«Эх! Была не была!» — решил Козлодоев и тут же наступил начальнику на ногу.

— Виноват! — пискнул Нос, отскочив в сторону.

— Толкаются тут всякие! — пробормотал Козлодоев.

— Простите,— промолвил Нос, глядя на Козлодоева в упор,— не заметил.

Козлодоев победно улыбнулся.

— То-то,— сказал он громко,— не за-ме-тил!.. Надо замечать! И вообще вы ничего не замечаете. В учреждении творятся безобразия!.. Грязь!.. Секретарь пьянствует!.. А он, изволите ли видеть, не заметил!..

И Козлодоев медленно пошел дальше.

Триумф Козлодоева был шумный и заслуженный. Козлодоеву удивлялись. Козлодоевым восхищались.

Перед Козлодоевым заискивали. Даже скептически настроенный начканц поверил, что Носа сняли.

Однако ничто не вечно под луной, под этой планетишкой, питающейся, как известно, чужим светом.

К концу дня в канцелярию вошел взволнованный начканц.

— Товарищи! — сказал он.— Начальника вовсе не сняли. У меня есть точные сведения. Ответственный секретарь даже удивился, кто мог распустить эти дурацкие слухи! Ну-с, дорогой Козлодоев...

Взоры обратились к Козлодоеву.

— Ну-с, Козлодоев? Что вы, Козлодоев, на это ска...

Начканц не кончил. В комнату, как вихрь, влетела курьерша и выпалила:

— Товарищ Козлодоев! Не иначе как вас начальник требует. Говорит, позови мне, говорит, такого высокого, худого, рыжего, говорит, в очках. Не знаю, говорит, как его фамилия... А кроме вас, товарищ Козлодоев, других рыжих нету. Скоренько идите, потому они сердятся...

Как Козлодоев дошел до кабинета начальника, он не помнил. Перед его глазами клубился осенний туман. В животе сделалось холодно, как в склепе.

— Ах, это вы,— сказал начальник, пронзительно глядя на Козлодоева.— Как ваша фамилия?.. Что?.. Как?.. Каз... Козлодыбов... Ага... Вы какую должность занимаете? Регистратор? По восьмому разряду?.. Так вот, товарищ Козлодыбов, у нас с сегодняшнего дня освобождается должность технического секретаря. Я предлагаю вам ее занять. Разряд четырнадцатый. С нагрузкой... Надеюсь, согласны? Что?.. Ну, отлично. Идите и приступайте к работе.

Когда Козлодоев вышел, начальник закурил папиросу и мечтательно откинулся на спинку кресла.

— Как приятно,— промолвил он,— видеть в своем учреждении сотрудников, которым не чуждо чувство здоровой, хотя и резкой критики. Как приятно иметь сотрудника смелого, самостоятельного и далекого от подхалимства и угодничества.

1927

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Никогда еще я не видел Колидорова таким оживленным, как в этот памятный морозный февральский день, когда Колидоров, прямо со службы, красный и оживленный, ворвался в мою комнату, содрал с себя полосатую беличью шубу (мехом наружу) и, стряхивая с ушастой шапки снег, закричал:

— Ты, жалкий капустный червь, гордящийся оседлым образом жизни и украшающий обеденный стол скатертью, ты, отправляющийся на службу в трамвае и в трамвае же возвращающийся со службы домой, ты, имеющий жену и тещу и полагающий свое благополучие в пошлом созерцании недоброкачественных кинематографических картин,— смотри... Вот...

Колидоров вынул из бокового кармана потрепанную географическую карту, разложил ее на столе и радостно захохотал.

— Видишь?

— Вижу,— осторожно сказал я,— это карта СССР, издана Госиздатом в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

— А еще что-нибудь видишь?

— Гм... Масштаб тут какой-то... Разрешено Главлитом за номером двадцать две тысячи семьсот пятьдесят шесть... тираж...

— Эх, ты! Шляпа!

Колидоров схватил меня за шею и, больно прищемив воротником кожу, ткнул носом в карту.

— Смотри, дубина, где будет твой друг Колидоров через какие-нибудь четыре месяца. Ну? Теперь видишь.

— Вижу.

— Что же ты видишь?

— Вижу,— прохрипел я, добросовестно проглядев карту,— что какой-то идиот измазал поверхность этой бумаги красным карандашом.

— Это не какой-то идиот,— самодовольно сказал Колидоров,— это я, Колидоров, начертил путь того путешествия, которое я совершу ровно через четыре месяца, первого июня. Теперь чувствуешь?

— Чувствую,— покорно ответил я, потирая шею.

— То-то. У нас, брат, сегодня распределяли время отпусков. Мне вышло ехать первого июня. Так вот, на этой карте я начертил наглядный план моего путешествия.

Я посмотрел сперва на карту, а потом на Колидорова. Его лицо сияло, как переполненная до краев кружка с пивом.

— Колидоров,— воскликнул я,— неужели ты твердо решился на этот шаг?

— Не веришь — презрительно процедил Колидоров,— так вот. Полюбуйся.

Колидоров схватился за карманы и после пятиминутной борьбы со старыми засалившимися бумажками, кусочком гребешка, шариками шерсти, пуговицей от жилетки и вечерней газетой за 1924 год вытащил из темных загадочных недр своего пиджака смятый кусок бумаги.

— Вот. Смотри.

Я развернул бумажку. На одной стороне ее было написано: «Чемодан — 15 руб. Автомобильные очки — 3 руб. Оленья доха — 60 руб. Бинокль — 10 руб. «Весь СССР» — 5 руб. 2 пары носков в клетку — 2 руб. и ковбойская шляпа с ремешком и дырочками — 9 руб. 50 коп.» На другой стороне бумажки запись носила несколько иной характер. Сверху большими буквами: «Маршрут». Затем подзаголовок: «Путешествие по окраинам Союза». И, наконец, «Москва — Мурманск — Владивосток — Бухара — Красноводск — Баку — Батум — Севастополь — Каменец-Подольск — Минск — Ленинград — Мурманск — Москва».

— Гм... н-да,— промямлил я,— а не кажется ли тебе, друг Колидоров, что избранный тобой маршрут несколько... гм... громоздок?

— Ну, что ты, милый? — обиделся Колидоров.— Я досконально все обдумал... Чепуха... Но зато сколько красот... Пейзажи... Быт...

— На какое же время ты получишь отпуск?

— На две недели. По кодексу законов о труде... Да недельку замотаю. А что?

Я посмотрел на Колидорова с отвращением.

— Знаешь ли ты,— спросил я,— сколько времени потребуется на одну только дорогу?

— Да уж недельки полторы, меньше не уложусь,— озабоченно ответил Колидоров,— да дня два на всякий пожарный случай...

— Нет, Колидоров,— сказал я жестко,— если даже принять во внимание ту неделю, которую ты собираешься замотать у доверчивого правительства, а также два дня, которыми ты собираешься воспользоваться на всякий пожарный случай, ты все-таки обчелся, приблизительно месяцев на восемь!

— Ты шутишь?! — воскликнул Колидоров, багровея.— Этого не может быть! Я досконально...

Колидоров осекся.

— Нет, ты это серьезно? — спросил он, с надеждой заглядывая мне в глаза.— Может быть, ты пошутил?

— Увы, Колидоров, я нисколько не шучу. Я боюсь даже, что и в этот небольшой срок ты едва ли уложишься!

Колидоров съежился. Его оживленное лицо померкло. Дрожащими руками он собрал со стола планы своего чудовищного путешествия, влез в шубу, нахлобучил шапку.

— Ну, я пошел...

— Иди, иди,— гостеприимно сказал я,— не забудь купить по дороге шляпу с дырочками...

В конце марта, когда солнце делало очередную попытку пробраться сквозь противные табачные тучи и когда газетчики настойчиво пророчили наступление весны в первой декаде апреля, я встретил Колидорова.

Он стоял посредине улицы и рассматривал какую-то книжку. Увидев меня, он обрадовался.

— Ну, как твое путешествие? — спросил я.

— Какое путешествие?

— Да это... во Владивосток и Каменец-Подольск? Налаживается?

— Не шути... Такими вещами не шутят!.. Я, конечно, во Владивосток не поеду. Это все чепуха!.. А вот!

Я оглядел нескладную фигуру своего друга. Он сильно похудел и, видимо, давно уже не брился.

— А вот путешествие по Волге... Это вещь вполне реальная... Сначала по Волге... От Нижнего до Астрахани... Потом в Баку... Через Каспийское море... Затем перемахну через Кавказский хребет... Катну по Черному морю и...

— До свиданья, Колидоров,— с грустью сказал я,— черкани пару строк любящему тебя другу, когда будешь «перемахивать» через Кавказский хребет...

— Колидоров!—крикнул я, высовываясь из трамвая.

Колидоров оглянулся, поспешно спрятал какую-то книжечку в карман и, виновато улыбаясь, полез в мой вагон.

Май был на исходе. Тяжелые грифельные тучи обложили небо. Дворники уныло поливали улицы.

— Сколько лет, сколько зим! — промолвил Колидоров.— Как тебе нравится эта, с позволения сказать, погода?

— Паршивая погода. Но что тебе, Колидоров, происки весны? Ведь через несколько дней ты будешь, развалясь в соломенном кресле и попивая коньячок, плыть на быстроходном почтовом теплоходе, рассекающем широкую грудь Волги-матушки реки...

— Брось глупости! — сухо сказал Колидоров.— Какая может быть матушка-река, когда... впрочем, я уже снял дачу... Вот...

Колидоров вынул из кармана книжечку.

— Вот расписание дачных поездов... Как видишь, полное удобство. В пять выехал из дому, а в семь ты уже у меня. Живу я...

Колидоров сообщил мне точный адрес своей дачи и просил непременно «примахнуть», когда он «обживется и уложится в новых условиях».

Третьего июня, ступая по лужам и проваливаясь в какие-то канавы, я шел под проливным дождем от станции «Целебные грязи» к даче, в которой обитал мой друг Колидоров.



С трудом отбиваясь от собак, я вступил на гнилые лесенки террасы. На террасе, обтянутой промокшей парусиной, сидел за столом, покрытым скатертью, посиневший Колидоров и, трясясь от холода, играл сам с собою в шахматы. Увидев меня, он болезненно улыбнулся и развел руками.

— Ты,— сказал я грозно,— жалкий капустный червь, гордящийся оседлым образом жизни и украшающий обеденный стол скатертью, ты, живущий, подобно серенькому обывателю, на даче и сидящий на террасе!.. Ты, полагающий все свое благополучие в пошлой игре в шахматы с дураком партнером,— смотри. Вот...

Я устроил большой кукиш и, с наслаждением шевеля большим пальцем, поднес его к носу Колидорова.

— Вот тебе автомобильные очки, вот ковбойская шляпа. Вот тебе Владивосток! Вот тебе Мурманск! Вот тебе Волга и вот тебе хребет!.. Видишь?

— Вижу,— сказал Колидоров покорно.

1927

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ЗАЙЧИК

— Ах! Дети — это моя слабость! — прошептал поэт, мечтательно глядя на огонек папиросы.— Я люблю детей нежной материнской любовью... Я должен, немедленно должен написать детские стихи!.. Да, дети, я отдаю вам свое бессмертное имя! Я кладу к вашим милым ноженькам огонь высокого вдохновения и сладкое бремя моего долголетнего опыта. Кстати, за детские стихи, кажется, не плохо платят...

И поэт, муза которого в этот вечер была особенно благосклонна, написал нижеследующее стихотворение:

ЗАЙЧИК

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу...

— Детские стихи должны быть краткими и выразительными,— сказал поэт.

— Но не до такой же степени! — испугались его друзья.

— Не беспокойтесь,— холодно ответил поэт.— Для небольшого аванса они достаточно кратки и выразительны.

В издательстве «Детские утехи» стихи очень понравились.

— Прекрасные стихи,— сказали поэту,— дети будут в восторге. Вот записочка в кассу.

— Ах! Дети — это моя слабость,— ответил поэт, небрежно пряча записку в жилетный карман.— Вы не поверите, но для этих шаловливых карапузов я готов в огонь и в воду.

Однако ни в огонь, ни в воду поэт не пошел, а вместо этого направил свои стопы в издательство «Неудержимый охотник».

— Охота — это моя страсть! — воскликнул поэт, войдя в кабинет редактора.— Вот настоящие охотничьи стихи, краткие и выразительные.

Редактор надел очки и нерешительно прочел:

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу...

— Хм... Да... Стихи интересные, но при чем тут, собственно говоря, охот...

— Ка-а-ак! А зайчик!

— Да. Действительно. Зайчик. Но...

— Что «но»? Ничего не «но»! Картина! Живопись! Полотно!.. Представляете себе — лес, густой, темный лес... Охотник в болотных сапогах, сжимая в руках ружье и ломая сучья, пробирается к снежной поляне. Снег. Синь. Тишина... В это время на поляне появляется *зайчик*. Его следы четко синеют на пушистом снегу. Уши приподняты. Он весь — движение, весь — порыв!.. Э, да что говорить! Такого зайчика, как у меня, вы нигде не купите...

— Снег... Следы...— прошептал редактор.— Ветки хрустят... Ладно. Покупаю зайчика... Скорее берите аванс.

В редакции журнала «Лес, как он есть» поэта встретили с энтузиазмом.

— Вот! Наконец-то и поэты одумались и повернулись лицом к лесному хозяйству! — радостно сказал редактор.— Ну-ну, показывайте, что вы принесли. Ага!..

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу.

— Гм... Это, конечно, очень литературно, но не имеет ничего общего...

— Как не имеет? А лес! Прочтите еще раз. Тут же ясно сказано: ходит зайчик *по лесу*. Не по какой-нибудь там ниве или лужку, а именно *по лесу*. А вы говорите — не имеет общего.

— Это, конечно, верно. Про лес тут говорится. А вот о сохранности леса ничего не выявлено...

— Вчитайтесь, милый! Ведь по лесу не козел какой-нибудь гуляет вонючий, а зайчик. Понимаете? Зайчик-вредитель...



— Ну разве что вредитель... А вот тут непонятно, почему зайчик идет к полюсу.

— Очень просто. Зайчик испортил лес, а потом пошел на Северный полюс, и если мы не будем зорко следить за сохранностью лесов, то зайчик и там чего-нибудь испортит. Тундру, например. От него все станется...

— Ну, разве что тундру. Вы оставьте рукопись... Что? Аванс? Это можно. Для такого отчаянного любителя лесов, как вы, с нашим удовольствием.

В журнале «Красный любитель Севера» стихи были приняты моментально. Хвалили так убежденно, что даже поэту стало совестно. Просили приносить побольше про север. Дали аванс.

В «Вестнике южной оконечности Северного полюса», солидном географическом еженедельнике, «Зайчик» произвел такое потрясающее впечатление, что престарелый редактор впал в обморочное состояние, а придя в себя, сказал поэту:

— Благодарю вас от имени всех честных любителей полюса.

Дали большой аванс.

Незначительная заминка произошла лишь в редакции бюллетеня «Успейте застраховаться». Однако моментально выяснилось, что машинистка ошибочно вместо «полис» написала «полюс» и поэт, провожаемый сотрудниками редакции, сел в автомобиль и уехал домой.

Поэт заслужил свой отдых.

— Ах, дети, дети! — сказал поэт, наполняя бокал шампанским.— Пью за ваше здоровье, дети! Живите, дети! А с вами, бог даст, не пропаду и я...

1927

ЮМОРИСТ ФИЗИКЕВИЧ

Исповедь редактора

Я знал его еще тогда, когда он добывал хлеб прямым и честным путем — стихами.

В те времена он был милым, застенчивым юношей. Принося в редакцию стихи, он мялся и лепетал что-то насчет метафор. Тогда он сознавал свою вину перед человечеством и старался загладить ее хорошим поведением. Каюсь. Я первый толкнул его на трудный, тернистый путь, который...

— Послушайте,— сказал я ему тогда,— неужели вам не надоели стихи?

Он оглянулся. В редакционной комнате, кроме нас, не было никого.

— Надоели,— прошептал он.

— Вот видите. Зачем же вы их пишете?

— А что же мне писать?

«Да ничего, черт возьми, не писать!» — хотел воскликнуть я, но, посмотрев на большие красные уши поэта, осекся.

— Пишите, знаете ли... гм... это самое. Понимаете?.. Веселое. Выдумывайте каламбуры... этакие... гм... словообразования...

— Словообразования? — оживился он.— Так, так... Понял я вас... А-а-а... скажите, за эти самые словообразования платят?

— Разумеется. Если хорошие. Словообразования.

Глаза поэта загорелись хищным блеском. Он вскочил со стула и, пробежавшись по комнате, выпалил:

— Среднее слово*образование* или высшее? Я скоро слово*образуюсь* и, если ты, слово*образина*, мне не веришь, я тебя живо слово*образумлю...*

— Талант! Положительно талант! — сказал я, слегка опешив от неожиданного перехода «на ты».

С поэтом делалось что-то странное. Он носился по комнате, переворачивая мебель и дергая руками, как веревочный паяц.

— Вот. Слушай,— сказал он наконец.

Совет редактора — заданье.
Добьюсь победного венца.
Я здесь словообразованье
Сказал для слово*образца*.

Бейте меня! Я дал ему по рублю за строчку. Получая деньги, он вяло сказал:

— За ажурную строчку гони деньги на бочку.

Когда он ушел, я тяжело задумался.

Он начинал мне тихо надоедать. Отношения наши постепенно стали приобретать температуру Северного полюса.

— Дай р-р-р гав, гав, *гаванс!* — сказал он устало.

Я развел руками.

— Денег нет.

— Р-редактор! Не ври, д'актор! А то ты принесешь мне вред, áктор!

— Вы состоите поэтом?

— Поэтом.

— *Поэтому* я не дам вам денег,— сострил я, на всякий случай отодвигая подальше тяжелое пресс-папье.

— Острищь? Остри.

Он махнул рукой и без всякого воодушевления добавил:

— Ос*тридцать* рублей гони.

— Что нового? — осторожно спросил я.— Пишете?

— Пишу. Пью коньяк пи*Шустова.* Написал про Пуанкаре. Хочешь? Вот.

Собрав войска свои в каре
И прицепивши танк к штиблету,
Кричит бандит Пуанкаре:
Карету мне, пуан*карету!*

— Нравится?
— Гм... Не актуально.
— Значит, дело *табак*туально. Так... Понял я вас. Может, хочешь про Ллойд-Джорджа? Например,— целлу*ллойдджоржик...* Или про Чембер*ленские* прииски, то бишь происки... Или...
— Я спешу на заседание.
— Засе*либердание...*
— Вы мне надоели!
— *Канада*ели, в Канаде ели, *надоели*менты платить. Плати елименты, редактор!
— Пустите меня, ч-черт, я позову милицию.
— Ваше ми*лицо* мне з*наркомо...*
— Вон!!! — гаркнул я.
Он захохотал.
— Теле*вон*, ха-ха-ха, пикса*вон*, ха-ха, Джойс*вон*, Хикс, хи-хикс, хи-хи-хи-хикс, *хигрек*, *хизет*, *хиклозет...* хо-хо-хо...

Я не видел его года два. Говорили, что он стал пить и оскорблять знакомых. Его несколько раз били за неприличные извращения чужих фамилий. Жена убежала от него к какому-то помощнику прокурора. Он крикнул ей вдогонку:

Жена бежала к прокурору,
Но прокурор не будет впрок.
И, не найдя в нем проко*пору,*
Она получит прок*урок.*

Передавали, что обиженный прокурор возбудил против него уголовное преследование по обвинению в физическом и психическом насилии над русской грамматикой.



Последняя наша встреча произошла на вокзале. Был январь. Мороз достигал тридцати градусов.

Он шел по платформе в сопровождении плечистого малого в дворницком фартуке с бляхой. Он был без пальто, в аккуратно выглаженном костюме. Галстука и шляпы не было. К ворсу пиджака прилипла большая соломинка.

— А я на дачу! — воскликнул он широко, по-детски, улыбаясь.

— Ну, что вы, милый,— сказал я, пожимая его холодную вялую руку,— какая может быть дача в январе месяце?

— Они-с на Канатчикову дачу,— почтительно сообщил детина в фартуке.

— Ну да. В Канаду. На *Канад*чикову дачу, Шпагатчикову незадачу, неудачу, удачу...

— Идем, что ли! — сказал детина.

— Не пойду-у-у!!! Не пой*дуплетом* в угол!.. Р-р-р-анга, нга...

Поэта стали вязать.

— Я изобрел Сатурн!!! — крикнул он, отбиваясь изо всех сил.— Не плюйте в сат*урну!*..

Больше я его не видел.

1927

ДАРОВИТАЯ ДЕВУШКА

Сколько их, куда их гонят...
А. С. Пушкин

Часто, глядя на студента Хведорова мерцающим взглядом, Кусичка Крант говорила:

— Знаете, Хведоров, я решила посвятить кино всю, всю жизнь.

— И напрасно,— угрюмо отвечал студент,— всю жизнь — это очень много. Посвятите ему лет десять — пятнадцать, а больше не посвящайте.

— Нет. Вы все шутите, а я серьезно. Я создана для экрана. Не правда ли, у меня фотогеничное лицо?

— Фотогеничное-то оно фотогеничное, только что от того толку, раз на нем бороды нет.

— К-какой б-бороды?

— Обыкновенной. Из волос. Теперь, я слышал, фотогеничные лица без бороды не в ходу.

Кусичка Крант морщила малообещающий лобик и задумывалась. Потом облегченно вздыхала.

— Так то у мужчин. А я женщина.

— У женщин тоже. Я знаю. Мне один король режиссеров говорил. Ей-богу.

— Нет. Вы все шутите, а я серьезно... Вы, Хведоров, не любите кино. Это ужасно.

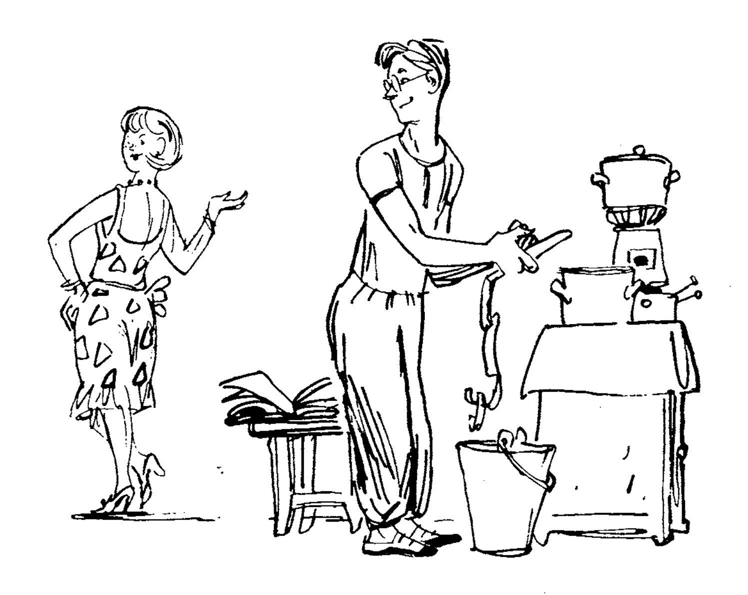
— Не люблю, Кусичка. Уж такой я человек.

Бесчувственный. Горбатого, как говорится, могила исправит.

— Как это исправит горбатого? Разве горб у горбатого можно исправить?

Студент Хведоров пристально смотрел на Кусичку Крант. Ее глаза честно и доверчиво смотрели в студентовы — лживые и хитрые.

— Видите ли, этот способ лечения горбатых граждан ведет свое начало с одиннадцатого века. Делается



это очень просто. Роют яму. Потом сажают в нее горбатого человека и засыпают землей. Через недели две яму разрывают и вынимают оттуда пациента. И что же? Горба и в помине нет.

— Вы шутите!

— Серьезно!

Когда Кусичка окончила киностудию, ее жизнь резко изменилась.

Кусичка вставала в шесть часов утра и отправля-

лась на кинофабрику. Возвращалась поздно вечером усталая, голодная, но торжествующая.

— Ну, как ваши дела? — спрашивал Хведоров вежливо.— Снимаетесь все?

— Еще как.

— Небось от этих «сатурнов» глаза болят?

— Каких там «сатурнов»?! Вы с ума сошли! От юпитеров. Нет, не болят. Привыкла.

— Ну, как там на фабрике? Хорошо?

— Ого!

— Кадры большие?

— Ничего себе. Спасибо.

— Диафрагма не побаливает?

— Вы с ума сошли! Вы знаете, что такое диафрагма?

— Не знаю.

— То-то. Раз не знаете, не говорите.

— Я ничего такого не говорил... Ведь я, собственно говоря, не питаю против диафрагмы никакой вражды.

— То-то.

— А режиссер хороший?

— Ничего себе. Крепкий режиссер.

— Вероятно, страдает от наплыва?

— От него нельзя страдать. Наплыв — это киноприем.

— Ну, это смотря какой наплыв. Если наплыв киноартистов, то от него даже запрещенные приемы бокса не помогут.

Перл студентова остроумия пропал зря. Кусичка задумчиво смотрела на потолок и морщила лобик. Видно, о чем-то мучительно думала.

— Скажите,— спросила она нерешительно,— как добывается стекло? Оно... ископаемое?

— Это смотря по тому, какое стекло. Бутылочное, например, добывается из глубины моря. Водочные рюмки тоже. Ископаемые.

— А электрические лампочки?

— Растут,— твердо сказал студент,— на деревьях.

— Серьезно?

— Ей-богу. Есть такие деревья. В Америке. Возле

Голливуда. Их так и называют — электрические скаты. А почему вы спросили?

— Так... Я на фабрике нечаянно разбила лампочку. Во время съемки.

Съемка картины подходила к концу. Приближался день, который должен был принести Кусичке Крант славу и доллары. Кусичка стала нервничать.

— Скажите, Кусичка,— осмелился как-то спросить студент,— вы снимаетесь в комедии или драме?

— Ведь вам, кажется, известно,— сухо ответила она,— что у меня комедийное дарование.

— Значит, в комедии?

— Угу.

— А как называется картина?

— Глупый вопрос. Всему миру известно, что картина называется «Приключения портного Фитюлькина», по сценарию Шершеляфамова, Михаила Гнидова и Константина Бруцкуса, а вы... Отстаньте.

В последние дни перед премьерой «Портного Фитюлькина» Кусичка нервничала. Студент заметил, что веки ее покраснели и она часто сморкалась.

— Бодритесь,— сказал он ей,— Дантон, всходя на эшафот восемнадцатого бумеранга, встретил смерть бодро.

— Так то Дантес,— сказала она упавшим голосом,— а я девушка.

— Я в этом никогда не сомневался! — ответил студент галантно.

В кинотеатр пришли за час до начала сеанса.

— А знаете, — заметил студент Хведоров вскользь,— вашей фамилии почему-то нет на афише. И Мясохладобоева есть, и Глупского, и даже какой-то Сидоровой, а вашей нет.

— Интриги.

— Скажите, какая наглость! — посочувствовал Хведоров.

— От них все станется! — злобно сказала Кусичка.— Однако идемте в зал. Сейчас начнется.

Потух свет, и на экране добросовестно завертелся

портной Фитюлькин. Он шил рясу какому-то явно антирелигиозному попу, разнообразя это привычное его профессии занятие ухаживаниями за дочкой ответственного товарища.

На полотне было все: и приближающийся поезд, и рельсы, и бешено вертящиеся колеса, и заводские трубы, и красивый деревенский пейзаж, и попадья анфас и в профиль, и голый портной Фитюлькин на пляже в Крыму, и Кавказский хребет... Не было только одной Кусички Крант. Не было ее ни в первой, ни во второй, ни в третьей части, как равно не было ее в четвертой, пятой и шестой.

Один только раз, когда на экране мелькнули чьи-то, взятые крупным планом ноги, Кусичка ущипнула студента за локоть. Но продолжалось это одно мгновение.

Так как частей было всего шесть, студент Хведоров и Кусичка Крант пошли домой.

— Ну-с, дорогая моя,— сказал студент,— что вы можете сказать по поводу этой картинки?

Кусичка молчала.

— Почему же вы молчите? Что касается меня, то я в восторге. Ваше лицо, освещенное яркими юпитерами, показалось мне весьма фотогеничным. Вы играли с большим мастерством. Очевидно, занятия в студии сослужили вам немалую службу. Диафрагма вам, несомненно, благоприятствовала, несмотря на несколько резкий наплыв и интриги негодяя режиссера... Сегодня вечером я положительно полюбил кино... Кстати, лампочки на деревьях не растут, а выдуваются из стекла, которое отнюдь не добывается, а изготовляется из песка и прочей дряни... Не ревите... Стыдно реветь в семнадцать лет. И потом эти драмы вам не к лицу. У вас, если не ошибаюсь, дарование комедийное...

— Я... б-больше н-не б-буду! — прошептала Кусичка Крант.

— То-то,— сказал студент Хведоров, смягчившись,— а теперь идите домой и положите на голову холодный компресс. Завтра я вам принесу географию и обществоведение. Если вы посвятите им всю, всю жизнь, из вас еще может выйти толк.

1927

ВЕЛИКИЙ ПОРЫВ

Я люблю энергичных людей. Не любить их нельзя. Верьте слову. Посмотрите, посмотрите, вот идут двое. Один — рыхлый тридцатилетний мужчина с сонным лицом, в мягкой шляпе и с дурацкой кляксой волос под нижней губой. Посмотрите, как вяло он передвигает ноги, какая зверская скука перекосила его гладкую морду. Вглядитесь — ему скучно есть, скучно спать, скучно работать, скучно жить. Но зато рядом с ним несется, подпрыгивая, личность, при виде которой даже грудному ребенку становится ясным, что личность эта — энергия, порыв, смерч... Посмотрите, как небрежно съехала кепка на затылок личности, как личность, забегая вперед, вдруг останавливается и кричит на всю улицу: «Ты не прав, Никифор, и я сейчас тебе это докажу!» Посмотрите, посмотрите — ведь это падающее с носа пенсне, этот победно развевающийся галстук, эти острые колени — это сама жизнь, жизнь кипучая, полная порывов и ошибок, великих открытий и заблуждений, жизнь чертовски прекрасная во всех ее многогранных проявле...

Я люблю энергичных людей.

Товарищ Терпейский — мой сослуживец. Мы ежедневно сталкиваемся с ним в темном редакционном коридоре, жмем руки и расходимся по своим комнатам.

В течение дня мы видимся не менее десяти раз. И каждая новая встреча все более и более убеждает меня в том, что Терпейский не что иное, как большой, умело организованный, базисный склад энергии.

Терпейский — отличный журналист. Его фельетоны — резки, сжаты, образны и остры. Диалог — само совершенство. Быстрота работы — сногсшибательна.

Если бы меня разбудили ночью после товарищеской вечеринки и спросили бы: «Скажите, может ли Терпейский перевернуть гору?» — я бы ответил: «Кто? Терпейский? Гору? Конечно, может!»

Однако слушайте. То, что я вам сейчас расскажу,— сущая правда.

— Милый,— сказал мне как-то за обедом Терпейский,— ты не поверишь, но в бюрократизме меня больше всего возмущает косность языка. Я не ищу корней бюрократизма, я не хочу их искать, ибо я знаю, что в тот момент, когда официальные бумажки освободятся от затхлой казенщины, идущей со времен подьячих допетровского времени,— бюрократизму придет конец. При виде бумажки, начинающейся словами «С получением сего», я сатанею... О! Если бы мне пришлось перейти на административную работу, я бы показал им, как нужно писать бумажки. Я бы по-ка-зал!

Верьте — не верьте, но в этот же день Терпейский был назначен главой некоего административного учреждения. Как нарочно.

Терпейский пришел в свой кабинет, сорвал плакат «Без доклада не входить» и сел за письменный стол.

— Вот, товарищ заведующий,— почтительно сказал начканц,— подпишите бумажку.

Терпейский прочел и побагровел.

— Это что такое? — загремел он.

— Б-б-бумаж-жка.

— Прочтите.

Начканц прочел:

— «Начальнику сортировочно-методического отдела. Лично. Срочно. Сов. секретно. На № АМДЦ

85(315)000(83)У. С получением сего настоящим извещаю (зачеркнуто) имею известить вас на предмет присылки, начиная с сего квартала, отчетных сведений в порядке, указанном в пункте Б соответствующего циркуляра, каковые таковые помянутые отчетные сведения надлежит неукоснительно в кратчайший срок представить на распоряжение, о чем вы сим извещаетесь для сведения.

Приложение: без приложения. Зачеркнутому «извещаю» — не верить».

Терпейский бешено затопал ногами. Потом успокоился.

— Дайте бумажку,— сказал он,— я исправлю.

Оторвав по старой журналистской привычке узенький листок бумаги, Терпейский минуту подумал и быстро стал строчить.

— Вот. Бумажка. Читайте.

Начканц трясущимися руками протер очки и принялся читать:

— «Дорогой начальник сортировочно-методического отдела! Есть такая поговорка: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Так и у вас получилось с отчетностью. Мы вам бумажки пишем, а вы, извините, чепуху присылаете. Так вот, дружище, как получите нашу бумаженцию, сейчас же пишите отчет по пункту Б (Увы! Менее банально выразиться не могу!) и гоните нам, чем скорей, тем лучше. Ну, прощайте, милый. Кланяйтесь знакомым. Обратите внимание на то, что бумажку посылаю без номера. К чему это? Лишняя волокита. Верно? Ну, ну, не буду вас задерживать. Уваж. вас Терпейский».

Терпейский вытер платком потный лоб. Начканц почтительно удалился.

— Обломаем! — сказал в коридоре начканц обступившим его служащим.— И не таковских обламывали.

Прошел год. В редакции о Терпейском стали понемногу забывать. Только иногда вдруг кто-нибудь вздыхал и говорил:

— Эх! Нет Терпейского! Горячий был человек! Нет у нас после Терпейского хорошего фельетона.

Однажды, придя в редакцию, я был ошеломлен. За столом сидел Терпейский. Он стал гораздо солиднее, пополнел и завел под нижней губой эспаньолку.

— Здравствуйте, дорогой товарищ,— сказал он мне,— садитесь. Я вас слушаю. Ну-с. Покороче.

На лице моего друга застыла скука.

Я выбежал в коридор, сдерживая рыдание. От сотрудников я узнал, что Терпейский снова назначен к нам в редакцию.

— Ну, теперь опять будет у нас хороший фельетон...— говорили сотрудники неуверенно.

На другой день я развернул газету и ахнул. Под заголовком «Маленький фельетон» было написано: «Сим имею известить вас на предмет появления помянутого фельетона, каковой таковой...»

Я не читал дальше. К чему... Обломали-таки беднягу.

1927

ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ

— Простите, гражданин, нельзя ли попросить у вас на минуточку программу.

— Сделайте одолжение.

Я передал программу соседу. Он принял ее с поклоном.

Сосед был тощ и элегантен.

— Мерси,— сказал он, проглядев список действующих лиц,— простите, вы не из провинции?

— Нет. Москвич. А вы думали...

— Помилуйте, я ничего не думал... Просто маленькое наблюдение... Я, знаете ли, немножко физиономист... Люблю, грешным делом, наблюдать толпу. Сидишь так вот в кресле, ждешь, покуда занавес дадут, и наблюдаешь... Очень интересно и поучительно. Ведь лицо каждого человека — это его визитная карточка, паспорт, анкета даже, если хотите.

— Да,— заметил я.

— Разрешите представиться,— сказал сосед,— вы, верно, не любите с незнакомыми людьми разговаривать? Правда ведь?.. Так вот-с. Наперекоров, Михайла Сергеевич, юрисконсульт.

Пожимая тонкие пальцы соседа, я заметил, что ногти его снабжены скромным, но тщательным маникюром.

Отрекомендовался и я. Мы разговорились.

— Теперь так редко встретишь интеллигентного человека! — пожаловался Наперекоров.— Меня это несколько угнетает. По вашему лицу я вижу, что вы со мной не согласны. Но вы меня не так поняли. Я го-

ворю об интеллигентности чисто внешней, так сказать, о культурности. Ведь это же, дорогой мой сосед, ужасно! Посмотрите вокруг! Ну вон хотя бы тот молодой человек. Видите? Очевидно, студент. Судя по выражению глаз, не глуп, даже талантлив. Но посмотрите на эту засаленную толстовку, на этот небритый подбородок! Посмотрите, как невежливо он повернулся спиною к своей соседке! Посмотрите, как холодно он ответил на поклон того старичка! И вы увидите, что под вывеской культуры (я разумею науку, любовь к искусству эцетера) скрывается некультурность, неуважение к человеческой личности, выражаясь грубо, хамство.

В антрактах мы прогуливались по фойе, обсуждали спектакль и дружно клеймили некультурную публику.

— Видите этого типа? — шепнул Наперекоров в курительной.— Вон тот с бородавкой, который докуривает папироску. Пари держу, что он бросит окурок на пол, а не в урну, которая стоит перед его носом.

Человек с бородавкой затянулся в последний раз и бросил окурок в урну.

— Ну, это редкий случай,— снисходительно сказал Наперекоров,— урна слишком близко стояла. Но человек он все-таки некультурный. С такими полубачками, как у него, культурный человек существовать не может.

Наперекоров оказался обаятельным человеком. Он мило острил, поминутно извинялся, бросался за оброненными платками и все время порывался уступить кому-нибудь свое место в фойе.

Спектакль заканчивался. Дон Хозе рыдал над убитой Кармен.

— Прощайте, сосед! — кинул мне Наперекоров, срываясь с места.

— Подождите,— сказал я,— еще занавес не опустился.

— Да я знаю, что дальше будет,— громко заявил Наперекоров,— он споет «арестуйте меня», а потом за калошами не достоишься.

В публике зашикали. Наперекоров ринулся через весь зрительный зал, производя неприятный шум.

— Сядьте! — кричали зрители.

Дон Хозе покосился на публику и хватил тончайшее si bemol.

Между тем у выходных дверей разыгрался скандал. Капельдинеры не выпускали Наперекорова.

— Вы не имеете права! — кричал Наперекоров.— Мне, может быть, нужно по естественным надобностям!..

— Тиш-ш-е!..— гремели отовсюду.

— Это нахальство! — бузил Наперекоров.— Это некультурно задерживать человека, которому не калоши важны, а по естественным надобностям!.. Пустите!

Его все-таки не пустили. Двери открылись только тогда, когда замерли последние звуки оркестра и занавес опустился. Наперекоров вывалился вместе с толпою. Я видел, как он сшиб с ног старушку, укусил за ногу студента в толстовке и мастерским ударом в солнечное сплетение нокаутировал среднего служащего в фиолетовом галстуке. Я слышал, как Наперекоров выругал гардеробщика и пообещал донести на него администратору.



Триумфально шествуя сквозь толпу с шубой и глубокими калошами, Наперекоров напоролся на меня.

— Послушайте,— сказал я ему,— ведь это же, выражаясь грубо, хамство.

Наперекоров посмотрел налитыми кровью глазами, тюкнул меня калошами по лицу и понесся к выходу.

1928

ДЯДЯ СИЛАНТИЙ АРНОЛЬДЫЧ

Новый кооперативный дом был чист и свеж, как невеста. Сверкали стекла. Одуряюще пахли краской перила. Партия полотеров оставляла за собою длинные охряные следы сияющей мастики. Монтеры вправляли последние лампочки в патроны. А с дверей и плинтусов не успели еще сойти известковые брызги.

Первыми вселились Протокотовы.

Протокотову удалось вырвать из цепких рук родственников председателя правления три прелестных комнаты, окнами на юг, с газовой плитой, ванной и комфортабельной уборной.

Когда Протокотов втискивал в дверь первый стол, душа его наполнилась чувством гордости и умиления.

— Наконец-то,— сказал он жене,— наконец-то мы заживем, как люди. В совершенно отдельной квартире! Одни, совсем одни!

В глазах жены стояли слезы.

— Здесь будет спальня,— заметил Протокотов.— Комната, правда, не особенно большая, но зато очень хорошенькая и теплая. А вот это столовая и мой кабинет. Здесь мы сможем принимать знакомых. Правда, милая?

Жена тихо плакала.

— А вот здесь,— сказал Протокотов с дрожью в голосе,— в этой малюсенькой комнате мы поместим дядю Силантия.

— Бедный дядя,— вздохнула жена,— наконец-то и дядя сможет зажить, как человек.

Дядя Силантий Арнольдыч жил в огромной и пыльной, как канцелярия воинского начальника, квартире на Плющихе, совместно с тридцатью пятью жильцами. Занимал дядя бывшую ванную — крохотную, совершенно темную комнату без окон.

В течение целого дня Силантий Арнольдыч таскал в квартиру племянника вещи. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезших этажерок и винтовых табуретов красного дерева.

— Зачем это, дядя? — поморщился Протокотов, столкнувшись с пыхтящим дядей в дверях.— Почему вы мне не сказали про этот комод? Я бы нанял носильщика, и дело с концом.

— Что ты! Что ты! — зашептал дядя, прикрывая хилым старческим телом допотопный комодик.— Какие теперь носильщики!

Испуганно оглядываясь, дядя Силантий впихнул комодик в новую свою комнату и заперся на ключ.

— Странный какой-то дядя Силантий,— сказал Протокотов жене, ложась спать.— Впрочем, обживется, привыкнет.

Но Силантий не привык.

Утром Протокотов увидел в чистенькой уютной уборной большое, написанное каллиграфическим почерком объявление. Начиналось оно следующими словами:

ГРАЖДАНЕ!

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ

НЕ ОДНИ!

ЛЮДИ ЖДУТ!

Дальше предлагалось спускать воду и не бросать на пол окурков. Всего было пунктов восемь. Объявление кончалось угрозой, что если «граждане жильцы» не будут исполнять правил, уборную придется закрыть.

Протокотов улыбнулся и сорвал объявление.

В полдень в уборной появилось новое объявление, написанное тем же каллиграфическим почерком. Первые слова были такие:

Прошу в общественной
уборной не хулиганить.
Не забывайте, что вы
здесь не один!

Протокотов подумал, вытащил автоматическую ручку и написал в конце большими буквами слово «дурак».

В ответ появилось:

«От дурака слышу!»

Переписка продолжалась целый день.

Победил дядя, повесив на стену очень длинную, талантливо составленную инструкцию.

Дядя Силантий работал не покладая рук.

На следующий день Протокотов обнаружил в дивной эмалированной ванне старый матрац, пирамиду перевязанных бечевкой книг и пыльную клетку из-под попугая.

На дверях появилась бумажка:

ЗВОНИТЬ:

М. И. Протокотову — 8 р.
С. А. Протокотову — 14 р.

Рядом с бумажкой Силантий Арнольдыч пробил глазок, а с внутренней стороны приладил чугунный засов, толстую ржавую цепочку и длинную железную штангу.

Внизу, в швейцарской, Силантий вывесил воззвание, начинающееся словами:

«Граждане держатели кошек!»

Дядя требовал от граждан держателей, чтобы они надели на кошек намордники, обещая пожаловаться на ослушников управдому.

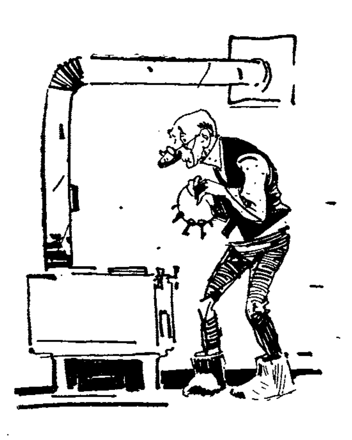
Коридорчик протокотовской квартиры покрылся аккуратно приклеенными гуммиарабиком четвертушками бумаги.

«Не топайте ногами,— требовал дядя,— вы не один». «Гасите за собой электрический свет». «Не бросайте окурков, бумажек и мусору. За вами нет уборщиц».

Как-то в субботу супруги Протокотовы были приглашены на дачу и вернулись только в понедельник.

В кухне было пусто. Посредине любимой комнаты Протокотовых (столовой-кабинета), предназначенной для приема гостей и оклеенной изящными светленькими обоями, стояла газовая плитка. К ней была прилажена глупая коленчатая труба, которая тянулась через всю комнату и выходила в окно.

За два дня Силантий Арнольдыч умудрился переделать гордость Протокотовых — газовую плитку — в буржуйку.



Привести буржуйку в прежнее состояние оказалось делом нелегким. Приезжали с газового завода, грозили выключить газ и взяли за переделку восемьдесят рублей.

Протокотов ворвался в комнату дяди Силантия и долго топал ногами. Старик испуганно мигал серенькими ресницами.

— Поймите же,— сказал Протокотов, смягчившись,— что объявления ваши не нужны. Мы в квартире одни, понимаете, одни! Ничего не нужно переделывать, дядя. Все благополучно. Поняли?

Старик почти не показывался из своей комнаты. Выходил он только тогда, когда Протокотовых не было

дома, блуждал по квартире, пробовал дверные запоры и тайком привешивал новые объявления.

Как-то, возвратившись ночью из театра и позабыв дома ключ, супруги долго и безрезультатно звонили. Потом Протокотов догадался позвонить четырнадцать раз.

За дверью зашуршали валенками.

— Кто там? — встревоженно спросил Силантий.

— Это я. Откройте, дядя!

— Кто таков? — закричал Силантий нечеловеческим голосом.

— Да я же, дядя, я — Михаил.

— Без управдома не пущу! — пискнул дядя.

— Пустите, ч-черт!..

Дверь не открывалась.

Протокотов пытался высадить дверь плечом. Засов и штанга трещали, но не сдавались.

Протокотов стал колотить в дверь руками и ногами.

— Караул! — запел Силантий Арнольдыч.

Собрались жильцы. Пришлось сходить за управдомом.

Дяде просунули под дверь управдомово удостоверение, и только после этого дверь отворилась.

Целый день Силантий Арнольдыч таскал вещи обратно на Плющиху. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезших этажерок и винтовых табуретов.

Останавливаясь на лестнице отдохнуть, он снимал старомодное золотое пенсне и испуганно мигал серенькими ресницами.

1928

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Давненько Обуялов не пребывал в таком блеске. Смоченные вежеталем волосы аккуратно лежали по обе стороны пробора, на свежевыбритых щечках виднелись синеватые следы пудры, в жилет ниспадал галстук, напоминающий по цвету весеннее небо, покрытое звездами, а выутюженные брюки были тверды, как картон.

Обуялов спешил на вечеринку к Мэри Пароконской. Там, на четырех квадратных саженях жилой площади, Обуялова ожидали напитки, собутыльники, очаровательные собутыльницы, недавно привезенный из-за границы карманный патефон «Гигант» и танцы, танцы, танцы.

Мужчины давали по трешнице и по две «единицы». Дам можно было приводить бесплатно.

«Сперва позвоню Пароконской, — раздумывал Обуялов, осторожно подвигаясь по мокрому тротуару,— спрошу, какого вина купить. Кстати узнаю, стоит ли заезжать за Ниночкой».

Обуялов посмотрел на часы.

— Черт возьми! Без десяти одиннадцать. Ах, я дурак! Сейчас закроют ночные магазины, и я погиб.

Обуялов рысью побежал к ярко освещенному магазину «Коммунар».

Магазин был еще открыт. Продавцы отпускали товары последним покупателям. Обуялов облегченно вздохнул.

«Сейчас позвоню»,— решил он и залез в будку телефона-автомата, расположенную недалеко от кассы.

На станции долго не отвечали. Обуялов нетерпеливо дергал телефонную вилку и топтался в будке, как конь.

Торговля между тем окончилась, продавцы снимали с рук кожаные раструбы. Кассирша подсчитывала выручку. Потушили лишний свет. В магазине сразу стало просторно и почему-то особенно сильно запахло колбасой. Прошло еще несколько минут. Кассирша закончила подсчет. Продавцы разошлись по домам.

— Закрывать, что ли? — спросил сторож, появляясь в дверях.

— Сейчас иду.

И кассирша, распрямив спину после трудового дня, вышла на улицу.

В это время Обуялов, облокотившись на телефонную коробку и изящно изогнувшись, мурлыкал:

— Вы прелестны, Мэри, я чувствую это на расстоянии... Алло!.. Да, да... Что?.. Уже собираются?.. Мало вина?.. Что вы говорите?.. Да, да... Хорошо. Я куплю. И две бутылки водки? Ладно... Видите, какой я хитрый — успел попасть в магазин. И хлеба купить? Пожалуйста, пожалуйста... Алло! Но в таком случае я со всеми этими покупками не смогу съездить за Ниночкой... Да... Что? Лапин съездит? Великолепно. Ну, хорошо, пока... Что? Ладно, ладно... Ну, пока. Что? Только что пришла?.. Алло... Я чувствую на расстоянии, что она, по обыкновению, прелестна. Ну, пока. Что? Вы ревну... А? Хи-хи... Ну, пока. Ладно, ладно. Хорошо. Через десять, самое позднее через пятнадцать минут я у вас... Ну, пока. Мчусь. Мчусь... А? Никто не хочет ехать за Ниночкой... Алло... Передайте им, что они свиньи. Я заеду сам. Ну, пока. Самое позднее через двадцать пять минут я с Ниночкой у вас. Ну, пока... Пока... Пока...

Ах, молодость, молодость!

Обуялов чувствовал себя бодрым и свежим. Он почти физически представлял себе, как он, румяный, весь в мелких дождевых каплях, ворвется с прелест-

ной Ниночкой в комнату Мэри Пароконской, как вывалит на сундук огромный пакет с бутылками и снедью и крикнет... Да. Что он крикнет? Нужно крикнуть что-нибудь залихватское и вместе с тем остроумное. Обязательно остроумное... Да, да... Он крикнет:

— С новой водкой, с новым счастьем!

Все это промелькнуло в мозгу Обуялова в течение одной секунды.

— Пока! — сказал он, повесил трубку и, ликуя, вышел в магазин.

В первую минуту Обуялов не понял, что произошло. Он подошел к прилавку и забарабанил пальцами по стеклу, за которым лежали колбасы и окорока. Потом огляделся по сторонам и почувствовал, что леденеет. Магазин был пуст. На потолке светилась одна лампочка слабого накала.

— Здесь есть кто-нибудь? — крикнул Обуялов.

Он не узнал своего голоса, такой он был тонкий и дрожащий.

Магазин молчал.

Обуялов бросился к двери. Дверь была заперта.

— Что же это будет? — спросил он вслух.

Но ответа не получил. С мраморной стойки глядели на него мертвыми глазами большие серебристые рыбы. Восковые поросята тянулись к нему мертвыми пятачками. На полках загадочно мерцали консервные банки и винные бутылки. Обуялов почувствовал себя заживо похороненным. Это ощущение дополнял сильнейший запах колбасы.

Обуялов забегал по магазину.

«Что делать? Что? Что? — в отчаянии думал он.— Не может быть, чтобы я — такой элегантный, такой красивый — пропадал здесь в то время, как у этой дуры Пароконской танцуют и веселятся. Нужно что-нибудь придумать. Как можно скорее. Немедленно. Стучать в двери? Кричать? Сбежится народ. Подумает, что налетчик. Иди потом доказывай... Ба! Позвоню в милицию и расскажу им все. Они меня освободят».

Обуялов двинулся к автомату. У него был один-единственный гривенник, да и тот отыскался где-то в подкладке.

Тщательно освободив его от грязной ваты и сдунув последние пылинки, Обуялов вошел в будку.

С последним гривенником нужно было быть особенно осторожным.

Он взял трубку. Телефонистка сообщила ему свой номер.

— Пожалуйста, соедините меня с милицией! — заискивающе сказал Обуялов.

— Опустите монету.

— Слушайте! Вы слушаете? У меня последний гривенник.

— Опустите монету.

— Я опускаю. Имейте в виду. Не спутайте там чего-нибудь. Меня заперли. Гривенник — мое единственное спасе...

— Опустите вы монету или нет?

Обуялов опустил гривенник.

— Уже опустил.

— Опустите монету!

— Да опустил я уже. Слышите? Опу-стил... Гражданка!

Сигнала не было.

— Ей-богу, опустил! Миленькая! Дорогая! Опустил! Стерва!..

— Автомат испорчен,— сказала телефонистка.— Повесьте трубку.

— Эй! — завопил Обуялов.— Как вас там! Барышня! Э-э-эй!

Ответа не было.

— Сволочь! — сказал Обуялов.— Дура!

Ответа не было.

Обуялов попытался исправить положение.

— Слушайте. Клянусь вам, что я погибаю. Что у вас в груди — сердце или камень?

Обуялов прислушался. Ответа не было. Его больше не слушали.

Вопрос о содержимом грудной клетки телефонистки так и остался невыясненным.

— Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Обуялов с наслаждением наплевал в трубку, повесил ее и сейчас же снова снял.

В трубку была слышна радиопередача. Заканчивался последний акт «Евгения Онегина».

— Спасите! — крикнул Обуялов козлиным голосом.— Эй, вы, там, на телефонной станции! Спасите человека!

«О, жалкий жребий мой!» — спел в ответ Онегин, после чего противный голос радиоконферансье заявил:

— Трансляция из Большого театра закончена. Объяснения давал профессор Чемоданов.

Обуялов оборвал трубку, бросил ее на пол и долго топтал ногами. Его охватило бешенство. Он выскочил в магазин, ударил кулаком поросенка и закричал:

— С новой водкой, с новым счастьем!

Потом долго плакал, уткнувшись лицом в балык и содрогаясь всем телом.

Утром служащие магазина были чрезвычайно удивлены. На стойке, подложив под голову окорок и укрывшись замасленным пальто, спал неизвестный человек. От человека сильно пахло рыбой. Спал он неспокойно: дергался всем телом и всхлипывал.

1928

НЮРНБЕРГСКИЕ МАСТЕРА ПЕНИЯ

В Большом театре

Остановив прямо на улице симпатичного юношу с открытым лицом, в кожаной куртке и с пачкой книг под мышкой, я спросил его:

— Ответьте мне, по возможности короче, на один актуальный вопросик: как поступить с Большим театром?

— Открыть в Большом театре кино! — быстро ответил юноша.

— А... оперу?

— Разогнать!

— И чтоб хорошие картины шли,— придирчиво добавил юноша.— Не какой-нибудь там «Стеклянный глаз» или «В город входить нельзя», а чтоб настоящее. Вроде «Чингиз-хана».

Следующий человек, которого я остановил, был человек солидный, с портфелем, в роговых очках.

— Как поступить с Большим театром? — спросил я.

— Отдать Мейерхольду,— сказал человек.

— А оперу?

— Перевести в мейерхольдовское помещение. А почему вы, собственно говоря, спрашиваете? Не Свидерский ли вы, часом?

— Что вы, что вы! — застенчиво хихикнул я.— Скажет же человек такое...

Весело напевая, я остановил третьего и последнего москвича и спросил его в упор:

— Как поступить с Большим театром?

— А что? — подозрительно спросил москвич.— Разве что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего такого не случилось. Так, вообще, интересно знать ваше мнение по поводу Большого театра.

— А! Тогда другое дело,— сказал москвич, поправляя пенсне.— Я, видите ли, любитель оперы. Я обожаю музыку, преклоняюсь перед пением. Слушая оперный хор, я плачу слезами радости. Имена Верди, Чайковского, Вагнера, Глинки, Россини и Мусоргского для меня священны. Я два раза слышал Шаляпина, три раза Баттистини и один раз Карузо. Что же касается моего дяди Павла Федоровича, то он слышал даже Таманьо и Тетраццини. Но... не ходите в Большой театр! Если вам дорого оперное искусство, если хорошее пение очищает вашу душу, если вы не хотите, придя из театра, повеситься в уборной на собственных подтяжках,— не ходите в Большой театр. Не пойдете?

— Увы! — ответил я.— Сейчас я иду именно в Большой театр. На «Мейстерзингеров».

Москвич всплеснул руками и стал пятиться от меня задом.

— Вагнера?! — простонал он.— Слушать Вагнера в Большом театре?! Но кто же его будет петь?!

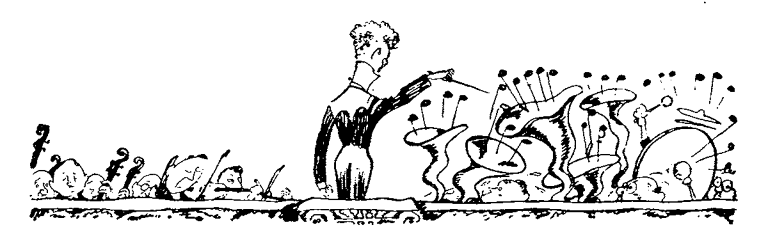
— В афишке,— храбро сказал я,— фамилии певцов обозначены. Очевидно, они и будут петь.

— Боже, боже! — донеслось до меня.— Он с ума сошел.

Моего третьего собеседника поглотила метель...

Я вошел под своды Большого театра.

Дирижер Л. Штейнберг был на высоте. Кто скажет, что он не был на высоте, пусть первый бросит в меня камень. Он возвышался над оркестром и был виден всему зрительному залу.



Постановщик, художник и хормейстер тоже были на высоте. Мы хотим подчеркнуть этим, что постановка была хорошая, декорации великолепные и хор отличный.

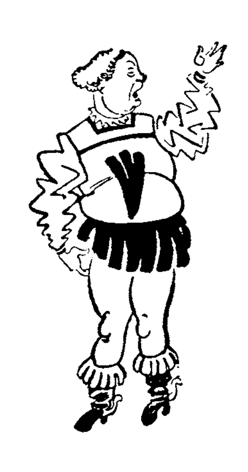
Постановщик, кроме свежих мизансцен, блеснул также совершенно исключительным техническим нововведением. В «Евгении Онегине» между вторым и третьим актом проходит несколько лет. В «Мейстерзингерах» этого утомительного промежутка удалось избежать. Между вторым и третьим актами проходит всего полтора часа. Это несомненное достижение принимается публикой почему-то безо всякого энтузиазма. Придирчивый народ, эта публика!

Теперь нужно сказать несколько теплых, дружеских слов о певцах.

Певцов было много, очень много. Они были одеты в различные костюмы. Одни были низенькие. Другие — наоборот, высокие. Иные были с бородами. Иные — так, бритые. Среди них были две женщины: одна — высокая, полная, другая — тоже полная, но пониже ростом.

Но все эти совершенно различные по своему внешнему виду люди сходились на одном немаловажном обстоятельстве: пели одинаково плохо. Приятным исключением был только баритон Минеев. Ему пришлось исполнять партию комика, который по ходу оперы должен плохо петь. Эту задачу певец выполнил блестяще.





Героя — безлошадного рыцаря Вальтера пел тенор Озеров. У некоторых зрителей сложилось такое впечатление, что Озеров перед выходом на сцену выпил стопку лимонаду, что лимонад этот застрял у певца в горле и в продолжение всего спектакля булькал там, заставляя зрителей помышлять о прохладном буфете.

Исполнителя партии Ганса Сакса Садомова вообще не было слышно. Если артист в частной беседе сошлется на то, что его якобы заглушил дирижер Л. Штейнберг, не верьте ему. Его может заглушить даже маленький тульский самоварчик, поющий за семейным столом.

Да! Совсем было забыл! Новый текст С. Городецкого!

Вы знаете, С. Городецкий написал к «Мейстерзингерам» новый текст! Ей-богу! Даже в программах написано: «Новый текст С. Городецкого».

Текста, правда, ни один человек в театре не расслышал, но все-таки льстило сознание, что поют не плохой, старорежимный текст, а новый, вероятно, хороший и, вероятно, революционный.

Вспоминается старый, добрый театральный анекдот. Знаменитому певцу Икс сказали:

— Послушайте, Икс! Ведь вы же идиот!

— А голос? — возразил не растерявшийся певец.

И все склонились перед певцом Икс.

Ему все прощалось.

У него был голос.

У него было то, что отличает певца от не певца.

Хорошая вещь — голос!

1929

ДОЛИНА

Автомобиль, усиленно чадя фиолетовым дымом, круто забрал в гору и стал подыматься по спиральной дороге все выше и выше.

Позади, насколько хватал глаз, как стадо слонов, нагнувших головы, стояли горы. Они покоились на фоне закатного неба с географической четкостью и неподвижностью.

Писатель Полуотбояринов протер запылившиеся очки и сказал:

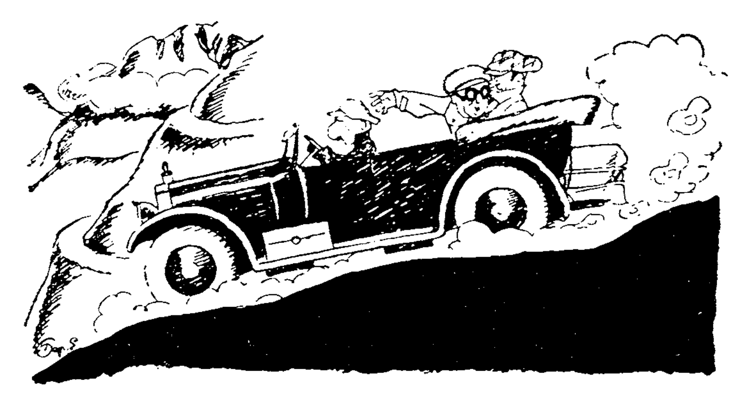
— Сейчас кончится последний подъем, и мы увидим всю республику как на ладони. Мы увидим долину, но какую долину — полную винограда и горных ручьев. Дикая красота!.. Эх, Коля, Коля!..

Писатель пошевелил пальцами и чмокнул языком.

— Во-первых, вино! Но какое! Не то что у нас в Москве. Дивное, натуральное вино, чистое, как слеза, и прозрачное, как янтарь!.. А как его подают, Коля! Подача какая! Не то что у нас в Москве. Подают его с сыром и зеленью для возбуждения жажды. Понимаешь, Коля? Дикая красота! Местные обычаи! Нетронутая целина! Республика, братец, хоть и маленькая, но какая! Сидишь ты, Коля, попиваешь вино, а в кабачке — дым коромыслом! Играют на разных инструментах и танцуют!..

Тихий, кроткий Коля восторженно охнул.

— Да-с, милый ты мой Коля. Мы проведем в этой микроскопической стране три дня. Но какие!



Писатель Полуотбояринов приник к Колиному плечу и зашептал:

— Девочки, Коля. Но какие! Поэма! Тысяча и одна ночь! Узорные шальвары и все на свете!

Коля издал сладострастный смешок.

— И возблагодаришь ты, Коля, старичка Полуотбояринова за его тонкое знание местных обычаев.

Автомобиль преодолел гору и покатил некоторое время по ровному шоссе. Потом медленно, с осторожностью лошади, начал спускаться. Глазам путников открылась долина. Сумерки покрывали ее. Под ними смутно угадывались густые сады. Из глубины долины заманчиво выглядывали первые городские огоньки.

— «Есть у нас легенды, *сказыки*!» — пропел Полуотбояринов противным голосом.

Подъезжали к городу уже в полной тьме. Городские огни сверкали все сильней и сильней. Тьма еще больше подчеркивала их яркость.

— Никак электричество,— задумчиво сказал Полуотбояринов,— с каких же это пор?

Автомобиль миновал большие дома с высокими трубами и вынесся на широкую, усаженную кипарисами, главную улицу. Вдоль тротуаров в аккуратных деревянных желобах хлюпали оросительные каналы.

— Позвольте,— прошептал Полуотбояринов,— не помню я что-то этой улицы. И каналов никаких не было. И труб никаких не было.

У нового единственного в городе здания гостиницы толпился народ. Над входом были протянуты плакаты: «Добро пожаловать!» и «Привет тов. Полуотбояринову от местных литераторов».

От толпы отделился худенький человечек в сапогах и в огромной кепке. Он подошел к автомобилю и, волнуясь, сказал на ломаном русском языке приветственную речь.

После этого путников ввели в приготовленную для них комнату и пожелали спокойной ночи.

— Ну-с, Коля,— сказал Полуотбояринов, с наслаждением улыбаясь,— отдохнем с дороги, а завтра я покажу тебе город! Тысяча и одна ночь! Вино! Девочки! Дикая красота! Поживем три денька в собственное удовольствие!

Ранним утром путешественников разбудил вежливый стук в дверь. Вошел давешний человечек в кепке.

— Можно ехать, товарищ Полуотбояринов,— сказал он, ласково улыбаясь,— все утро бегал. Достал новую наркомпросовскую бричку.

— К-куда ехать? — пробормотал Полуотбояринов, жмурясь от бьющего в окна яркого тропического солнца.

— Как куда? — удивленно молвил человечек в кепке.— Строительство смотреть. А куда же еще? У меня и расписание есть.

Он вынул листок бумаги и прочел.

— В восемь утра — гидростанция, в десять — новая общественная столовая (там можно позавтракать), в двенадцать — тропический институт, в два — оросительные работы, потом обед, в четыре — новый университет, в шесть — музей, в восемь — товарищеская беседа в литературной группе «Под сенью кипариса», в десять — концерт организовавшейся позавчера филармонии в новом театре. Потом спать. Завтра бричку обещал дать наркомзем. С утра...

— Погодите,— крикнул Полуотбояринов, натягивая кальсоны.— А это самое, то есть я... хотел спросить... Ну да... а как же б-больница? Больница у вас есть?

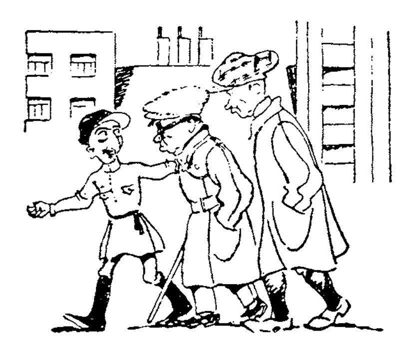
— Есть новая больница,— жалобно сказал челове-

чек в кепке,— но ее, товарищ Полуотбояринов, придется смотреть завтра. В расписании написано «завтра».

— Ну, что ж,— заметил Полуотбояринов со вздохом,— раз так, тогда, конечно. Едем, Коля!

Человечек в кепке оказался чудесным малым.

Он расширял и без того огромные восторженные глаза, которые бог знает как умещались на его ма-



леньком коричневом лице, и болтал без умолку. Это был настоящий энтузиаст. Он любил свою маленькую страну какой-то страстной, трогательной любовью. Когда проезжали мимо шумного, кишащего людьми и пестрого, как туркестанский халат, базарчика, он сказал с отвращением:

— Этой грязи скоро не будет. Вся эта часть города будет срыта до основания. Здесь пройдет прямой, как стрела, проспект.

Потом он показал большую голую площадь, на середине которой торчал, окруженный деревянными перильцами, нелепый камень.

— А здесь будет памятник. Кому памятник — еще не решено. Но будет.

— Скажите,— спросил Полуотбояринов, рассеянно поглядывая по сторонам,— а... как у вас насчет кабачков?.. Знаете, таких, в местном стиле... С музыкой...

— О, их нам удалось изжить,— сказал человечек в кепке,— конечно, трудно было, но ничего, справились. Теперь открыта большая общественная столовая с отличными европейскими обедами.

— Что вы говорите! — с отчаянием воскликнул Полуотбояринов. Он даже приподнялся с места.— Не может быть.

— Честное комсомольское слово! — торжественно сказал человечек в кепке.

И в подтверждение ударил себя кулаком по узенькой груди.

Полуотбояринов опустился на пыльное сидение брички и вытер вспотевший лоб платком.

Осмотрели гидростанцию. Потом поехали в столовую. По дороге человечек в кепке еще раз продемонстрировал путникам будущий памятник.

За завтраком в глазах Полуотбояринова засветился огонек надежды.

— Отлично, отлично,— льстиво пробормотал он, с неприязнью тыкая вилкой в свиную отбивную,— очень интересно. Гм... так вы говорите, что овцеводство развивается?.. Так, так. А... виноделие процветает?

— Виноделие достигло довоенного уровня,— сказал человечек в кепке,— но это пустяки. Мы не собираемся строить будущее нашей страны на виноделии. Но вот недавно мы открыли минеральный источник. Это да! Почище нарзана будет! Разлив новой воды идет вперед гигантскими шагами!

— Ой-ой-ой! — прошептал Полуотбояринов, закрывая глаза.— Слышишь, Коля, гигантскими!

— Слышу,— сказал кроткий Коля, глотая слюну.

Путникам подали бутылку новой воды. Они грустно чокнулись.

— За процветание будущего памятника! — заметил Полуотбояринов.

— Спасибо! — растроганно ответил человечек в кепке.— Спасибо!

И неумело полез чокаться.

Осмотрели тропический институт и оросительные работы. В промежутке еще раз полюбовались на площадь с камнем. Потом побывали в университете и музее. Во время дружеской беседы в литературной группе «Под сенью кипариса» Полуотбояринов был молчалив и задумчив. Ехать в театр наотрез отказался.

— Что же это? — восклицал человечек в кепке.— Ведь новая филармония. Вчера только организована.

— Не люблю я, знаете ли, музыки,— сказал Полуотбояринов.— Меня, собственно говоря, больше всего интересует быт. Скажите... как у вас танцы? Сильно развиты?

— Что вы, что вы! — замахал руками человечек в кепке.— Давно изжили!

— Как? Неужели так-таки совершенно изжили?

— Совершенно.

— Ах черт побери! Это... это прямо замечательно. Слышишь, Коля?

— Слышу,— ответил Коля и пребольно ущипнул Полуотбояринова за локоть.

— Ай-яй-яй! — пискнул Полуотбояринов.— Это большое достижение. А... скажите, может быть, среди студенческой молодежи, того... какие-нибудь неувязки? Есенинщина? А? Не наблюдается?

— Какие неувязки? — спросил человечек в кепке, широко раскрыв глаза.

— Ну, такие, понимаете, семейные... Так сказать, половые.

— А! Ну, этого у нас нет. Это московская проблема. Были единичные неувязки года два тому назад, это верно. Но мы их изжили в корне.

— В корне? — тупо переспросил Полуотбояринов.

— В корне! — звонко ответил человечек в кепке.

Несмотря на просьбы и даже мольбы остаться еще на денек и посмотреть хотя бы новую ткацкую фабрику, путники уехали в этот же вечер.

Шурша шинами по мелкому щебню шоссе, автомобиль вылетел из города. Миновав густые горные сады, по которым, плеща, лилась невидимая вода, машина пошла вверх.

Впереди, за трепещущими отблесками автомобильных прожекторов, таились горы.

Долина осталась позади.

1929

ДАВИД И ГОЛИАФ

Футбольный матч Украина — РСФСР

— А я вам говорю, что украинцы раздавят ресефецеровцев как котят! Во-первых, они в этом году уже давно тренируются. У них, на юге, можно тренироваться с февраля месяца. А во-вторых, они захотят отплатить Москве за прошлогоднее поражение! Уж я-то знаю! Еще в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда Одесса играла с Ленинградом, я сказал: «Южане всегда будут бить северян».

Эту фразу произнес огромный усатый мужчина, вытирая лоб и щеки платком. Усатый мужчина потел. Пот стекал с него шумными весенними ручьями. Галстук душил его. Судьба зло пошутила над усатым. Когда, оттеснив толпу жирными плечами, он пробился к кассе и потребовал билет, ему задали простой житейский вопрос:

— Вам на какую трибуну? На северную или на южную?

И усатый, почувствовав себя вдруг квартиронанимателем, сказал:

— Конечно, на южную.

Теперь, сидя лицом к беспощадному солнцу, он потел и скалил зубы.

— Не выиграет Украина. Куда ей! — воскликнул маленький мальчик, сосед усатого.— Во-первых, — в

голу стоит Соколов, а во-вторых,— наложат украинцам, как пить дать.

По сравнению с усатым Гулливером мальчик казался лилипутом. Мальчик не обливался потом, не скалил зубов. Он дружил с солнцем. Немигающим взглядом смотрел он на зеленое поле и ждал.

Гулливер покосился на лилипута сверху вниз. С минуту он соображал: стоит ли вступать в спор с таким маленьким? Потом не выдержал.

— Это кто же кому наложит? — спросил он ироническим басом.

— Москва наложит Украине! — звонко ответил мальчик.

Усатый затрясся от негодования.

— А известно ли тебе, мальчик, что украинцы тренируются с февраля? — язвительно спросил он.

— Известно,— ответил мальчик.— Мне все известно. Только куда им до наших. Украинцы мелкие. Не хватит выдержки.

— Знаешь что, мальчик,— сказал Гулливер, стараясь смягчить густоту своего голоса,— давай заключим пари. На три рубля! Я говорю, что побьет Украина. Хочешь?

— Пожалуйста, дяденька,— заметил мальчик,— я охотно. Только у меня таких денег нет.

— А сколько у тебя есть?

Мальчик встал и принялся рыться в карманах. Он вытащил хорошую костяную пуговицу, самодельный перочинный нож и потертый двугривенный.

— Это все,— со вздохом сказал он,— больше ничего нет.

— Ладно,— вскричал азартный Гулливер,— ставлю три рубля против ножа, пуговицы и двугривенного.

Мальчик побледнел. Ближайшие полтора часа могли лишить его всего накопленного с таким трудом богатства. В то же время прельщала возможность неслыханно, легендарно увеличить основной капитал.

— Идет! — прошептал мальчик, закрывая глаза.

Давид и Голиаф ударили по рукам.

Сорокатысячная толпа заревела. Казалось, начинается землетрясение и за первыми глухими его уда-

рами последуют такие удары, которые разрушат бетонный стадион, подымут и понесут пыль Петровского парка и заставят померкнуть солнце.

На поле выбежала Украина в красных рубашках. За нею РСФСР — в голубых.

Мальчик издал замысловатый возглас, который, очевидно, должен был изображать военный клич краснокожих, вцепился ручонками в колено своего мощного соседа и уже затем в продолжение всего матча не двигался с места.

Игра сразу же пошла быстрым темпом. Нападение Украины ринулось вперед. Мяч легко перелетал от красного к красному, минуя голубых. Последний москвич остался позади. Еще секунда, и украинец вобьет в ворота противника первый мяч.

Из-под усов Гулливера вырвался рокот. Мальчик закрыл глаза. Послышался сухой удар. Стадион замер. И сейчас же задрожал от криков. Вратарь сделал невозможное. Он задержал «мертвый» мяч.

— Ч-ч-черт! — прошептал Голиаф.

— А-а! — слабо вскрикнул мальчик. — Классный голкипер Соколов. Мировой голкипер!..

И еще сильней вцепился в тучное колено соседа.

Москвичи рассердились. Теперь инициатива была в их руках. Мяч с математической точностью переходил от голубого к голубому. Его вырывали, посылали к воротам Москвы, но он снова, неумолимо, как чемпион бега, приближался к Украине. Центр полузащиты — Селин передал его центру нападения Исакову. Исаков «обвел» украинского бека и передал мяч инсайту. Путь свободен. Инсайт несется вперед. Украинский голкипер растопырил руки...

Гулливер закрыл глаза и отвернулся.

— Дае-ошшь! — крикнул мальчик, сверкая глазами.

Удар! И мяч полетел в сторону, минуя ворота.

— Тьфу! Шляпа! — с омерзением сказал мальчик. — Ш-ш-ляпа!

Гулливер захохотал.

— По воротам не могут даже ударить! — завизжал он. — Ей-богу, в тысяча девятьсот тринадцатом

году этого бы не было. По воротам, молодой человек, нужно уметь бить, бить-с, бить-с!

Первая половина игры окончилась вничью.

Давид и Голиаф смотрели друг на друга с нескрываемым отвращением. Голиаф пробился в буфет и притащил оттуда две бутылки ситро. Одну он утвердил между ногами — про запас, а из другой долго с наслаждением пил, фыркая, как конь, и с удовольствием отрыгиваясь. Давиду он не дал даже глотнуть.

— Плакала твоя пуговица, мальчик,— издевался он,— плакал твой ножик. Плакал двугривенный! Наложат украинцы москвичам.

— А ты что, одессит? — грубо спросил мальчик.

— Я харьковский,— ответил толстяк,— у нас, слава богу, в футбол умеют играть. Не то что у вас в Москве.

— Смотри, дядя, за своей трешкой. А моего ножика раньше времени не касайся.

Вторая половина игры велась с необыкновенным упорством. Игроки падали, подымались, снова падали и снова бросались в бой.

И вдруг, совершенно неожиданно, на пятнадцатой минуте, московский игрок забил гол в ворота Украины.

— Что? Слопал? — крикнул мальчик.

— Сейчас отквитают,— ответил толстяк дрожащим голосом.

С этого времени мечты Голиафа сосредоточились на одном: на том, чтобы украинцы отквитали гол. Мечты Давида были обратно пропорциональны.

Все усилия Украины разбивались о каменную защиту. Времени оставалось все меньше и меньше.

«Ничего,— думал толстяк,— осталось пять минут. Успеют отквитаться!»

Он не терял надежды даже тогда, когда до конца матча осталась минута. Свисток судьи прозвучал для усатого траурным маршем. Все кончилось. Усатый встал и зашатался. Обезумевший мальчик, забыв про пари, бросился вниз, чтобы вдоволь покричать и посмотреть, как качают игроков.

Толстяк, удрученный так, как будто бы его обокрали, смешался с огромной толпой и направился к выходу.



Трамваи брались с боя. Сесть в трамвай представлялось делом совершенно невозможным. Толстяк пошел пешком.

На Триумфальной площади его схватил за ногу какой-то мальчик. Это был Давид. Каким-то чудом ему удалось настигнуть Голиафа. Радости его не было границ.

— Это я, дяденька,—сказал он, тяжело дыша,— давай три рубля.

Толстяк оглянулся по сторонам, вокруг него шла нормальная городская жизнь. Все было на месте — трамваи, автобусы, милиционер. Никто не бежал, никто никого не «обводил», никто не кричал. Все было тихо, мирно и прилично.

Тогда он обдернул пиджак, поправил галстук и гордо, сверху вниз, посмотрел на мальчика.

— Давай три рубля! — повторил мальчик.

— Пошел, пошел, мальчик,— сказал толстяк.— А вот я тебя в милицию! — И, обращаясь к прохожим, добавил: — Прямо проходу нет от этих беспризорных! Еще чего доброго в карман залезут.

И мальчик понял, что дело его безнадежно.

— Сволочь! — презрительно сказал он.— Тоже! А еще болельщик называется! Сволочь!

1929

НЕПОГРЕШИМАЯ ФОРМУЛА

1

«ДЖОННИ НАИГРЫВАЕТ» ОПЕРА МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

В вестибюле я столкнулся со знакомым теакритиком перед началом спектакля.

— Ну что? — спросил теакритик.— Понравилось?

— Не знаю,— честно ответил я,— если нам удастся встретиться после спектакля, тогда я попытаюсь высказать вам свое мнение.

— Чудак человек,— сказал теакритик,— ведь все уже заранее известно.

— Неужели известно? — взволновался я.

— Конечно. Заранее известно.

— Все?

— Решительно все: музыка хорошая, постановка неважная, поют плохо, а сюжет дрянь. Я даже и слушать не буду. Уж очень тут жарко. Пойду на воздух есть мороженое.

— А вдруг окажется наоборот? Например, поют хорошо, музыка неважная, сюжет плохой, а постановка дрянь. Или: постановка хорошая, сюжет неважный, музыка плохая, а певцы дрянь.

— Все известно,— лениво повторил критик,— музыка хорошая, постановка неважная, поют плохо, а сюжет дрянь.

— Почему же вы находите, что музыка хорошая? — с раздражением спросил я.

— Очень просто. Ведь опера-то идет во всем мире, а мир не настолько глуп, чтобы слушать плохую музыку.

— Хорошо. Почему же в таком случае сюжет дрянь? Ведь мир-то не настолько глуп, чтобы...

— Не будьте ребенком. В том-то и дело, что мир глуп, и хорошую музыку ему можно подсунуть только вместе с дрянным сюжетом.

— А почему постановка неважная?

— Пойдите попробуйте согласовать дрянной сюжет с хорошей музыкой. А Немирович-Данченко человек добросовестный. Очень плохо у него не получится. Следовательно, ясно — постановка неважная.

— А поют почему плохо? Ведь они, собственно говоря, и петь-то еще не начинали?

Теакритик устало махнул рукой.

— Идите послушайте. Вам хорошо. Вы не специалист. А мне-то каково. Ведь я, милый человек, все спектакли в этом театре прослушал. Меня пожалеть надо.

В голосе критика послышались слезы. В моей душе шевельнулось чувство жалости к этому милому, всеми обиженному человеку. Я хотел сказать ему несколько теплых слов, но прозвенел третий звонок, и критик убежал из театра.

Дирижер взмахнул палочкой, и оркестр грянул.

Премьера оперы «Джонни» совпала с удивительным для Москвы событием — почти тропической жарой. Поэтому первая картина, которая по замыслу автора должна была представлять глетчер, не дошла до зрителей. И действительно, не верилось, что две морщинистые полотняные штуки, уныло болтающиеся по обе стороны сцены,— и есть страшный альпийский ледник.

Композитор Макс пел между двумя полотняными штуками о том, что он, дескать, одинок и спасается от людей на глетчере. Потом пришла оперная певица Анита, и Макс полюбил ее.

В антракте зрители снимали брюки и ими обмахивались.



Анита ушла от Макса и сошлась со скрипачом Даниэлло. Негр Джонни (кстати, единственный в пьесе негр и единственный в пьесе негодяй) украл у Даниэлло его скрипку. Независимо от этого Анита ушла снова к Максу. Потом Даниэлло попал под поезд.

«А ведь критик-то прав,— подумал я,— сюжетец — дрянь. Да и постановка неважная!»

В остальном критик тоже оказался прав.

2

«СЫН СОЛНЦА» ОПЕРА
2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Ну-с,— думал я по дороге в театр,— советская опера должна резко отличаться от буржуазной».

— Вы куда?

Предо мною стоял теакритик.

— На «Сына солнца». А что, разве все известно?

— Конечно, все, наивный вы человек. Формула остается почти та же, что и для «Джонни»: музыка хорошая, поют неважно, постановка плохая, а сюжет дрянь.

— В чем же разница, что-то не помню?

— Как же, как же? У Немировича постановка лучше, а поют хуже. Здесь — поют лучше, а постановка несколько похуже.

— Следовательно, сюжет и там и здесь...

— До свидания. Спешу в цирк. В цирке обычно у меня рождаются лучшие мои оперные рецензии.

И он убежал.

А я сидел и поражался: до чего, собака, верно определил положение!

На сцене фигурировали китайцы и европейцы. Китайцы ходили толпами. Европейцы разлагались. Страсть к «разложению» сказывалась в них настолько сильно, что они даже танцевали фокстрот, совершенно позабыв о том, что действие происходит в 1900 году, во времена боксерского восстания, когда в моду входила «полька-кокетка», а о «матчише» еще и не слыхивали.

Дочка английского полковника полюбила китайского мудреца. Мудрец в свою очередь полюбил дочку. Мудрец проболтался ей о восстании и принужден был отравиться. Она, дождавшись последнего действия, выпрыгнула в окно. То ли для того, чтобы покончить с собой, то ли для того, чтобы присоединиться к китайцам и покончить со своим английским папашей.

Перед последней картиной в фойе можно было видеть старушку в съехавшем на затылок чепце. Она подбежала к администратору и, задыхаясь, спросила:

— Где же Гельцер?!

— Какая Гельцер? — заинтересовался администратор.

— Да балерина же, гос-поди!!

— Тут, гражданка, балерина ни при чем.

— Как ни при чем! Ведь это «Красный мак»? Балет?

— Нет. «Сын солнца». Опера.

— А почему музыка похожа? И сюжет похож? И обстановка похожа? И китайцы вроде как бы одинаковые?

— А это, гражданка, обратитесь в Главискусство. Пущай там и разберутся, где «Красный мак», а где «Сын солнца». А мы, извините, больше насчет контрамарок.

Плачущую старушку увезли.

А сочинитель сюжета уже стоял на сцене рядом с композитором и раскланивался направо и налево.

1929

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Алеша Безбеднов долго и уныло врал, что состоит кандидатом в члены коллегии защитников и что прием его в коллегию — вопрос двух-трех дней. Сперва Алеше верили, а потом перестали.

С утра до вечера Безбеднов вращался среди писателей, провожал в кино писательских жен, укачивал писательских детишек, а иногда бегал по писательским делам в редакции журналов и, вызывающе стуча палкой, требовал у растерянных бухгалтеров писательский гонорар.

Жил Безбеднов худо. То обстоятельство, что он вообще существовал еще на свете, можно было целиком и полностью приписать доброте писателей, которые его прикармливали и иногда давали немного карманных денег.

— Вот видите,— сказал я однажды, встретив его, тощего и печального, на бульваре,— видите, до чего вас довело безделье.

— Что же мне делать? — спросил он просто.

— Подумайте хорошенько. Пораскиньте мозгами. Времени у вас много. Не может быть, чтобы взрослый сильный человек не нашел при желании профессии по вкусу. Подбодритесь, Безбеднов. И, ей-богу же, вы еще увидите небо в алмазах, как сказал Антон Павлович Чехов.

— Чехов? — тускло спросил Безбеднов.— Это где же сказал, в записной книжке?

— Нет, Алеша, в «Дяде Ване». Стыдно не знать этого.

Безбеднов вдруг как-то странно посмотрел на меня, мигнул ресничками и спросил:

— Значит, про эти, про алмазы, в чеховской записной книжке ничего не написано?

— Не знаю, Безбеднов, не знаю. Я, должен вам заметить, не специалист по Чехову.

Я не видел Безбеднова целый год. И вдруг...

Я встретил его в кондитерской Моссельпрома. Свежий, пополневший, в приличной толстовке, стоял он возле стойки и поедал пирожные. Я, по привычке, оглянулся, ища глазами Алешиного мецената. Но мецената, к моему величайшему удивлению, не было.

— Хотите? — спросил Безбеднов, вытирая губы.— Отличные пирожные. Ей-богу. Я угощаю.

— Спасибо, не хочется. Но что с вами произошло? С каких пор?

— Идемте в кино. Я угощаю. Ей-богу. Вот деньги. Сто рублей. По дороге все расскажу.

Он схватил меня за руку и выволок на улицу.

— Я начал издаваться. Ей-богу.

— То есть как это — издаваться? Что вы издаете?

— Я издаюсь,— вернее, печатаюсь в журнале «Северное сияние». Ей-богу. Что я печатаю? Записную книжку.

— Какую книжку? Я никогда не видел, чтобы вы записывали что-нибудь в записную книжку.

Безбеднов вытащил из кармана журнал, развернул его и сунул мне в руки.

На верху страницы было написано:

«Из новой записной книжки А. П. Чехова».

— Вижу,— сказал я,— но при чем тут вы?

— Читайте!— закричал Безбеднов.— Ей-богу. Скорей читайте. Сами увидите.

И я прочел:

«...Хорошо бы пьесу написать из жизни помещика...»

«...Помещика зовут дядей Ваней. Это ясно...»

«...Героиня — тоскующая девушка:

— Мы еще увидим небо в алмазах. Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем...»

«...Хорошо бы рассказ написать из жизни врача...»

«...Чудное название для рассказа: «Палата № 6»...»

«...Фамилия: Навагин...»

«...Фамилия: Пересолин. Чиновник. Его жену чиновники называют — Пересолиха...»

«...Хорошее название для пьесы: «Вишневый сад»...»

«...Думаю съездить на Сахалин. Говорят — интересно...»

«...Не купить ли дачку в Ялте. Знакомые советуют...»

«...Только что получил возмутительное известие о том, что академия кассировала выборы Максима Горького. Пошлю им обидное письмо...»

«...Прекрасное название для рассказа: «Толстый и тонкий»...»

«...Только что написал «Жалобную книгу». Знакомые одобрили...»

— Ну, что, похоже? — спросил Безбеднов.

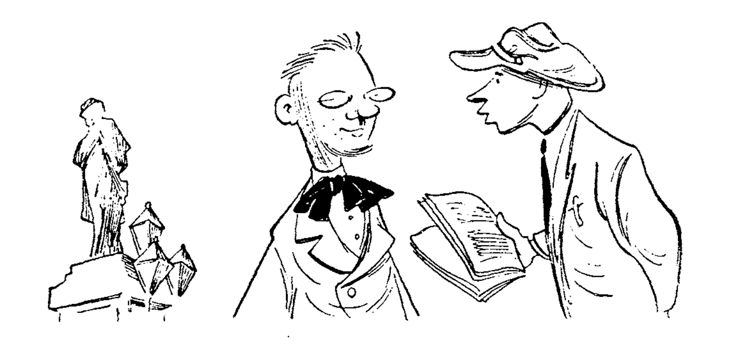
— Свинья вы, Алеша,— ответил я,— самого бы вас за это на Сахалин. Знакомые одобрят.

Безбеднов долго смеялся, мигая ресничками.

— Я уже два отрывка продал,— сказал он наконец, отдышавшись.— Хочу теперь опубликовать записную книжку Гоголя. Я уже кое-что набросал. Сам Гоголь не догадается. Ей-богу. Вот. Слушайте.

Безбеднов вынул записную книжку и прочел:

«...Хорошо бы съездить в Рим. Говорят — интересно...»



«...Эх, тройка! Птица тройка! Кто тебя выдумал?..»

«...Отличное название для пьесы: «Ревизор»...»

«...Мне представляется большое полотно под названием «Мертвые души». Фамилия героя — Чичиков...»

«...Чуден Днепр при тихой погоде...»

«...— А ну, поворотись-ка, сынку!..»

«...Не понравилась мне что-то вторая часть «Мертвых душ». Не сжечь ли?..»

«...Сжег. Так-то оно лучше...»

«...Решил написать большое полотно под названием «Война и мир».

— Вы с ума сошли! — крикнул я.— «Война и мир» не Гоголя, а Толстого!

— Вы уверены? — спросил Безбеднов.

— Уверен, конечно.

— Гм... Так вы говорите Толстого? Так, так... А скажите, Толстой... тоже любил записывать свои мысли в записную книжку?

1929

МЕШКИ И СОЦИАЛИЗМ

Иностранные журналисты, посещающие СССР, делятся на три группы: 1) сочувствующих, 2) безразличных и 3) ненавистников. Все они по возвращении домой делятся с читателем своими впечатлениями и умозаключениями.

— Здорово! — пишут сочувствующие.— То есть просто поразительно! Страна растет не по дням, а по часам! Никогда еще мировая история не видела такого бурного роста!

— Гм... гм...— сообщают безразличные.— Не знаем-с, не знаем-с! Может, что-нибудь и выйдет. Однако не слишком ли быстро вы двигаетесь, господа большевики? Не споткнулись бы!

— Варвары! — шипят ненавистники.— Выдумали тоже! Пятилетка! Реконструкция! Интервенции на них нету! Черти!

И все журналисты, к какой бы группе они ни принадлежали, в один голос отмечают энтузиазм населения.

Этот энтузиазм им абсолютно непонятен.

— Откуда все это? Как это произошло? Что случилось?

Как большевики умудрились распространить столько внутренних займов? Почему рабочие по собственному желанию борются с прогулами и подымают производительность труда? С какой стати население Советского Союза, вместо того чтобы тихо (как в «цивилизованных» странах) заниматься делами своего семейного корыта, интересуется делами Тракторостроя,

участвует в социалистическом соревновании, вносит рубли на какой-то там аэроплан и кого-то вызывает, интересуется чисткой, разоблачает вредителей, марширует в рядах культпохода, не забывает о МОПРе и спешит записаться в Автодор?

— Откуда энтузиазм? Почему энтузиазм? Ведь денег в России за энтузиазм не платят! Какой же может быть энтузиазм без денег?

Они разводят руками. Мысль, воспитанная в буржуазных школах, вскормленная за семейным обеденным столом и окрепшая в продажных редакциях газет, отказывается дать объяснение.

А нам все просто и понятно.

С хлебозаготовками случилась заминка. Вдруг неожиданно выяснилось, что для хлеба не хватает мешков.

И тотчас же, немедленно от железнодорожника т. Струся поступило предложение:

— Товарищи! Давайте собирать мешки!

Логика простая. Если человек дает мешок — убыль для него небольшая. А государству легче: будут мешки — будет хлеб. Будет хлеб — будет промышленность. Будет промышленность — будет социализм.

В сознании хозяина страны, подлинного ее строителя,— мешки и социализм сливаются в одно понятие.

Простой мешок перестает быть простым мешком. Он становится мешком социалистическим, как стали социалистическими паровозы и машины, дома и земли, люди и вещи.

Вот откуда энтузиазм, господа сочувствующие, безразличные и ненавистники!

Первый день сбора по одному Московскому узлу дал шесть тысяч мешков. Московские железнодорожники взяли на себя обязательство сдать больше пятидесяти тысяч мешков.

Вас не удивляет этот темп, господа обозреватели советской жизни? Вы поражены? Удивлены? Вы возмущены?

Погодите! Сбор мешков только начался!

То ли еще будет!

1929

ДЛЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

На московских улицах 7 ноября

Раннее утро. Улицы щеголяют особенной утренней чистотой. В такой час необыкновенно резко подмечаешь те детали городского хозяйства, которые скрыты в течение суетливого, шумного дня.

Остоженка. Какая ужасная мостовая! На каждом шагу ухабы и рытвины — настоящие капканы для автомобилей.

Волхонка. Немного лучше.

Моховая. Кое-как.

Тверская. Здесь есть на что посмотреть. От самого Охотного ряда идет превосходное бетонированное шоссе. У нового здания телеграфа — брусчатый подъем и дальше — сплошное асфальтовое зеркало: кусочек будущей Москвы.

Таких кусочков в этом году прибавилось немало. С каждым новым годом Москва из бывшей превращается в будущую.

Героиня сегодняшнего дня — цифра, обыкновенная цифра. В этих цифрах, превращающихся на наших глазах в новые заводы, школы, дома, фабрики, больницы, дороги, гидростанции и совхозы,— наше будущее.

На стенах и афишных тумбах еще мокрые от клея плакаты — календари сегодняшнего праздника. Они извещают о закладках и открытиях.

У вас разбегаются глаза.

Сегодня тридцать восемь различных закладок и открытий, приуроченных к двенадцатому Октябрю.

— Ваше слово, товарищ цифра!

В будущем году шестьдесят московских улиц будут покрыты новой мостовой. В том числе — бульварное кольцо и почти все Садовое кольцо.

Ах, цифры, цифры!..

Тарахтение извозчичьей пролетки — первый шум в этот утренний час. Вы отвлекаетесь от приятных мыслей и смотрите на эту «карету прошлого», доживающую на московских мостовых последние свои годы. В «карете прошлого» сидит человек в кепке. Лицо его крайне взволновано. Ему не сидится на месте. Он взволнован. На плече у него большое красное знамя с золотыми кистями. На знамени слова:

«Пятилетку в четыре года».

Знаменосец спешит. Через какой-нибудь час знамя его потонет в океане других знамен. И на каждом из них большими или малыми буквами, всеми шрифтами, какие только могут быть созданы фантазией художника, будет написано слово:

«Пятилетка».

Сегодня в храме Христа Спасителя необыкновенное стечение публики. Преобладает молодежь и фотографы.

Не правда ли, странная публика! Молодежь! Фотографы! В церкви! В такой день!

Ничего не поделаешь. Храм Христа, вернее купол храма,— превосходный наблюдательный пункт для любителей эффектных зрелищ.

У входа в храм — толчея. Реплики далеко не церковно-благолепного свойства.

— Проходите, товарищи, проходите!

— Да куда вы, товарищ! Не видите — экскурсия?

— Това-рищи! Спокойствие! Пропустите экскурсию! По льготным билетам.

«Лики» святых несколько растеряны. Они не привыкли к столь странной аудитории. Во время красноречивых проповедей митрополита Введенского бывает совсем, совсем другая аудитория.

Впрочем, сегодняшние посетители вполне корректны. Они не задерживаются внизу. Поспешно, тяжело дыша, они взбираются наверх. Там с четырех колоколен — четыре необъятных пейзажа.

Москва с птичьего полета, да еще в этот день, выглядит необыкновенно нарядно. Мосты и набережные Москвы-реки как бы посыпаны маком.

Отсюда, сверху, удивляешься, как это они могут вместить столько народу.

Как понятно отсюда ощущение высоты и легкости, которое испытывают, наверно, шестьдесят летчиков, проделывающих над Красной площадью головокружительные петли и перевороты.

— Парад, парад окончился! Смотрите!

Цепочкой протянулась колонна броневиков. Прошла к себе, в казарму, рота красноармейцев. Осторожно лавируя в толпе, одна за другой пробираются восвояси посольские машины. Они развозят разодетых в пух и прах военных атташе глубоко «дружественных» стран.

— Скорее вниз! В демонстрацию!

В этом году оркестровое дело на большой высоте. Отовсюду, перебивая друг друга, сливаясь мелодиями, путаясь в тактах, звучат большие и малые духовые оркестры.

Хоровое дело — тоже на высоте. «Конная Буденного» до такой степени смешалась с «Молодой гвардией», «Кузнецами» и «По морям, по волнам», что совершенно невозможно понять, где волны и где кузнецы.

И все заглушает смех. Смеются все: дети, юноши и старики. Даже почтенные бухгалтера, чувствующие себя как-то странно без привычных портфелей,— и они не могут скрыть добродушной улыбки.

В одной из колонн качают старичка активиста. Старичок радостно повизгивает.

Пятилетняя девочка на руках у матери размахивает с тротуара флажком и приветствует проходящие колонны. Она побывала только что у здания Коминтерна и видела, как делегаты иностранных рабочих приветствовали с трибуны демонстрантов. Девочке это понравилось. И вот она копирует ораторов.

— Ура! — кричит она, помахивая флажком.— Ура!

— Ур-ра! — отвечают из колонн.— Смотрите, какая махонькая! А ничего — понимает.

На ребенка устремлены тысячи нежных взглядов. В этой маленькой девочке — краснощекой и веселенькой — демонстранты видят будущего человека, жизнь которого с начала до конца будет счастливой и безмятежной, того человека, для которого они подставляли себя под белогвардейские пули, для которого они переносят лишения и работают изо всех сил.

Для него, для будущего счастливого человека, строятся заводы и фабрики, марширует железная армия, жужжат пропеллеры. Для него со всех плакатов глядят слова:

— Пятилетка. Реконструкция. Социализм.

1929

ДЕНЬ МАДАМ БЕЛОПОЛЯКИНОЙ

Мадам Белополякина просыпается поздно, в первом часу. Муж давно уже на службе. В комнате отвратительно. На столе оставшаяся после вчерашнего ужина грязная посуда (мадам Белополякина поленилась ее вымыть и оставила до утра, когда придет домработница). На стульях разбросаны юбки, чулки, бюстгалтеры. Угол одеяла съехал с постели на пол. В раскрытой дверце зеркального шкафа отражается опухшее после сна лицо и гривка неестественно желтых стриженых волос. На затылке просвечивают корни волос природного цвета — черные.

— Ню-ура! — кричит мадам Белополякина.— Ню-ур!

— Иду-у!

И в комнате появляется домработница Нюра. На лице ее выражение напряженного страха и преданности.

— Подымите сторы,— говорит мадам Белополякина.— Да подождите, не топайте ногами, как лошадь. Сначала уберите посуду. Да не гремите вы подносом... Гос-споди, несчастье мое... Подождите, говорят вам! Поставьте посуду на место.

Нюра повинуется.

— На рынке были?

— Были,— отвечает Нюра.

— Принесите сдачу. Да погодите, господи, горе мое, куда вы уходите?.. Сначала посчитаем. Сколько я вам вчера дала? Пять рублей?

— Пять.

— Что же вы купили?



Нюра привычно загибает шершавый, как наждачная бумага, указательный палец. Начинается самое мучительное — утренние расчеты.

— Да погодите вы, гос-споди, не болбочите, как индюшка, ничего понять нельзя. Так, значит, мясо один рубль шестьдесят копеек, да двенадцать копеек лук — один рубль восемьдесят две копейки, да один рубль девяносто копеек масло — будет два рубля девяносто копеек. Что вы еще брали? Телятину? Телятина — девяносто? Значит, два девяносто да девяносто будет три рубля девяносто копеек. Да тридцать восемь копеек подсолнечное... Сколько же это будет? Три рубля девяносто копеек и тридцать восемь копеек — четыре рубля тридцать восемь копеек. Все?

— Все,— говорит Нюра и вздыхает.— Больше ничего не брали.

— Значит,— высчитывает мадам Белополякина, хмуря жирный лобик,— я вам дала пять рублей, а вы истратили четыре рубля тридцать восемь копеек. Значит, сдачи — пятьдесят восемь копеек. Давайте деньги и принесите мой ридикюль. Он там, под кофточкой... Что же вы стоите, как лошадь? Вам говорят!

Но Нюра не двигается с места. Она ошеломленно смотрит на стенку, оклеенную прекрасными розовыми обоями со следами раздавленных клопов.

— У меня гривенник сдачи,— произносит она, с трудом шевеля губами.

— Гос-споди! — восклицает мадам Белополякина.— У нее гривенник сдачи! Откуда же гривенник, когда должно быть пятьдесят восемь. Вы что покупали?..

Счеты возобновляются.

— Телятина — девяносто,— считает Белополякина,— да мясо рубль шестьдесят, итого — два девяносто. Да рубль девяносто масло. Будет четыре девяно-

сто. Да тридцать восемь копеек подсолнечное — пять тридцать восемь. Да двенадцать копеек лук — пять сорок восемь... Погодите! Сколько я вам давала? Пять? А вы истратили пять сорок восемь... Как же вы могли истратить пять сорок восемь, если я вам дала пять? Ну, ладно. Потом сосчитаемся. Горе мое!.. Заберите грязную посуду и давайте чай!

И мадам Белополякина вытаскивает из-под одеяла пухлые волосатые ноги.

Трудно приходится интеллигентной женщине в наше суровое время.

Мадам Белополякина часто жалуется на жизнь. Она — женщина интеллигентная. Она — тонкий, нежный организм, который не выносит нынешних треволнений и лишений. Заграничных модных журналов не докупишься. В наших, советских — сплошной ужас: вместо модных платьев — фотографии каких-то заводов и выкройки красных косынок. Приходится брать журналы на прочет, снимать с рисунков копии и платить за каждую копию шесть гривен.

Муж мадам Белополякиной где-то служит, в каком-то научном учреждении. Зарабатывает мало — триста рублей. «Литературный кружок», где танцуют по пятницам и собираются безусловно «порядочные люди», хотят закрыть. Частников прижимают налогами. Половину знакомых выслали куда-то в Соловки. Жить становится труднее с каждым днем. Прислуга — дура, ничего не понимает. Прямо кошмар какой-то.

В шесть часов появляется муж, жадно обедает и заваливается спать.

— Разбуди меня, кошечка, в восемь,— просит он.— Нужно на заседание.

— Хорошо, котик,— говорит жена.

Муж очень любит мадам Белополякину. Однако ей он надоел. Она охотно ушла бы от него. Но к кому? Ведь *настоящих* людей нету. Хорошо было бы

выйти замуж за иностранца, уехать за границу, подальше от этой нехорошей, грубой страны. Но иностранец с честными намерениями не является. Иностранцы тоже хитрые. Норовят воспользоваться случаем и бросить.

Вечером, выпроводив мужа, мадам Белополякина красит толстые потрескавшиеся губы, основательно пудрится и ждет гостей.

Отдохнуть душой можно в обществе научного сотрудника, молодого человека Бориса Боберова.

Борис Боберов — врун. Все, что он ни говорит,— все ложь. Врет он небрежно, неряшливо, путается. Но ему прощается все. Его ложь — святая ложь.

— Здравствуйте, дорогая,— говорит он нежным голосом, целуя мадам Белополякину в пульс и подымая брови.— А у меня новость!

— Не секрет? — кокетливо спрашивает Белополякина.

— Что вы! Разве от вас могут быть какие-нибудь секреты! Впрочем, чепуха! Мне прислали из-за границы посылку.

— Ах! Что вы говорите!

— Представьте себе. Два английских костюма шевиотовых, пуловер, дюжину дамских шелковых чулок и потом... это... патефон «Электрола» с шестьюдесятью самыми модными пластинками.

— Вы шутите! — стонет мадам Белополякина.

— Нет, ей-богу. Я даже сам удивился. Сегодня утром получаю повестку с таможни. В повестке все вещи и перечислены.

— Вероятно, огромная пошлина!

— Пустяки! Рубля два-три. Два шестьдесят пять! Но я решил не брать.

— Почему же, почему?!

— Лень, знаете. Ехать куда-то в таможню. Волноваться. К чему?

— Это безумие! — кричит мадам Белополякина.— Да я бы, я... Нет, вы серьезно?

— Вполне. Но стоит ли об этом говорить. Ну посылка, ну патефон... Подумаешь!

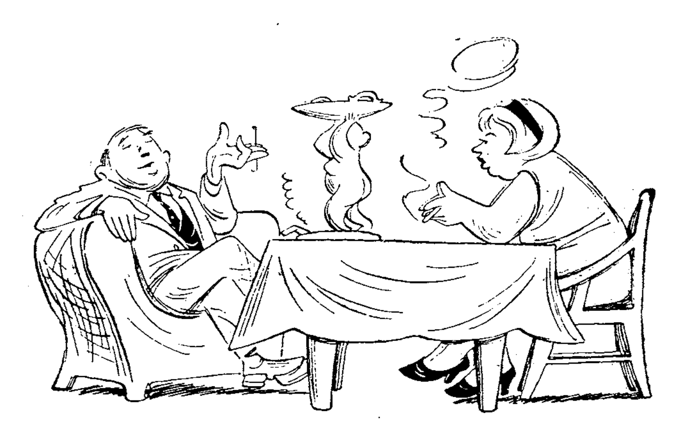
Мадам Белополякина долго не может успокоиться.

Боберов напевает:

У нас, на Кубе
Ти-ри-рим, ти-ри-рим...

Ах, Куба! Ах, Гаити, Таити, Коломбо, Валенсия! Мадам Белополякина сейчас же, на месте, готова дать палец на отсечение, чтобы побывать под этими пальмами, увидеть это море и потанцевать чарльстон при свете Южного Креста.

— Мне предлагают командировку в Париж,— говорит Боберов, зевая,— на восемь месяцев.



— Да что вы говорите! Не может быть!

— Ей-богу. На семь месяцев. Пятьсот долларов подъемных и по тысяче каждый месяц.

— Когда же?

— Да хоть завтра. Паспорт уже готов. А с визой чепуха — Константин Федорович позвонит по телефону Эрбету... В общем, все это чепуха!..

— Голубчик... Боберов... Но ведь это... это... сон, волшебный сон! Боже! Ведь вы счастливец!

— Ну, что вы,— морщится Боберов,— я хочу отказаться.

— Вы не сделаете этого! — кричит Белополякина.— Ведь подумайте! Ведь Париж! Понимаете, Париж! Гос-споди! Берлин! Заграница!

— Ну, Париж, ну, Берлин. Я не спорю, в такой поездке есть своеобразная прелесть. Но подумайте, дорогая, какие хлопоты! Носильщики! Такси! Гостиницы! Бр-р-р. При одной этой мысли у меня волосы встают дыбом.

Мадам Белополякина не находит слов.

— Да, совсем было забыл! — говорит Боберов.— Прямо умора. Коммерческий атташе одного знакомого посольства уезжает в годовой отпуск и предлагает мне на это время свой автомобиль, совершенно новый «ролс-ройс». Да я отказался.

— Гаража нет? — спрашивает Белополякина, тяжело дыша.

— Да нет. Гараж есть. И шофер есть. Но к чему мне автомобиль?

— Как к чему? А ездить!

— Э, дорогая! Какая это езда! Бензин воняет, трясет...

Ночью в постели мадам Белополякина грызет мужа. За бедность. За неумение устраиваться. За все.

Муж фыркает, как лошадь. Но не возражает.

Если бы ему рассказали, что жена его неграмотна, глупа, сварлива, неряшлива, что живет она в наши дни по ошибке — он ни за что бы не поверил.

1929

ЭНТУЗИАСТ

— **В**ы не знакомы? Это наш первый говорун, краса и гордость наших скромных семейных вечеров. Инженер. И какой! Мы зовем его энтузиастом. Хотите познакомиться?

С этими словами хозяин вечеринки указал мне на тощего гражданина в простых очках без оправы, который только что выпил рюмку водки и с гримасой отвращения пытался поймать вилкой скользкий грибок.

— Еще бы! — сказал я.— Что может быть приятнее знакомства с энтузиастом. Ведь нынче в энтузиастах большая потребность.

Нас познакомили.

— Наобородко! — сказал инженер, проглотив грибок.— По имени и отчеству Иван Альбертович. Впрочем, не люблю я этих имен и отчеств. Подхалимством отдает. Не правда ли?

— Пожалуй! — заметил я.

— Вот видите! Вы со мной согласны? Гораздо лучше и приятнее называть мало знакомого человека по фамилии: товарищ Наобородко, а хорошо знакомого по имени: товарищ Иван. Верно?

Я согласился и с этим.

Через пять минут мы с инженером Наобородко уже вели задушевную дружескую беседу, как будто бы были знакомы по крайней мере лет десять.

— Химия!—говорил Наобородко.—Великая вещь—

химия! Сейчас, когда этому роду промышленности уделяется такое внимание, можно смело сказать, что химия — это наше будущее!

— А вы разве химик? — спросил я.— Мне казалось...

— Нет. По образованию я горняк, но служу в Химсиндикате. И, признаться, нисколько не жалею об этом. Известно ли вам, что без химии, черт распробери, не может обойтись ни одно производство! Химия — это... Нет, вы не знаете, что такое химия! — Лицо Наобородко осветилось восторженной улыбкой.— Я, видите ли, немножко энтузиаст химического дела,— скромно сказал он.— Сейчас мы заняты проектированием замечательного химического завода. И я весь горю этой работой. Но вам, вероятно, неинтересно слушать?

— Что вы! Напротив!

Мы проговорили с Наобородко весь вечер.

— Называйте меня просто товарищем Иваном. Не люблю я этих мелкобуржуазных отчеств,— сказал Наобородко, прощаясь.

«Да. Это человек,— думал я, возвращаясь домой.— С таким человеком наша химия будет процветать».

— Не узнаете? Забурели?

Я оглянулся. Предо мною стоял инженер Наобородко.

— Ба! Товарищ Иван. Рад вас видеть! Знаете, наша первая встреча произвела на меня большое впечатление. Я всю ночь не спал. Так вы говорите, ни одно производство не обойдется?

— Ни одно! — воскликнул Наобородко.— Во-первых, подвоз сырья. Во-вторых, вывоз продукции. Попробуйте обойдитесь!

— Простите, я не совсем вас понимаю. При чем тут подвоз и вывоз?

Наобородко расхохотался.

— Да что вы ребенок, что ли? Ведь даже младенцу известно, что ни одно производство не может обойтись без железнодорожного транспорта!

— Какого транспорта? Ведь вы говорили о Химсиндика...

— Не произносите при мне этого слова. Оно мне противно. Склочники сидят там, вот кто! Я перешел в НКПС.

— Но ведь неделю тому назад вы горели огнем энтузиазма. Вы проектировали...

— Я и сейчас проектирую. Постройку Убого-Свидригайловской ветки. Ах, транспорт, транспорт! Транспорт — это... Нет, вы не знаете, что такое транспорт. Я, видите ли, немножко энтузиаст железнодорожного дела. Но вам, вероятно, неинтересно слушать?

— Помилуйте,— пробормотал я,— что вы!..

Я попрощался.

Транспорт был в верных руках. Это было ясно.

Я встретил Наоборотко в вагоне дачного поезда. Зимою, как известно, в дачных поездах народу мало, ехать скучно и всякая встреча радует.

— Вы в Москву? — спросил я.

— В нее. В матушку,— ответил он.

— Пыхтите?

Я загудел, подражая паровозу, и задвигал локтями.

— Ого-го!

Он радостно расхохотался.

— Ну, как ваша ветка? — спросил я.— В огне энтузиа...

— Вот вы шутите,— строго сказал он,— а я вам скажу совершенно серьезно. Вы срываете ветку, бросаете ее в огонь, она горит. Хорошо ли это?

— Какой же негодяй позволит себе сжигать целую ветку?

— Какой! Какой! Тысячи негодяев! Миллионы!

Наоборотко вскочил со скамейки и схватил меня за воротник пальто.

— Рубят ветки! Рубят деревья! Жгут их, как варвары, как какие-то людоеды! И из-за чего. Из-за невежества. Ведь лесоистребление бессмысленно, жестоко, в то время когда есть такое чудесное топливо, как



торф! Торф, торф! Знаете ли вы, что такое торф? Я проектирую сейчас грандиозные торфоразработки, которые...

— А транспорт? — грустно спросил я. — Ведь вы же служили в НКПС?

— Скопище бюрократов! — воскликнул он. — Бездушные люди! Не говорите мне о них. К тому же дикие склочники. Но вот Торфопром — это нечто потрясающее! Размах гигантский! Скоро ни один вид производства не сможет обойтись без торфа! Ведь торф — это...

Недавно я отправился в Древтрест для получения кредита на новую мебель. Я долго подписывал какие-то бумаги, расписывался в толстых книгах и бродил от стола к столу. Осталось поставить окончательную резолюцию.

— К кому обратиться? — спросил я.

— Идите в комнату номер шестнадцать. К товарищу Наобородко.

Я пошел. В комнате № 16 никого не было.

— Где же товарищ Наобородко? — спросил я у первого служащего.

— Как? Разве его там нету?

Служащий пошел вместе со мною. Комната была пуста.

— Вот странно,— сказал служащий.— Он только сегодня утром поступил к нам в качестве заведующего отделом... Марья! Вы не видели товарища Наобородко?

Курьерша остановилась.

— Товарища Наобородко? — спросила она.— Это новенького-то?

— Ну, да. Того, который кричал сегодня утром, что без мебели не может обойтись ни одно учреждение! Тощий такой, в очках!

— А! Вы разве не знаете? Ведь он только что перешел в трест цветных металлов. С Федором Петровичем не поладил. За ним и машину трестовскую прислали!..

В этот же день вечером я встретил Наобородко в театре.

— Кажется, на этот раз я не ошибусь, если скажу, что вы служите в тресте цветных металлов!— воскликнул я.

— А вот и не угадали! — ответил он.— Я ушел от них. Гады. А служу я...

В это время раздался третий звонок. Публика ринулась по местам. Боясь пропустить действие, побежал в зрительный зал и я.

Свет погас. Дали рампу.

Перед занавесом появился Наобородко.

— Товарищи! — сказал он звучным голосом.— Театр — великая вещь! Сейчас, когда этому виду искусства уделяется такое внимание, я, как новый директор театра, не могу не сказать, что ни один вид промышленности не может обойтись без этого вида искусства. Я занят сейчас проектированием нового вида театрального действа и надеюсь, что все вы, представители советской общественности, рука об руку...

Гром аплодисментов покрыл речь нового директора.

1929

ГОСЛОТО

Начало почти что из «Тараса Бульбы».

— А! Иностранец! А ну, повернитесь-ка! Да-а. Это матерьял. Не то что наш. В Берлине покупали?

— Да нет, помилуйте. Я в том самом костюме, в котором вы видели меня до отъезда за границу. Москвошвеевский костюм.

— Рассказывайте!

— Да ей-богу. Вот и марка. На боковом кармане.

— И в самом деле. А галстук небось миланский?

— Галстук с Петровки.

— Рассказывайте.

— Даю честное слово.

— А ботинки?

— Скороходовские.

Добрый московский знакомый озадачен. Потом смотрит на меня долгим страдальческим взглядом и спрашивает:

— Зачем же вы ездили?

— На предмет ознакомления с культурной жизнью поименованных стран,— вяло отвечаю я.

— Муссолини видели?

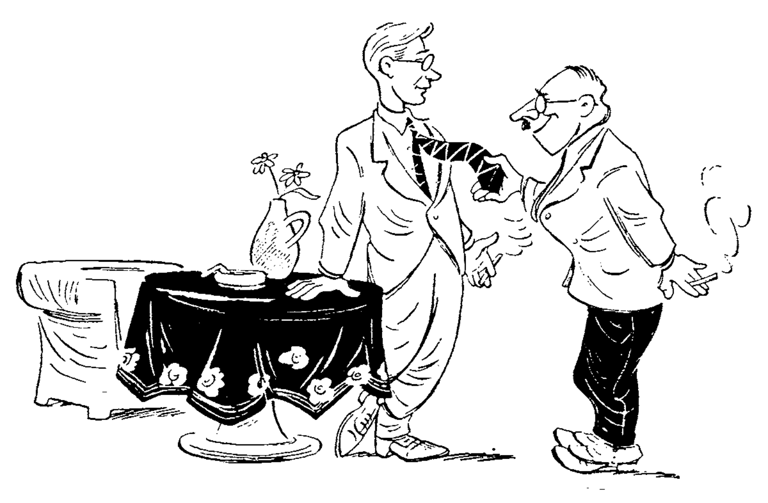
— Нет.

— Рассказывайте!

— Честное слово!

— Папу видели?

— Нет.



— Рассказывайте!

— Ей-богу, не видел!

— Ай-яй-яй! Быть в Риме и не видеть папы!

Я пожимаю плечами. Дескать, что поделаешь, раз папа такой нелюдим и из Ватикана ни ногой.

Верьте не верьте, но о Муссолини и о папе меня расспрашивали решительно все знакомые. Кончилось тем, что я начал привирать. Сначала, краснея и путаясь, бормотал, что видел Муссолини мельком, в автомобиле, но не совсем уверен в том, что это был именно он. Путанно рассказывал о каком-то торжественном богослужении в соборе Петра, на котором, *кажется,* был папа. Потом окончательно распоясался и заявил, что Муссолини видел три раза: дважды на параде и один раз совсем вблизи — «вот так, как сейчас вас», а у папы был на приеме и всех удивил решительным отказом поцеловать у заместителя апостола Петра руку.

— Ну теперь расскажите, как вы ездили. Только по порядку.

Этого требовали решительно все.

Устраивались поудобнее. Закуривали. И, приготовляясь слушать длинный интересный рассказ, сладко вздыхали.

— Ну. Действуйте. Но имейте в виду — по порядку. Понимаете? Все. Как садились в поезд. Как ехали. Одним словом, вы сами понимаете.

— Ну и вот,— начинал я спокойным, эпическим тоном,— получил это я паспорт, поставили мне визы, и сел я в поезд. Поезд, надо вам сказать, отходил в четыре часа десять минут. С Белорусско-Балтийского вокзала, а сам я живу на Арбате. Поезд хороший, скорый, прямое сообщение Москва — Столбцы...

На этом месте давно уже ерзавший ногами слушатель спрашивал, почем заграницей брюкодержатели, или выражал надежду, что в Италии погода, вероятно, не такая подлая, как в Москве,— и я от систематического плавного рассказа переходил к быстрым кратким ответам на вопросы.

— Макароны ели?

— Ел.

— Вкусные?

— Ничего себе. Надоели только.

— Смотрите на него. Ему итальянские макароны надоели! Кьянти пили?

— Пил.

— Вкусно?

— Ничего себе. Надоело только.

— Смотрите на него. Ему кьянти надоело!.. В Колизее были?

— Был.

— Большой?

— Большой.

— Очень большой?

— Очень.

— Везувий видели?

— Видел.

— Дымился?

— Дымился.

Тут добрый знакомый задумывался. Потом спрашивал:

— Очень?

— Что очень?

— Дымился.

— Ах, дымился? Да. Очень.

— На гондолах ездили?
— Ездил.
— Хорошо?
— Хорошо.

Пауза увеличивалась, грозя перейти в долгое томительное молчание. Но слушатель напрягал последние силы и выдавливал, как выдавливают из тюбика остатки зубной пасты, последний вопрос:

— Итальянки красивые?
— Нет.
— Неужели все некрасивые?
— Правду сказать, мне не удалось повидать всех итальянок. Может быть, и есть красивые.

На этом беседа об Италии обычно заканчивалась, и мы переходили на милые сердцу московские темы: гастроли театра Кабуки, спартакиаду, дожди и семейные дела сослуживцев.

Итак, все ясно. Добрые московские знакомые не умеют выспрашивать, а я не умею рассказать все по порядку, начиная с того момента, когда я сел в поезд, и кончая чрезвычайно интересным, полным захватывающих положений, обратным переездом границы.

Муссолини — король мелкой буржуазии, царь и бог лавочников, театральных импрессарио, футболистов, хозяев велосипедных мастерских, карьеристов-гинекологов, боксеров и бесчисленного количества молодых людей без определенных занятий.

Жизнь этих людей сера, как солдатское сукно. Утром — «кафе-лате» — кофе с молоком, вернее молоко с кофе, светленькая бурда, которую итальянцы, набросав предварительно хлебных кусочков, хлебают ложкой. Потом — лавка.

С двенадцати до двух Италии не существует. Закрыто все: банки, церкви, музеи, полиция, почта. Обыватель обедает. Ест пасташюту (в это понятие входят и макароны и вермишель. Слово pasta означает тесто). Миланезец ест пасташюту по-милански, неаполитанец — по-неаполитански и генуэзец, как читатель, вероятно, уже догадывается, — по-генуэзски.

В неаполитанской пасташюте преобладают помидоры, в миланской — мясные крошки, в генуэзской — соус из гадов — спрутов, каракатиц, морских ежей или лягушек.

На второе итальянец ест мясо или рыбу. Потом — фрукты и сыр. Все это запивается отличным вином. Вино в Италии самая дешевая вещь. Литр отличного «Барбера» стоит четыре лиры, то есть сорок копеек.

После обеда — лавка, в сумерки — лавка и вечером — лавка.

Но обыватель скуки не чувствует.

Его убедили, и убедили самым серьезным образом, что он, итальянский обыватель, не кто иной, как древний римлянин, и что французские и немецкие обыватели не стоят его подметки.

В соответствии с этим итальянский лавочник старается вести себя так, как, по его понятиям, вели себя Марк-Антоний, Виргилий или Петроний в кинофильме итальянской стряпни «Кво-вадис». Здоровается обыватель, вытянув правую руку под углом в сорок пять градусов и повернувшись в профиль. Вывешивает на самом видном месте портрет Муссолини в венке, с латинской подписью — dux, или в виде Наполеона, в треуголке и со скрещенными на груди руками. На лацкане пиджака обыватель носит эмалированный ликторский значок с позолоченными пучком розог и топориком — эмблемою фашизма.

Разговаривая о войне с Германией, итальянский обыватель объясняет победу союзников исключительно силою итальянского оружия. При этом снисходительно добавляет:

— Французы нам немного помогли. Надо же, черт возьми, быть справедливым!

Муссолини сыграл на самой чувствительной и уязвимой струнке нехитрого инструмента, именуемого обывателем — на тщеславии.

Вообразите себе пожилого, скучного, как кисель, рыхлого человека. Жизнь почти прошла. В висках седина. Под глазами мешки. Дети ходят в школу. Некрасивая, толстоногая жена не вылазит из церкви и аккуратно каждый год рожает по ребенку. Лавка

приносит умеренный доход. Дни похожи один на другой, как свечи.

А между тем где-то когда-то была совсем, совсем другая жизнь. Звенели мечи, ржали кони, консулы произносили речи, неистовствовал плебс, в город возвращались с войны увенчанные лаврами легионы Цезаря. Тогда цвела романтика и колоннады римского Форума были жарко освещены солнцем военной славы.

И вдруг серая жизнь итальянского обывателя резко изменилась. Появился человек, который сказал:

— Обыватель! Ты вовсе не сер и не туп. Это все выдумали твои исконные враги — англичане, французы, немцы, австрийцы, турки и сербы.

— Обыватель! Ты велик! Ты гениален! Ты сидишь в своей боттилерии, траттории или сартории, толстеешь, плодишь себе подобных, и никто даже не подозревает, какой номер в мировом масштабе ты вдруг можешь выкинуть!

— Обыватель! Ты любишь значки! Возьми и вдень в лацкан своего пиджака четыре или даже семь значков.

— Обыватель! Ты имеешь возможность записаться сразу в восемь различных фашистских синдикатов.

— Обыватель! Ты сможешь отныне хоронить своего соседа фруктовщика Сильвио с военной пышностью по древнеримскому церемониалу. Ты сможешь нести впереди похоронной процессии бархатную подушечку, увешанную значками покойного. Кроме того, ты сможешь произнести над могилой речь, начинающуюся словами: «Римляне!» Сознайся, что до сих пор тебе не приходилось произносить речей? Вот видишь!

Человек, сказавший это, был Муссолини.

И итальянский обыватель зашевелился. Жизнь обывателя стала интересной и полной.

По улицам ходят оркестры, стены покрылись плакатами и трафаретными изображениями Муссолини. Стало много различных праздников, торжественных встреч, юбилеев, проводов, парадов, закладок и открытий. Почти каждая неделя приносит обывателю какую-нибудь новость.

— Муссолини борется с папой! Уж он-то покажет папе, где раки зимуют!

И вдруг — полная неожиданность. Стены, колонны и афишные тумбы густо облепливаются портретами папы и лозунгами: «Да здравствует папа».

Муссолини помирился с папой и лихорадочно стал его популяризировать.

Прошла неделя. И снова новость.

Принц Умберто с принцессой нарядились в средневековые костюмы и по сценарию Муссолини участвуют в самом настоящем средневековом турнире в Турине.

Через неделю снова афиши.

«По инициативе Бенито Муссолини в Веронском амфитеатре пойдут «Риголетто» и «Турандот», с участием Лаури-Вольпи».

Муссолини, ища популярности, не брезгует ничем. Он готов даже отбивать хлеб у прославленного тенора.

Авантюра Нобиле, из-за которой газеты учетверили свои тиражи,— предприятие чрезвычайно типичное для Муссолини.

И обыватель ликует.

Снова пышные проводы. Снова речь Муссолини, начинающаяся словом: «Римляне!» Снова тысячи рук, поднятых под углом в сорок пять градусов. Снова сенсация.

Генерал Нобиле в молодости.

Генерал Нобиле в кругу семьи.

Генерал Нобиле прощается с женой.

Генерал Нобиле в черной рубашке.

Генерал Нобиле в гондоле «Италии».

Собачка генерала Нобиле Титина в молодости.

Собачка генерала Титина в кругу семьи городского головы города Милана.

Собачка Титина прощается с другой собачкой.

Титина в черной попоне.

Титина в гондоле.

Папа вручает генералу Нобиле крест.

Муссолини целует Нобиле.

Нобиле целует Титину.

Титина целует другую собачку.

Другая собачка целует городского голову города Милана.

И — «Джовинецца».

«Джовинецца» на корсо Виктора Эммануила. «Джовинецца» — на корсо Венеция, на пьяцца Дуомо, у замка Сфорцеско. Милан оглушен пошлым шарманочным мотивом фашистского гимна. Мотив «Джовинеццы» страшно напоминает студенческую песенку «От зари до зари, лишь зажгут фонари, то студенты толпой собираются».

Но вот Нобиле с крестом и собачкой улетел.

И началась новая сенсация. В витринах магазинов появились карты с точным указанием полюса и звездочкой в том месте, где отважным генералом сброшен крест.

Потом — тревога. И — что совершенно невероятно для современной Италии — никакого ликования.

Обыватель хватает газету и под бесконечными «приказами вождя», «напутствиями папы», «интервью с Габриэлем д'Анунцио» и «предположениями городского головы города Милана» — находит, где-то внизу, на задворках, заметочку о продвижении «Малыгина» и «Красина».

Обратно пропорционально росту «приказов вождя» и «напутствий папы» уменьшается надежда на спасение.

И вот однажды (я хорошо помню этот ослепительный знойный день) из галереи Виктора Эммануила выкатилось слово — Бабушкин. В пять минут это слово облетело Милан. В пять минут Бабушкин стал популярнейшим человеком Италии.

— Бабушкин исчез. Бабушкин пропадал. Бабушкин прилетел.

— Сам прилетел.

О! Если бы эта популярность выпала бы на долю итальянского летчика! Он оглох бы от звуков «Джовинеццы»! Ордена не поместились бы на его груди! Он полинял бы от поцелуев вождя, короля, папы и городского головы города Милана! Сто красавиц подарили бы ему сто собачек! Сто американских миллионерш прислали бы ему сто официальных предложений

руки, сердца и миллионов. Ему подарили бы сто золотых пучков розог и такое же количество топориков. Руки, поднятые под углом в сорок пять градусов, не опускались бы в течение ста дней.

Но Бабушкин оказался русским.

— Русские нам немного помогли. Надо же, черт возьми, быть справедливыми!

Я имел честь познакомиться на днях с Бабушкиным. Он был в синей военной блузе с одиноким красным орденом. На нем, не говоря уже о топориках и пучках розог, не было ни металлических блях, ни орлов, ни перьев, ни погребальных султанов. Собачки у него тоже не было. Креста тоже. Это был человек, настоящий великолепный образец человека.

Хорошо, что итальянские обыватели его не видели. Они были бы изрядно разочарованы.

О том, что было в Италии после полета Чухновского, я не знаю. Я уехал накануне этого замечательного дня.

Когда я уезжал, надежды на спасение группы Вильери были потеряны.

Вся Италия играет в лото, в государственное, так сказать, всенародное лото.

Еженедельно, по субботам, в вечернем выпуске всех газет появляются пять цифровых комбинаций. Каждая комбинация соответствует одному из пяти городов: Риму, Милану, Турину, Флоренции и Неаполю. В каждой комбинации пять однозначных или двухзначных цифр.

В течение целой недели тысячи специальных государственных контор принимают ваши лиры и закрепляют за вами указанные вами цифровые комбинации.

Вы можете играть на два числа по всем городам. Тут есть кое-какие шансы на выигрыш, но выигрыш очень мал: на лиру — лир шестьдесят. Можете играть на два числа по одному городу. Если вы поставили, положим, лиру на восемь и пятьдесят шесть по Флоренции и если эти цифры явились первыми в цифровой комбинации именно по Флоренции — вы выигры-

ваете лир двести. Но шансов на это очень, очень мало. Затем вы можете играть на три, четыре и пять чисел по всем городам или по одному в отдельности. Угадавший, например, пять чисел по одному городу выигрывает на лиру миллиона полтора. Таких случаев, кстати, до сих пор не было.

Еженедельно по городу расклеиваются афиши с портретами нескольких счастливцев, выигравших по пятьдесят — шестьдесят тысяч лир.

Но, в общем, обыкновенная девятка — грабительница, польский банчок или штосс по сравнению с итальянским гослото — верное средство разбогатеть.

Итальянцы играют. Лира — не деньги. Но зато сколько надежд! Каждую субботу обыватель ждет, волнуется и вырывает из рук газетчика вечерний выпуск.

Есть игроки по вдохновению. Они быстро входят в контору и, не задумываясь, называют первые попавшие на язык цифры.

Есть специалисты, играющие по сложным, выработанным годами упорного труда, таблицам.

Проигрывают и те и другие с легкостью необыкновенной.

— Ну и черт с ним! — говорят они.— Лира не деньги, но зато...

И ровно через неделю, одни по вдохновению, другие по таблицам, идут в контору, платят свои лиры и называют цифры.

Правительство, как говорится, «не щадя затрат и всецело идя навстречу», решило успокоить мучения игроков и ввело в каждой конторе толстые справочные сонники.

Вам больше не нужно гадать, не нужно составлять трудных таблиц. Вам необходимо только почаще видеть сны и хорошенько их запоминать.

Правительство любит заботиться о благополучии граждан.

Вот солидный плешивый обыватель с женой. Они добросовестно перелистывают сонник. Он видел во сне граммофон, который играл «Джовинеццу». Вместо иголки в мембрану была почему-то вставлена сар-

динка. Жене приснились какие-то ангелочки, которые летали по кухне. Один из них попал в духовой шкаф и там превратился в лангусту.

Страницы толстой книги приманчиво шелестят.

— Не унывай, Лоллиточка, государство нам поможет.

И точно. Слово «граммофон» обозначено цифрой 11, мембрана — цифрой 83, сардинка — 67.

Жена тоже удовлетворена. Ангелочки идут под цифрой 38, кухня — 13 и лангуста — 24.

Яснее ясного.

Остается только определить город, и денежки можно считать в кармане. Но и этот вопрос при правильной постановке дела разрешается безболезненно.

— Где живет мой шурин Никола? В Неаполе или не в Неаполе? В Неаполе. Факт? Факт! Ставлю на Неаполь.

— Где живет твоя мамаша? В Турине или не в Турине? В Турине! Ясно, как кофе. Ставим на Турин.

Муж подходит к конторщице и шепчет номера. Конторщица берет две лиры, записывает цифры, выдает квитанцию и любезно улыбается.

— Желаю вам счастливой игры! Надеюсь, синьор, если вы выиграете полмиллиона, вы меня не забудете?

— О! Как можно! Добрая синьора может быть спокойна! Пять или даже пятнадцать, э, да что там, пятьдесят тысяч считайте в своем кармане!

И пара, тяжело переступая порог и потом направляясь к трамвайной остановке, нисколько не сомневается в выигрыше.

А в конторе уже новые люди роются в соннике, ищут слово «лошадь» и выслушивают от конторщицы невинные просьбы о подарке в шестьдесят тысяч лир.

Среди конторщиц лото упорно держится явно вздорный слух о каком-то чудаке, выигравшем триста тысяч и подарившем барышне продавщице тысячу лир. С тех пор конторщицы лото обращаются с просьбой «не забывать» ко всем игрокам. На всякий случай.

Недавно в Неаполе появился пророк.

Сначала о нем носились темные неясные слухи. Передавали, что пророк предрекает совершенно точ-

ные цифры. Говорили, что цифры эти он сообщает кому угодно.

Сведения о пророке появились в газетах. Писали, что пророк никогда не ошибается. Называли людей, которые неизменно выигрывают, ориентируясь на пророковые данные.

И вот какому-то шустрому репортеру удалось выпытать у пророка очередные цифры, которые совместно с портретом святого появились в газетах.

Пророк сообщил только две цифры по всем городам.

Государственные конторы не успевали выдавать квитанции. Сонники покрывались пылью. Суббота приближалась.

Цифры выиграли. Платили, правда, немного, но слава о великом пророке из Неаполя облетела всю страну.

Началась новая неделя.

— Что скажет пророк?

Этот вопрос так сильно волновал обывателей, что на время заслонил очередной маскарад принца Умберто, очередной автомобильный рекорд и очередную речь вождя, начинающуюся словом: «Римляне!»

И пророк оправдал возложенные на него надежды.

На этот раз он назвал пять цифр по одному городу. Одна лира, поставленная на эти цифры, должна была принести миллиона полтора. Но в эту неделю государственные конторы превысили минимальную ставку до пяти лир.

Улицы были наводнены публикой. У контор вились пышные хвосты. Полиция сбилась с ног. Лиры вливались широкими потоками в подвалы казначейства.

В среду ажиотаж дошел до апогея. Ставки были увеличены. Весь четверг и всю пятницу бойко торговали барышники.

Казалось, знойный субботний день никогда не кончится. Любители подсчитали, что, если выиграют цифры пророка, Италии придется сделать внешний заем, равный десяти золотым запасам Уолл-стрита.

Вечерние выпуски газет вышли в удесятеренном тираже.

Цифры пророка не выиграли.

Неаполитанцы — народ экспансивный. Пророка решили бить. Но привести в исполнение этот энергичный план не удалось.

Дом пророка был своевременно оцеплен карабинерами, и пророк под защитой дюжих парней во фраках и треуголках тихо уехал в автомобиле.

О пророке никто больше ничего не слыхал.

Пророк смылся.

Долго не мог успокоиться итальянский обыватель.

Но потом жизнь вошла в привычную колею. Появились сенсационнейшие сведения о новой монете, приобретенной королем нумизматов Виктором Эммануилом, и вождь сказал новую речь, начинающуюся словом: «Римляне!»

1930

ЧЕРТОЗА

Итальянские жандармы-карабинеры всегда ходят парочками. В треуголках с красным султаном, в белых штанах с золотым галуном, во фраках, на фалдочках которых нашиты серебряные орлы, и в нитяных перчатках,— они похожи на прогуливающихся во время большой перемены институток. Не одеждой, конечно. А грациозностью движений, скромностью взглядов и легкостью поступи.

Итальянские патеры и монахи тоже ходят парочками. Патеры в черных своих сутанах ходят неторопливо, переваливаясь и благодушно поглядывая на мир. Взгляды их говорят:

«Да. Мы знаем, что светская жизнь темна и загадочна, но ничего, мы привыкли. Мы в любой момент готовы наставить на путь истинный каждого желающего. Вот мы идем. Смотрите, граждане. Мы не боимся мира».

Монахи ходят, как напроказившие коты, под стеночкой. На них богатые из коричневого сукна власяницы с капюшонами, опоясанные дорогой английской веревкой, черные четки и сандалии на босу волосату ногу. Движения монахов торопливы. Плечи согнуты. Они пробираются среди мерного потока автомобилей, как отважные пустынники среди тигров и львов. Потупленные их фигуры говорят:

«Ну, и в переделку же мы попали. Куда ни посмотришь — везде светская жизнь. То ли дело в нашем глухом монастыре, в наших суровых кельях, где тяжелым трудом мы добываем хлеб наш насущный, который даешь нам днесь. Сгинь, сатана!»

— Скажите,— спросил я знакомого итальянца,— почему монахи и карабинеры всегда ходят парочками?

— Карабинеры,— ответил итальянец,— ходят парочками потому, что в одиночку опасно. Одиночек часто колотят. А монахи — ей-богу, не знаю. Их у нас пока что не бьют.

— Может, стесняются? — допытывался я.— Может, в городе после аскетической монастырской жизни слишком много соблазнов и монахи боятся, что против соблазнов в одиночку труднее устоять?

— Это монахи-то? Стесняются?

Итальянец долго смеялся. Потом, успокоившись, сказал:

— Монахи у нас не стесняются. Поезжайте в Чертозский монастырь. Монахов там сейчас нет — они в Испании. Сейчас там музей. Увидите замечательный собор, богатейшие украшения, прелестнейшие фрески и картины. Заодно посмотрите, как жили монахи.

— Суровые кельи? — спросил я.— Аскетическое уединение? Тяжелый труд?

— Поезжайте посмотрите,— ответил итальянец.— От Милана недалеко, не пожалеете.

И я поехал.

Допотопный паровичок (такой паровичок лет двадцать тому назад был хорошо известен одесситам — он отвозил дачников из Одессы на Большой Фонтан) со свистом и скрежетом, не соответствовавшим его величине и ширине колеи, выполз из Милана и неторопливо покатил среди зеленых, покрытых пылью садов, среди виноградников и оросительных каналов, созданных еще Леонардо да Винчи и превративших Ломбардию в цветущий сад.

Со станции Чертоза, очень похожей на станцию Кунцево или Серпухов, прямая, усаженная деревьями, широкая аллея вела к монастырю. Впереди, задрав

головы, стояли два тощих англичанина в брюках-гольф, чулках толстой доброкачественной шерсти, с биноклями через плечо и с бедекерами в руках. В Италии я видел много соборов, музеев и картинных галерей. И возле каждого из этих мест обязательно стояли два англичанина, задрав головы вверх. Они имели вид покупателей, которые на слово не верят. Им надо точно знать — цел ли фундамент, не облупилась ли штукатурка и не протекает ли, чего доброго, крыша.

— Ну, как Чертоза? — спросят их домочадцы, когда они вернутся в туманный Лондон из своего путешествия.— Понравилась?

— Ничего,— обстоятельно ответят они,— понравилась. Фундамент хороший, крепкий, еще тысячу лет выдержит, но вот водосточные трубы не худо бы подремонтировать, кое-где заржавели. А крыша ничего. Крыша понравилась.

— Начнем с собора,— сказал гид.

И мы углубились в монастырские дебри.

— Сколько монахов здесь жило? — спросил я.

— А как вы думаете?

— Тысячи две?

Гид расхохотался.

— Двадцать четыре человека. Ни больше, ни меньше.

— Позвольте!— воскликнул я.— Но зачем же им такой огромный собор и столько ценной жилищной площади?

— А слуги! У двадцати четырех монахов было больше пятидесяти слуг. Они чистили им власяницы, подавали обед и приводили девочек.

— А как же... тяжелый труд и аскетический образ жизни?

— Да что вы, ребенок? Какой там труд! Что же касается аскетического образа жизни, то это другое дело. Монахи были чрезвычайно скромны. Вот, полюбуйтесь.

В соборе было двадцать четыре придела, огороженных решетками. В каждом приделе — налой и замечательная по мастерству картина. Каждый монах

молился в собственном помещении. На всех картинах, написанных величайшими мастерами эпохи Возрождения, были следы творчества целомудренных хозяев: к голеньким ангелочкам, которыми в изобилии снабжены картины, бездарной рукою монахов были пририсованы нелепые юбчонки.

В конце собора помещался огромный зал с двадцатью четырьмя резными тронами. Здесь монахи устраивали торжественные заседания. Сводчатая дверь вела в первый двор, огороженный креститумом. Перед входом в трапезную были устроены двадцать четыре умывальника. Здесь монахи мыли руки перед общим воскресным обедом. Трапезная была увешена картинами издания самих монахов. Как читатель, вероятно, уже догадывается, за столом стояло двадцать четыре стула.

Сейчас же за крытым двором шел второй двор. Его величина превосходила всякие ожидания. Двор был величиною примерно с Лубянскую площадь. По стенам его были расположены двадцать четыре двухэтажных дома с готическими башенками. Во двор выходили двадцать четыре толстых железных двери.

— Кельи,— сказал проводник, любуясь произведенным эффектом.

— Как? — пробормотал я.— Суровые кельи отшельников?

— Они и есть. Войдемте. Пожалуйста. Здесь столовая, тут кабинет, наверху спальня, там — ванная и ватерклозет. А вот и дворик. При каждой келийке — собственный дворик, колодец и садик. Здесь, в уединении, монахи и спасались...

— Гм... Не трудно же им было спасаться. А где они сейчас?

— В Испании.

— Померли? — спросил я с сочувствием.

— Увы, синьор. К сожалению, не померли. Скоро они вернутся назад. К их приезду монастырские помещения заново ремонтируются. Тогда музей будет закрыт и доступ туристам воспрещен.

Мы осмотрели еще грандиозный пресс для давки винограда и ликерный заводик.

Проводник выпил за наше здоровье рюмку ликера и задумчиво сказал:

— Вы правы, синьор. Спасаться для них было плевое дело. В особенности после такого ликера.

И я понял, почему монахи, попадая в города, ходят под стеночкой и не смотрят на окружающую их жизнь. Эта жизнь настолько скромна и бедна по сравнению с ихней спокойной, жирной и приятной жизнью, что им просто противно смотреть.

1930

ОТКРЫТОЕ ОКНО

Начальник тяги товарищ Своеобразов, глава большого учреждения и большой семьи, совершенно неожиданно для себя, на старости лет влюбился в машинистку вагонного отдела красавицу Бородатову.

Автор настоящего глубоко правдивого повествования является отчаянным врагом тех юмористических рассказов, где говорится о завах и машинистках, о совместных прогулках на автомобиле и неизбежных растратах.

Поэтому он должен сразу же предупредить, что начальник тяги товарищ Своеобразов был человеком кристально честным, скромным и даже робким. Что же до машинистки вагонного отдела Бородатовой, то более чистой, милой и аккуратной девушки не рождала еще полоса отчуждения.

Как-то, в начале мая, Своеобразов открыл в своем кабинете окно и присел на подоконник. Только что прошел дождь. Внизу на вокзальной площади кипели ручьи. Вокзал с колоннами на фоне арбузного заката выглядел необыкновенно важным, значительным, как храм Юпитера во время пожара Рима. За вокзалом, у депо, перекликались маневровые паровозы, а правее, в летнем клубе службы эксплуатации, деревья, казалось, распускаются у всех на глазах. Природа пахла так, как может пахнуть только однажды в году.

Нужно только не упустить случая, вовремя открыть окно и присесть на подоконник.

И тут вот начальник тяги впервые почувствовал, что влюблен, влюблен, как мальчишка, как бронеподросток. Почувствовал, что без машинистки Бородатовой жизнь не жизнь и служба не служба и что в таком состоянии он может наделать множество глупостей.

Своеобразов присел к столу, надел на большой белый нос черепаховое пенсне и постарался сосредоточиться. Но списки паровозов, настоятельно требующих среднего ремонта, решительно не лезли в голову.

«Это невозможно,— подумал Своеобразов,— ведь я старый, семейный человек, вдовец, у меня сын доктор и дочь замужем. Ведь это какое-то сумасшествие, сплошная чепуха».

Он вышел из управления и два часа шатался по улицам, наступая на ноги прохожим, невпопад извиняясь и проходя под самым носом трамваев со спокойствием лунатика.

С этого дня чувство Своеобразова все усиливалось. Он похудел, приобрел юношескую подвижность, стал часто бриться и подолгу завязывать галстуки. Наконец он не вытерпел и решил объясниться.

«Будь что будет,— подумал он,— пойду прямо к ней и скажу: «Так и так, Анна Федоровна, вы меня, конечно, извините, но я вас люблю. Будьте откровенны и прогоните прочь старого дурака. Я все снесу. Но, поймите, я не могу молчать и таить дольше свою любовь». Впрочем, нет. Так пошло. Я скажу просто: «Анечка, я люблю вас. Скажите, да или нет». Тьфу, черт! Так еще хуже. Может быть, написать ей письмо? Нет. Так она подумает, что я трус! Ну, да ладно! Пойду в вагонный отдел. Там видно будет».

И, захватив с собою проект циркулярного письма, товарищ Своеобразов одернул белый китель и направился в конец коридора.

— Вы ко мне, товарищ Своеобразов? — спросила Бородатова, отрываясь от машинки.— Сию минуту кончаю. Тут одна строчка. У вас срочное?

— Срочное,— ответил начальник тяги, глотая слюну.

— Ну вот, пожалуйста. Садитесь, я эти бумаги уберу. Вам во скольких экземплярах?

— Да, да, пожалуйста... Извините.

— В шести?

— Да, да, тут вот циркулярчик один.

— Так вы диктуйте! Я пишу в шести экземплярах.

Своеобразов взял наброски письма и, слегка задыхаясь, начал диктовать:

— Озабочиваясь подготовкой паровозного парка к усиленным перевозкам, я пересмотрел свои планы ремонта на ближайшие три месяца, переработал их и преподал на линию для исполнения.

Своеобразов остановился и, глядя на согнутую спину Бородатовой, почувствовал, что сердце его наполнилось нежностью.

— Я,— сказал он,— не понимал до сих пор, что такое весна, молодость, любовь. Там точка... Простите, вы написали? Так вот, я продолжаю. Ввиду этого необходимо, чтобы процент больных паровозов не был больше девятнадцати — на первое августа, семнадцати — на первое сентября и четырнадцати — на первое октября.

«Она не сердится,— подумал Своеобразов.— Кажется, насчет любви и молодости я здорово завинтил».

— Эти вещи,— сказал он дрогнувшим голосом,— были для меня пустым звуком. Может быть, я стар и глуп. Может быть. Но для любви нет возраста. И я почувствовал, что жизнь еще не кончена, что я еще молод, что я могу перевернуть мир.

Бородатова встряхнула гривкой и посмотрела на Своеобразова внимательными, понимающими глазами.

— Там точка? — спросила она тихим голосом.

— Точка! — сказал Своеобразов.

«Она понимает! Она понимает! — думал он, ликуя.— И не сердится! Прелесть моя!»

И он продолжал диктовать:

— Поэтому в отношении тяговых устройств я наметил смену перекрытий над удлиненными стойлами

на станции Водица и укрепление перекрытия Глухоедовского депо. Написали — депо? Здесь точка.

«Люблю, люблю,— думал начальник тяги,— люблю всю тебя, от золотой гривки до этих детских туфелек со стоптанными каблучками».

— И вот,— промолвил он,— я почувствовал, что влюблен, что люблю одно юное существо большой настоящей любовью... Что мне делать?..

Бородатова наклонила голову, вынула листки из машинки и, стасовав проворными пальцами новые листки бумаги с листками копирки, вставила их в машинку.

— Мною заданы следующие нормы: — продолжал диктовать Своеобразов,— а) горячая промывка — двенадцать часов, б) холодная — сорок восемь часов, в) третья и седьмая по семьдесят два часа. Написали — по семьдесят два часа? Но поможет ли это?

«Она понимает, она понимает! — пела душа начальника тяги.— О, милая!»

И Своеобразов решился.

— Остается одно: сказать этому юному существу все, что накипело в моей душе. И я сказал. Слово за юным существом. Поможет ли оно старику на его новом жизненном пути?

Своеобразов замолчал. Бородатова ударила по точке.

«Она молчит. Она стесняется,— подумал он,— впрочем, это так естественно в ее положении».

— Итак, я кончаю. Да, поможет, если все начальники участков и начальники депо примут вышеуказанное к сведению. Здесь точка.— Своеобразов набрал в легкие побольше воздуху и сказал: — Я жду ответа.

Бородатова печатала с рекордной быстротой. Она мотала головкой, как лошадь, отмахивающаяся от надоедливых мух.

«Она молчит, но она поняла. Это ясно».

— Обдумайте мое предложение и ответьте, положа руку на сердце: да или нет. Вы молчите, но я вас не тороплю. Я даю вам неделю сроку. Я кончил.

— Все? — спросила Бородатова.

— Все,— ответил Своеобразов.

— Как подписать?

— Как обычно. В заголовке: «Всем ТЧ и ТД циркулярно». А подпись: Т. Своеобразов. Мерси.

Своеобразов мчался в свой кабинет на крыльях любви, размахивая циркулярным письмом и наталкиваясь на открытые двери отделов.

«Она поняла. Она согласна. Я прочел ответ в ее милом, любимом лице».

— Нате,— сказал он секретарю, передавая ему бумаги и тяжело дыша.— Срочно. Циркулярно. Проверьте и дайте мне подписать.

Он подошел к окну и взглянул на знакомый железнодорожный пейзаж. Ему хотелось прыгать, петь, летать.

— Товарищ Своеобразов,— позвал секретарь, входя в кабинет.— Тут что-то странное. Поглядите-ка.

— Что еще?

Своеобразов надел черепаховое пенсне и взял бумажку.

— «Всем ТЧ и ТД циркулярно,— прочел он.— Озабочиваясь подготовкой паровозного парка к усиленным перевозкам, я пересмотрел свои планы ремонта на ближайшие три месяца, переработал их и преподал на линию для исполнения. Я не понимал до сих пор, что такое весна, молодость, любовь. Ввиду этого необходимо, чтобы процент больных паровозов не был больше девятнадцати — на первое августа, семнадцати — на первое сентября и четырнадцати — на первое ок-



тября. Эти вещи были для меня пустым звуком. Может быть, я стар и глуп. Может быть. Но для любви нет возраста. И я почувствовал, что жизнь еще не кончена, что я еще молод, что я могу перевернуть мир. Поэтому в отношении тяговых устройств я наметил смену перекрытий над удлиненными стойлами на станции Водица и укрепление перекрытия Глухоедовского депо. И вот я почувствовал, что влюблен, что люблю одно юное существо большой, настоящей любовью. Что мне делать? Мною заданы следующие нормы: а) горячая промывка — двенадцать часов, б) холодная — сорок восемь часов, в) третья и седьмая по семьдесят два часа. Но поможет ли это? Остается одно: сказать этому юному существу все, что накипело в моей душе. И я сказал. Слово за юным существом. Поможет ли оно старику на его новом жизненном пути? Да, поможет, если все начальники участков и начальники депо примут вышеуказанное к сведению. Я жду ответа. Обдумайте мое предложение и ответьте, положа руку на сердце: да или нет. Вы молчите, но я вас не тороплю. Я даю вам неделю сроку. Т. Своеобразов».

Своеобразов скомкал листок и замотал головой. Он не мог говорить.

В открытое окно доносились крики носильщиков и гостиничных агентов. Перекликались маневровые паровозы.

— Черт возьми,— пробормотал Своеобразов,— страшно шумно на этой площади, страшно шумно. Невозможно работать.

Он со злобой захлопнул окно и сказал секретарю:

— Идите. А копии циркуляров оставьте. Я исправлю их, я исправлю.

1930

ЗНАМЕНИТЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

В районное общество пролетарского туризма вошел рубаха-парень. В том, что парень являлся именно этой существенной частью мужского туалета, не могло быть никаких сомнений. Кепка парня съехала на левое ухо, мокрые усы липли к щекам, на лоб свисал бодрый наполеоновский чуб, а глаза блистали несдержанным юношеским блеском.

Рубаха-парень осторожно плюнул на пол, растер плевок ногой и направился к столу, над которым висела табличка «Секретарь».



— Здорово, братишка! — добродушно воскликнул он.

— Здравствуйте, товарищ.

— Перекатилов, Архип Иваныч. Это, значит, буду я. Такая, значит, моя, извиняюсь, фамилия.

— Что ж, это можно,— заметил секретарь,— присаживайтесь и расскажите, какое у вас дело.

— Дело у нас обыкновенно какое,— сказал рубаха-парень,— ботинки требуются подходящие. Покрепче.

— Гм... Но при чем тут, не понимаю, общество пролетарского туризма? Вы ошиблись. Вам в «Коммунар» надо, в соседний дом...

— Э, нет, брат, ты вола не верти,— ласково сказал парень,— мне к тебе нужно. В туризм. Потому как я, извиняюсь, есть кругосветный турист во всесоюзном масштабе. Понял? То-то. Знаменитый турист. Это, значит, я. Так вот, будучи всесоюзным путешественником, я бесповоротно истрепал ботинки. Понял, братишка? То-то! И нужны мне такие ботинки, чтобы три года носились не переносились, три года трепались не перетрепались, три года держались не передержались.

— Это интересно,— сказал секретарь.— Где же, в каких местах вы бывали?

— Ты лучше спроси, где я не бывал!—усмехнулся парень.— Везде бывал. В Ленинграде, в Минске, в Брянске, в Сталинграде, в Харькове, в Днепропетровске...

У стола секретаря постепенно стала собираться толпа любопытных. Она с уважением поглядывала на рубаху-парня.

— И во Владивостоке бывал? — спросил молоденький комсомолец, глотая слюну.

— Бывал. Четыре раза. И в Челябинске, и в Одессе, и в Хабаровске, и в Ростове, и в Баку.

— А в Мурманске?

— Как же! Приходилось. И в Батуме был.

— Интересно? — спросил комсомолец с завистью.

— Как где. Которые места есть действительно интересные.

— Зачем же вы, товарищ, путешествуете? С какой целью? Какими достопримечательностями интересуетесь?

— А ими и интересуюсь: заводами, фабриками, новыми строительствами. Так и езжу. С завода на завод, с фабрики на фабрику, со строительства на строительство. Потому, значит, что я путешественник в душе.

— Неужто и на Днепрострое был? — ахнул комсомолец.

— На Днепрострое? Сколько раз! И на Тракторострое, и на Сельмаше, в Челябгрэсе, и в Загэс, и на «Красном путиловце»! Куда там! На керченском за-

воде был, на Сибкомбайнстрое, на иваново-вознесенских текстильных фабриках. В Астрахани на путине был... Эх, что говорить!.. Таких путешественников, как я, у вас в обществе туристов не сыщешь.

Толпа туристов молчала, подавленная великолепием рубахи-парня.

— А может, он врет, ребята? — прошептал комсомолец.— Ведь это же физически невозможно побывать во стольких местах!

— Для кого, может, и невозможно,— сказал посетитель,— а для меня, извиняюсь, вполне возможно. А ежели не верите, то...

Он полез в карман и вынул оттуда огромную засаленную пачку удостоверений.

— Полюбуйтесь-ка! Все печати на местах. Мне, извиняюсь, везде печати ставят, чтоб, значит, потом не было нездорового недоверия. Вот печать Днепростроя, вот Сельмаша, вот астраханская, вот бакинская... Видал миндал?

— Так ты же, товарищ, знаменитый человек! — воскликнул комсомолец.— О тебе, наверно, в газетах пишут?

— Случается, пишут,— осторожно заметил посетитель,— но я человек скромный, не люблю видеть свое имя в печати... Так-то, братишки...

— А сейчас куда собираешься?

— Сейчас? Сейчас в Казахстан думаю податься. На Турксиб. Там, говорят, лучше платят... то есть... достопримеча...

Очутившись на улице, Перекатилов почесал ушибленный при падении бок, сплюнул и пробормотал:

— Догадались, черти! Ну и жизнь, извиняюсь, поганая! До всех добираются! Даже порядочному путешественнику-летуну жить не дают!



1930

ЕГО АВТОРИТЕТ

Недавно мне пришлось сидеть в кабинете некоего Ивана Иваныча.

— Там бригада пришла,— сказал ему секретарь,— требует, чтобы мы на основании приказа передали в НКПС работающего у нас бывшего помощника машиниста.

— Какого машиниста? Разве у нас работает?

— Вот видите, вы даже и не знали. Конечно, работает. Маленький такой, рябой...

— Гм... рябой, вы говорите? А что он у нас делает?

— Между нами говоря, ничего. Так, какие-то бумажки согласовывает.

— Так-с. Попросите сюда бригаду. Пожалуйте, товарищи. Садитесь. Чайку не хотите ли? Нет? Чем могу?

— Тут у вас паровозный машинист служит. Так вот мы его хотим...

— Машинист? У нас? Служит? Паровозный? Вы смеетесь, товарищи...

— Да мы серьезно. У нас есть точные сведения.

— Нет у нас машиниста.

— Есть, есть. Нам известно. Маленький такой, рябой.

— Маленький? Рябой? Позвольте, позвольте... Конечно же, без него наше учреждение и минуты не смо-

жет работать. Ну вот ни секундочки. Все развалится без него. Он нам нужен до зарезу!

Иван Иваныч вскочил с места и провел ребром ладони по своему горлу, желая подчеркнуть этим необходимость работы в учреждении маленького рябого машиниста.

— Берите кого угодно! — патетически воскликнул он.— Самого меня берите, но рябого... н-нет, этот номер не пройдет! Рябого я не отдам!

— Но ведь приказ!..

— Не могу, товарищи, и не просите.

— Посмотрим,— сухо сказала бригада.

— Посмотрим,— сказал Иван Иваныч также сухо.

Его глаза зажглись огнем вдохновения. Предстояла длительная веселая склока, полная деятельной борьбы и острых положений.

— Я им покажу,— бормотал Иван Иваныч,— я им покажу.

— А почему бы не отдать им машиниста? — спросил я.— Ведь вам он не нужен.

— Авторитет! — завизжал Иван Иваныч.— Мой авторитет! Я должен победить, понимаете, должен. Из принципа. И побежду, то есть побезжу, то есть побежа... Тьфу! Одним словом — увидите!



Я встречал Ивана Иваныча редко. В дни наших встреч он был то весел, то печален, в зависимости от хода склоки. Передавали, что он проявил бурную деятельность. Он навалил на машиниста тысячи новых обязанностей, посадил его в кабинет и снабдил

его восемью телефонами и четырнадцатью печатями. Со стороны могло показаться, что без машиниста учреждение Ивана Иваныча действительно развалится. Иван Иваныч потирал руки. Склока быстро разрасталась. Говорили, что он поехал хлопотать в центр.

На днях я встретил Ивана Иваныча в поезде. Он был весел, бодр и энергичен.

— Как дела?

— Отлично,— ответил он.— Полная победа. Рябой оставлен у меня. Но чего это стоило, бат-тенька! Я сделал целый доклад на тему о необходимости оставить у меня этого... этого... забыл фамилию... Одним словом, кондуктора. Каково?

— Н-да,— заметил я,— а что вы теперь с ним сделаете?

— Пусть делает что хочет. Пусть себе согласовывает какие-нибудь бумажки. Не в этом суть.

Наш поезд опоздал на двадцать четыре часа.

— Безобразие! — вскричал Иван Иваныч.— То есть просто возмутительно! Пора уже обратить на транспорт внимание! Понимаете? Серьезнейшее внимание! Просто ч-черт знает что такое! Пойду к начальнику станции, устрою ему скандал. И в жалобную книгу напишу! Нужно же наконец найти основную причину безобразий на железной дороге.

И Иван Иваныч пошел выяснять.

Выяснит ли?

1931

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Мимо парохода, справа налево, подвигались желтые Крымские горы. В их географически четком рисунке чудились зазубренные гривки и выпуклые бюсты шахматных коней.

Теплая голубенькая вода нежно облегала знаменитый полуостров.

В буфете II класса мерно дребезжали стаканы. Пассажиры пили пиво, смотрели, вытянув шеи, в широко раскрытые, обшитые медью иллюминаторы, восхищались природой и делились наблюдениями.

А в это время двое сдружившихся в дороге работников областного масштаба сидели нос к носу в курительной комнате и беседовали на родственные областные темы.

— Значит, вы теперь отдыхать? — мечтательно сказал первый.— Так. Это хорошо. Здоровый, так сказать, отдых необходим. Да. Это здорово. А я, так сказать, в командировку. Да. В командировку я. Да. М-м-да. Значит, сеноуборочную вы перевыполнили? Здорово. Это здорово. А как у вас с культпоходом?

Оказалось, с культпоходом у отпускника тоже все обстоит благополучно.

Пассажиры затронули еще ряд волнующих актуальных тем и перешли к вопросу о живом человеке. Они выискивали общих знакомых, вспоминали любимых начальников и подробно рассказывали о сослуживцах.

— Конечно, разные бывают работники,— молвил командировочный, ловко свертывая скрутку из папиросной бумаги с лиловыми строчками пишущей машинки,— в особенности в областном масштабе.— Он усмехнулся.— Есть у нас один работник. Такой товарищ Дубекин. Не слышали? Да. Товарищ Дубекин. Он, скажу вам, человек — необыкновенный. То есть не то чтобы необыкновенный, а немножко, так сказать, странный. Хотя, скажу вам, в нем нет странностей как таковых. А вот — загадочная натура и все тут! Конечно, в областном масштабе. Никак не можем найти ему разъяснения.

Командировочный пошевелил пальцами, желая этим подчеркнуть загадочность и неразъяснимость натуры товарища Дубекина.

— Припадочный он, что ли? — спросил отпускник снисходительным басом.— Такие факты иногда встречаются на практике.

— Да вы слушайте! Ничего он не припадочный. Я вам расскажу. Загадочная натура. Слушайте.

Командировочный высоко поднял брови, помедлил самую малость и с удовольствием начал привычный, как видно, рассказ:

— У нас все знают Дубекина. Еще когда были губернии, он работал в губернском масштабе, а потом, так сказать, механически стал работать в областном. И вот, скажу вам, года три назад, в связи с самокритикой, стали замечать за Дубекиным странные факты. Как сейчас помню, назначили его на мясохладобойню. У нас, скажу вам, отличная была мясохладобойня. Да. Прошло со времени назначения Дубекина месяца два, и все заметили, что процент забойности стал снижаться. Среди работников также стало замечаться разгильдяйство. Да и качество продукции захромало на все три ноги. Что за черт! Подождали еще месяца четыре и, скажу вам, пришли в ужас. Хладобойня просто гибла на глазах. Решили принять меры. Дубекина сняли и принялись прощупывать, что он за человек. Щупали, щупали — все в порядке. Стаж хороший. В уклонах не был. Ни одного взыскания. Профбилет как стеклышко. Самокритику не зажимал. Не бюро-

крат. Одним словом, скажу вам, никаких грехов. Что случилось? Ничего не понятно. Бросили его в кооперацию. Стали смотреть, что будет. Через месяц — стоп, начинаются неполадки. То здесь трещина, то там прорыв. Скоро с прилавка исчез даже наждачный порошок. Взяли Дубекина за манишку. Искали, смотрели, ревизовали, проверяли — все в порядке. Никаких растрат, никаких злоупотреблений, никаких самоснабжений. Честный дьявол, как снег.

— Может, он общественность не вовлекал? — спросил отпускник.

— Еще как вовлекал! — воскликнул командировочный.— Лавочные комиссии, все, как один, заявили, что Дубекин с общественностью постоянно считался. Тогда решили, что он просто лентяй. Проверили. Оказалось, ничего подобного. На службу приходил раньше всех. Уходил ночью. Домой работу брал. Отказался от отпуска. И дисциплину поддерживал на ять. Постоянно штрафовал опаздывающих.

— Может, склочник?

— Ничего подобного. Проверяли. Никто не жаловался. Даже наоборот. Говорят, человек тихий, добрый, покладистый. Ко всему еще хороший товарищ. Тут, скажу вам, какая-то тайна. То есть не то чтобы мистика, а просто загадка природы. У нас все в областном масштабе ломали головы над Дубекиным. Ну, не к чему придраться. Да, бросили его, конечно, в деревню, на яйцезаготовки. Было в районе шестьдесят процентов, надо было подтянуть. Поехал Дубекин в район. Посидел там всего две недели, и что же! Процент с шестидесяти скакнул на сорок. Ну, знаете, скажу вам, тут все руками развели. Вызвали Дубекина молнией. Стали выяснять, в чем же наконец дело. Может, загибал? Оказалось, ничего подобного, не загибал. Может, послабления делал? Нет, и послаблений не делал.

— Может, на массовую работу обращал недостаточное внимание? — спросил отпускник, подумав.

— Нет. Обращал. Это было доказано. Вообще никаких дефектов. Начали выяснять, как Дубекин в домашнем быту? Нет ли, мол, какого-нибудь домашнего обрастания, каких-нибудь таких извращений в частной

жизни. Не деспот ли, мол, в семейной обстановке. Обследовали. Да. И, скажу вам, оказался, сукин сын, без сучка без задоринки. Никаких загниваний. Скромный, трезвый, живет бедной трудовой жизнью. Женат только один раз. Дочь у него — девочка-пионерка. Сынишка-октябренок издает собственную стенгазету. Дедушка-пенсионер. Среди семьи Дубекин ведет воспитательную работу. Скажу вам, так сказать, всем бы нам такое семейное окружение.

— Может быть, какие-нибудь посторонние влияния?

— Эге! Я сам так сначала думал. Оказалось, нету. Напротив. Сам на всех оказывает здоровое влияние. Тут у нас, в области, только глазами захлопали. Судя по всем фактам, его не то что взгреть, а прямо за образец нужно поставить. Думали, думали и решили использовать Дубекина на литературной работе. Все-таки ценный работник, без единого взыскания, ни в чем не был замечен. Так и сделали. Только не проходит и полугода, как писатели начинают жаловаться. Читатели тоже жалуются. Издатели тоже. «Что же он, спрашивают, обидел вас, что ли?» — «Да нет, говорят, не обидел. Он, говорят, парень теплый».— «Что же он вам причинил что-нибудь или как?» — «Да нет, отвечают, ничего он нам не причинил».— «Может, он невыдержанный?» — «Нет, говорят, вполне выдержанный товарищ, только мы с ним не можем работать».— «Почему же не можете?» — «Да какой-то он, говорят, такой, одним словом, какой-то не такой, говорят, а какой-то он другой, а в общем, человек что надо. Положительный тип».

Кинулись узнавать прошлое. Авось где-нибудь в биографии что-нибудь такое отыщется. Куда там! Желаю всем такое прошлое! Отец — кустарь-одиночка без мотора. Мать — домашняя хозяйка. Просто хоть памятник ставь человеку. А аккуратный, собака, сил нет! Членские взносы, скажу вам, вперед платит. Даже в «Общество друзей радио» вперед вносит! Ну, что с ним сделаешь! И нагрузки разные несет. Никогда ни от чего не отказывается. Так у нас, в областном масштабе, и не разгадали этого человека. Загадочный ха-

рактер. Тайна. Своего рода достопримечательность вроде публичной библиотеки. Один наш товарищ, горячая голова, решил было, что Дубекин просто сумасшедший, так сказать, тайный псих. Такие случаи бывали. Что ж! Послали к нему комиссию врачей под видом бытового обследования. Проверили. Нашли, что человек вполне отвечает за свои поступки и находится в полном сознании. Извинились и пошли домой. Сейчас его бросили в городской театр, налаживать оперную работу.

Командировочный вскочил.

— Ну, не загадочная натура? Не знаю, что дал бы, чтоб разгадать нашего Дубекина. Тайна природы! Неразрешимая загадка!



— А может быть, он дурак? — сказал отпускник, морща лоб.— А? Просто обыкновенный дурак. У нас такие факты встречались на практике.

Командировочный медленно сел в кресло.

— К-как вы говорите? Ду-рак?

— Конечно, дурак. Ясное дело. Тут и думать долго нечего. Дурак и есть.

Командировочный начал багроветь.

— Дурак,— бормотал он,— гм... дурак. Да. Как же это я... Как же это мы... Ах ты черт! Пожалуй, что и действительно дурак. Ай-яй-яй! Конечно, Дубекин дурак! Вот тебе раз, не догадались. Так сказать, недоучли. Недооценили.

И командировочный жалобно взглянул на собеседника.

Машина дала задний ход. Корабль задрожал.

Из-под винта, обгоняя друг друга и переворачивая арбузные корки, покатились барашки белой пены. На гранитный дебаркадер Ялтинского порта полетел причальный конец.

1932

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

(1937—1942)

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТКИ

Однажды мы отправились с Валентиной Хетагуровой на хабаровский вокзал встречать очередную партию девушек, выразивших желание работать на Дальнем Востоке.

Как хорошо, что популярность не портит наших молодых людей. Вале Хетагуровой лишь немногим больше двадцати лет. Но вот свалилась огромная, оглушающая слава. Молодая женщина получает ежедневно сотни писем и телеграмм. Ее имя не сходит с газетных листов. Можно смело сказать, что сейчас это одна из самых знаменитых женщин в Советском Союзе. Есть от чего закружиться голове! В любой стране, где за популярностью немедленно следуют меха, брильянты, собственные яхты и виллы, носик сам собой задирается к небу, глазки прищуриваются, как будто юная обладательница славы стала вдруг близорукой, походка делается расслабленной, а взгляд — блуждающим и рассеянным. У нас за двадцать лет выросло поколение духовно чистых, неиспорченных людей. Валя Хетагурова несет свою славу с достоинством философа. Никакой игры. Ни малейшего намека на позу. Мне кажется, что внутренне она счастлива своей популярностью; но внешне вы ничего не заметите. Трудно сохранить духовное равновесие, когда человек проходит испытание славой. Но еще трудней не

показать людям собственного, действительного или воображаемого превосходства. Это — проявление высшего такта. Можно только поздравить артиллерийского майора Хетагурова с такой женой, а нашу страну — с такой дочерью.

Знаменитая женщина с огорчением поглядывала на небо. Сыпался мелкий дождик. Доски дебаркадера размокли и покрылись грязью. Поезд немного запаздывал.

— Вот бедные,— сказала Хетагурова, подымая воротник серенького пальто и тряхнув мокрой гривой волос,— не повезло им сегодня с погодой. Вы подумайте только, с Украины — и прямо в эту слякоть. А вчера, как нарочно, был такой чудный солнечный день!

Наконец подошел поезд. Из окон высовывались взволнованные, затихшие девушки. По ищущим глазам и побледневшим лицам можно было представить себе, как колотятся их сердца. Окончен длиннейший путь через Урал, через сибирскую тайгу, мимо Байкала, мимо станции с суровым названием «Зима» и мимо станции с комичным названием «Ерофей Павлович», через Зейскую область — район вечной мерзлоты — и через богатейшие земли Еврейской автономной области. Вот сейчас, с этой минуты, начинается новая долгая жизнь в новых, незнакомых местах, среди новых, незнакомых людей. Страшное и радостное мгновение!

Но не прошло и двух минут, как затишье сменилось бурным оживлением. В узкой двери вагона показались корзинки, сундучки, чемоданы. И вслед за ними обязательные береты, русые челки, загорелые руки, голубые майки. Сделалось очень шумно. Заговорили сразу все. В общем шуме можно было разобрать только: «Куда же вы?», «Сдавать на хранение!», «Девчата, собирайтесь здесь!», «Девчата, смотрите, Валя Хетагурова!», «Где Валя?», «А сундучок как же?» и самое звонкое, отчаянно-веселое — «Танька! Ей-богу, гитару забыла!»

Потом девушки прощались с проводниками, с начальником поезда. Потом по перрону торжественно

пронесли гитару — сдавать вместе со всеми вещами в ручной багаж. А еще через пять минут девушки стояли на площади, на серой, дождливой вокзальной площади, и в ожидании автобуса пели украинские песни. Они спелись дорогой и поэтому пели превосходно. Понемногу стала собираться толпа. Было много красноармейцев. Нашлись украинцы, стали подпевать. Наша толпа, вообще говоря, насмешлива, иногда грубовата. Но надо было видеть, как деликатно, почтительно, с каким глубоким уважением отнеслась толпа к приехавшим.

Девушкам не терпелось узнать, что с ними будет, куда их отправят, нужны ли их профессии. Кого тут только не было среди пятидесяти украинских девушек — и счетоводы, и слесаря, и техники, и пионервожатые, и журналистки, и инженер-химик.

— Не волнуйтесь, девушки,— громко говорила Хетагурова,— все нужны. И счетоводы нужны и техники. И ты нужна. И ты. На всех места хватит и еще останется. Вот поедем сейчас в общежитие. Помоетесь, переоденетесь, отдохнете. А завтра с утра комиссия разберет кого куда.

Ко мне подошло совсем еще юное белоголовое существо с сердитыми голубыми глазами и, очевидно приняв меня за начальство, спросило:

— Скажите, товарищ, куда меня направят? Я хочу обязательно на Камчатку. И только в крайнем случае на Сахалин.

Так и сказала: «Обязательно на Камчатку и только в крайнем случае на Сахалин».

Я почувствовал легкое пощипывание в области слезных железок и поспешил подвести девушку к Хетагуровой.

Хетагуровскому движению всего несколько месяцев, но у создательницы этого движения уже выработался большой деловой опыт.

Она внимательно посмотрела на девушку, потом улыбнулась и неожиданно спросила:

— Наверно, смотрела картину «Девушка с Камчатки»?

— Смотрела,— прошептала девушка.

— И сама, наверно, хочешь стать девушкой с Камчатки?

— И откуда ты только знаешь, Валя! — восхищенно ахнула любительница Дальнего Севера.

— Я, брат, все знаю,— пошутила Валя и вдруг, сделавшись очень серьезной, добавила:— А если дело потребует, чтоб тебя послали в другое место, поедешь?

— Поеду. Только туда, где есть трудности.

— Ну и молодец. Завтра утром посмотрим. Если на твою профессию будет заявка, то и на Камчатку поедешь.

Впоследствии, познакомившись с делом поближе, я убедился, что на Камчатку, на Сахалин, в Комсомольск хотят ехать почти все.

И все ищут «трудностей».

В комиссии, которую возглавляет очень умная и энергичная женщина — товарищ Кузнецова, в первом же письме, которое я вынул наугад из целой груды писем (корреспонденция, полученная всего лишь за несколько часов), первые строки были такие: «Товарищ Кузнецова! Здравствуй. Письмо получила. Я очень рада, что буду работать там, где трудности».

Кузнецова, уже немолодая, крупная женщина с легкой сединой в волосах, на первый взгляд кажется несколько резкой. Она расспрашивает девушек громко, отчетливо. У нее очень мало времени, и поэтому каждая минута у нее на счету. Но, в сущности, это очень добрая и заботливая женщина. Она до сих пор еще не устала волноваться по поводу каждого письма, по поводу каждой человеческой судьбы. У нее очень маленький штат и недостаточно опытные работники. Край должен помочь ей в этом.

Хетагуровское движение растет с очень большой быстротой. Уже около шестидесяти тысяч девушек изъявило желание ехать на Дальний Восток, а край смог принять и разместить покуда только четыре с лишним тысячи. Кузнецова надеется принять в этом году еще двадцать тысяч человек. Но если оценить порыв молодых патриоток по достоинству, то есть как чрезвычайно важное политическое явление, становится ясным, что край недостаточно быстро поспевает за

бурным течением жизни. Больше всего край нуждается в людях, люди эти есть. И люди необыкновенные. Следовательно, перевозить и устраивать их надо как можно скорее. Некоторые учреждения еще медлят с присылкой заявок, с устройством жилья для хетагуровок.

Движение плотно вошло в жизнь. Появились уже и анекдоты, и комичные истории. Был довольно неприятный случай. Приехала как-то одна девушка, получила назначение и уже через несколько дней явилась снова в комиссию с просьбой отправить обратно. Оказывается, она поссорилась со своим женихом, «назло ему» уехала на Дальний Восток, а потом получила от него молящую телеграмму, смягчилась и заспешила домой.

К счастью, это случай единственный.

Недавно пришло письмо от группы ивановских ткачих. Им ответили, что ткачихи не нужны, так как в крае нет текстильной промышленности. Предложили поступить на курсы шоферов. И тотчас же пришел восторженный ответ:

«Хотим быть шоферами. Всю жизнь мечтали стать шоферами».

Громадное большинство хетагуровок быстро и хорошо вошло в дальневосточную жизнь. Я был во многих местах, где они живут и работают. Администрация ими не нахвалится. Они пользуются большим уважением. Некоторых уже избрали на различные выборные должности.

В Комсомольске, в той его части, которая называется по имени бывшего здесь пять лет назад нанайского стойбища — Дземга, есть четырехэтажный дом, где живут триста шестьдесят хетагуровок-москвичек...

Когда они приехали, их на пристани встречал весь город.

Три девушки — Таня Широкова, Люда Свиридова и Зина Хозяинова, по профессии техники, сидя за столом в своей светлой комнатке, перебивая друг друга, рассказывали историю своего путешествия.

— Вот мы ехали, ехали...

— Погоди, да ты скажи про Москву. Еще в Москве дали нам отдельный поезд.

— И, значит, мы поехали...

— Ну, я же говорю — значит, мы поехали. На каждой станции нас встречают с цветами. Ну, просто мы никак не ожидали.

— А на одной станции... ведь была еще ранняя весна, цветов было мало...

— Ах, верно, я и забыла! Народу пришло видимо-невидимо, и откуда только они узнали...

— Как откуда! Наверно, из газет... Да ты не перебивай... Народу! Пионеров! И каждой из нас, потому что цветов было мало, поднесли вот такой маленький букетик с таким вот громадным бантом!

— Вот с таким вот бантом! И все разных цветов — синие, красные, сиреневые!

— А на больших станциях были митинги.

— И Люда всюду выступала. Она у нас главный оратор.

Люда нисколько не смутилась и, только из приличия махнув рукой, дескать, что тут особенного, принялась рассказывать о приеме.

— Когда подъезжали к Хабаровску, мы так волновались, так волновались, я так волновалась, так волновалась. Уже девчата давали мне пить сырые яйца, потому что, понимаете, я охрипла. Ну, ничего, в Хабаровске выступала на митинге.

— Да ты расскажи, как было в Комсомольске.

— Подплываем мы к Комсомольску. Ну, видим наконец Комсомольск. Такая река красивая. И город. Когда пароход проходил мимо города, видим — наро-оду! Все неорганизованные, неорганизованные. Пришли нас встречать стихийно. А потом видим — организованные, с флагами. Митинг был! Я никогда на таком большом митинге не выступала. И фотографы-любители со всего города собрались нас снимать. А потом нас повезли в Дземгу... И вдруг прямо на дорогу перед автомобилем выходит мальчик с букетом, такой маленький карапуз и важно кричит: «Привет юным патриоткам!» Ну, тут мы все просто покатились! И так было трогательно! Вот этот дом, где мы живем,

кончали уже в последние дни, в три смены работали. И когда мы приехали, все было готово, и все было убрано, и в каждой комнате для нас было даже налито ведро воды!

Потом Таня Широкова показала письмо от своей матери. Начиналось письмо дипломатично:

«Дорогая дочка! Наконец осуществилась твоя мечта — переносить трудности...»

Дальше шли всяческие опасения. Мама боялась, что трудности слишком уж велики. Чудилось ей, что дочка может заболеть цингой. Спрашивала, не прислать ли ей чего. Давала разные советы, главным образом медицинского характера.

А дочку эта самая «цинга» страшно смешила. Ведь дочка и ее подруги живут в краю, где с цингой уже давно покончено даже на Крайнем Севере, живут в довольно большом городе, хорошо работают, окружены всеобщим вниманием, учатся управлять самолетом без отрыва от производства. По их собственному выражению, они — «безотрывницы». На столе лежат книжки — Лермонтов, Лев Толстой, Чехов, учебники по авиатехнике. В окно виден неповторимый амурский закат. Воздух чист и свеж. Недалеко от окна стоят две высокие лиственницы. А дальше тянутся большие и маленькие деревянные дома молодого города.

И мне хочется ответить сразу всем любящим и нежным мамам:

— Дорогие мамы! Гордитесь вашими дочерьми, как гордится ими вся наша страна.

1937

СТАРЫЙ ФЕЛЬДШЕР

Литература оставила нам классический образ старого русского фельдшера. Это грубый, неотесанный человек, который кричит на пациентов, от всех болезней прописывает соду и глубоко убежден, что медицина — вздор и никакого пульса в природе не существует.

Совсем недавно я познакомился со старым русским фельдшером. Произошло это в маленькой нанайской деревушке, Нижней Халбе, раскинувшейся на песчаной косе при впадении в Амур таежной и горной реки Горюн.

Мы провели на Горюне всю ночь.

Закат был так хорош, что только из-за одного этого заката стоило примчаться из Москвы за десять тысяч километров. Но рассвет казался еще прекраснее. Была минута, когда над темной еще рекой стояла розовая курчавая гора, освещенная невидимым солнцем. Над ней, небрежно зацепившись за вершины деревьев, повисло толстенькое облако, как приготовленный к полету воздушный шар. Была минута, когда река вдруг приобрела цвет и гладкость синеватой бритвенной стали, и далеко за кормой катера протянулись и застыли три одинаковые круглые волны. И наступила минута, когда мир стал идеально прозрачен и целиком, вместе с голубым небом, облаками, прибрежными ивами и лодочкой нанайцев, выехавших на рыбную

ловлю, отразился в восхищенной воде. Из пены, оставляемой винтом катера, выпрыгивали довольно большие золотистые рыбы и, пролетев метр, шлепались в воду. На Дальнем Востоке все удивительно и громадно. Река Горюн, едва ли известная даже учителям географии, при впадении в Амур достигает ширины Днепра.

Катер подплыл к Нижней Халбе и уткнулся носом в низкий песчаный берег.

Деревушка уже проснулась. Увязая в песке, мы пошли вдоль деревянных домиков, амбаров на сваях, сетей, растянутых на шестах. За заборами потягивались и сладко зевали белые и черные пушистые собаки. В отличие от наших европейских шариков и тузиков, которые при виде чужих людей ни за что не упустили бы случая задрать хвосты и залиться нахальным, суетливым лаем, эти собаки (зимой их запрягают в нарты) вели себя прилично и достойно, как лошади.

На крыльце кооператива стояла босая нанайская девушка в рубахе, сделанной из оленьей кожи и расшитой красными и синими нитками. В ушах у нее болтались серьги. Руки были в кольцах и браслетах. Раскосые глаза смотрели загадочно и равнодушно. Во рту красавицы дымилась длинная трубка. Немного далее стоял старик, тоже с трубкой и тоже с серьгами в ушах. Он держал на руках грудного младенца. Нам сообщили, что старику семьдесят три года, что грудной младенец не правнук его и не внук, а сын, и что в редких стойбищах, разбросанных по Горюну за четыреста километров до самого озера Эворон, есть множество сынов, дочерей и внуков бодрого старика.

Наконец мы подошли к фельдшерскому пункту. Во время путешествия я много слышал о фельдшере Мартыненко, популярнейшем человеке в этих далеких, почти оторванных от мира местах. А популярность в тайге дается нелегко.

Переступив высокий порог, мы сразу же попали в маленькую приемную с деревянным диванчиком и столом, на котором лежали журналы. В эту минуту посетителей в приемной не было. Из соседней комнаты до-

носились негромкие голоса. Там, очевидно, шел осмотр пациентов. Вскоре дверь отворилась, и появился фельдшер, краснолицый человек с остриженными под машинку седыми волосами. Он был в белом халате с засученными выше локтей рукавами. Руки его были слегка растопырены, как у хирурга, а на концах пальцев от частого свирепого мытья мылом и щеткой образовались вдавлинки. Из бокового карманчика халата торчали роговые оглобли очков.

Старый фельдшер принадлежал к типу людей, знакомство с которыми завязывается мгновенно и доставляет истинное наслаждение. Убедившись, что больных в приемной нет, фельдшер повел нас в свой домик, скорее — избушку, где в чисто побеленной комнате обитал он с супругой — медицинской сестрой фельдшерского пункта, и мы принялись беседовать. Мартыненко с жадностью расспрашивал нас о Москве, о последних новостях, с увлечением и удовольствием рассказывал о своей работе среди нанайцев.

Мы узнали, что живет он с нанайцами уже давным-давно, что в одной только Нижней Халбе он провел десять лет. Узнали мы, что был он когда-то ротным фельдшером, участвовал в двух войнах — японской и германской, теперь проходит заочный медицинский факультет, выписывает специальные журналы и очень уважает медицину. Это последнее обстоятельство особенно не вязалось с давним представлением о ротном фельдшере — грубияне и ненавистнике молодых врачей. Да и внешностью своей Матвей Алексеевич напоминал скорее профессора.

Заговорили о том, как трудно бороться в нанайских стойбищах с религиозными предрассудками и влиянием знахарей-шаманов.

— Сейчас-то что,— сказал Матвей Алексеевич,— сейчас медицина здесь в почете, а еще совсем недавно тяжело приходилось, даже было трудно.

— Мешали шаманы?

— Ага. Сперва, как я сюда приехал, ко мне на прием никто не являлся. Приходилось самому разыскивать больных. Узнаю, что в какой-нибудь хате больной, ну и иду, конечно. Значит, захожу. Здравст-

вуйте — здравствуйте. Нанайцы — они люди прекрасные, честные, гостеприимные, добрые. Не выгоняли, конечно, а все-таки относились с недоверием. Угощают чаем, у них это первое дело, а к больному не подпускают. Больной, знаете, лежит под своими шкурами, а над ним шаман выделывает свои штуки, прыгает, бьет в бубен. Трудно приходилось. Сначала нужно было приучить нанайцев к моей собственной персоне. Как только я заметил, что они привыкают, я помаленьку стал давать советы. Помогало.

— Вы, Матвей Алексеевич, расскажите про случай с Ольгой Самар,— попросил мой спутник.— Ведь этот случай сразу положил конец шаманской власти.

— А что там интересного? Обыкновенное дело!

Матвей Алексеевич начал рассказывать эту историю неохотно, всячески стараясь преуменьшить собственную роль.

— Было это около трех лет назад, зимою. Помню, мороз был градусов шестьдесят. Ну, вот и приезжают ко мне на собаках за четыреста километров, из Кондона. Это в верховьях Горюна, у самого озера Эворон,— всё мой участочек. Так, мол, и так, здравствуйте — здравствуйте. Что такое? Да вот, говорят, женщина сломала руку. Ничего не поделаешь — надо ехать. Взял я закусить кое-что, прихватил спирту, чемодан с инструментами, и мы тронулись в путь. Ехали пять дней, все вверх по Горюну. Ехали днем и ночью. Мне повезло — собаки попались дюже хорошие. Беда только, что спать почти не пришлось, а ведь мне предстояла операция. Спали только тогда, когда собаки валились от усталости. Наконец примчались. Вхожу я в эту самую фанзу и чувствую, что сейчас упаду. А там камланье полным ходом идет. Там Михаил шаманит. Слышали? Есть там прохвост такой — Михаил Медян, одноглазый.

Матвей Алексеевич усмехнулся и даже потер руки от удовольствия.

— Это прохвост такой, что куда там! Шаман великой силы! Старик! У него, знаете, один глаз, но он врет, что совсем слепой. Это для пущей важности. А сам видит лучше нас с вами. Как-то он проиграл

двести рублей в очко. Это слепой-то! А совсем недавно женился на восемнадцатилетней девушке. Комедия. Ну, а тогда мне было не до смеха. Вертится этот самый Михаил и наяривает в бубен. В хате смрад, копоть. Я велел снять с больной шкуры, которыми она была прикрыта, и ахнул. Лежит молоденькая женщина с грудным ребеночком на груди. Рука переломана в двух местах. Перелом произошел дней двенадцать назад. Пока решили меня вызвать, да пока ко мне доехали, да пока меня привезли — вот время и прошло.

Что делать? На что решиться? Я, как был в шубе, сел и чуть, знаете, не заплакал. Наверно, от усталости и напряжения. И руки дрожат и молодку дюже жалко. Положение ужасное. Собственно, спасти больную почти невозможно, а на карту поставлена не только ее жизнь. Тут прямо решается вопрос — шаман или медицина. Если я возьмусь лечить и женщина умрет,— пропадут даже те маленькие успехи, которых медицине удалось до сих пор добиться в этих краях. Однако времени на раздумье не было. Я сложил кости и сделал перевязку. И одолело меня злейшее сомнение — хорошо ли я сложил кости? Нужно везти в больницу, в Комсомольск. Конечно, шансов мало, до Комсомольска шесть суток езды, но другого выхода нет. А тут новое дело. Является с охоты муж и говорит, что ни за что больную не отпустит, что, мол, в такой дальней дороге может умереть младенец. Тогда я спросил, нет ли в деревне кормящей матери. По счастью нашлась, как раз сестра той самой Ольги, которая сломала руку. Решили оставить младенца у нее. Велел я готовить собак, а муж заартачился снова. Это все Михаил его подвинчивал. «Дай, говорит, расписку, что ни жена, ни ребенок не умрут, иначе не отпущу». И что же вы думаете, пришлось дать такую расписку. Мне самому пришлось везти Ольгу в Комсомольск. Ну и переволновался я тогда.

Старый фельдшер задумчиво улыбнулся, надел очки, потом снял их и, поглядев в окно на сверкающий под солнцем Амур, закончил:

— К счастью, все обошлось благополучно. В Комсомольске хорошая больница и прекрасный хирург. Теперь эта самая Ольга стала комсомолкой. Молодец. Учится. Думаю, хорошо было бы отправить ее в Институт народов Севера, да вот дети... А шаманам теперь худо. Доживают свои дни. Недавно ко мне является на прием, кто б вы думали,— Медян, только не Михаил, а другой, тоже Медян, но Макар. Шаман и прохвост не хуже первого. Над ним нанайские ребята дюже подшутили. Они вместе вершили сено. Ребята метали, а он вершил. Ну, они и придумали отпустить веревку, за которую он держался, чтобы узнать, спасет его бог или нет. Шаман, конечно, упал, расшибся и вот — прибежал ко мне. Лечи, говорит. Теперь постоянно ко мне ходит.

— Наверно, понравилось?

— Ага. И брат его ходит. И жена.

Потом мы немного посплетничали. Совсем, как в нормальном московском доме. Только масштаб у этих безобидных сплетен был колоссальный — четыреста километров. Я узнал, что жена председателя сельсовета в деревне Бичи родила двойню, что Никита Самар с верховьев Горюна убил медведя, и еще множество самых свежих и интересных новостей.

Потом Матвей Алексеевич показал свой стационар на пять коек, и, честное слово, эта маленькая комната с пятью чистыми кроватями, с мытым-перемытым дощатым полом и солнечными зайчиками на аккуратно выбеленных стенах показалась мне куда привлекательнее большой, но грязной хабаровской амбулатории.

Здесь любили и уважали науку и, что еще более важно, уважали и любили человека. Надо было послушать, с каким воодушевлением, даже азартом, говорил старый фельдшер о своих пациентах, с каким удовольствием сообщил он, что за последние десять лет вымирание чудесного нанайского народа прекратилось, население стало увеличиваться, и теперь, посмотрите, сколько вокруг детишек, дюже много, вот и двойня родилась, факт, подобного которому не запомнят старожилы — смелые охотники и рыболовы.

Оказалось, что Матвей Алексеевич и его жена ведут не только медицинскую работу. Они заботятся о просвещении нанайцев. Они уговаривают наиболее даровитых молодых людей ехать в Институт народов Севера, а это совсем не легкое дело. И уже многие поехали. И уже старики получают от своих питомцев из Ленинграда благодарственные и восторженные письма.

Глядя на оживленное и ласковое лицо Матвея Алексеевича, я думал о том, какие чудеса может творить революция, если попавший в глушь, оторванный от мира человек, вместо того чтобы, как полагается ротному фельдшеру, запить и опуститься, вдруг поднялся и превратился в большую культурную силу.

Говоря об интеллигенте, почему-то представляешь себе чеховское пенсне, зачесанные назад волосы. Бывало в литературе еще и такое — «тонкие и длинные пальцы, как у скрипача». Уж во всяком случае представляешь себе кабинет, заваленный книгами и бюстами Спиноз. А находишь интеллигента в деревне Нижняя Халба, где совсем нет бюстов и, к сожалению, не так уж много книг. Находишь человека, который знает великий секрет — не только лечить пациента, но и жалеть его, болеть за него душой.

А это умение отдавать всего себя народу и есть самое ценное в человеке.

1938

В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Из путевых записок

I

Незадолго до вероломного нападения фашистов на Советский Союз мне привелось побывать в Германии.

Уже в вагоне немецкого поезда стало ясно, что Германия совсем не похожа на ту, которую я видел и знал до прихода гитлеровцев к власти. От спального вагона «Митропа» (когда-то они были образцом чистоты и комфорта) осталось одно лишь роскошное название. Потолки купе и коридора превратились из белых в какие-то бурые, обшарпанные. Полированное дерево мебели было в царапинах, пол грязноват. От двери купе отстала длинная металлическая полоска и больно царапала тех, кто имел неосторожность к ней приблизиться. Проводник покачал головой, потрогал полоску пальцем, сделал неудачную попытку справиться с ней при помощи перочинного ножа, потом махнул рукой. Все равно! В заключение проводник обсчитал нас на несколько марок — случай, который едва ли мог произойти в догитлеровской Германии.

И уж совсем никак не могло случиться в старой Германии то, что произошло со мной в приличной берлинской гостинице на Фридрихштрассе. Если бы это

случилось с кем-нибудь другим, я ни за что не поверил бы! У меня в номере гостиницы просто-напросто украли колбасу, фунта полтора московской колбасы, и булку, завернутые в бумагу.

На пограничной станции носильщик с нарукавной повязкой, на которой была изображена буква «П» (поляк, существо «низшей расы»), человек в лохмотьях, с истощенным серым лицом и умоляющими глазами (я никогда не забуду этих глаз), хотел поцеловать мне руку, когда я дал ему две марки. Это был раб.

Потом мы видели рабов на всем пути до самого Берлина. Это были пленные, главным образом французы, в беретах, в красных зуавских шапочках, в когда-то добротных шинелях горохового цвета. Теперь шинели были изодраны и грязны. Пленные рабы делали свою работу медленно, негнущимися, чугунными, ненавидящими руками.

Но вот Берлин. Вокзал Фридрихштрассе. Унтер-ден-Линден. Бранденбургские ворота. Тиргартен. Знакомые прямые улицы. Они все те же. Монументальные здания. Те же здания (это было за несколько дней до большой английской бомбардировки, разрушившей центр города). Витрины магазинов. В общем, те же витрины с дамскими и мужскими модами, сигарами, шляпами, красочными проспектами заокеанских путешествий. Рестораны и пивные. Те же самые рестораны и пивные с мраморными столиками и картонными кружочками для пивных стаканов. Те же полицейские, регулирующие уличное движение. Одним словом, это был старый Берлин. Но первое впечатление длилось буквально несколько минут. Сразу же, как на пластинке, опущенной в сильный раствор проявителя, стали вырисовываться контуры другой, невиданной до сих пор Германии — Германии, схваченной за горло палаческой рукой Гитлера.

На всех улицах, кроме двух-трех главных, валялся мусор. Я не верил своим глазам. Мусор в Берлине! Свежий ветерок бесцеремонно гнал по мостовым целые тучи пыли. Прохожие поминутно протирали глаза. Как в деревне. В магазинах ничего нельзя было

купить. Витрины представляли собой наглую, циничную декорацию. За прилавками пустых магазинов уныло стояли старики хозяева или их жены. Для покупки промтоваров население получает так называемые «пункты», но количество этих пунктов смехотворно мало. Я бодро вошел в хороший табачный магазин с прекрасной витриной, где рекламировались по крайней мере двадцать сортов сигар и сигарет. Мне молча указали на плакатик: «Товар распродан». На мой вопрос, когда же товар не бывает распродан, хозяин только печально улыбнулся.

В пивных и ресторанах было пусто. Значение этой пустоты я проверил на собственном желудке позже, в Лейпциге, когда в течение целого дня не мог достать ничего съестного, хотя и предъявлял продовольственные карточки. Полицейские и светофоры, регулирующие движение, представляли собой такую же декорацию, как и витрины. На улицах движения почти не было. Лишь изредка пробегала серая малолитражка военного ведомства, тяжело проходил старый берлинский омнибус, отчаянно визжа тормозами на остановках.

Но главное — это люди.

Сколько понадобилось Гитлеру издевательств и поборов, как превосходно удалось отрегулировать систематическое многолетнее недоедание (на грани голода), как сильно завинтить пресс духовного удушения, чтобы превратить веселую, общительную берлинскую толпу в этих безмолвных одиночек, уныло бредущих по улицам. Вы никогда не увидите в Берлине не то что толпы, но даже трех-четырех оживленно разговаривающих людей. Исчезли компании. Исчезла видимая связь между людьми. Людей нет. Есть человеки. И каждый замкнут в самом себе. По улицам идут несгораемые шкафы мыслей и чувств. И кажется, что шифр от этих шкафов, ключи к ним утеряны навеки.

К счастью, я ошибался. Ключи не были утеряны. Люди как-то общались. И не только общались, но даже красноречиво высказывали свое общественное мнение.

В один из первых же дней я попал вечером в кинотеатр. Шла документальная картина о разгроме Франции «Победа на Западе». Картина лживая, но эффектная. По замыслу режиссеров, в ней было много мест, предназначенных для оваций: захваты городов, подписание Гитлером перемирия в Компьенском лесу и даже подъем фашистского флага над Эйфелевой башней.

Большой зал кинотеатра на Потсдамской площади был переполнен, не меньше трети зрительного зала составляли военные. Но я не услышал не только оваций, не только аплодисментов: я не услышал ни одного хлопка. Ни одного хлопка за всю картину! Это была явная демонстрация. Досмотрев картину до конца, люди молча разошлись. Тяжелые дверцы снова захлопнулись. Люди снова превратились в одиночек.

Наблюдал я еще один раз такое внезапное, но, несомненно, более сильное раскрытие людей в Лейпциге, на так называемой международной ярмарке. Не буду распространяться об этой странной ярмарке, устроенной по такому же принципу, по какому были устроены берлинские витрины или регулировалось берлинское движение. Но там был советский павильон. И одиночки пришли со всего города, чтобы, очутившись в советском павильоне, образовать там толпу.

Советское правительство честно выполняло свои обязательства по советско-германскому договору и как солидный экспортер выставило на ярмарке свои экспортные товары.

Я никогда не забуду того, что видел. Люди сразу же, не глядя на другие павильоны, шли к советскому. Они осматривали каждый экспонат по нескольку раз. К альбомам с фотографиями строительства в Советском Союзе невозможно было пробиться. В торговле все это можно было назвать громадным успехом. В политике — громадным явлением. Люди оживились. Их невозможно было узнать. Позабыв об опасности, они заговаривали друг с другом, делились впечатлениями. Возле большой книги отзывов в течение всех семи

ярмарочных дней толпились люди. И многие из них смело шли на поступок большого гражданского мужества: делали свои записи, прекрасно зная о том, что ярмарка наводнена шпиками гестапо.

Вот несколько взятых наудачу записей:

«Ваша выставка может вызвать только восхищение. Я поражаюсь богатством Вашей страны и желаю Вашему народу и делу впредь такого же процветания. Я сам с самой Октябрьской революции стою на Вашей стороне и постоянно интересуюсь благополучием Вашей страны».

«Ваша выставка поможет многим рассеять туман и ложь немецкой информации о России».

«Мы все в восторге от выставки Советского Союза, но не каждый из нас решается написать в книгу свои впечатления. Это сейчас очень опасно».

«Все, что говорили о России раньше,— ерунда и ложь».

«Мы в восторге от всего того, что видели. Большего я не смею сказать».

«Вы должны быть благодарны Ленину за Вашу настоящую жизнь».

Мне запомнился один старый человек, очевидно, интеллигент. Минут двадцать ходил он вокруг книги впечатлений, не решаясь сделать запись. Он снова уходил к экспонатам, снова возвращался. Он, несомненно, испытывал величайшие мучения. И вдруг решился. Ни на кого не глядя, с бледным твердым лицом, подошел прямо к книге и сделал запись. Подумал. Промакнул. Поставил точку. Расписался. Снова промакнул. И, гордо подняв голову, вышел из павильона. Я посмотрел его запись. Она была восторженная.

Да. Такие люди есть в Германии. И их немало. Мы должны помнить о них. Но еще больше должны мы помнить о звериной харе германского фашизма, ни на секунду не забывая, с каким садистически кровожадным, отчаянным, вооруженным до зубов врагом столкнулся сейчас наш мирный по духу, но великий и страшный в гневе народ.

II

Сразу же после переезда германской границы меня охватило чувство тоски. Это трудно объяснить. Я был иностранец, свободный, абсолютно независимый человек. Мне не угрожал голод, так как я имел возможность обедать в посольстве и, кроме того, иностранцы в Германии получают значительно большее количество карточек, чем немцы. Я, наконец, совершенно не зависел от произвола нацистских властей и, следовательно, находился в совершенно исключительном положении, в каком не находится и не может находиться ни один немец. И тем не менее чувство тоски не только не проходило, но с каждым днем становилось все сильнее. Тоска как бы носилась в воздухе. Страна казалась зараженной бактериями тоски. И каждый, кто дышал воздухом гитлеровской Германии, неизбежно становился жертвой этих бактерий.

Это чувство испытывали все люди, с которыми мне приходилось разговаривать. Так, вероятно, чувствует себя человек, попавший в комнату и не подозревающий, что под кроватью, в шкафу и под половицами запрятаны связанные трупы людей. Он разгуливает по комнате, смотрит в окно, садится в кресло, закуривает, принимается насвистывать и никак не может понять, что же такое случилось, почему так сжимается сердце, откуда эта гнетущая, ужасная тоска, тоска, от которой некуда деваться?

Я закрываю глаза и стараюсь восстановить в памяти современную Германию, сопоставить факты и впечатления, вспомнить все наблюдения и встречи, цвета, запахи, разговоры, все подробности путешествия. И мне кажется, что причина необъяснимой на первый взгляд тоски становится ясной и понятной.

Начало марта. Усиленные переброски германских войск в Болгарию.

Вокзал Фридрихштрассе. Через минуту отойдет поезд на Вену. Из окна вагона смотрит шестнадцатилетний мальчик в солдатской форме летчика, с откры-

той шеей, красивый мальчик с туповатым, самонадеянным и немного испуганным лицом. Перед ним, на перроне, как нищие, стоят мать в трауре, с окаменевшим лицом, и отец, весьма приличный господин в очках, типичный берлинский служащий или мелкий лавочник с подстриженными седыми усиками. Когда-то это был толстый веселый человек. Я знал таких людей, типичных берлинцев, весельчаков, любителей хорошей компании и хорошей шутки. Сейчас старенький, очень аккуратно вычищенный и выглаженный костюм болтается на нем, как на палке. Оба: отец и мать, подняв головы, смотрят на сына. Поезд быстро отходит. Отец машет рукой.

— Помни о матери, Людвиг,— кричит он вдогонку,— будь осторожен. Ведь ты у нас последний!

Мать молчит.

Поезда уже нет. Вместо него перед глазами застекленные пыльные переплеты вокзальной стены, за которой видны скучные кирпичные брандмауэры, балкон какого-то этажа с фикусом и выставленной проветриваться ситцевой периной и множество никому не нужных теперь реклам мирного времени.

— Ну, пойдем,— говорит отец.

Но мать не двигается с места. Еще минуту она смотрит в ту сторону, куда ушел поезд. Потом молча начинает ломать руки. Ее лицо неподвижно. Губы сжаты.

— Ну, ну, пойдем,— говорит отец,— теперь пойдем.

Но она продолжает ломать руки, наклоняется, снова выпрямляется, как будто делает какую-то непонятную, тяжелую работу.

Отец, отвернувшись от нее, снимает и дрожащими пальцами протирает очки.

— Видите, у нас уже двоих убили. Это был третий,— говорит он мне извиняющимся голосом.

Каждую неделю, начиная с пятницы, по всей Германии производится сбор на так называемую «зимнюю помощь». В пятницу, субботу и воскресенье.

Воскресенье — последний день. С утра до вечера по улицам ходят полицейские, штурмовики и солдаты охранных отрядов с кружками и собирают деньги.

Делается это так. К вам подходит человек в форме и встряхивает кружкой защитного цвета. Раздается маленький никелевый грохот. Вы говорите «данке» и проходите мимо. Человек, опускающий в кружку монету, получает какую-нибудь картонную брошку. Обычно эти брошки покрыты фосфором и по ночам светятся. Во время затемнения это удобно. Но громадное количество людей ничего не опускают в кружку. Люди пользуются каждым возможным случаем, чтобы показать свое отношение к режиму.

— Данке,— говорит прохожий и проходит мимо.

Он говорит очень вежливо. Даже с сожалением. Дескать, ничего не поделаешь, раз нет денег. Но в голосе слышится торжество. И он торопится пройти мимо. Когда он видит, что по тротуару навстречу ему идут штурмовики с кружками, он тотчас же переходит на другую сторону. Однако чаще всего по другой стороне уже идет другая группа сборщиков, и удрать не удается. Тогда остается одно: данке. И — мимо.

Во всей этой почти что комической истории с «зимней помощью» меня больше всего поразило какое-то тупоголовое и наивное жандармское нахальство, с которым гитлеровский режим производит свои поборы. Я ни за что не поверил бы, что сборы производят полицейские и штурмовики, если бы не убедился в этом лично. Если даже стать на точку зрения самого Гитлера (хотя это и нелегкое дело), станет ясным, что куда умнее и хитрее посылать для сборов бедных женщин, стариков или инвалидов, наконец привлекательных девушек, кого угодно, но только не прыщавых, наглых штурмовиков или более пристойных, но казенно-равнодушных полицейских. В чем тут секрет? Я долго ломал над этим голову. Потом понял. Дело в том, что гитлеризм давно уже перестал стесняться с публикой. К чему стесняться, когда и так все давно уже ясно! Есть звери умные и хитрые, как, например, волки или тигры. И есть не менее опасные и злые, но бесстыдно откровенные звери, как, например, некоторые породы

обезьян. Тупо поглядывая по сторонам, они показывают почтеннейшей публике свои синие, красные или полосатые зады, не только не испытывая при этом ни малейшего смущения, но даже чувствуя известное удовольствие.

Режим не стесняется. Это видно на каждом шагу.

Германское искусство. С витрин и журнальных обложек смотрят на вас картины современных германских художников, выполняющих, так сказать, социальный заказ. Каково бы ни было искусство, то есть какова бы ни была степень талантливости художников (а среди них есть люди одаренные), оно не может не отражать жизни. Художники всячески стараются попасть в ногу с громогласно марширующим гитлеризмом. Ведь иначе просто сдохнешь с голоду! И вот с витрин и журнальных обложек смотрят на вас не лица, а хари. Во всем этом такое же циничное, павианское обнажение, как в методах сбора на «зимнюю помощь». Художники разрабатывают некоторым образом тему человека «высшей расы». Как известно, заказчик хочет быть красивым. И художники стараются. От римских носов, мужественных грудей и неслыханных, не существующих в природе бицепсов просто некуда деваться. Разумеется, в ходу исключительно «бесстрашные воины» или голые женщины (в последнее время в связи с катастрофическим падением рождаемости фашистское правительство стало поощрять порнографию, возбуждающую половую деятельность полуголодного населения). Итак, красавцы-воины. Их пишут маслом, акварелью, рисуют пастелью и углем. Они почти всегда в касках. Иногда они бывают на конях. Чаще всего в танках и на аэропланах. И всех их без исключения объединяет одна особенность — злое, жестокое выражение лица.

И самое примечательное — что это злое, жестокое выражение придается не случайно, а нарочно, ибо таков заказ. Жестокость и злоба — это именно то, что Гитлер хотел вызвать и вызвал в несчастном поколении молодых немцев. Если бы какой-нибудь немецкий художник попытался изобразить нацистского солдата

с добродушным, симпатичным лицом, рисунок был бы забракован и никогда не увидел бы света.

И случилось так, что попраны все естественные законы человеческого общежития. Возведены в закон человеконенавистничество, убийство целых народов, аккуратный, почти научно организованный грабеж целых стран. Случилось так, что преступление считается законом, а честность — преступлением. Случилось так, что на местах судей сидят преступники, а честные люди либо брошены в тюрьму, либо взяты под подозрение, трепещут и ждут гибели, либо стараются сделать вид, что они тоже преступники, и всячески скрыть свою честность.

И из всех витрин смотрит на вас страшная, дегенеративная харя с маленькими подстриженными усиками, бледным острым носом и глазами сумасшедшего. Это Гитлер. Безумные, сумасшедшие глаза его — любимая тема художников фашистской Германии. Там, где преступление возведено в закон, уже никого не может удивить, что уродство считается признаком красоты, а сумасшествие — признаком нормального состояния человека.

Мне пришлось побывать на так называемом торжественном собрании фашистских заправил города Лейпцига.

В громадном зале консерватории собрались сливки нацистов, то есть две-три тысячи паразитов, которые разжирели на теле народа и, разжирев, управляют этим народом.

Ожидалось выступление Геббельса.

Зал был полон. Примерно две трети его состояли из штурмовиков. Но это не были те рядовые штурмовики, которые ходят по улице с кружками и вообще занимаются черной работой. Это были главари штурмовиков, гладкие, сытые господа в кольцах, с почтенными лысинами преуспевающих коммерсантов, с сильно затянутыми круглыми животиками. На них были светло-гороховые двубортные пиджаки с блестящими пуговицами и темно-коричневые галстуки. На

рукавах у них были повязки со свастикой. Они сидели со скучающим видом, держа в руках программки. Треть зала составляли штатские с фашистскими значками в петличках и дамы, в большинстве случаев толстые, увешанные камнями и лисицами, разбогатевшие мещанки в уродливых шляпках.

Сперва оркестр сыграл нечто бравурное и тяжеловесное. Дирижер раскланялся и удалился. Потом к дирижерскому месту пошел через оркестр маленький тощий человек, сильно припадая на одну ногу. Он был в костюме штурмовика. Мне сказали, что это рейхсминистр Геббельс. Но я сразу узнал его по карикатурам. Сплющенное с боков, острое, как бы побывавшее под прессом, бородавчатое лицо выродка могло вызвать только одно чувство омерзения. Ни тени мысли не было выражено на этом лице. Но оно не поразило зрителей. Видимо, они давно уже к нему привыкли.

Геббельс пережидал жиденькие аплодисменты, которыми с привычной вялостью наградило его лейпцигское начальство, и произнес короткую бессмысленную речь, состоящую из набора ничем не связанных между собою фраз. Оратор обычно всегда пытается что-либо доказать и для этого приводит аргументы. Геббельс ничего не доказывал и никаких аргументов не приводил. Он просто выкликал. Сначала он говорил о «величии Гитлера», ничем этого «величия» не подтвердив, потом об удобстве «нового порядка в Европе», хотя все присутствующие отлично знали, что никакого «нового порядка» нет, а следовательно, не может быть и никакого удобства. Потом он говорил о «национальном социализме». При этом сидевший в одной со мною ложе толстый пожилой штурмовик улыбнулся, потом быстро взглянул на меня, узнал во мне иностранца и, нахмурившись, углубился в программку. Кончил Геббельс криком: «Хайль дем фюрер!»

И тогда толстые господа и дамы тяжело поднялись со своих мест и, вытянув вперед правую руку, очень тихо и фальшиво, не глядя друг на друга, как будто они были голые, запели нацистский «гимн» «Хорст Вессель», унылое и бездарное сочинение, негодное даже для провинциальной оперетки. Петь полагалось

три раза. Вытянутые руки ныли, и я видел, как некоторые дамы и господа поддерживали свою правую руку левой.

Окончив пение, все быстро бросились к выходу.

На улице был выстроен отряд фашистских мальчиков (не помню уже, как они там называются) и человек двадцать любопытствующих прохожих. Мальчики были тощие и бледные, в заплатанных штанишках. Шел дождь, и я почувствовал к детям самую обычную человеческую жалость. Вышел Геббельс. Мальчики застучали в свои барабаны. Прохожие молчали. Геббельс сел в автомобиль и уехал. Мальчиков увели в противоположную сторону. Прохожие пошли по своим делам со скучными, хмурыми лицами, типичными для современной Германии.

На этом торжество и кончилось.

Вечером суетливая и симпатичная горничная из пансиона, где я остановился, сказала мне:

— Хоть бы скорее кончилась эта война! Вам-то хорошо: вы иностранец. А вот нам...

А ведь был всего только март. Немецкие войска только входили в Болгарию.

Бедная женщина и не подозревала, что война только начинается.

1941

РЕПЛИКА ПИСАТЕЛЯ

За последние годы (главным образом в рапповские времена) было создано много дутых, фальшивых репутаций, и это приносило страдания не только читателям, но и самим обладателям таких искусственно созданных репутаций. У читателя всегда было то преимущество, что он мог просто обойти плохую книгу, не заметить ее, как бы ни рекламировался автор такой плохой книги. Гораздо хуже было самому автору, носителю искусственно созданной славы. В глубине его сознания не могла не копошиться неприятная мысль о том, что он, в сущности, самозванец, что он недостоин своей репутации и что рано или поздно ему придется тяжело расплачиваться за свои, быть может, невольные грехи, придется в расцвете сил перенести ужасный комбинированный удар — равнодушие читателей, иронию критики и упорное нежелание издательств переиздавать его книги, те самые книги, которые в свое время переиздавались, так сказать, в административном порядке по нескольку раз в год и аккуратно ложились на библиотечные полки, чтобы покрыться там пылью и плесенью.

Но если бы только этим отличались «времена РАПП» в литературе, было бы полбеды. Главная беда заключалась в том, что одновременно с усиленным раздуванием фальшивых репутаций искусственно принижались репутации больших мастеров литературы.

На их литературные репутации ставилось клеймо, о каждом из таких художников составлялась коротенькая и злющая характеристика, которая от беспрерывного повторения приобретала большую, иногда даже сокрушающую силу. Всякая банальность опасна прежде всего тем, что ее легко и удобно повторять, что она — отличный заменитель собственной мысли. Пущенная в ход с величайшей легкостью, она лишь с большим трудом может быть изъята из обращения.

Сейчас смешно вспоминать, но ведь это факт, что в течение многих лет имя Алексея Толстого не упоминалось иначе как с добавлением: «буржуазно-феодальный писатель», о Владимире Маяковском осмеливались писать: «люмпен-пролетарий от литературы, гиперболист». Михаил Шолохов котировался на рапповской бирже в качестве «внутрирапповского попутчика, страдающего нездоровым психологизмом и недооценивающего рост производственных процессов в казачьем быту». Валентин Катаев был просто какой-то мелкий буржуа с крупными недочетами, Юрий Тынянов — «представитель оголтелого мертвого академизма», а Эдуард Багрицкий — «оголтелого индивидуалистического биологизма». Такие, например, писатели, как В. Лебедев-Кумач, К. Паустовский, К. Тренев, не вошли даже и в эту идиотическую схему. Их просто не считали за людей, о них никогда не писали, хотя уже тогда они пользовались прочными симпатиями читателей и зрителей. Если ко всему этому вспомнить, что сам великий Пушкин был всего-навсего «носителем узко-личных переживаний и выразителем узко-дворянских настроений», то читатель вправе будет спросить, к чему вытаскивать из мусорной ямы всю эту преступную, псевдокритическую галиматью? И, разумеется, мы не стали бы это делать, если бы к тому не было весьма серьезных причин.

Дело в том, что обвинять всегда несравненно легче, чем защищать. Очень легко загрязнить человека и необыкновенно трудно обелить его. Надо помнить, что где-нибудь на Уэллене или мысе Северном еще этой зимой, быть может, везли на собаках какие-нибудь запоздалые рапповские циркуляры об организа-

ции Уэлленской АПП или идиотические статьи о некоем Пушкине, прославившемся своими узко-личными переживаниями. Кляуза отличается большой жизнеспособностью и долго еще идет по инерции, прежде чем будет окончательно остановлена. Ведь совсем еще недавно, какие-нибудь несколько месяцев назад, в Союзе писателей приходилось бороться с рапповской инерцией. И если сейчас твердо известно, что Шолохов или Толстой — отличные прозаики и что Маяковский — талантливейший поэт нашей эпохи, то многие писатели еще нуждаются в том, чтобы их репутации были восстановлены и о них заговорили бы с той серьезностью, какой они заслуживают.

В этом смысле особенно показательна литературная судьба С. Сергеева-Ценского.

В «генеалогическом древе литературы», которое, очевидно для устрашения советских писателей, было нарисовано в журнале «На литературном посту», С. Сергеев-Ценский был нарисован в виде висельника, и под ним красовалась игривая подпись: «Живой труп».

Клеймо было поставлено. Была дана некоторым образом «исчерпывающая характеристика». Корифеи рапповской критики, ограничившись этим общим литературным портретом, принялись выделывать свои обычные критические документы («Еще к вопросу о преимуществах Чумандрина перед Золя» или «Значение поэта Манькина в мировой литературе»), а Сергеев-Ценский был брошен на растерзание и побивание камнями и цитатами критикам помельче. Догрызали его в каких-то темных углах совсем уже маленькие трусливые критики и критикессы, которые, конечно, никогда не осмелились бы на него напасть, если бы на нем не было этого страшного рапповского клейма — «живой труп». Удивительны в Сергееве-Ценском сила воли, писательская дисциплина и любовь к труду. Почти не находя серьезной и содержательной критики своих произведений, весь искусанный злыми критическими комарами, он не только оставался одним из самых плодовитых советских писателей, но и непрерывно совершенствовал свой боль-

шой талант. После превосходного романа «Массы, машины, стихии» (по-моему, это лучшее, что было создано советской литературой о войне 1914—1918 гг.) С. Сергеев-Ценский выступил с большим историческим романом «Севастопольская страда».

Но инерция «живого трупа» в какой-то степени продолжается и сейчас. Сила привычки так велика, что даже иные хорошие люди при упоминании имени Сергеева-Ценского машут руками и начинают повторять где-то когда-то слышанные глупости. О каком авторе позволили бы себе написать с такой необычайной легкостью, что его новое произведение — всего-навсего «псевдоисторический роман» и даже вовсе не роман, а «беллетризированная хроника», в то время как опубликовано в журнале всего лишь начало этого произведения. А вот о Сергееве-Ценском все позволено. Он еще продолжает работать, а его недописанное произведение уже получило отметку «неуд.».

В № 41 «Литературной газеты» помещена статья т. Миронова «Об исторических и псевдоисторических романах». В тексте самой статьи роман назван «фундаментальным» в кавычках.

А между тем «Севастопольская страда» — фундаментальный роман без всяких кавычек. Более того. Фундаментальность романа — это первое, что хочется отметить, прочтя опубликованные в журнале «Октябрь» первые четыре части (весь роман будет в девяти частях). Роман поражает своей добросовестностью, обилием фактов и великолепных деталей, широтой исторической картины, глубиной изображения главных действующих лиц и блестящим умением, с которым выписаны все без исключения эпизодические лица.

С. Сергеев-Ценский, не прибегая ни к каким композиционным трюкам и строго держась канвы исторических событий, обнаружил такое поистине зрелое мастерство, что от книги положительно невозможно оторваться, так интересно ее читать. Просто поражаешься развязности, с какой этот труд художника был назван «беллетризированной хроникой» и «фоторепродукцией».

Вообще говоря, отзыв Миронова отличается по своему тону от обычной безответственности, с которой писались статьи о Сергееве-Ценском. И если не считать глупых кавычек в слове «фундаментальный», опрометчивого заголовка, сводящего на нет всю работу писателя, и бессмысленного определения «беллетризированная хроника»,— во всем остальном отзыв Миронова написан в достаточно достойных тонах и дает оценку, с которой можно спокойно спорить.

Спорить, однако, нужно будет не сейчас, а тогда, когда роман будет опубликован полностью. Собственно, по этой причине и Миронову следовало подождать со своим отзывом.

Но слово порицания произнесено, и было бы несправедливо не произнести хотя бы краткого слова похвалы.

Основное и главное достоинство опубликованных четырех частей — это то, что они проникнуты подлинно народным патриотизмом. Это верно, что, превосходно изобразив генералов и офицеров, Сергеев-Ценский только подошел к изображению героев — солдат; но удивительно живая фигура матроса Кошки и его товарищей, которые появляются в конце четвертой части, дают уверенность, что в последующих частях эти народные герои займут в романе то место, которое они занимали в истории. Но даже в том, что уже опубликовано, героем, несомненно, является народ, и именно он, народ, сообщает силу таким выдающимся деятелям обороны Севастополя, как легендарный Нахимов или великий ученый Пирогов.

Проведя читателя сквозь первые напряженнейшие дни обороны, когда, вопреки преступной бездеятельности царя Николая и его генералов, русский народ со сказочной быстротой укрепил город, поразив затем читателя необыкновенно сильным и широким описанием Балаклавского и Инкерманского сражений, С. Сергеев-Ценский имел все основания еще в конце третьей части писать: «Но все-таки настоящим и подлинным героем отступления, как и героем боя, проигранного неспособными и неспевшимися русскими генералами, оказался русский солдат». Какой харак-

тер носило это отступление, видно из оценки врагов — из статьи «Морнинг Кроникл», которую чрезвычайно к месту приводит Сергеев-Ценский:

«...Поражаемые огнем нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и храбро отражали все атаки союзников, напиравших на них с фронта и фланга... Нельзя поверить, не бывши очевидцем, что есть на свете войска, умеющие отступать так блистательно, как русские.

Преследуемые всею союзной полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, поминутно смыкая ряды и по временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой, обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный».

Вывод о народе-герое, который делает Сергеев-Ценский, не является бездоказательным и поспешным, что было бы естественно для псевдоисторического романа. Напротив. Здесь такой вывод подготовлен всем ходом повествования. Здесь, как и подобает подлинно историческому роману, в основе его концепции лежит мысль о народе-герое. И образ Меншикова, который представляет собою настоящий шедевр современной прозы, образ трагический, именно потому так удался писателю, что он правильно понял источник трагедии Меншикова — его антинародность, свойственную всему николаевскому режиму.

Истинный художник, и к тому же художник советский, для которого точное и правдивое изображение событий является законом, уже в силу одного своего таланта не мог бы сделать иначе.

Тут мы стоим перед совершенно исключительным явлением, в котором необходимо как можно глубже разобраться. В то время как грубая и вульгарная критика только портила художнику жизнь, сама советская действительность, глубокая народность советской власти, воля советских народов к защите отечества и к борьбе с фашизмом вдохнули в художника

новую жизнь и помогли ему создать произведение, историчность которого чрезвычайно современна. И когда Сергеев-Ценский называет союзников, обложивших Севастополь, *интервентами,* он дает правильное объяснение историческому событию и одновременно с этим напоминает о славных страницах гражданской войны в России, об Испании, о Китае, о том, что сейчас волнует все передовое и прогрессивное человечество.

Десятки превосходных батальных картин, сотни действующих лиц, из которых каждое запоминается, блестящие характеристики целых армий и их особенностей, описания военной обстановки и местности, которые сделали бы честь любому военному писателю, Меншиков и Нахимов, Николай I и Пирогов, Тотлебен и Истомин, Данненберг и Остен-Сакен, матрос Кошка и первая в мире сестра милосердия, матросская дочь Даша, пожилой матрос Игнат Шевченко и петрашевец Дебу, прелестная семья отставного капитана-инвалида Зарубина, маршал Сент-Арно и его жена, маршал Раглан и генерал Соймонов — просто невозможно перечислить всех действующих лиц! Исключительное по силе и блеску описание бури на Черном море, интереснейшая история об английских рысаках (кстати, очень нужная, потому что дает атмосферу высшего английского общества), российские казнокрады-интенданты, несчастные турецкие солдаты, морской бой, казнь петрашевцев, выезд из Петербурга первого отряда сестер милосердия, состояние госпиталей и дорог, дети в осажденном городе,— все это богатство жизни расположено на страницах романа с громадным умением. А большой стиль этой вещи, богатейший словарь и типичная для каждого из действующих лиц прямая речь, несомненно, сделают эту книгу любимой книгой наших читателей.

Перед нами *настоящая эпопея севастопольских событий.* И если *это* не роман, т. Миронов, то что же называется романом?

В «Севастопольской страде» есть один серьезный недостаток. Политические причины, вызвавшие возникновение Крымской кампании, изложены С. Сер-

геевым-Ценским довольно наивно. Писатель, который с такой тщательностью и добросовестностью изучил исторический и бытовой материал, который поставил перед собою такую грандиозную и почетную задачу, должен был воспользоваться бессмертными трудами Маркса и Энгельса о политическом положении Европы того времени. Но недостаток этот не поздно исправить. Во-первых, роман еще не закончен и коечто может быть сделано в последующих частях, и, вовторых, прежде чем издать книгу отдельным изданием, автор, если он согласится с нашим мнением, сможет пересмотреть отдельные главы, посвященные этому вопросу.

С. Сергеев-Ценский прошел большой писательский путь. На этом пути были и неудачи. Но радостно видеть такой большой расцвет таланта у человека уже не молодого. И особенно радостно констатировать этот расцвет не в день юбилея, а в дни настоящего торжества мастера.

1938

СЕРЫЕ ЭТЮДЫ

Итак, молодой писатель садится за письменный стол и придвигает к себе лист бумаги. Если это писатель, а не графоман, он знает, о чем собирается писать. Он видит перед собой неясные очертания рассказа или повести, рисуются ему человеческие характеры, события, разговоры. Во всем этом еще много тумана, но писатель уже ощущает нечто цельное, хочется сказать — круглое. Ему совершенно ясна мысль произведения. У него есть записи наблюдений, может быть специально подобранная литература. Одним словом, садись и пиши. И вот тут-то начинается самое главное, начинается то, от чего зависит судьба человека, присевшего к письменному столу,— начинается сочинительство.

Вероятно, у разных писателей процесс сочинительства протекает по-разному. Маяковский, например, сочинял иногда на ходу, а потом записывал. Но не в этом дело. Я хотел бы быть правильно понятым. Дело не в том, в каком порядке идет процесс сочинительства, а в том, что в какую-то минуту, покорные движению мысли, на бумаге начинают складываться слова, и от того, как они будут сложены, зависит судьба писателя.

Прошу не обвинять меня в преступном стремлении оторвать форму от содержания. Ей-богу же, я не формалист, никогда им не был и не буду. Напротив. Я счи-

таю, что форма и содержание в искусстве абсолютно слиты, и именно поэтому судьба писателя зависит от того, как он сложил на бумаге слова. Всем, вероятно, известны люди, которые умеют замечательно рассказывать, подмечать характерные явления, сочинять интереснейшие истории, люди к тому же умные и оригинальные, которым постоянно твердят: «Да запишите вы это все, у вас должно чудесно получиться», которые садятся наконец писать и убеждаются, что писать они не умеют. Это очень распространенный тип, если можно так выразиться, *однобоко* одаренного человека. Ему дано природою хорошо, по-писательски, видеть, интересно рассказывать, ему дан оригинальный ум, рождающий оригинальные мысли, но ему не дано владеть формой. И именно потому, что форма и содержание составляют органическое целое, такой человек овладеть формой никогда не сможет. Он просто не писатель. Природа не наделила его способностью быть писателем в полном смысле этого слова.

Следовательно, литературная судьба писателя зависит от того, как он сложит слова на бумаге, сумеет ли он складывать их по-своему или не сумеет, будет он петь своим голосом или чужим, выработается ли у него собственный, ему одному присущий стиль, по которому читатель сможет мгновенно отличить этого писателя от другого, или же заимствует чужой стиль и превратится в эпигона.

Пожилому эпигону, написавшему десяток книг и набившему, таким образом, руку, помочь уже ничем нельзя. Он напишет еще десяток книг, некоторые будут лучше, некоторые хуже, и все они будут на что-то и на кого-то похожи, потом он умрет, и в ту же минуту умрут его книги. А бывает и хуже. Бывает так, что книги умирают еще при жизни их сочинителя! Но вот молодому писателю, только еще входящему в литературу, если ему угрожает опасность стать эпигоном, помочь можно и нужно.

Книга рассказов А. Письменного «Через три года» представляется мне эпигонской.

В чем беда Письменного и его литературной манеры?

Когда писатель сочиняет, он бывает тесно, как воздухом, окружен чужими метафорами, эпитетами, когда-то кем-то сочиненными словесными комплектами, тысячами, миллионами давно сложившихся литературных подробностей. Они, как воздух, незаметны и неощутимы, и на первый взгляд пользоваться ими так же естественно и легко, как дышать воздухом. Но это только кажущаяся естественность и чрезвычайно опасная легкость. Она засасывает писателя, покоряет его и превращает в эпигона. И в самом деле. Достаточно писателю протянуть руку, как тотчас же в ней окажется совершенно готовый, иногда очень красивый, но, к сожалению, кем-то уже сочиненный словесный комплект. Нужно обладать сильной волей, хорошо развитым вкусом и огромной любовью к труду, чтобы удержать свою руку, вовремя схватить ее, когда она потянулась за чужим литературным добром. Весь ужас молодого писателя, покоренного кажущейся легкостью сочинительства, заключается в том, что он не может брать для себя хорошие словесные комплекты, так как всегда известно, кому они принадлежат. Он не может написать — «Чуден Буг при тихой погоде» или «Чудно Черное море при тихой погоде», не может начать роман словами «Все смешалось в доме Синицыных» или кончить рассказ словами: «Манечка, где ты?», потому что все — и в первую голову сам писатель, если он честный человек,— вспомнят про Гоголя, Толстого и Чехова. Да дело тут и не в плагиате. Плагиата по существу нет. Имеется в виду именно честный писатель, которому чужого не надо. Он ни за что не напишет, что когда послышался гром, это было похоже на то, что кто-то прошелся босыми ногами по железной крыше. Потому что это сочинил Антон Павлович Чехов и это все знают. А берется по этой причине (и совершенно бессознательно) плохой, серый, невыразительный комплект, который до этого побывал в руках сотни серых, невыразительных писателей.

Поэтому у А. Письменного в рассказе «Через три года» есть старушка, которая «суетилась и говорила без умолку», а через несколько страниц, в рассказе «Одни бабы», опять есть старуха, которая суетилась.

Старушки всегда суетятся. Уж такая судьба старушек в плохих рассказах!

Поэтому А. Письменный, человек хороший и любящий Чехова, позволяет себе писать: «Расплывчато и тускло засветилось маленькое оконце» (стр. 18), поэтому на странице 19-й платье туго обтягивает грудь, а на странице 21-й платье завихряется вокруг босых ног женщины и, конечно же, открывает тугие икры. Но рука протянута и протянута недалеко. Тут рядом, между чернильницей и пресс-папье, уже лежит, трепыхаясь, готовенький прелестный комплект: «...подрагивают ее груди под синим платьем» (стр. 22). Недалеко от вышеуказанных грудей написана скучная, казенная фраза: «Она приехала сюда в связи с вопросом об изыскании...» (стр. 11), а на странице 55-й: «вопросы... не выявляли его манеры работать».

Писалась книга небрежно, невнимательно. На странице 121-й Письменный пишет: «Снега нигде уже не было», и буквально через пять строчек повторяет: «Снега уже нигде не было». В том же рассказе («Кочевник») два раза сообщается, что дни стали короче. На стр. 126-й написано: «Все удивлялись, как профессор проехал по такой грязи и ухитрился не запачкать ног». Ведь он же приехал, а не пришел. Следовательно, удивляться нечему. Дальше идет совершенная уже чепуха. На стр. 131-й написано: «Шли дожди. В мягкой земле легче было вести работу. Но вскоре начались заморозки, и работать стало трудней». Мало того. В следующей строчке указывается, что появился лед. А еще в следующей строчке: «Приехал старший геолог. Лошадь его по брюхо была в грязи, и сам он весь был забрызган грязью, брызги были даже на стеклах его пенсне».

Может быть, Письменный скажет, что все это мелочи и что я попросту к нему придираюсь. Но он будет неправ. Эти мелочи, важные сами по себе, лишь отражение эпигонской манеры писателя. Освободив себя от необходимости с величайшими, я бы сказал, мучительными, трудами находить свое собственное, неповторимое, с боем создавать оригинальную манеру, легкомысленно хватая первое, что подвернется под

руку, и увлекаясь кажущейся легкостью сочинительства, Письменный утерял литературную бдительность, вернее не нашел того уровня литературной бдительности, которого во что бы то ни стало должен достичь молодой писатель, если он не хочет сделаться эпигоном.

В последние годы у нас появилось несколько писателей, которые, выражаясь дипломатически, пишут в чеховской манере. Но если отвлечься от дипломатии, которая в нашем суровом деле совершенно не нужна, необходимо со всей точностью и резкостью сказать, что они подражают Чехову, пародируют Чехова. Это очень плохо. И не потому, что плох Чехов (Чехов более чем хорош), а потому, что плохи они, его подражатели.

Можно часами говорить о литературной манере Чехова. Как и у всех великих писателей, она совершенно своеобразна и неповторима. Большой симфонический оркестр складывается из нескольких десятков более важных и менее важных, но одинаково необходимых инструментов. Тоже и литературная манера. Она состоит из более важных и менее важных, но одинаково необходимых качеств. Чехов умеет чрезвычайно коротко говорить об очень важных событиях. Это раз. Он виртуозно владеет сюжетом. У него нет ни одного так называемого бессюжетного произведения, хотя некоторые, как, например, «Три года» или «Моя жизнь», на взгляд дилетанта, как бы бессюжетны. Это два. Рисуя характеры действующих лиц, даже самых маленьких и появляющихся на одну лишь минуту, он каждому из них дает такие черты, которые запоминаются на всю жизнь. Это три. Блистательный юмор. Это четыре. И, наконец, особая прелесть чеховской фразы. Ее невозможно определить одним словом. Если продолжить сравнение чеховской прозы с симфоническим оркестром, то эта особая прелесть, быть может, заключена в самом скромном инструменте — треугольничке; но она особенно характерна для Чехова, и состоит в том, *как* Чехов строит свою фразу. Вот тональность Чехова: «Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания пере-

ходили в мечты...», «Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью», «И ему казалось, что...», «И позже, когда...» и так далее. Когда играет весь могучий чеховский оркестр, этот треугольничек придает ему особенную прелесть. Но сам по себе треугольничек не может существовать. На нем не играют соло, а бренчать на нем может и трехлетний ребенок, так как, для того чтобы на нем бренчать, не нужно никакого искусства.

А подражатели, вернее пародисты Чехова беспрерывно бренчат на треугольничке, воображая, что звуки треугольничка и есть музыка. Десятки же сложнейших инструментов, из которых, собственно, и состоит оркестр, остаются недоступными.

Чем замечательней писатель, тем труднее у него учиться и тем легче его пародировать.

Пародировать Чехова особенно легко. Рассказы «под Чехова» можно просто диктовать стенографистке (по рассказу в день). И весь ужас заключается в том, что при всей своей непроходимой серости они будут похожи на настоящие и их можно будет напечатать

А. Письменный поторопился издавать книгу рассказов «Через три года». Уже говорилось о том, что она написана небрежно. Но главная беда ее не в этом. Употребляя в своих рассказах чеховскую интонацию («И когда Петкер ехал сюда, ему казалось...», «Он думал о Елизавете Федоровне, о том, какое у нее тонкое лицо...», «и как всегда...» и т. п.), автор доводит ее до абсурда. Иногда прелестная чеховская интонация, к которой добавляется небольшая доза интонаций Хемингуэя, кажется просто отвратительной. К месту и не к месту употребляя союзы «и», «а» и «но», А. Письменный составляет такие фразочки: «*И* на лбу был маленький старый шрамик, *и* брови были выпуклые, *а* ресницы длинные, *но* она стояла спокойно, не подпрыгивала, не делала резких движений на повернутых носками внутрь ногах *и* не взмахивала руками, как раньше, она просто стояла *и* улыбалась, *но* улыбалась почти как раньше — чуть виновато *и* прикусив губу».

И все-таки не это главная беда. Главная беда в том, что ни одно из действующих лиц книги (а их в

книге великое множество) не запоминается, как не запоминаются (за редким исключением) их действия, потому что они внутренне совершенно нелогичны. Герои Письменного могут поехать куда-нибудь, но могут и не поехать. Они могут вдруг заплакать, а могут и не плакать, могут совершить любой поступок в любом положении, и это никого не удивит, потому что люди это серые, неясные, какое-то тесто, а не люди. Пусть Письменный простит меня, но я попробовал проделать с его рассказами один шуточный эксперимент. Оказалось, что во многих из них можно в любом месте заставить любое действующее лицо, скажем, застрелиться. Для этого достаточно только вставить такую фразу: «А потом, вечером, он застрелился, и Маша (Соня, Катя) подумала, что так надо, и она надела новую кофточку, но не пошла в клуб, как всегда, и долго плакала, хотя бабушка, суетливая старушка, и предлагала ей чаю, а потом все-таки пошла и т. д.» Или: «Потом он вернулся в Москву, и когда ему как-то сообщили, что Маша (Соня, Катя) застрелилась, он не очень удивился, хотя и огорчился, и потом долго сидел в кино, и ему казалось и т. д.» Или: «А потом они поженились, и когда однажды Маша (Соня, Катя) сообщила ему, что бабушка, суетливая старушка, застрелилась из охотничьего ружья, они тихо поплакали, а позже они уже шли в геологическую разведку, и им казалось и т. д.»

Это, товарищи, не пародия. Это действительно можно вставить в некоторые рассказы, и читатель, в общем, не очень-то будет обескуражен. Подобным образом можно определить любое действующее лицо на любую службу, заставить его вступить в брак или отказаться от брака, упасть в яму и вывихнуть ногу или получить орден.

Таким способом написан и рассказ Атарова «Араукария» и многие другие рассказы чеховских подражателей, которые мне довелось прочесть. Беспрерывное употребление слов: «какой-то», «где-то», «почему-то», «зачем-то», неправильное, бессмысленное употребление союзов, в духе фразы Письменного — «а ресницы длинные, но она стояла спокойно»,

отсутствие характера, нелогичность поступков действующих лиц, отсутствие фабулы, стертые общие места, выдаваемые за свежие наблюдения,— и все это написано с обезображенными чеховскими интонациями.

Это особенно обидно потому, что и у Письменного и у Атарова есть несомненное достоинство — любовное отношение к нашей советской жизни. Роман Письменного «В маленьком городе» во многом интересен, а плохой рассказ Атарова «Араукария» очень хорошо задуман. Но пишут они пока еще не самостоятельно. Об этом необходимо сказать со всей резкостью, потому что никто им об этом не говорит, а в статьях, которые о них пишутся, и на диспутах, им посвященных, речь идет о том, правильно или неправильно они делают, описывая советские будни. Одни говорят, что писать о буднях не нужно, а нужно писать лишь о героических делах. Другие утверждают, что о героических делах писать не нужно, что это «кузьма-крючковщина» и что им становится дурно, когда они читают рассказы о пограничниках, а нужно писать, как Письменный или Атаров, то есть о буднях.

Тут необходимо сказать о статье Н. Атарова «Обыкновенные этюды», в которой он горячо полемизирует со своими противниками. В общих чертах мысли Н. Атарова сводятся к следующему. Есть писатели, которые пишут о живой действительности, о буднях нашей страны, о самых обыкновенных, хороших советских людях, и есть какие-то «королевские солдаты», которые мешают им это делать. «Королевские солдаты» предпочитают в литературе «лобовую атаку», а скромные писатели, которые пишут о буднях, как, например, Письменный, предпочитают «обходной литературный прием». Н. Атаров приводит много цитат, упоминает о Флобере и о Ван-Гоге, и, очевидно, цель его статьи — защитить скромных писателей от «королевских солдат» и дать скромным писателям возможность в спокойной обстановке пользоваться своим «обходным литературным приемом», а также «боковым раскрытием образа». В статье дается понять, что есть в нашей литературе целое на-

правление, очень хорошее, единственно правильное направление, и надо наконец это понять.

Все это, конечно, совершенно неверно.

Можно плохо написать о пограничниках (это делается у нас довольно часто), но можно и очень хорошо написать о пограничниках (например, книга С. Диковского). Можно хорошо написать о том, как молодой геолог приехал в район и как искали руду, но Письменный написал об этом плохо. И никаких «литературных платформ» подвести под это нельзя и не нужно подводить.

Вместо того чтобы биться за право писать о серых будничных происшествиях, какового права никто ни у кого не отнимает и отнять не может, надо перестать писать серым будничным языком. Вот в чем секрет.

Надо изо дня в день корпеть над словом, трястись над ним, сбрасывать с себя понемногу тяжелый груз эпигонства, с великими трудами создавать свое собственное, неповторимое писательское лицо, а не подводить «теоретическую» базу под плохую беллетристику!

Совершенно непонятно, почему Атаров считает особой заслугой Письменного то обстоятельство, что он описывает старый завод, а не новый, и старика директора, а не молодого директора! Можно описать и того и другого, можно вообще описать все что угодно. Никто Письменному никаких препятствий не ставил, не ставит и не будет ставить. Но при чем тут «повышенное чувство правды», какой-то там «тактический прием», «глубокое движение на фланге», «сообщающиеся сосуды», «художественный принцип Письменного» и прочие красоты?

Если начать говорить о главном, то есть о том, как написано — хорошо или плохо, то окажется, что и цитаты из Ван-Гога ни к чему и ни к чему глубокие соображения насчет «хаоса житейских частностей» и прочих «процессов гибридизации жанра».

Н. Атаров приводит превосходную цитату из Ван-Гога: «В обыкновенных этюдах есть нечто от самой жизни». Я очень люблю Ван-Гога, и мне очень нра-

вится цитата. Но я уверен, что, высказываясь подобным образом, Ван-Гог имел в виду не просто обыкновенные этюды, а *хорошие* этюды. С этой поправкой отпадают и все теоретические рассуждения Н. Атарова.

Следовательно, условимся: никакого особого направления в литературе т. Атаров не открыл. Его просто не существует. А существуют молодые писатели, деятельные, работоспособные, любящие жизнь, но недостаточно серьезно относящиеся к своему писательскому труду.

1939

«ПАДЕНИЕ ПАРИЖА»

Только человек, глубоко и нежно любящий Францию, способен так громко и так честно рассказать людям о падении Парижа, как это сделал Эренбург в своем романе.

Лет десять назад Эренбург просто для развлечения занимался фотографией. Он бродил по Парижу и делал снимки. Он пользовался при этом угловым видоискателем. Люди, которых он снимал, не подозревали об этом. Он снимал консьержек, старичков, грузчиков, торговок, безработных, букинистов. Его в то время не интересовал мир Больших бульваров и Елисейских полей. Он увлекался окраиной, старинными грязными улицами, рынками, дешевыми ресторанчиками, где едят без скатертей и пьют простое вино. Он издал книгу своих фотографий с коротенькими острыми подписями и назвал ее «Мой Париж». Это был не Париж иностранцев. Это был Париж французов. Люди на фотографиях выглядели совершенно естественно. Ведь они не подозревали, что их снимают.

Прошло время. Париж Эренбурга оказался куда более обширным.

Эренбург прожил в Париже едва ли не половину своей жизни. И все это время его, если можно так выразиться, писательский аппарат беспрерывно выхватывал из жизни и сохранял на пленке памяти рабочих и министров, поэтов и маленьких актрис, депутатов

и дельцов, художников и генералов, банкиров и журналистов. Все они входили в писательский архив Эренбурга, чтобы в какой-то момент ожить и стать персонажами превосходного романа.

Я прочел роман, не отрываясь, в два дня. То, что я пишу сейчас,— не литературное исследование и не критическая статья. Это — просто мнение читателя, который взволнован прочитанным. Очень может быть, что женщины не удались Эренбургу в этом романе. Возможно также, что есть в романе сырые, поспешно написанные страницы, которые не остаются в памяти. Но что мне за дело до этого, если, читая роман, я снова переживал последнее пятилетие, самое страшное пятилетие в истории человечества, если я с жадностью голодного глотал страницу за страницей, если я получил совершенно точный ответ на вопрос — как такое могло случиться?

Для нас, русских, советских людей, со времени прихода Гитлера к власти сразу же стало ясно, что это идет война и что ее надо остановить во что бы то ни стало. Все усилия советского правительства, направленные в эту сторону, разделялись и понимались народом. Мы понимали также, что одно лишь наше правительство не может предотвратить войну, что для этого нужны усилия всех демократических стран. И вот мы с ужасом и изумлением наблюдали, как правительство Эдуарда Даладье одну за другой сдавало позиции Гитлеру. Абиссиния, Испания, Чехословакия! Мы понимали, что от Даладье нельзя ожидать бескорыстной помощи несчастным народам. Но то, что они делали, было совершенно очевидным убийством их собственных стран. Даже маленькому школьнику в Советском Союзе было понятно, что после Испании и Чехословакии придет очередь Польши, а за нею и самой Франции. Но почему Франция бездействовала? Предательство? Но почему не уничтожают предателей? Почему с покорностью быков двигаются французы на бойню, где их ждет нож мясника? Это было непонятно, чудовищно. Это было, как во сне, когда мозг с удивительной отчетливостью понимает размеры опасности, но ноги и руки не двигаются.

Да. Мы в России знали, куда идет Франция, и, пока это было возможно, предупреждали французов. Но французские руководители, все эти мюнхенцы, успокаивали себя мыслью, что Гитлер пойдет на Восток. Мы поняли, что рассчитывать придется на свои собственные силы, и мы стали делать то, что подсказывал нам здравый смысл,— готовить оборону, выгадывая каждый день, каждый час. История показала, что мы были правы. Но что думала в те критические времена Франция? Что она чувствовала? Как переживала все это? На эти вопросы не могли ответить газеты. На них могла ответить только литература. И можно гордиться тем, что ответила на них русская литература.

Эренбург был в Испании. Он прошел сквозь всю испанскую эпопею с карандашом блестящего журналиста и горячим сердцем поэта. После разгрома он вернулся во Францию. Он был полон горечи. Мне кажется, что именно тогда понял он размеры предательства, ужаснулся этим размерам, ясно увидел бездну, к которой неуклонно шла Франция, совершая свое попятное движение. Эренбург задумал книгу о падении Парижа еще задолго до падения Парижа. Финал своей книги он увидел собственными глазами. Он видел, как немцы входили в Париж. Произошло то, что должно было произойти, что не могло не произойти. И Эренбург, возвратившись в Москву, тотчас же принялся за роман. Он писал его не отрываясь, со страстью человека, который видел, и с уверенностью человека, который понял.

Нет, пожалуй, ни одной стороны французской жизни, которой не осветил Эренбург в своем романе. С аккуратностью и терпением часовщика он разобрал до мельчайших деталей последние годы жизни Третьей республики, желая узнать, почему остановились эти дорогие золотые часы. Он разобрал их и разложил на своем столе все винтики, камни, крохотные пружинки. И он нашел, что некоторые детали сносились и уже не работают, а некоторые до такой степени проржавели, что остается только одно — выбросить их на помойку. Но часы все-таки существуют. Самое ценное

осталось в них. Заржавевшие пружинки будут заменены, механизм обновится, и часы пойдут. Франция будет жить. Последние строки романа великолепны.

«Андрэ улыбался. Отошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица Ищу Полдень... А полдень я найду, обязательно найду — свет и праздник в небе — мед, маки, лазурь. Париж днем!..

Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоговоритель:

«Время! Время!»

Писатель знает: в конечном счете в мире побеждает хорошее, дурное должно уйти. Время! Время!

По своему размаху роман должен был бы стать эпопеей, энциклопедией французской жизни последних лет. Но он не стал ими. Это лежит в особенностях стиля Эренбурга. То, что иногда может показаться нам поспешностью писателя, есть его стиль. Это, выражаясь языком войны, не позиционная проза с солидными блиндажами и укреплениями. Это маневренная проза. Это — стремительное, глубокое движение, движение безостановочное. Когда писатель наталкивается на трудность, на сопротивление материала, он не останавливается, он ищет других обходных путей и находит их. Основа эренбурговского стиля — темп. Темп во что бы то ни стало. Ни минуты промедления. Как только материал был понят писателем, как только каждая деталь разобранных им событий стала ясна, его уже ничто не задерживало — он двинулся вперед, и читатель двинулся вслед за ним, поглощая страницу за страницей и с каждой новой страницей все яснее понимая, что такое могло произойти.

Предательство! Вот что погубило Францию. Бессердечные, беспринципные депутаты, стремящиеся к министерским постам с грубостью и нахальством носорогов, пробирающихся к водопою. Продажные журналисты, меняющие своих хозяев с равнодушием официантов. Зажравшиеся, цинически безразличные ко

всему на свете и в то же время восхищенные собственным красноречием парламентские лидеры. Ханжествующие реакционеры, совершенно сознательно делающие ставку на Гитлера и по логике предательства превращающиеся в его лакеев. Генералы, не понимающие, что их военный консерватизм равносилен измене родине. Конечно, временное падение Парижа, а с ним и Франции, есть результат не только предательства в его чистом виде. Но предательство — один из важнейших моментов.

Эренбург почти что с научной точностью проанализировал в своем романе не только механику вольного и невольного предательства, но его психологию и логику.

Для предателя нет партий. Он может проникнуть в любую партию, предатель своей родины — сознательный или бессознательный немецкий агент. Как возмутился бы Тесса, старый радикал и парламентарий, если бы ему сказали, что он агент Гитлера! Но он был им, и политическая карьера привела его туда, куда и должна была привести,— в Виши. И она приведет его в Париж, прямо к немцам, и он станет их прямым агентом, и никого это не удивит — ведь Тесса ничем другим и не мог кончить.

Образ радикала Тесса — настоящий шедевр современной литературы. Он построен писателем с железной логикой. Это тип. Эренбург вывел в своем романе огромное количество людей, хороших и плохих, молодых и старых, штатских и военных, глупых и умных. Большинство из них сделаны хорошо, а политические деятели — просто превосходно. Но Тесса, конечно,— номер первый. Он написан Эренбургом с мопассановским блеском. Человек-компромисс. С удивительной тонкостью определил Эренбург место таких, как Тесса, в Третьей республике.

Вот коротенькая сцена. Ее невозможно забыть. Тесса после предательства и разгрома Франции обосновался в Руайя, возле Виши. Уже было все — бегство, бомбежки, трупы женщин и детей, отчаяние, потом внезапные надежды: «Они пойдут на Лондон»,— потом снова отчаяние, правительство переменило не-

сколько городов, Тесса растерял возненавидевших его сына и дочь (они стыдились фамилии Тесса), Тесса, наконец, ударили по лицу,— было все, после чего остается одно — умереть. И вот Тесса в Руайя, в кондитерской «Маркиза де Севиньи», которая стала модной у парижских беглецов. Тесса неожиданно встречается со своим старым приятелем Дессером.

« — И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все, что мы пережили, и встретиться у «Маркизы де Севиньи»!

Дессер молчал. Тесса не унимался:

— Ты плохо выглядишь. Нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки! Я лично ожидал худшего. А все обошлось... Ты знаешь, наши дурачки — Мандель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации... Теперь все скоро кончится — немцы пойдут на Лондон. Дело двух-трех месяцев... Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно...

Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:

— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь... Пей шоколад и не думай! Ведь ты — клоп. Не сердись на меня, но ты — старый, почтенный клоп. И ты жил в старом, почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть...

— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды.— Я не Фуже. Я человек новых концепций... Это ты цепляешься за прошлое: народный фронт, либерализм, Америка... Мы очистим страну от гнили... Я подготовляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину, и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда...

Дессер не слушал; он задумчиво повторял:

— Бедный, старый клоп...»

Не менее блестяща сцена прожженного жулика, продажного журналиста, редактора Жолио. Он перебрался в Париж и редактирует там французскую газету. Ее никто не читает. Но хозяин есть. И хозяин платит. Правда, хозяин этот — немец. Но деньги есть деньги. Жолио сделал последнюю ставку и теперь ждет результатов игры. Но он марселец, веселый, остроумный человек (есть и такие предатели). Вот его разговор с женой.

« — Бретейль приехал,— сказал Жолио жене.— Скоро все покажутся, и Лаваль и Тесса.

Жена вздохнула:

— Легче от этого не станет. Я сегодня обегала весь город — нет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли.

— Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как голову сыра... Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг... (Жолио закрыл окно и перешел на шепот.) Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Бретейля повесят...

— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.

Жолио весело закивал головой.

— Обязательно! Но все-таки это здорово... Как их будут резать, бог ты мой!.. Ради этого стоит повисеть на фонаре...»

Роман Эренбурга — глубокое произведение. Честь и слава писателю, который нашел в себе физические и моральные силы тотчас же после катастрофы отправиться по ее свежим следам, исследовать ее причины, проанализировать их и с вдохновением поэта написать свой роман в дни великого испытания для нашей родины, для всего мира. Как хорошо, что работоспособность Эренбурга равна его таланту.

Если бы Риомский процесс велся честно и на скамье подсудимых сидели бы те, кто должен был сидеть, роман Эренбурга мог бы стать одним из сильнейших документов обвинения.

Такой процесс будет.

Жолио может быть доволен. Ради этого ему придется повисеть на фонаре.

С помощью углового видоискателя Эренбург снимал когда-то людей, и снимки его были естественны и правдивы.

Сейчас он написал необыкновенно правдивую книгу. Его «угловым видоискателем» была писательская честность.

1942

ТОРЖЕСТВО РУССКОЙ МУЗЫКИ

На репетиции Седьмой симфонии

Недавно я беседовал с немецким пленным по имени Рейнгард Райф. До войны он преподавал теорию музыки в консерватории города Касселя. Райф — пианист и скрипач, типичный гитлеровский молодой человек, воспитывавшийся и живший так, как живут сотни тысяч других гитлеровских молодых людей. Мы заговорили о музыке. И оказалось, что гитлеровский профессиональный музыкант — полный невежда в вопросах музыки. Более или менее прилично он знал лишь классическую немецкую музыку. Он совершенно не был знаком с итальянской музыкой, имел весьма туманное представление о русской и был искреннейшим образом убежден, что во Франции вообще нет музыки, что французы не способны ее сочинять.

Факт этот страшен. С юношеских лет творчески одаренный человек попал в некий музыкальный концлагерь, где существует лишь одна немецкая музыка. От всего остального, от всего, что было создано человеком в области музыки, от всей красоты мира юноша был отделен колючей проволокой. И Гитлер получил то, что хотел. Он воспитал в своем душном инкубаторе невежду, который убежден, что все народы мира способны быть лишь рабами Германии. А поэтому их можно со спокойной совестью убивать, грабить, унич-

тожать их жилища, можно, не задумываясь, давить их, как давит сапог букашек на дороге.

Гитлер вынул из груди немецкого юноши сердце и вложил вместо него кусок ржавого железа. Гитлер залил бетоном мозг юноши. И юноша перестал чувствовать и перестал думать. Он лишился того главного, без чего двуногое существо не может считаться человеком, если даже научить его носить штаны, стрелять, чистить зубы и кричать «хальт» и «цурюк».

И вот миллионы этих молодых людей, не способных мыслить и чувствовать, рукою злого маньяка были брошены на нашу землю. С железным лязганьем,— левой, правой, раз, два,— двигались к нашим границам машины, умные, как люди, и люди бездушные, как машины. Идиотическая важность, с которой они шагали,— левой, правой, раз, два,— могла бы показаться комичной, если бы они не шли убивать. А в нашей стране в это время мирно спали люди, и сон их был спокоен — крепкий сон хорошо поработавшего человека. Взошло кровавое солнце двадцать второго июня.

Так начинается тема войны в Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Она возникает после длинного, длинного, покойного и светлого звучания, завершающего вступительную музыку. Она возникает неожиданно и неизбежно. Она начинается с шепота, именно с шепота барабанов, и под этот барабанный шепот, после скрипичного пиччикато, какая-то дудка тихонько наигрывает простую и замысловатую, шутовскую и страшную мелодию. Потом мелодия повторяется с назойливой аккуратностью. Вы еще не понимаете, что это идет война, но композитор уже схватил ваше сердце своей гениальной рукой. Он схватил его крепко и нежно и уже не выпустит до конца симфонии. Мелодия повторяется в третий раз, потом в четвертый, в пятый, шестой, десятый. Она обрастает железом и кровью. Она сотрясает зал. Она сотрясает мир. Что-то железное идет по человеческим костям, и вы слышите их хруст. Вы сжимаете кулаки. Вам хочется стрелять в это чудовище с цинковой мордой, которое неумолимо и методично

шагает на вас,— раз, два, раз, два,— и хочет вас раздавить,— раз, два, раз, два. И вот когда, казалось бы, уже ничто не может спасти вас, когда достигнут предел металлической мощи этого чудовища, не способного мыслить и чувствовать, и нет силы, которая может остановить его, происходит музыкальное чудо, которому я не знаю равного в мировой симфонической литературе. Несколько нот в партитуре,— и на всем скаку (если можно так выразиться), на предельном напряжении оркестра, простая и замысловатая, шутовская и страшная тема войны заменяется всесокрушающей музыкой сопротивления.

Композитор крепко держит ваше сердце. Но теперь вы уже не испытываете беспокойства. Теперь вы потрясены грандиозностью битвы между людьми, сжигающими книги, и людьми, почитающими книги, между людьми, отрицающими образование для всех, и людьми, стремящимися дать образование всем, между людьми, уничтожившими у себя музыку, и людьми, создавшими расцвет музыки, между силами зла и силами добра. Эта битва грандиозна, и выражена она в оркестре с величайшей энергией.

Уже ничто не может превзойти ее. Это предел напряжения.

Но композитор не отпускает вашего сердца. Он еще немного сильнее сжимает его. Опять несколько нот в партитуре с чудесной стремительностью переводят музыку столкновения в музыку горя, громадного мужественного народного горя. Это памятник погибшим в бою за родину — траурный марш. Он не вызывает слез. Слишком глубока печаль, чтобы вызвать слезы — признак слабости. Нет! Сейчас не должно быть слабости! Ни минуты слабости, ни секунды слабости! И реквием в память героев наших, братьев наших, сыновей и отцов наших, оставляет глаза сухими и кулаки сжатыми.

И вот спадает тема и опять тихо звучит простая и замысловатая, шутовская и страшная мелодия.

Помни, помни. Это только начало. Это только начало.

Еще длинный и кровавый путь надо пройти.

Надо пройти.

Помни, помни. Враг силен.

Он здесь. Здесь.

Помни, помни.

Точка.

Кончилась первая часть симфонии.

Она продолжалась тридцать минут, но мне показалось, что прошло минуты три-четыре.

Я поднял голову и увидел пустой Колонный зал и эстраду, тесно заполненную большим оркестром. Самосуд, вытирая лоб платком, объяснял что-то концертмейстеру.

Посредине пустого зала, где-то в десятом или двадцатом ряду, опершись о спинку стула, сидел очень бледный и очень худой человек с острым носом, в больших светлых роговых очках, с ученическим, чуть рыжеватым вихром на макушке. Вдруг он вскочил и, зацепившись за стул, как-то косо пошел, почти побежал к оркестру. Он с хода остановился у подножья дирижерского пульта. Самосуд наклонился, и они принялись горячо разговаривать.

Это был Дмитрий Шостакович.

Прелесть музыки в том, что она дает человеку полную свободу восприятия. И даже так называемая программная музыка, иногда восхищая человека и доставляя ему наслаждение, заставляет его тщетно отыскивать и не находить эту самую программу. Но я никогда еще не слышал произведения с такой ясной, определенной и твердой программой, как Седьмая симфония Шостаковича.

Я не знаю, предпошлет ли Шостакович своему новому сочинению писаную программу или не предпошлет, но дело не в этом. Первая часть не нуждается в трактовке. Что касается второй части — скерцо и третьей части — адажио, то я могу сказать о них только одно. Они так же гениальны, как первая часть, но человек будет трактовать их так, как подскажет ему его чувство. Я знаю лишь то, что возникло в моем воображении, что я чувствовал и переживал. Я видел и переживал прощание матерей с детьми и нежных невест с женихами, идущими на фронт. Я видел напря-

жение городов, застывших в ожидании незримого чудовища с цинковой мордой, что летело к ним по черному ночному небу. Я видел твердых и слабых людей. Я видел лучи прожекторов и текучие пунктиры трассирующих пуль, отражающихся в стеклах высоких домов. Я видел снова фронтовые дороги и снова ощущал то невыразимое чувство, что охватывает человека, переезжающего некую, никем точно не установленную линию фронта; и тело бойца, навеки приникшего к земле головой, обращенной в сторону фронта; и полевой перевязочный пункт, и врача в окровавленных резиновых перчатках, и сестру, принимающую последний вздох героя, и нашу русскую природу, и детей, и человеческую страсть, и нежность, и горе, и улыбку, и мужество бойца, и все то, что составляло наши мысли и чувства в первые месяцы войны. И сердце все время было сжато рукой худого, бледного человека с острым носом и рыжеватым хохолком, который все так же один сидел посредине громадного пустого зала.

И потом он в последний раз еще немного сильнее сжал мое сердце своей всемогущей и ласковой рукой. И тогда показалось, что уже нельзя дышать от муки и счастья.

Это был финал.

Этот финал должен играть на Красной площади оркестр в пять тысяч человек в светлый день нашей победы над врагом.

Это торжество правды. Торжество человека, который мыслит и чувствует.

Музыка так хороша, даже помимо ее содержания, просто по тем звукам, которые слышишь, что с нею не хочется расставаться. Ее хочется слышать еще и еще раз. Хочется, чтобы она была у тебя дома, чтобы она всегда была с тобой.

Седьмая симфония Шостаковича — это совершенное произведение, это торжество русской музыки. Это замечательное продолжение и Чайковского, и Мусоргского, таких разных во всем и общих только своей гениальностью. Это вместе с тем и весь мировой музыкальный опыт, воспринятый Шостаковичем, удиви-

тельным русским композитором, умным, тонким, благородным музыкантом, воспитанным советской страной в духе уважения и любви ко всей мировой культуре.

А что дала за несколько последних десятилетий Германия?

Гитлер завершил тот мрачный путь, на который встала Германия Вильгельма II. Он добился того, чего хотел. Его молодежь, которую он воспитал в духе ненависти к другим национальностям, бессильна создать даже подобие искусства. Мало того. Она так невежественна, что не знает даже о существовании мировой музыки.

Советский Союз бережно принял и приумножил несметные богатства культуры, которые он получил в наследство.

Он гордится Шостаковичем, как взыскательный художник гордится произведением, которое он создал после многих лет упорной и терпеливой работы.

1942

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬФЕ

1

Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились.

Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Галлопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий».

Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды».

Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?»

Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось.

Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы — трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдавить ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь, не имеющем никакого отношения к нашей теме,— например,

о Лиге наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга.

И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка — самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все мучения кончались. Мы знали по опыту — если есть первая фраза, дело пойдет.

Но вот в городе Галлопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились.

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго — часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же — нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором.

Это был самый откровенный разговор за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачавшейся

дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства. Уже очень давно, примерно к концу работы над «12 стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое.

— Если слово пришло в голову одновременно двум,— говорил Ильф,— значит, оно может прийти в голову трем и четырем, значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь, Женя, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения легкое дело?

Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загодочная еврейская душа).

Итак, работать нам трудно.

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол.

Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные...», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй.

Но тут начинается.

Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрав ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен.

Бывает и иначе.

Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон — не отвечать, пусть ломятся в дверь гости — вон! Писать, только писать. Будем прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе.

Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов.

Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно.

Один — здоров, другой — болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закусочкой а-ля фуршет. Но вот наконец прием окончился и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений.

Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а наблюдения поверхностными. Мы беспрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости.

Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четырем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Галлопе, штат Нью-Мексико.

Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу — «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь — двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны.

Но тогда, в Галлопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены.

Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать.

А через три недели жарким и светлым январским днем мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

— Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите?

Он кашлянул и показал мне платок.

Через год и три месяца 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера Ильф умер.

2

И вот я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость.

Как это было?

Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве.

В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В Охотном ряду и в Обжорном ряду торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинками и лотками, медленно и нахально разбегались по переулочкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обочин стояли извозчики — странные экипажи с очень высокими колесами и узеньким сидением, на котором еле помещались два человека. Московские извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями — существа допотопные и к тому же пьяные. В том

году милиционерам выдали новую форму — черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они красными палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением.

Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных молодых людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками.

Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «12 стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца».

Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса.

Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф

сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатишестилетний человек в пенсне с маленькими голыми и толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно: «Под суд!»

В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы: бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

3

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим метром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг. Но у нас был еще один метр, так сказать, профессиональный метр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже рабо-

тал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом Старик Собакин[1]. И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы.

Однажды он вошел туда со словами:

— Я хочу стать советским Дюма-отцом.

Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы.

— Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? — спросил Ильф.

— Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа,— ответил Старик Собакин,— я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера — и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле.

Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно.

— Есть отличная тема,— сказал Катаев,— стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Серьезно. Один роман пусть пишет Иля, а другой Женя.

Он быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда.

— Ну что, будем писать? — спросил я.

— Что ж, можно попробовать,— ответил Ильф.

— Давайте так,— сказал я,— начнем сразу. Вы один роман, а я другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

---

[1] Действительное написание псевдонима В. Катаева — «Старик Саббакин» (*прим. ред.*).

— А может быть, будем писать вместе?
— Как это?
— Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин.
— Как же вместе? По главам, что ли?
— Да нет,— сказал Ильф,— попробуем писать вместе, одновременно, каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе.

В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединенные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными остряками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли».

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план романа в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть.

— А уже тогда я пройдусь рукой мастера,— пообещал он.

Мы заныли.

— Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас,— сказал Ильф,— вот по этому плану.

— Не́чего, не́чего, вы негры и должны трудиться.

И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года.

И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли

или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я. Ильф убедил меня, что мой почерк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя — Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди — председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи — мадам Петухова и название похоронного бюро — «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

— Давайте начнем просто и старомодно: «В уездном городе N». В конце концов не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова.

Иногда нас охватывало отчаяние.

— Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет наконец написана и мы будем везти ее в санках. Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение — работа окончена, больше ничего не надо делать.

Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших, густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия.

Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить — хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас и очень серьезно сказал:

— Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели.

— А как же рука мастера? — спросил Ильф.

— Не прибедняйтесь, Илюша. Обойдетесь и без Дюма-пера. Продолжайте писать сами. Я думаю, книга будет иметь успех.

Мы продолжали писать.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним, как с живым человеком, и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого

комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья.

И вот в январе месяце 28 года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа!

Мы уложили рукопись в папку.

— А вдруг мы ее потеряем? — спросил я.

Ильф встревожился.

— Знаете что,— сказал он,— сделаем надпись.

Он взял листок бумаги и написал на нем:

«Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу».

И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки.

Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть.

Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.

4

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменялись вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти.

— Обязательно записывайте,— часто говорил он мне,— все проходит, все забывается. Я понимаю —

записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя.

Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было.

— Худо, худо,— говорил Ильф,— обязательно надо записывать.

Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплетику и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлаждения, книжечка забывалась в старом пиджаке и, наконец, торжественно приносилась домой новая.

Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, разграфленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил:

— Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева — сюжеты, идеи и мысли.

К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он, несомненно, любил эту толстую книгу, как носительницу совершенно правильной идеи — все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюд-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз.

После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые на треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками.

В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой.

Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал.

Разбирая записные книжки Ильфа, мы нашли заметки, касающиеся поездки в Среднюю Азию. Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины. Мельком услышанные рассказы какого-нибудь случайного попутчика, кусочек ландшафта, промелькнувший в окне вагона, цвет неба или моря, форма дерева или описание животного,— вот чему были посвящены его первые записи.

Это была, если можно так выразиться, писательская кухня.

Впоследствии, работая вместе, мы, прежде чем начать писать задуманную книгу, заготовляли на листах бумаги самые разнообразные наблюдения, сюжеты и мысли. Я уже говорил о том, что сейчас невозможно установить, кто что придумал. Но кое-что Ильф извлекал из своих записных книжек и требовал того же от меня.

Во время последнего путешествия по Америке мы купили пишущую машинку. Ильф очень увлекся ею. Ему нравился самый процесс печатания. В первый же вечер (это было в Нью-Йорке) он сел писать, вернее — печатать дневник. Он собирался делать это каждый день. Но поездка была так утомительна, что на дневник не хватало ни времени, ни сил.

Вернувшись в Москву, уже смертельно больной, Ильф снова вернулся к этой идее и стал регулярно записывать свои наблюдения, но уже не в форме дневника, а в виде коротеньких самостоятельных записей,

За последний год своей жизни он напечатал так около двух листов.

Эти заметки он делал весной 1936 года в Остафьеве и в Кореизе, затем летом на даче под Москвой, осенью — в Форосе и зимою, с 1936 по 37 год в Москве.

Эта последняя работа — не просто «писательская кухня». На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно.

Ильф знал, что умирает. Потому так грустны его последние записи. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

— Вы знаете, Женя,— говорил он мне,— я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними.

Только в двух местах рукописи Ильф вспоминает о своей болезни:

«...и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде».

«Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Это все, что он написал о себе.

1939

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬФЕ

К пятилетию со дня смерти

Мы вместе поднимались в лифте. Ильф жил на четвертом этаже, я — на пятом, как раз над ним. Мы прощались и говорили:

— Так завтра в десять?

— Давайте лучше в одиннадцать.

— Я к вам или вы ко мне?

— Давайте лучше вы ко мне.

— Так, значит, в одиннадцать.

— Покойной ночи, Женя.

— До завтра, Илюша.

Железная дверь лифта тяжело, с дрожанием закрывалась, тряслась металлическая сетка. Я слышал, как Ильф звонил у своей двери. Лифт со скрипом поднимался еще на один этаж. Я выходил на площадку и слышал, как внизу хлопала дверь.

Так было почти каждый день, потому что писатель должен писать, и мы с Ильфом встречались каждый день и писали. Я вспоминаю, что вначале, когда мы стали писать вместе, мы не только сочиняли каждое слово, сидя рядом или друг против друга за столом (это было вроде двух пианистов, исполняющих пьесу на двух роялях), но писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам.

Привычка думать и писать вместе была так велика, что приступая к сочинению нашей последней книги — «Одноэтажной Америки», которую мы писали порознь, по главам, мы очень мучились. Ильф был уже болен в то время, и мы жили летом тридцать шестого года в совершенно противоположных дачных районах. Мы составили план и, так сказать, для затравки вместе написали первую главу. Потом разъехались по домам, распределив, кто какую главу будет писать. Мы решили встретиться через месяц с громадными рукописями.

Помню, что я просидел за пустым листом бумаги целый день, и целую ночь, и потом опять целый день — и не мог сочинить ни строчки. Все мешало мне: и собачий лай, и гармоника, и радио на соседней даче, и даже вороны, устроившие базар на высоких елях.

В отчаянии я поехал к Ильфу, в Красково, где он снял на лето маленький домик. Там была песчаная почва и сосны, и считалось, что это подходящее место для больного туберкулезом.

Ильф очень мне обрадовался, даже как-то неестественно бурно обрадовался. Мы сразу же, как заговорщики, ушли в сад. Меня он усадил в гамак, а сам сел рядом, на скамеечку.

— Знаете, Женя,— сказал он,— у меня ничего не получается.

Он снял свое маленькое голое пенсне с толстыми, толщиной в мизинец стеклами, протер глаза костяшками пальцев, снова надел пенсне и посмотрел на меня как встрепанный.

Я сказал, что приехал к нему с такою же печальной новостью. Мы даже не рассмеялись. Дело было слишком серьезным. Мы долго думали и наконец решили, что нас обоих устрашил объем задачи и что нам следует написать всего лишь по одной главе, и тогда я приеду к нему, мы выправим рукопись, подробно обсудим следующие две главы, снова встретимся, и так далее, пока не кончим книгу. Мы решили писать смело, ведь все равно потом мы вместе будем править.

Я очень волновался, когда через три дня ехал к Ильфу со своей первой в жизни, самостоятельно

написанной главой. Никогда я так не боялся критики, как тогда. Сначала Ильф показал мне свою главу. Пока я читал ее, он то заглядывал мне через плечо, то прохаживался по террасе, тяжело дыша. Видно, он испытывал то же чувство, что и я.

Я читал и не верил своим глазам. Глава Ильфа была написана так, как будто мы писали ее вместе. Ильф давно уже приучил меня к суровой критике и боялся и в то же время жаждал моего мнения, так же как я жаждал и боялся его суховатых, иногда злых, но совершенно точных и честных слов. Мне очень понравилось то, что он написал. Я не хотел бы ничего убавить или прибавить к написанному.

«Значит, выходит,— с ужасом думал я,— что все, что мы написали до сих пор вместе, сочинил Ильф, а я, очевидно, был лишь техническим помощником».

— Мне нравится,— сказал я,— по-моему, ничего не надо изменять.

— Вы думаете? — спросил он, не скрывая радости.— Когда я работал, мне все время казалось, что я пишу какую-то чепуху.

Я вынул из бокового кармана свою главу и хотел бодро сказать: «Теперь прочтите этот бред», или что-нибудь в таком же роде, но не смог произнести ни слова. Я молча протянул ему рукопись. Я всегда волнуюсь, когда чужой глаз впервые глядит на мою страницу. Но никогда, нигде ни до, ни после, я не испытывал такого волнения, как тогда. Потому что то был не чужой глаз. И то был все-таки не мой глаз. Вероятно, подобное чувство переживает человек, когда в тяжелую для себя минуту обращается к своей совести.

Ильф долго, внимательно читал мою рукопись. Потом сказал:

— Мне нравится. По-моему, хорошо.

Как быстро разрешилось то, что нас мучило! Оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль. А стиль нельзя создать искусственно, потому что стиль — это литературное выражение пишущего человека со всеми его духовными и даже физическими особенностями. На мой взгляд,

стиль — это то, что не поддается даже анализу (во всяком случае, уже после смерти Ильфа один чрезвычайно умный, острый и знающий критик проанализировал нашу «Одноэтажную Америку» в твердом убеждении, что он легко определит, кто какую главу написал, но не смог правильно определить ни одной главы). Очевидно, стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе.

Итак, книга была написана быстро и без особенных мучений в течение лета. Но зимой 36—37 годов мы снова стали писать вместе, как писали всегда. Мы написали так большой рассказ «Тоня» и несколько фельетонов.

В начале апреля я спустился в обычное время к Ильфу. Он лежал на широкой тахте (он обычно спал на ней, а на день постельные принадлежности прятались в ящик) и читал Маяковского. На тахте и на полу лежали газеты, которые он уже просмотрел, и несколько книг. Ильф читал очень много и очень любил специальную, в особенности военную и морскую литературу. Я помню, что когда мы познакомились с ним (в 1923 году), он совершенно очаровал меня, необыкновенно живо и точно описав мне знаменитый Ютландский бой, о котором он вычитал в четырехтомнике Корбетта, составленном по материалам английского адмиралтейства. «Представьте себе,— говорил он,— совершенно спокойное море,— был штиль,— и между двумя гигантскими флотами, готовящимися уничтожить друг друга, маленькое рыбачье суденышко с повисшими парусами».

В тот день он читал Маяковского.

— Попробуйте перечитать его прозу,— сказал Ильф, поднявшись и отложив книги,— здесь все отлично.

Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность.

Мы сели писать. Ильф выглядел худо. Он не спал почти всю ночь.

— Может быть, отложим? — спросил я.

— Нет, я разойдусь,— ответил он.— Знаете, давайте сначала нарежем бумагу. Я давно собираюсь это сделать. Почему-то эта бумага не дает мне покоя.

Недавно кто-то подарил Ильфу добрый пуд бумаги, состоящей из огромных листов. Мы брали по листу, складывали его вдвое, разрезали ножом, потом опять складывали вдвое и опять разрезали. Сперва мы разговаривали во время этой работы (когда не хотелось писать, всякая работа была хороша). Потом увлекались и работали молча и быстро.

— Давайте, кто скорей,— сказал Ильф.

Он как-то ловко рационализировал свою работу и резал листы с огромной скоростью. Я старался не отставать. Мы работали не поднимая глаз. Наконец я случайно посмотрел на Ильфа и ужаснулся его бледности. Он был весь в поту и дышал тяжело и хрипло.

— Не нужно,— сказал я,— хватит.

— Нет,— ответил он с удивившим меня упрямством,— я должен обязательно до конца.

Он все-таки дорезал бумагу. Он был все так же бледен, но улыбался.

— Теперь давайте работать. Только я минутку отдохну.

Он отклонился на спинку стула и посидел так молча минут пять.

Потом мы стали писать юмористический рассказ о начальнике учреждения, ужасном бюрократе, который после волны самокритических активов решил исправиться, стать демократичным и тщетно зазывал посетителей в свой кабинет. Писать не хотелось. Писали, как говорится, голой техникой. Мы дописали до половины.

— Докончим завтра,— сказал Ильф.

Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа.

— Значит, завтра в одиннадцать,— сказал Ильф.

— Завтра в одиннадцать.

Тяжелая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок — последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом.

Я никогда не забуду этот лифт, и эти двери, и эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью лестницы нового московского дома. Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером «25» и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь синие подушки с кислородом. Я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что когда носят подушки с кислородом,— это конец. И твердо верил, что, когда приедет знаменитый профессор, которого ждали уже часа два, он сделает что-то такое, чего не смогли сделать другие доктора, хотя по грустному виду этих докторов, с торопливой готовностью согласившихся позвать знаменитого профессора, я мог бы понять, что все пропало. И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая шубы, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.

И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер. Окно было широко раскрыто, и по комнате свободно гулял холодный апрельский ветер, шевеливший листы нарезанной Ильфом бумаги. За окном было черно и звездно.

Это случилось пять лет назад. Об этом последнем своем апреле Ильф написал в записной книжке: «Люблю красноносую весну».

Пять лет — очень короткий срок для истории. Но событий, которые произошли за эти пять лет, хватило бы ученому, чтобы написать историю века.

Я всегда думаю, что сказал бы Ильф об этих событиях, если бы был их свидетелем. Что он сказал бы и что делал теперь, во время Отечественной войны? Конечно, он делал бы то, что делаем все мы, советские люди,— жил бы для войны и победы и жил бы только войной и победой.

Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф. Он был принципиален до щепетильности, всегда откровенно говорил то, что думает, никогда не хвастал, глубоко и свирепо ненавидел все виды искательства и подхалимства (и особенно самую противную его разновидность — литературное подхалимство). Он прекрасно знал цену дутой славы и боялся ее. Поэтому он никогда не занимался так называемым устройством литературных дел, не просил и не желал никаких литературных привилегий. Это ему принадлежит выражение — «Полюбить советскую власть — этого мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила». И он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему, труд человека, по выражению Маяковского, вылизывающего «чахоткины плевки шершавым языком плаката».

1942

ОСТРОВ МИРА

Комедия в 4 актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мистер Джозеф Джекобс-младший — крупный коммерсант, 65 лет.

Миссис Джекобс — его жена, 59 лет.

Памела — их дочь, молодая девушка.

Граф Эдгардо Ламперти — ее жених.

Артур — сын мистера Джекобса, молодой человек.

Миссис Симпсон — их старшая дочь.

Мистер Роберт Симпсон — ее муж.

Мистер Джекобс-старший — глубокий старик.

Мистер Джемс Джекобс — адмирал.

Полковник Эллис А. Гудмэн.

Фрэнк Суинни — секретарь Джекобса-младшего.

Майкрофт — камердинер, старик.

Доктор О'Риали.

Священник м-р Гаттон.

Кэтрин Моррисон — экономка, 45 лет.

Мистер Баба — капитан японского парохода, старик.

Махунхина — царь маленького племени.

Мистер Джеффрис — специальный корреспондент «Дейли-Мейль».

Полицейский офицер, слуги в доме Джекобса.

Действие происходит в наши дни.

АКТ ПЕРВЫЙ

Старый комфортабельный дом семейства м-ра Джекобса-младшего близ Лондона. Обширный холл. Камин. Лестница. Столик, кресла, диваны. Сквозь большие стеклянные двери, ведущие в сад, виден зимний пейзаж.

1

Входит Майкрофт. За ним — слуга с охапкой дров и экономка.

Майкрофт. Вот сюда.

Слуга складывает дрова возле камина и уходит.

Экономка. Вы уже немолодой человек, Майкрофт, и вам трудно разжигать камин самому. Почему вы не хотите, чтобы камин разжигали Майкл или Сэм?

Майкрофт *(накладывая в камин дрова)*. Я тридцать лет разжигаю этот камин. За это время я не пропустил ни одного дня. *(Ставит на столик бутылку портвейна, слегка придвигает кресло, кладет на столик журналы.)* С тех пор как с мистером Джекобсом случилось *это,* миссис Джекобс велела подавать ему вместо газет только юмористические журналы.

Экономка. Все равно. С тех пор как с мистером Джекобсом случилось *это,* он и в юмористических журналах находит то, что ему нужно. Если мужчина вобьет себе что-нибудь в голову, ему уж ничем не поможешь. Вчера миссис Джекобс весь день проплакала в своей комнате. Уж я-то знаю. Будь я его жена...

Майкрофт *(кротко)*. Не говорите глупостей, Кэтрин.

Экономка. Это я-то говорю глупости?

Майкрофт *(кротко)*. Вы, Кэтрин.

Экономка. Нет, я никогда не выйду замуж ни за одного мужчину. Они грубы и неприличны.

Майкрофт. Бедные мужчины!

Экономка. С тех пор как с мистером Джекобсом случилось *это* все в доме с ума посходили. И вы тоже, Майкрофт.



Майкрофт *(кротко)*. Вы опять уронили свою спицу. Я не успеваю подбирать их по всему дому. *(Подает ей спицу.)*

Экономка. Спасибо. Вы очень любезны. *(После паузы.)* Боже мой, боже мой, я даже не знаю, что и подумать.

Майкрофт *(кротко)*. А зачем вам думать, Кэтрин? С каких пор стали вы думать?

Экономка *(сокрушенно)*. Я не узнаю нашего старого дома. А ведь это, Майкрофт, один из лучших лондонских домов. Всегда такой спокойный, респектабельный дом. Я не хочу сказать ничего плохого про мистера Джекобса, но дом производит такое впечатление, будто в нем лежит покойник. А все потому, что с мистером Джекобсом случилось *это*.

М а й к р о ф т. У мистера Джекобса достаточно денег, чтобы жить, как ему нравится. Смотрите, вы еще одну спицу потеряли. *(Указывает на нее подносом. Уходит.)*

2

Входит м-сс Д ж е к о б с. Это пожилая, очень элегантная дама. Решительная и властная.

М - с с Д ж е к о б с. Доктор все еще там?

Э к о н о м к а *(понимающе и печально)*. Да, леди. *(Еще более печально.)* Доктор мистер О'Риали все еще там. Он все еще в кабинете.

М - с с Д ж е к о б с. Когда он выйдет, пригласите его сюда.

Э к о н о м к а. Хорошо, леди. *(Печально.)* Когда доктор мистер О'Риали выйдет из кабинета, я приглашу его сюда, леди. *(Еще более печально.)* Как только мистер О'Риали выйдет от мистера Джекобса, я сейчас же скажу ему, что миссис Джекобс просила его пожаловать сюда. *(Тяжело и демонстративно вздыхает.)*

М-сс Д ж е к о б с. Вечерних газет еще не приносили?

Э к о н о м к а *(торжественно)*. Майкрофт их сжег, леди. *(Значительно.)* Он сжег их в камине.

М - с с Д ж е к о б с. Почему не вынесли радио?

Э к о н о м к а. Майкрофт пытался сделать это утром, но мистер Джекобс как раз вошел в комнату. *(С ужасной грустью.)* Он вошел в комнату, и Майкрофт не посмел вынести радио.

М - с с Д ж е к о б с. Хорошо. Но это нужно сделать сегодня же.

3

Входит г о р н и ч н а я с телеграммой.

М - с с Д ж е к о б с *(читает)*. «Буду ровно восемь Джемс». Ничего не понимаю. *(Отдает телеграмму экономке.)* Передадите это мистеру Джекобсу, когда от него выйдет доктор.

Экономка и горничная уходят.

4

Звонит телефон.

М-сс Джекобс *(берет трубку)*. Алло! Здравствуй, дорогая. Что? Ну конечно, я буду очень рада. Как маленький? Как Роберт? Как, он тоже будет? Его приглашал Джозеф ровно в восемь? Он прислал телеграмму? Нет, ничего не случилось, я по крайней мере ничего не знаю... У нас чудесно. Великолепный снежный день. Так я жду вас. До свидания. *(Вешает трубку.)* Ничего не понимаю.

5

Входит доктор.

Доктор. Он совершенно здоров. Конечно, нервы. Но разве вы найдете сейчас в Европе хоть одного человека, у которого нервы были бы в полном порядке?

М-сс Джекобс. Не знаю, но у меня такое впечатление, что он серьезно болен.

Доктор. Превосходное сердце, печень в идеальном состоянии, легкие, почки, селезенка сделают честь любому юноше. Судит обо всем здраво, я бы даже сказал, тонко. Когда я явился к нему, он сказал: «Узнаю свою жену»,— но дал осмотреть себя безропотно.

М-сс Джекобс. Очень жалею, доктор, что побеспокоила вас. *(Делает движение, чтобы попрощаться с ним.)*

Доктор. Мистер Джекобс просил меня остаться. Он сказал, что в восемь часов собирается сообщить мне нечто важное. Осталось всего полчаса. Если вы позволите, я подожду.

М-сс Джекобс. Так, может быть, пройдемте в сад? Вы не были еще в нашем зимнем саду? *(В сторону.)* Ну, если только он решился...

Уходят.

6

Входит м-р Джозеф Джекобс-младший — долговязый шестидесятилетний человек в старомодном сюртуке. Он совершенно сед, но лицо у него свежее и румяное. На шнурке болтается золотое пенсне.

М-р Джекобс. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. И не помогут никакие противогазы. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Боже, помоги мне сделать то, что я должен сделать... Ни цвета, ни запаха...

Подходит к радио и поворачивает ручку. Потом садится в кресло и наливает в рюмку портвейн. Радио начинает говорить. В течение всей радиопередачи в комнату с разных сторон вбегают Майкрофт, экономка, м-сс Джекобс и доктор, но, боясь побеспокоить м-ра Джекобса, останавливаются у дверей и время от времени переглядываются. М-сс Джекобс возмущенно указывает Майкрофту на радиоаппарат. Майкрофт почтительно пожимает плечами.

Голос из радио. Агентство Рейтер передает, что положение в Судетской области напряглось до крайности. В случае если комиссии Ренсимэна не удастся примирить Чехословакию с Германией, война неизбежна. В кругах, близких к министерству иностранных дел, полагают, что в настоящий момент Судетская область представляет собою бочку с порохом. Достаточно поднести к ней фитиль, и весь мир взлетит на воздух.

Вчера в палате общин состоялись прения по внешнеполитическим вопросам. На вопрос представителя оппозиции лейбориста полковника Гопкинса, известно ли правительству, что английским женщинам и детям угрожает серьезная опасность от воздушных бомбардировок, премьер-министр Чемберлен ответил, что это ему известно.

Агентство Гавас сообщает, что один швейцарский священник изобрел бомбу для авиации, которая пробивает любое убежище и проникает сквозь бетон на глубину в двадцать метров, после чего взрывается со страшной силой, подвергая разрушению все живое в радиусе свыше двухсот метров.

Происходящие сейчас в Англии маневры показали, что оказать эффективное противодействие бомбардировочной авиации не представляется возможным. Министерство внутренних дел разрабатывает план эвакуации женщин и детей из больших городов.

В Соединенных Штатах вчера демонстрировался новый самолет-бомбардировщик, поразивший всех своей красотой. Он имеет скорость свыше шестисот километров в час, радиус действия до десяти тысяч километров и полезную бомбовую нагрузку восемь тонн.

М-р Джекобс. Полезная нагрузка! *(Вскакивает с кресла.)*

Все слушающие исчезают в дверях.

Голос из радио. Налет японской авиации на Ханькоу. В результате зверской бомбардировки убито больше трех тысяч мирных жителей.

Модернизация тяжелой артиллерии во Франции закончена. Ее убойность повышена на двести процентов.

М-р Джекобс. Убойность! *(Хватается за голову.)*

Голос из радио. Теперь прослушайте ревю: «Любовь в противогазе».

Начинается веселая музыка.
М-р Джекобс нервно бегает по комнате. Потом выключает радио.

7

Входит Майкрофт.

Майкрофт. Мистер Эллис А. Гудмэн.

М-р Джекобс. Просите его сюда, Майкрофт.

Майкрофт. И потом вам телеграмма, сэр. *(Уходит.)*

М-р Джекобс *(читает)*. «Ради бога ничего не предпринимай, не посоветовавшись с духом дядюшки Даниэля. Буду ровно в восемь. Отец». *(Бросает телеграмму на стол.)*

Входит полковник Эллис А. Гудмэн. Он в скромной форме английского офицера. Старик. На груди — орденские ленточки. В глазу монокль.

Полковник. Я получил вашу телеграмму, Джозеф, и нарочно приехал пораньше. Случилось что-нибудь серьезное?

Приятели крепко жмут друг другу руки. Усаживаются в кресла.

М-р Джекобс. Вы помните наш последний разговор, Эллис?

Полковник. Помню, конечно.

М-р Джекобс. Так вот. Я решился. Погодите, погодите! *(Вскакивает с места.)* Я знаю все, что вы мне скажете. Но я прошу вас ответить мне на один вопрос. Скажите как специалист, сможет ли пробить авиационная бомба газоубежище, которое я выстроил в саду по вашим чертежам?

Полковник. Думаю, что нет.

М-р Джекобс. Я тоже так думал. Сегодня я думаю иначе, потому что сегодня уже существуют бомбы, для которых мое убежище представляет такое же препятствие, как соломенная хижина. Но это все пустяки. Решение принято, и вам известно, что я никогда не меняю своих решений.

Полковник. Подумали ли вы о семье, Джозеф? Что скажет ваша семья?

М-р Джекобс. Подумал ли я о семье! А для кого же я все это делаю, как не для своей семьи! Вы знаете меня, Эллис, я не трус. Я старик, мне ничего не надо. Но я должен спасти их, и я их спасу, даже если они сами этого не захотят, как вытаскивают из воды самоубийц, несмотря на все их сопротивление. Сегодня жена прислала ко мне доктора. Она, конечно, считает, что я сумасшедший, и, хотя я не потерял еще чувства юмора, это меня немного рассердило. Но я удержался. Спокойствие. Железное спокойствие — вот что нужно мне сейчас. Ну, скажите, Эллис, скажите честно: похож я на сумасшедшего?

Полковник. М-м, странный вопрос. Вы — мой друг, Джозеф, и я хотел бы, чтобы весь мир состоял

из таких нормальных, трезвых и положительных людей, как вы.

М-р Джекобс. Я нормальный человек и к тому же христианин. А сумасшедшие те, кто изобретает все эти бомбы, пробивающие бетон, и газы, не имеющие ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Я не могу запрятать всех этих людей в сумасшедший дом. Их много, весь мир давно уже сошел с ума. Миром управляют сумасшедшие, и они до такой степени утвердились в своем сумасшествии, что теперь обыкновенный человек, не желающий никого убивать, а предпочитающий спокойно дышать воздухом, любить свою семью, попивать вечером портвейн и читать хорошие книжки, считается у них сумасшедшим. Таким сумасшедшим я охотно могу себя признать. Да! Я буйный помешанный, желающий провести свои последние дни у домашнего очага, а не в газоубежище, и умереть в своей постели естественной смертью, которую пошлет мне господь бог, вместо того чтобы быть разорванным на мелкие кусочки. Что ж, вяжите меня, господа!

Полковник *(рассудительно)*. Мне очень понятен ваш пацифизм. Я сам пацифист. Но прошу вас только одно, Джозеф: живите реальной жизнью. Подумайте хорошенько. Мир всегда стоял, стоит и будет стоять на разумном применении силы. Дело не в том, что оружие — вредная штука, а в том, что оно должно быть правильно применяемо. Вспомните, если бы не было оружия, не было бы Британской империи. Если бы не было оружия, миром правили бы дикари. Сколько существует мир, столько же существуют и войны. И будут существовать, потому что только войны дают возможность определить сильнейшие, а следовательно, и умнейшие нации, которые в состоянии разумно править миром. Плохо не то, что существует оружие, а то, что Англия немного ослабела, мы сделались мягкими, мы слишком сильно подобрели после великой войны и выпустили из рук руководство миром. Но ведь это можно исправить. И это нужно исправить, а не заниматься пацифизмом. Жизнь есть жизнь, Джозеф. Так живите же той жизнью, какой

живут все люди. Они не умнее нас и не глупее. Налейте-ка мне стаканчик.

М-р Джекобс *(наполняя стакан полковника).* Нет, нет, все это не так, все это лицемерие и лицемерие. Я тысячу раз слышал все эти доводы, но то, что я слышал их тысячу раз, вовсе не значит, что я должен с ними соглашаться. Во-первых, Британская империя создана не силой, а торговлей, и, уверяю вас, если бы на свете не существовало оружия, Британская империя сделалась бы не слабее, а сильнее. Во-вторых, мне все это сейчас абсолютно безразлично. Мне достаточно того, что я чувствую себя внутренне правым и, слава богу, имею полную возможность поступить так, как подсказывает мне разум. Я не могу изменить порядков, которые существуют в мире. Отлично. Следовательно, остается одно — уйти от этих порядков, не подчиниться им, спасти себя и свою семью от этих порядков.

Полковник смеется.

Почему вы смеетесь?

Полковник. Уйти от порядков! Вы идеалист, Джозеф! Я сам идеалист, н-но... все должно иметь свои пределы.

М-р Джекобс. Ну да, конечно, все должно иметь свои пределы, жизнь есть жизнь, политика есть политика... *(Повышает голос.)* Сила есть сила, убийство есть убийство... *(Кричит.)* Разумная политика, разумная сила. Давайте же говорить до конца! Разумное убийство! Разумное преступление! Разумное сумасшествие! Ведь так можно договориться до чего угодно! *(Успокаивается.)* Извините меня, Эллис, я немного погорячился.



Полковник. Честное слово, вы хороший парень, Джозеф. Я сам такой.

М-р Джекобс. Давайте пойдем ко мне, я подготовил все материалы.

Поднимаются со своих мест и направляются к двери.

9

Входит Памела, молодая девушка в вечернем платье. С ней граф Эдгардо Ламперти — молодой человек во фраке.

Памела. Мистер Гудмэн! Мой старый поклонник! Добрый вечер, папа. *(Целует отца, полковник берет обе ее руки и трясет их.)*

Ламперти *(здоровается с м-ром Джекобсом)*. Как поживаете, сэр?

Памела. Знакомьтесь, мой старый верный друг, полковник Эллис А. Гудмэн — мой новый друг и, кажется, поклонник — граф Эдгардо Ламперти.

Ламперти *(полковнику)*. Как поживаете, сэр?

Памела. Вот собрались в Ковенгарден. Сегодня поет Джильи.

М-р Джекобс. Прости меня, дорогая, я и забыл тебя предупредить. Тебе не придется идти сегодня в театр. Ты понадобишься мне сегодня ровно в восемь часов. *(Обращаясь к Ламперти.)* Вас, граф, как близкого друга дома, я тоже прошу остаться.

Ламперти кланяется.

Памела. Но почему же, папа, неужели нельзя отложить на завтра?

М-р Джекобс. Дело слишком серьезное. *(Уходит вместе с полковником.)*

10

Ламперти. Сегодня прекрасная погода.

Памела. Вы это серьезно?

Ламперти. Умеренный мороз. Ночью наблюдался небольшой снегопад. Снег в ближайшие дни удержится.

Памела. Интересно, как вам удалось сделать эти поразительные наблюдения.

Ламперти. Я слышал по радио.

Памела. Ну, теперь скажите еще что-нибудь.

Ламперти *(после мучительной паузы)*. Вы знаете, Памела, я беседовал с вашими родителями, и они сообщили мне, что они очень рады, что я... что мы...

Пауза.

Памела. Ну?

Ламперти. Я беседовал с вашими родителями, и они одобрили мои... м-м-м... мои действия, направленные к тому, чтобы м-м-м... чтобы... м-м-м...

Памела *(металлическим голосом)*. Не понимаю.

Ламперти. Я беседовал с вашими родителями, и они не возражают против м-м... то есть они ничего не имеют против нашего... м-м... Что это такое?

Памела. Это, наверно, спица нашей Кэтрин. Положите ее на стол.

Ламперти. ...что они одобряют мои действия по отношению к вам.

Памела. Какие действия?

Ламперти. Вы же знаете, так как я неоднократно...

Памела. Скажите еще раз.

Ламперти *(набирает в легкие побольше воздуху)*. Я питаю к вам чувство... м-м... любви.

Памела. Питаете?

Ламперти. Да.

Памела. Вы меня любите?

Ламперти *(радостно)*. Да, да, именно так. Я вот что хотел еще вам сказать. Если вы тоже... м-м-м... взаимностью... м-м-м... проявите по отношению ко мне, так сказать, взаимность, я *(быстро)* последую за вами на край света. *(Облегченно вздыхает.)*

Памела. Почему вы, итальянец, не умеете говорить по-итальянски?

Ламперти. Мой покойный отец был действительно итальянец, но моя покойная мать была американка, и я м-м-м, так сказать, родился в Америке, но воспитывался в Англии и м-м-м... одним словом, воспитывался в Англии.

Памела. Ну, скажите теперь еще что-нибудь.

Ламперти молчит, умоляюще глядя на Памелу.

Хочу персиков.

Ламперти *(вскакивает так поспешно, словно его укусил скорпион)*. Персики будут у вас через двадцать минут! *(Убегает.)*

11

Памела *(одна)*. Удивительно красив и удивительно глуп.

12

Входит Фрэнк Суинни.

Фрэнк. Мистер Джекобс у себя? Он вызвал меня на восемь часов с полным финансовым отчетом.

Памела. Он у себя. С ним полковник.

Фрэнк. Что он задумал, наш старик?

Памела. Не знаю. Но, кажется, что-то грандиозное.

Фрэнк подходит к Памеле, молча обнимает ее и целует.

Вы злоупотребляете моей любовью.

Фрэнк *(оглядывается)*. Вы правы. Простите меня. Нет таких мучений, которые могли бы сравниться с моими. Завоевать такую драгоценность, как вы, заслужить вашу любовь и не иметь решительно никаких возможностей удержать вас! Ну, скажите мне, что может быть ужаснее этого?

Памела. Не знаю.

Фрэнк. Что делать?

Памела. Не знаю.

Фрэнк. Вы выйдете замуж за этого идиота?

Памела. Не знаю.

Фрэнк. Я встретил его только что. Он вылетел из ворот в своем «ройсе», как сумасшедший. За каким птичьим молоком вы его послали?

Памела. Просто за персиками.

Фрэнк. Что делать, Пэми?

Памела. Не знаю. Я вас люблю, Фрэнк, и сделаю все, что вы захотите. Я ничего не боюсь и никого не боюсь. Я пошла в папу, и меня нельзя обвинить в

отсутствии решительности. Скажите, что надо сделать, и я сделаю.

Фрэнк. Не знаю.

Памела. Видите.

Фрэнк. Я ненавижу мир, в котором любящие не могут соединиться. Я ненавижу мир, в котором беспрерывно надо делать не то, что хочешь, а то, что хочется даже неизвестно кому. Кому хочется, чтобы я, талантливый геолог, работал секретарем у вашего отца-коммерсанта? Кому надо, чтобы я, вместо того чтобы искать в земле глубоко запрятанные богатства, которые нужны всему человечеству, подсчитывал с утра до вечера богатства вашего уважаемого родителя? Кому, какому черту, какому дьяволу понадобилось, чтобы я, Фрэнк Суинни, был несчастлив именно потому, что получил самое великое счастье на земле — вашу любовь?

Памела. Не знаю.

Фрэнк. Вы бы ушли со мной?

Памела. Хоть сейчас.

Фрэнк. Да, но куда?

Памела. Не знаю.



Фрэнк. Я получаю у вашего отца пять фунтов в неделю, ровно столько, чтобы не умереть с голоду и иметь два костюма.

Памела. Я согласна терпеть с вами любые лишения. Это не пустые слова. Мне ничего не надо, кроме вашей любви. Вы это отлично знаете.

Фрэнк. А мне разве нужно что-нибудь, кроме вашей любви? Пожалуй, мы смогли бы прожить с вами на пять фунтов. Плохо, но смогли бы. Через год, через два я бы вырвался наконец вперед. Вы верите в меня?

Памела *(ровным голосом)*. Я верю в вас, Фрэнк, но если я уйду к вам, папа прогонит вас и пять фунтов будет получать другой секретарь.

Фрэнк. А я останусь без работы. В Лондоне это не очень приятное занятие. Бегать с плакатами и приковывать себя к решеткам сквера, чтобы обратить внимание общества на бедственное положение безработных,— такая бурная деятельность не для меня.

Памела. Что же делать?

Фрэнк. Не знаю.

Пауза.

Еще ребенком я мечтал о такой, как вы. Как же! Я был мальчиком с воображением. Я мечтал обо всем, о чем должен мечтать человек,— о славе, о богатстве и о любви. Мне говорили — учись. И я учился лучше всех. Мне говорили — работай, и я работал так, что по ночам у меня трещала голова. Иногда мне казалось, что я слышу этот треск. Я говорил себе — твоя голова должна трещать, если ты хочешь сделаться лучшим геологом в мире. Мне тридцать. Еще пять-шесть лет — и все будет кончено. Я стану считать себя неудачником. Я согласен не иметь хлеба, но иметь то, что называется перспективами. Сейчас у меня есть горький кусок хлеба и нет решительно ничего впереди. Просто пустота, страшная, серая пустота.

Памела плачет.

13

Входит м-сс Джекобс.

М-сс Джекобс. Ты плачешь, Памела? Что с тобой?

Памела. Я совсем уже собралась идти в театр, но отец не пустил меня.

Фрэнк (*здоровается с м-сс Джекобс*). А я уговариваю мисс Джекобс не придавать этому такого большого значения. Слезы всегда могут пригодиться на что-нибудь более серьезное.

М-сс Джекобс. А где граф?

Памела (*сквозь слезы*). Я послала его за персиками.

Фрэнк. Патрон вызвал меня на восемь часов.

М-сс Джекобс. Он у себя в кабинете.

Фрэнк. Тогда, если позволите... (*Уходит.*)

14

М-сс Джекобс. К чему эта экзальтация?

Памела. Я хочу плакать и буду плакать. (*Рыдает неудержимо.*)

М-сс Джекобс. Ужасный день! (*Нервно расхаживает по комнате, прижимая пальцы к вискам.*) Рушится семья. (*После некоторой паузы.*) Ты знаешь, что задумал твой отец?

Памела не отвечает. Она продолжает плакать.

15

Входит Артур Джекобс. Это бледный и хилый молодой человек 20 лет.

М-сс Джекобс. Арчи, дитя мое, любимый мой мальчик!

Артур. Мама! (*Целует ее руки.*)

М-сс Джекобс. Какая неожиданность! Мы ждали тебя только в четверг на рождественские каникулы.

Артур. Что у вас тут случилось? Сегодня утром я получил в Кэмбридже телеграмму от папы. Он потребовал, чтобы я был здесь к восьми часам. *(Памеле.)* Здорово, Пэми.

Памела. Здравствуй, Арчи.

Целуются.

Артур. Что это у тебя такой кислый вид? И потом, Пэм, вокруг тебя наблюдается удивительная, почти что торичеллиева пустота. *(Оглядывает комнату.)* Я не вижу умнейшего человека нашего времени.

Памела. Я послала его за персиками.

Артур. Так что же случилось, мама?

М-сс Джекобс. Случилось то, что твой отец...

16

Входят мистер и миссис Симпсон.

М-сс Симпсон. Что у вас тут случилось, мама? Боже ты мой, и Арчи тут. Здравствуй, Пэми. Ты побледнела и похудела. *(Здоровается со всеми, продолжая говорить.)* А у нас сегодня большое событие. Мой депутат отличился: задал сегодня в палате свой первый вопрос.

Мистер Симпсон здоровается с присутствующими. Они поздравляют его. Миссис Симпсон продолжает говорить, не останавливаясь ни на минуту.

Но что делается в Лондоне, на улицах зачем-то насыпали песок, не понимаю, какое это имеет отношение к обороне. Да, у нас сегодня великое событие — Чарли сказал первое слово. Вы знаете, если бы это не был мой сын, я сказала бы, что это гениальный ребенок, он сказал «кошка», совершенно ясно сказал «кошка». Вот так вот — кош-ка. Это такое смышленое дитя, что я даже боюсь за него. Я позвонила сегодня в «Таймс» мистеру Слэнгу, и он обещал напечатать вопрос Роберта полностью. Но что же все-таки у вас тут случилось, мама? Надеюсь, папа здоров. Я обожаю нашего папу. Что ни говорите, а это гениальный человек. Если

бы он пошел в палату, он был бы сейчас министром. Но как вам понравится этот песок? Роберт с трудом к вам пробился. Дороги буквально забиты автомобилями. Боже, Памела! Я не вижу графа Ламперти!

Памела. Я послала его за персиками.

М-сс Симпсон. Я так волновалась, что, когда Роберт поднялся со своего места, чтобы задать вопрос, мне чуть не сделалось дурно. Он поднялся и громко, смело сказал: «Мистер спикер...» Как ты сказал, Роби?

М-р Симпсон откашливается.

И, представьте себе, мистер Чемберлен нисколько не удивился. Когда он поднялся со своего места, чтобы ответить моему Роберту, я чуть не упала в обморок, а Эни, которая сидела рядом со мной, говорит мне: «Ну! Теперь он задаст твоему Роби». Но мистер Чемберлен сказал: «Я ничего не могу добавить...» Как он сказал, Роби?

М-р Симпсон откашливается.

«Я ничего не могу добавить к заявлению, сделанному мною двадцать...» Какого? Да помоги же ты мне, Роби. Я не могу помнить все ваши политические тонкости...

М-р Симпсон откашливается.

Когда мистер Чемберлен начал говорить, мне чуть не стало дурно. Но что же у вас тут случилось? Приезжаем мы из палаты, а дома уже телеграмма. И я тогда сказала Роби, а он мне говорит, что, наверно, Памела выходит замуж за этого симпатичного молодого человека, ведь так ты мне сказал?

М-р Симпсон откашливается

Ничего подобного. Ты все спутал. Но что у вас тут произошло?



17

Входит адмирал Джемс Джекобс, долговязый, седой, похожий на старшего брата, 58 лет.

Адмирал. Я получил телеграмму от Джозефа и прилетел на самолете. В моем распоряжении всего полтора часа. С сегодняшнего числа во флоте отменены все отпуска. *(Здоровается с присутствующими.)* Что произошло? Кто-нибудь болен?

18

Входит м-р Джекобс-старший — старик 85 лет. Все бросаются к нему, усаживают его в кресло. За ним входит лакей с двумя собаками.

Старик *(трескучим голосом)*. Джони, Фрам, на место. *(Собаки усаживаются у его ног.)* Я вижу всю семью в сборе. Где Джозеф? *(Смотрит на часы.)* Сейчас ровно восемь.

Входит м-р Джекобс-младший. С ним полковник и Фрэнк. Майкрофт несет большую карту полушарий. Немного погодя входит доктор. Майкрофт прикрепляет карту к стене.

М-р Джекобс. Леди и джентльмены! Прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли мне на помощь в трудную для меня минуту и собрались здесь, на семейный совет. Я принял одно чрезвычайно важное решение, и мне хотелось бы познакомить вас с ним. Майкрофт, позовите слуг.

Майкрофт уходит.

М-сс Джекобс. Не понимаю, какое отношение могут иметь слуги к нашему семейному совету.

М-р Джекобс. Я должен познакомить с моим решением всех людей, живущих в нашем доме. Это имеет большое значение.

М-сс Джекобс *(в сторону)*. Он сошел с ума.

Входит Майкрофт. За ним экономка со своим вязаньем, две горничные, повар, лакей и шофер.

М-р Джекобс. Двадцать пятого июня тысяча девятьсот тринадцатого года в Индии погиб мой младший брат Томас. Он был убит пулей в живот и, прежде чем умереть, мучился три дня. Четырнадцатого января тысяча девятьсот семнадцатого года погиб мой старший сын Гарольд, восемнадцатилетний талантливый юноша. Он был убит на германском фронте. В него попал снаряд, и от него не осталось абсолютно ничего. Его даже не смогли похоронить. Мой брат Джемс *(показывает на адмирала)* служит в военном флоте. Мой друг Эллис А. Гудмэн служит в армии. С детских лет в мою жизнь проникли такие слова, как война, пушки, снаряды, атаки, пулеметы. Впоследствии к этим понятиям прибавились танки, газы, аэропланы. Хотел я этого или не хотел, но моя жизнь и жизнь моего семейства зависела от этих ужасных, противных человеческому духу понятий. После заключения мира Англия, а вместе с ней и я думали, что вой-

нам пришел конец, и уж во всяком случае на наше поколение хватит мира. Но с каждым годом опасность новой войны стала увеличиваться. Мое несчастье, что я не подумал об этом раньше и не принял должных мер. Это моя вина. Мне нужно было быть более рассудительным и предусмотрительным. Я — глава семьи и несу за нее ответственность перед богом и людьми. Но то решение, которое я принял сейчас, не могло прийти ко мне сразу. Оно является результатом долгих размышлений. Я постоянно следил за новой военной литературой, следил за течением мировой политики и пришел наконец к убеждению, что нет такой силы на земле, которая могла бы нас спасти, если только мы не отважимся спасти себя сами. Итак, господа, я решил ликвидировать все свои дела *(общее движение)* и уже ликвидировал все свои дела в Англии и за границей, порвать все свои старые связи, привязывавшие меня тысячью крепких нитей к обществу, и покинуть это общество, покинуть Лондон, покинуть Англию.

Некоторое время все молчат. Потом вскакивают с мест и говорят все вместе.

М-сс Джекобс. Уверяю вас — он сошел с ума!..

Адмирал. Погоди, Джозеф, объясни мне, пожалуйста...

Артур. Папа, но ведь это совершенно невозможно!..

М-сс Симпсон. Господи боже мой! А я думала, что помолвка!

Полковник. Позвольте, дайте Джозефу высказаться до конца.

Памела. Но это анекдот!

М-р Джекобс *(улыбается)*. Я знал, что мои слова вызовут переполох, но я так же уверен, что, когда вы меня выслушаете до конца, вы со мной согласитесь.

М-сс Джекобс. Никогда!

М-р Джекобс. Моя жена, которую я привык любить и уважать, просто не может, как и любая женщина, представить себе всех ужасов наползающей на

нас войны. Ей кажется, что все будет, как в ту войну: мы просто будем отсиживаться дома, терпеть, как люди богатые, микроскопические материальные лишения, из которых самым худшим может быть то, что Мэри не сможет ездить каждый год к своим родным в Филадельфию. Дорогая моя, твой американский оптимизм просто смешон. Для наших небольших островов с плотным населением, с жизнью, сосредоточенной в крупных городах, будущая война будет ужасна. Я не говорю, что Англия будет побеждена, она может быть и победительницей — ведь вышла же Англия победительницей из той войны, взяв с нас за это жизнь нашего мальчика,— но я не хочу приносить в жертву больше ни одного члена своей семьи. А смертельная опасность угрожает решительно всем. Знаете ли вы, что одна авиационная бомба, проникнув в любое убежище на двадцать метров, взрывается со страшной силой и уничтожает вокруг себя все живое на двести метров в окружности. А на нашу страну будут сброшены миллионы таких бомб! Знаете ли вы, что изобретен газ, не имеющий ни вкуса, ни цвета, ни запаха, понимаете, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вы не подозреваете о его приближении, да к тому же от него не помогают никакие противогазы. И эти газы будут выпущены на нашу страну в огромных количествах. Знаете ли вы о бактериологической войне?

М-р Симпсон. Но ведь войны, может быть, еще не будет. Мне кажется, что вы, Джозеф, несколько сгустили краски.

20

Входит полицейский офицер.

Полицейский офицер. Простите, господа, но я должен предупредить вас, что вскоре в этом районе начнутся противовоздушные маневры. Еще раз прошу извинения. *(Уходит.)*

М-р Джекобс. Вы что-то сказали, Роберт.

М-р Симпсон. Нет, пожалуйста, продолжайте.

М-р Джекобс. Я — глава этого дома и по всем законам, божеским и человеческим, имею право им

распоряжаться. Я пришел к твердому убеждению, что общество управляется неправильно. К сожалению, я ничего не могу сделать, чтобы общество стало управляться так, как мне этого хотелось бы, чтобы не было войн и революций, чтобы люди не убивали друг друга и жили бы по христианским законам. Остается одно — покинуть это общество, бежать от него подальше. Сейчас я доложу вам о тех практических шагах, которые я предпринял, чтобы осуществить свое намерение. Мистер Суинни,

Фрэнк поднимается с места.

сообщите, пожалуйста, о моих финансовых мероприятиях.

Фрэнк. В результате ликвидации всех дел, продажи бумаг и изъятия капитала из общества «Индийский чай» в настоящий момент капитал мистера Джекобса-младшего состоит из пятисот восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов в крупных цифрах.

М-р Джекобс. Как видите, не так много, но совершенно достаточно, чтобы привести мой план в исполнение. Мы покинем Англию и переедем туда, где нашей семье не будет угрожать никакая опасность.

Полковник. Я все-таки не понимаю, Джозеф, почему вы решили, что вашей семье в настоящее время угрожает серьезная опасность?

В эту минуту тухнет свет.

Голоса. Что это? Принесите свечей! Спокойно, господа, это, наверно, выключен свет в связи с маневрами.

Слуги вносят свечи, дальнейшее происходит при свечах.

Полковник. Надо закрыть шторы.

М-р Джекобс. Вот так произойдет в один прекрасный день. Сначала выключат свет, потом начнется ад. И он будет продолжаться до тех пор, пока вы не будете уничтожены.

Артур (*взволнованно*). Куда же мы поедем, папа?

М-р Джекобс. Может быть, есть какие-нибудь предложения?

Памела. В Ниццу.

М-р Джекобс. Дорогая моя, Ницца будет уничтожена через пять минут после начала войны. Не забывай, что там сосредоточены франко-итальянские противоречия.

Артур. В Африку.

М-р Джекобс. В Африке будет происходить самая ожесточенная война из-за колоний.

М-сс Джекобс. Единственное место, куда я согласна ехать,— это на родину — в Соединенные Штаты. И я поеду туда.

М-р Джекобс. Ты забываешь, дорогая, что при развитии современной авиации Соединенные Штаты могут быть подвергнуты такому же разрушительному удару, как и любая европейская страна!

М-сс Симпсон. В Японию!

Общий смех.

Адмирал. Мне, Джозеф, совершенно чужда и непонятна твоя идеология. Но ты взрослый человек и волен поступать, как тебе угодно. Ты позвал меня, чтобы посоветоваться. Изволь. Новая Зеландия. Великолепный культурный английский доминион. Если жизнь в Лондоне кажется тебе опасной, переезжай туда.

М-р Джекобс *(подходит к карте)*. Я не получил военно-морского образования, как ты, Джемс, но все-таки никак не могу понять твоего, мягко выражаясь, легкомыслия. Ну, посуди сам *(ловко показывает на карте)* — Новая Зеландия, Япония, Соединенные Штаты. Обратите внимание, как растянулись в этом месте английские коммуникации, до какой степени они уязвимы. Видите? Вот базы японского подводного флота. Блокада Новой Зеландии естественно вытекает из современного военно-стратегического положения.

Адмирал. Гм, пожалуй, ты прав. Может быть, Австралия? Нет, Австралия, пожалуй, тоже не годится.

Памела. Папа! Швейцария! Классическая нейтральная страна! Прелестные отели, юнгфрау, Рюгикюльм, Фирвальдштетское озеро, Лозанна. Может быть, Швейцария?

М-р Джекобс. Ты меня просто смешишь, Памела. Не будут же немцы разбивать себе лоб о линию Мажино. Логика говорит за то, что свои операции против Франции они поведут именно через Швейцарию. Я достаточно хорошо изучил вопрос, чтобы сказать, что о Европе не приходится и думать.

Артур (*взволнованно*). Но что же делать? Куда ехать?

М-р Джекобс (*торжественно*). Да. Это вопрос не простой. И я хорошенько над ним поработал. Я ломал голову над ним в течение двух лет. Я перебрал все страны мира и... не смог остановиться ни на одной. Есть, конечно, Россия... но... вы сами понимаете... Одно время положение казалось мне безнадежным. Но мне помог мой друг-полковник. Как вам известно, годы своей юности он посвятил путешествиям на гидрографическом судне «Марион». И вот однажды, в результате сильного урагана в Тихом океане, судно было отнесено от своего курса, потеряло управление и было прибито волнами к незнакомому острову. Полковник провел на нем несколько месяцев, пока не удалось произвести необходимый ремонт. Это удивительный остров. Он занесен на карты под названием Безымянного острова и, как это ни странно, не захвачен ни одной из великих держав. Объяснить это можно исключительно тем, что остров не представляет никакого коммерческого интереса. Живет на острове небольшое туземное племя, управляемое царем. По своему характеру это замечательные люди, напоминающие американских индейцев, но не отличающиеся их воинственностью. Эти люди даже не знают таких слов, как кража, убийство или война. Они занимаются рыболовством и немного земледелием. Но почва там не очень хороша и урожаи бывают маленькие. К европейцам они относятся превосходно, очевидно по той причине, что их никогда не обижали. Климат там здоровый, хотя и жаркий. С военно-стратегической точки зрения этот остров совершенно безопасен. Поблизости не проходит ни одна коммуникация. Это подлинный остров мира. И я решил, что единственным разум-

ным решением было бы переехать на этот остров. Мой план обдуман до мельчайших подробностей...

М-сс Джекобс. Подумай только, что ты говоришь! Ехать к каким-то дикарям! На всю жизнь!

М-р Джекобс. Зачем же на всю жизнь? Мы поедем на десять лет. За это время, как я надеюсь, пароксизм сумасшествия, охвативший мир, пройдет, и мы сможем вернуться на родину. Из общей суммы в пятьсот восемьдесят тысяч фунтов сто я помещу в государственный банк. К нашему возвращению они дадут нам еще тысяч сорок процентов. Это для того, чтобы построить дальнейшую жизнь в Англии. Остальные же деньги — четыреста восемьдесят тысяч фунтов — я целиком отдаю экспедиции. Мною зафрахтован пароход «Глазго», небольшой, но хороший пароход, на котором мы и совершим наше путешествие. Мы возьмем с собою решительно все необходимое, чтобы жить в течение десяти лет так, как мы живем сейчас, не испытывая никаких лишений, в полном комфорте. Мы возьмем коров, лошадей, свиней, автомобили, небольшую электростанцию, книги, передаточную и радиоприемную станции, мы возьмем слуг, священника, доктора, медикаменты...

Полковник. Оружие.

М-р Джекобс. Ни в коем случае. Мы едем с миссией мира, а не с миссией войны. Мы едем к хорошим, гостеприимным людям. Я хочу забыть, что такое оружие! Хочу наконец забыть, что на свете существует оружие! Одним словом, я хочу сделать так, чтобы мой домашний очаг был перенесен на Остров Мира, чтобы мы вели там такую же жизнь, какую ведем здесь, и чтобы ни минуты не думали об этой проклятой войне, о газах, танках и всей этой мерзости.

Пауза.

М-сс Джекобс. Я не поеду с тобой. У меня есть свои средства, вложенные в хорошее американское предприятие. Я была самостоятельной и буду самостоятельной до конца своей жизни.

М-р Джекобс. Ты поедешь со мной, Мэри.

М-сс Джекобс. Нет!

М-р Джекобс. Твой отказ последовать за мной — недостаточная причина для развода. Суд не станет на твою сторону. Я не дам тебе развода.

М-сс Джекобс. Я и не собираюсь вести против тебя бракоразводный процесс, мне не нужны твои деньги. У меня есть свои. Я просто останусь здесь.

М-р Джекобс. Детей я не спрашиваю. Дети есть дети, и они поедут туда, куда велит им ехать отец, потому что все, что делает отец, он делает для их блага. Родственников я тоже не спрашиваю. Если они захотят ехать, мой дом на Острове Мира к их услугам.

М-р Симпсон. Я подумаю над вашим предложением, Джозеф.

Адмирал. Я человек военный, и мне даже смешно думать о том, чтобы покинуть Англию в такой момент. Но, по моему глубокому убеждению, ты собираешься сделать далеко не глупый поступок.

М-р Джекобс. Отец?

Артур. Он спит, папа.

М-р Джекобс. Пожалуй, не стоит его будить. Мистер Суинни? Вы поедете со мной, Фрэнк?

Фрэнк. Мне не остается ничего другого.

М-р Джекобс. Ваше жалованье будет увеличено до семи фунтов. Доктор?

Доктор. Вы разрешите мне подумать, мистер Джекобс?

М-р Джекобс. Даю вам два дня на размышление. Если вы согласитесь, жалование будет повышено вам до восемнадцати фунтов. Майкрофт?

Майкрофт. Я поеду с вами, сэр.

М-р Джекобс. Я и не ожидал от вас другого ответа. *(Пожимает ему руку.)* Надеюсь, что и Кэтрин последует за нами?

Экономка. Я очень рада, мистер Джекобс, мне, право, было очень приятно вас слушать, сэр. Я все поняла. Ведь едут же люди в Индию и остаются живы. Видите ли, мистер Джекобс,— спицы. Меня очень интересуют спицы, сэр. Мне часто нужны обыкновенные металлические спицы, и я не знаю, можно ли будет покупать спицы в том городе, куда вы изволите собираться, сэр, мистер Джекобс.

М-р Джекобс. Если вы хотите, я заготовлю для вас хоть целую тонну превосходных спиц наивысшего качества.

Экономка. Спасибо, сэр. Я всегда говорила, что если мужчина за что-нибудь берется, это всегда получается у него очень прилично и респектабельно.

М-р Джекобс. Что касается остальных слуг, то вы, друзья, обдумайте все, что я сказал, и сообщите мне завтра о своем решении.

Слуги уходят.

Теперь самый сложный и тонкий вопрос. Артур — еще мальчик, ему двадцать лет и о женитьбе ему еще рано [.?.][1]. Через десять лет он вернется в Лондон возмужавшим молодым человеком тридцати лет и тогда, конечно, составит свое счастье. Остается Памела, перед которой стоит такой важный жизненный вопрос, как замужество. Я, разумеется, далек от мысли искать для нее жениха среди дикарей Острова Мира. *(Общий смех.)* Здесь все свои, и я хочу быть откровенным. На днях один весьма достойный молодой человек...

Памела. Я не люблю его.

М-р Джекобс. Дай же мне договорить, Пэми. Весьма достойный молодой человек сделал Памеле предложение. Я и Мэри это предложение приняли.

Памела. Я не люблю его.

М-р Джекобс. Мне хотелось бы слышать, что скажет по этому поводу граф.

Памела. Его нет. Я послала его за персиками.

21

Входит граф Ламперти с коробкой в руках. Раскланивается со всеми.

Ламперти. Вот персики, Памела. М-м-м... Удивительное событие. Я... м-м-м... шел из Лондона пешком. Какие-то люди забрали у меня, так сказать, автомобиль и дали мне вот эту бумажку.

---

[1] [.?.] — в рукописи слово пропущено.

Полковник. Это происходит пробная эвакуация женщин и детей. Я думаю, граф, что автомобиль будет вам завтра возвращен.

М-р Джекобс. Если позволите, граф, я поговорю с вами немного попозже. Я еще раз обращаюсь к тебе, Мэри: поедешь ли ты с нами или ты бросишь свою семью?

22

Входит Майкрофт.

Майкрофт. Миссис Джекобс, вам срочная телеграмма.

М-сс Джекобс *(читает телеграмму)*. Ах! *(Падает в обморок, ей подают воду, приводят ее в чувство.)*

М-р Джекобс *(берет телеграмму, читает ее)*. «В Филадельфии взрывом совершенно уничтожен пороховой завод «Бэрри энд компани лимитед». Акции падают с катастрофической быстротой. Немедленно сообщите, как поступить. Гроппер».

М-сс Джекобс. Мое состояние погибло.

М-р Джекобс. Ты едешь с нами, Мэри?

М-сс Джекобс. Да. *(Плачет.)*

Раздается сильный артиллерийский выстрел. За ним другой, третий.

Полковник. Не волнуйтесь, господа, это опытная стрельба противовоздушной артиллерии.

Снова повторяется несколько выстрелов.

М-р Джекобс *(подымая руки к небу)*. Господи! Ты, создавший все живое, создавший человека по своему образу и подобию, как терпишь ты все это, как допускаешь ты, чтобы человек убивал человека, чтобы над мирными городами и селами стоял этот позорный, бесстыдный грохот, грохот войны!

Выстрелы продолжаются.

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ

Декорации первого акта. Сквозь закрытые шторы пробивается сильный дневной свет.

1

Входит Майкрофт. За ним — слуга с охапкой дров и экономка.

Майкрофт. Вот сюда.

Слуга складывает дрова возле камина и уходит.

Экономка. Я не понимаю, Майкрофт, почему вы не хотите, чтобы камин растапливали Майкл или Сэм. Вы уже не в том возрасте...

Майкрофт. Вы говорите мне это каждый день, Кэтрин.

Экономка. Мужчины невыносимы и неприличны. Я прямо-таки не выношу их.

Майкрофт. Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что никогда не выйдете замуж. Вы говорите это уже тридцать лет.

Экономка. Господи, твоя воля. Миссис Джекобс вчера весь день плакала в своей комнате. Прямо не знаю, что и подумать.

Майкрофт *(кротко)*. Что-то в последнее время вы стали слишком много думать, Кэтрин.

Экономка. Постыдились бы так говорить в святой день рождества Христова.

Майкрофт. Вы потеряли спицу, Кэтрин. *(Подымает ее и подает ей.)*

Экономка. Спасибо. Вы очень любезны, Майкрофт.

Слышен голос м-ра Джекобса, напевающего песенку. Экономка уходит. Майкрофт ставит на столик перед камином бутылку портвейна, придвигает кресло.

2

Входит м-р Джекобс. Он одет так же, как и в первом акте. Очень весел. Продолжает напевать песенку. Потирает руки.

Майкрофт. Поздравляю вас с праздником, сэр.

М-р Джекобс. Вас также. *(Хлопает Майкрофта по плечу.)* Вы прекрасно выглядите для вашего возраста, Майкрофт.

Майкрофт. А вы еще лучше, сэр. За последний год вас узнать нельзя. Поправились, поздоровели!

М-р Джекобс включает радио, садится в кресло. Майкрофт наливает в рюмку портвейн.

Голос из радио. Агентство Рейтер сообщает, что положение в Данциге напряглось до крайности. В кругах, близких к министерству иностранных дел, полагают, что в настоящий момент Данциг и Польский коридор представляют собою бочку с порохом. Достаточно поднести к ней фитиль — и весь мир взлетит на воздух.

Вчера в палате общин состоялись прения по внешнеполитическим вопросам. На вопрос представителя оппозиции лейбориста полковника Гопкинса, известно ли правительству, что английским женщинам и детям угрожает серьезная опасность от воздушных бомбардировок, премьер-министр мистер Чемберлен ответил, что это ему известно.

Агентство Гавас сообщает, что один португальский монах изобрел авиационную бомбу, которая пробивает любое убежище и проникает сквозь бетон на глубину в тридцать метров, после чего взрывается с ужасающей силой, подвергая разрушению все живое в радиусе свыше трехсот метров.

М-р Джекобс. Ловко!

Голос из радио. Налет японской авиации на Чунцин. В результате зверской бомбардировки убито свыше двух тысяч мирных жителей.

М-р Джекобс. Я всегда говорил, что мир сошел с ума.

Майкрофт. Вы говорили это, сэр.

Голос из радио. По некоторым сведениям японские войска применяют против китайских войск в провинции Шанси отравляющие вещества.

Последние известия окончены. А теперь прослушайте мессу из кафедрального собора. Службу совершает архиепископ Кентерберийский.

М-р Джекобс. Откройте шторы, Майкрофт, здесь совсем темно.

Из радиоаппарата несутся торжественные и величественные звуки органа. Майкрофт подымает шторы. За громадной стеклянной дверью виден залитый солнцем тропический пейзаж: несколько пальм и светло-синий широкий океан, над которым повисло маленькое белое облако. Пейзаж так чист и спокоен, такая разлита в нем светлая и сонная благодать, что хочется остановиться перед ним в молчании, ощущая всё величие земного шара.

М-р Джекобс. Хорошо, Майкрофт!

Майкрофт. Чего уж лучше, сэр.

М-р Джекобс. Пусть стреляют, пусть отравляют друг друга газами, пусть люди перекусывают людям горло, как волки в лесу,— мы ничем не можем им помочь, мой дорогой Майкрофт. Скажите мне, в чем причина? Что толкает людей на те преступления, которые они ежедневно совершают, изобретая кошмарные орудия убийства, сбрасывая на головы мирных жителей тонны бомб?

Майкрофт. Не знаю, сэр.

М-р Джекобс. Я много об этом думал, но тоже не смог бы ответить на этот вопрос. Это просто необъяснимо. Господь бог дал человеку чудесный мир, где все разумно, красиво, удивительно правильно и целесообразно устроено. Поверхность земли дает человеку хлеб, необходимый для поддержания его жизни, земные недра дают ему все, чтобы он мог украсить свою жизнь, сделать ее удобной и комфортабельной. А он почему-то никак не может поделить земли, воюет из-за нее, убивает своих братьев, подобно Каину. Ведь плодов, которые может дать природа, если ее правильно, по-братски, возделывать, хватит не только для полутора миллиардов людей, а для трех миллиардов, для пяти миллиардов.

Майкрофт. Это правильно, сэр.

М-р Джекобс. Я глубоко убежден, дорогой Майкрофт, что человек с самого дня его рождения наделен самыми замечательными свойствами — добротой, справедливостью, нежностью, любовью ко всему живому. Множество раз я наблюдал, как самые обыкновенные, ничем не замечательные младенцы, еще не научившиеся ходить и говорить, делили подаренную им конфетку на несколько частей и раздавали их всем присутствующим в комнате. Совершенно несомненно, что чувство справедливости, в котором, в сущности, заключены все человеческие добродетели, так же свойственно человеку как зрение и слух. И если бы взрослые уничтожали в детях зрение и слух с такой последовательностью, с какой уничтожают в них чувство справедливости, человечество давно уже было бы глухо и слепо. Нет, нет, Майкрофт, человеку не свойственно быть злым, ему свойственно быть добрым. Откуда же бацилла войны, вызывающая чуть ли не каждые десять лет эти ужасные военные эпидемии? Кто носитель этой бациллы, по сравнению с которой бациллы инфлуэнцы, туберкулеза и чумы кажутся довольно милыми и ручными животными микроскопических размеров? Скажите мне, Майкрофт, кто этот бациллоноситель, этот страшный и тайный бациллоноситель, заражающий и отправляющий на тот свет миллионы людей?!

Майкрофт. Никак не скажу вам, сэр.

М-р Джекобс. Как ужасно, Майкрофт. Уже больше года мы живем на этом острове и наслаждаемся всеми благами мира. А ведь в это время на земном шаре льется кровь.

3

Входит Артур в белом костюме и тропическом шлеме. Он навеселе. За ним представительный туземец средних лет. Он в полосатом купальном костюме и шляпе.

Артур. Заходи, заходи, не бойся, тут тебя никто не обидит. Это царь, папа. Он отличный парень. Мы с ним здорово подружились за последний год. Я подарил ему купальный костюм и старую шляпу. По-моему,

для царя все-таки не совсем прилично ходить голым.

М-р Джекобс. Арчи, ты слишком фамильярен с ним. Все-таки царь есть царь, каким бы крошечным государством он ни управлял. Будь почтительней. *(Кланяется царю.)* Пожалуйте, ваше величество.

Майкрофт придвигает ему кресло. Царь осторожно садится.

Царь. Вермут. Вер-мут.

М-р Джекобс. Что он говорит?

Артур *(со смехом)*. Он хочет вермута.

М-р Джекобс. Майкрофт, принесите бутылку вермута.

Артур. Он обожает вермут. Это отличный парень, уверяю тебя. Мы с ним здорово подружились. Знаете, как его зовут? Махунхина. Ма-хун-хи-на.

Царь радостно кивает головой.

Что, Махунхина, вермут хорошо?

Царь. Хорошо. *(Смеется.)* Махунхина вермут хорошо.

Артур. Я обучаю его английскому языку. Удивительно способный парень. Когда я первый раз угостил его вермутом, он *(хохочет)*... он... ох, не могу...



М-р Джекобс. Ты пьян, Артур.

Артур. ...он... он поцеловал... бутылку и прижал ее ко лбу и к груди.

М-р Джекобс. Артур, ты просто пьян.

Артур. Всего два коктейля, папа.

М-р Джекобс. Порядочные люди не пьют коктейли в три часа дня.

Артур. А что делать на этом чертовом острове? Ведь тут же сумасшедшая скука! Ты вот пьешь свой портвейн. Ведь оттого, что мы принципиально топим камин зимою, мы не при-

близимся к Лондону ни на один сантиметр, а будем по-прежнему находиться от него за семь тысяч миль, а температура здесь все равно не опустится ниже сорока градусов.

Майкрофт входит с бутылкой вермута и ставит ее на столик.

Царь *(волнуясь)*. Вер-мут.

М-р Джекобс. Скажи ему, что он может взять эту бутылку себе.

Артур. Махунхина. Вермут. Бери. Твоя. Понимаешь? *(Показывает жестами.)*

Царь целует бутылку, потом прижимает ее ко лбу и к груди.

М-р Джекобс. Меня радует, что на земле есть еще эти большие дети, добрые и непосредственные. Они не знают, что такое кража, убийство или война. Они не знают даже, что такое деньги. Они пронесли сквозь века присущее человеку благородство и чувство справедливости. Наш долг, Артур, обращаться с ними, как с братьями, помогать им, постараться улучшить их нищую, полную лишений жизнь. Помни, что на нашу семью возложено просвещение этого маленького благородного народа. Это большая и благородная работа, Артур.

Артур. Мы делаем с мамой все, что можем. Каждое воскресенье я показываю им кинематограф. Но у нас всего пять картин. Они смотрели одни и те же картины по крайней мере по двадцать раз.

Царь *(с удовольствием)*. Кинематограф. Хорошо. Махунхина кинематограф хорошо.

Артур. Особенным успехом пользуются американские картины «Возвращение гангстера Патерсона» и «Чикагская трагедия». Очень неплохо смотрят также комедию «Ограбление банка в Сан-Луи». Интересное наблюдение. Вначале их забавлял самый принцип кинематографии, их смешил самый факт того, что живые люди движутся на полотне. Они бессмысленно хохотали и били в свои барабаны, которые они приносили с собой. Потом отношение их сделалось более осмысленным. Я заметил, что до них постепенно стало доходить самое содержание фильмов.

М-р Джекобс. Отлично. А как смотрят «Разведение риса в Индии»?

Артур. Представь себе, что научные картины до них совершенно не доходят. К тому же ведь рис на этой песчаной почве все равно нельзя разводить. То же самое с картиной «Сердечная деятельность человека». По-моему, они еще просто не доросли до таких картин. Для этого нужно время и время. Покуда их примитивный мозг воспринимает только легкие американские картины.

4

Входит экономка со своим вязаньем.

Экономка. Мистер Джекобс, миссис Джекобс просила узнать у вас, сэр...

Царь (*неожиданно подбегает к экономке и целует ей руку*). Как поживаете, леди?

Экономка ошеломлена.

Артур. Каково? Это я его научил. Дьявольски способный парень. И, главное, я ему только один раз показал на Памеле. А ну, Махунхина, еще раз. Понимаешь? Еще раз. Как надо здороваться с английской женщиной?

Царь (*снова целует руку экономке*). Как поживаете, леди?

Артур. Он и фокстрот умеет танцевать.

Царь (*некоторое время смотрит на вязанье экономки, потом осторожно прикасается к длинной блестящей спице*). Дай.

Экономка. Ишь какой хитрый. Дай ему спицу.

Царь. Дай, дай.

М-р Джекобс. Дайте ему спицу, Кэтрин. У вас такой большой запас спиц, что их хватит вам на сто лет.

Экономка отдает царю спицу. Он прижимает ее ко лбу, потом к груди и, сняв шляпу, торжественно втыкает в волосы.

Артур. Прелестный головной убор! Имейте в виду: этот царь — первый модник на острове, так ска-

зать, наш принц Уэльский. Если эта мода будет иметь успех, вам, Кэтрин, придется раздать все свои спицы.

Экономка. Ну, этого дикари от меня не дождутся! *(Уходит.)*

5

Входит м-сс Джекобс.

М-сс Джекобс. Какой неприятный запах! *(Видит царя. Смотрит на него в лорнет.)* Что это?

Царь *(подбегает к м-сс Джекобс и целует ей руку)*. Как поживаете, леди?

М-сс Джекобс. Джозеф, нельзя ли освободить меня в моем доме от неприятного мне общества?

М-р Джекобс. Это царь, Мэри.

Артур. Уверяю тебя, мама, это милейший парень. Мы здорово с ним подружились в последнее время. *(Царю.)* Идем, Махунхина. Понимаешь? Идти. Туда. Махунхина идти домой. Скажи им гуд бай.

Царь. Гуд бай.

Артур. Дьявольские способности к английскому языку. *(Уходит с царем.)*

6

М-сс Джекобс. Ты человек, Джозеф?

М-р Джекобс. Странный вопрос.

М-сс Джекобс. Если ты человек, живой человек из мяса и костей, вызови по радио пароход и отправь меня в Англию.

М-р Джекобс. Ну вот мы опять должны будем вернуться к неприятному разговору. Ты великолепно знаешь, что я никогда не меняю своих решений. Мать не должна покидать свою семью. И потом, ты ведь сама согласилась ехать?

М-сс Джекобс. Согласилась только потому, что потеряла все свои деньги в Америке. Я боялась бедности. Теперь я вижу, что ошиблась.

М-р Джекобс. Не понимаю, чего тебе не хватает. У тебя есть дом, тот же самый дом, что и в Лондоне,

у тебя есть твоя семья, у тебя есть твои слуги, есть абсолютно все необходимое, чтобы вести такую же жизнь, какую ты вела. У тебя есть общество таких же, как и ты, европейцев, хороших цивилизованных людей, как Фрэнк, наш милый граф, наконец доктор и священник. Единственно, чего тебе может не хватать,— это оперы, но ведь и оперу ты в конце концов можешь слушать по радио. Неужели ты хотела бы, чтобы наша семья, наш Артур были бы уничтожены, как был уничтожен наш старший мальчик? Тебе не жалко Арчи? Помнишь, с какой любовью мы его воспитывали. Ты же первая потребовала, чтобы ребенок никогда не брал в руки оружия, никогда не слышал о нем!

М-сс Джекобс. Я хочу жить, Джозеф, мне нужна деятельность.

М-р Джекобс. У тебя здесь есть великолепное, благодарное поле деятельности — этот остров, единственный на земном шаре островок мира. Здесь живут хорошие, добрые и очень бедные люди. Они нуждаются в нашей помощи. Доктор говорил мне, в каких ужасных условиях рожают здесь женщины — без всякой медицинской помощи, прямо на земляном полу. Тебе нужна деятельность? Неужели тебе не хватает твоей школы рукоделия для девочек и маленькой амбулатории? Расширяй все это. Открой школу для мальчиков, организуй больницу, наконец помогай мистеру Гаттону распространять христианство. Вот в чем должна заключаться деятельность цивилизованного человека.

М-сс Джекобс. Нет, мне не нужна такая деятельность. Я хочу шума, беспокойства, происшествий. Я хочу, чтобы была биржа, чтоб подымались и падали бумаги...

М-р Джекобс. Ты уже поплатилась один раз.

М-сс Джекобс *(не слушая мужа)*... Я хочу, чтобы были скачки, бракоразводные процессы, вечерние газеты, железнодорожные катастрофы, парламентские дебаты, уличные беспорядки...

М-р Джекобс. Удушливые газы и пушки...

М-сс Джекобс *(не слушая его)*... чтобы была жизнь, живая жизнь со всеми ее странностями и неожиданностями!

М-р Джекобс. Опомнись, Мэри! Это недостойно человека!

М-сс Джекобс. ...и если правда, что этот остров, как ты говоришь, представляет собой рай, то я хочу жить в аду.

М-р Джекобс. Ты больна, Мэри.

М-сс Джекобс. Я не могу больше видеть эту водную Сахару, на которой нет ни признака жизни.

М-р Джекобс. Я попрошу мистера О'Риали, чтобы он хорошенько осмотрел тебя. Ты просто нездорова.

Вбегает Майкрофт. Он очень взволнован.

Майкрофт. Сэр, с восточного берега ясно видна лодка. В бинокль можно рассмотреть человека. Я выслал Сэма со спасательным ботом. *(Подает мистеру Джекобсу бинокль.)*

М-р Джекобс. Мой автомобиль.

Майкрофт. Он приготовлен, сэр.

М-р и м-сс Джекобс поспешно уходят. За ними следует Майкрофт.

7

Сцена некоторое время пуста. Слышатся взволнованные голоса, шум отъезжающего автомобиля. Потом тишина. Входит экономка.

Экономка. Куда я ее девала? Ведь только что она была у меня в руках. *(Что-то ищет по всей комнате. Смотрит на стульях и под стульями. Заглядывает за диван. Потом лезет туда.)*

8

Входят Памела, Фрэнк и Ламперти. В руках у них купальные костюмы и простыни.

Памела. Вы были правы, Фрэнк, купанье совершенно не освежает.

Фрэнк. Я привык к этой жаре. Иногда мне кажется, что я родился и вырос на этом острове, что нет

на свете никакого Лондона, и никакой Европы, и никакой Америки.

Ламперти. Вчера было так же жарко.

Памела. Интересно, как вам удалось это установить.

Ламперти. Я смотрел на термометр.

Памела. Боже, как глуп!

Фрэнк. Не обращайте на него внимания.

Памела. Но он ходит за мной с утра до вечера буквально по пятам.

Ламперти (*с достоинством*). Я здесь, кажется, лишний?

Памела. Вас, Фрэнк, почти не видно дома. Вы целыми днями скитаетесь по острову и, наверно, изучили его, как свои пять пальцев.

Фрэнк. Я люблю продолжительные прогулки.

Ламперти. Прогулки полезны для здоровья.

Памела (*складывая молитвенно руки и подымая глаза к небу*). Боже!

Ламперти. Я здесь, кажется, лишний?

Памела. Да.

Пауза.

Фрэнк. Вы слышали?

Пауза.

Памела. Скажите, какого черта вы приехали с нами на остров? Ведь я совершенно ясно сказала, что не люблю вас.

Ламперти. Вам известно, Памела, что... м-м-м... ваши родители и... м-м-м... со своей стороны, так сказать... м-м...

Памела. Что, со своей стороны, так сказать?!

Ламперти. ...м-м... последовать за вами, так сказать, на край света.

Памела. Ну, вот вы и последовали. Вот вы на краю, на самом краю света. Так что же, хорошо вам здесь, на краю?

Фрэнк. Отвечайте, черт бы вас побрал!

Ламперти. Я здесь, кажется, лишний?

Памела. Знаете, уходите отсюда.

Ламперти продолжает сидеть, как будто его приклеили к стулу.

Памела. Я оставила на берегу свой шарф.

Ламперти *(вскакивает с места)*. Через десять минут он будет у вас. *(Уходит.)*

9

Памела. Самое глупое во всей этой истории, что нам по-прежнему некуда уйти и даже встречаться стало труднее, чем в Лондоне. Ну, куда мы пойдем, Фрэнк?

Фрэнк. Здесь мы еще больше зависим от вашего старика, чем в Лондоне. У него не только дом. У него запасы продовольствия, одежда, напитки, лекарства, табак. У него все. Уйти от него невозможно. Куда уйти? К дикарям?

Памела. Сотни раз я пыталась заставить себя заговорить с отцом о нашей судьбе и никак не могла решиться. Мой отец — странный человек. Он умен, добр, решителен, у него множество достоинств и только один серьезный недостаток. Он постоянно стремится кого-нибудь облагодетельствовать. Если бы ему дали такую возможность, он облагодетельствовал бы весь мир. Но мир, как видно, не хочет этого. И он занимается тем, что оказывает благодеяния своей семье. Вот он привез нас сюда, на этот остров, подверг нас десятилетнему заключению и уверен, что этим спасет нас от неминуемой гибели. Он притащил на остров этого несчастного надоедливого мальчика, потому что твердо убежден, что графский титул сделает меня счастливой. Он бежал от общества, но никто так суеверно не считается с общественным мнением, как он. Выдать дочь замуж за своего секретаря! Нет, он никогда не решится на такой банальный поступок. Даже на острове.

Фрэнк. Я не хочу жаловаться, Пэми, на вашего отца, на общество, на жизнь. Я хочу бороться, а не жаловаться. Я не буду выпрашивать вашей руки. Я возьму ее штурмом.

Памела. Вы просто прелесть, Фрэнк.

Фрэнк. Я хочу рассказать вам кое-что, Пэми. Но

вы должны дать мне слово, что о нашем разговоре не узнает ни один человек.

Памела. Вы сомневаетесь во мне.

Фрэнк. Нет, конечно. Но дело до такой степени значительно, что... Простите меня, Пэми, я просто не понимаю, что говорю. Я слишком взволнован. *(Оглядывается, говорит вполголоса.)* Вы только что говорили, что я редко бываю дома и по целым дням брожу по острову. Мне кажется, что вы даже немножко сердитесь на меня за это.

Памела. Совсем немного, чуть-чуть.

Фрэнк. Кропотливо, изо дня в день, я изучал геологическое строение острова. Он занимает двести шестьдесят километров в длину и семьдесят восемь в ширину. Длинными сторонами он выходит на Восток и на Запад. Его восточное побережье скалисто и довольно значительно приподнято над уровнем моря. Западное, наоборот,— представляет собою сплошной пляж, который тянется больше, чем на двести километров. Я составил подробнейшую карту острова. *(Вынимает из кармана карту и показывает ее.)* Уже на другой день после приезда некоторые признаки показали мне... *(оглядывается)*, что на острове должна быть нефть. Но я не торопился с выводами. Тысячи болванов в тысяче случаев подняли бы крик: «Нефть, нефть!», если бы даже имели десятую долю моих данных. Но я был осторожен, Пэми. Я слишком много страдал в жизни, чтобы быть торопливым. Терпение и выдержка. Знаете, как на севере охотятся на волков? О, это сложная штука! Сначала их выслеживают,— они бродят семействами,— потом прикармливают. Проходит время. Волки хитры, но человек еще хитрее. Он не стреляет, он ждет. И вот наконец все готово, ошибки быть не может. Человек окружает стаю — и тогда ей нет выхода. Тогда он бьет, бьет, бьет одного за другим, всех наповал. Я был очень осторожен. Целый год я производил исследования. Сейчас сомнений нет. Все западное побережье вместе с этим длинным мысом, который ваш отец назвал в вашу честь мысом Памелы, представляет собою сплошное месторождение нефти. Я исследовал образцы. Нефть

исключительного качества. По своему характеру она напоминает румынскую, но значительно лучше. Я не люблю хвастаться, Памела, но мое открытие имеет совершенно экстраординарное мировое значение.

Памела *(в страшном волнении)*. Какой вы человек! Какой вы замечательный человек! Иногда мне кажется, Фрэнк, что вы гениальны!

Фрэнк. Тише, Пэми, бога ради тише. Сделать гениальное открытие — даже не половина дела, а десятая или сотая. Помните, что Ремингтон, который изобрел пишущую машинку, умер в нищете, а разжился на его изобретении человек, фамилии которого мы даже не знаем.

Памела. Вы мой Ремингтон.

Фрэнк. Боже сохрани меня от этого. Я не хочу быть Ремингтоном. Я хочу быть человеком, фамилию которого знали бы только в Сити и на Уолл-стрит.

Памела. Какое счастье! Какое счастье!

Фрэнк. До счастья еще далеко, к сожалению. Так вот, Пэми. Нефть есть, и об этом никто не знает, кроме вас. По всем данным, характер нефтяных рождений таков, что неожиданный выход нефти едва ли возможен. Это очень хорошо. У нас есть время. О моем открытии никто не подозревает. Ваш отец занимается пропагандой своих идей по радио, Артур возится с дикарями, ваша мать молча страдает в своей комнате, доктор со священником играют между собою уже двадцать пятый шахматный матч на первенство острова, прислуга не в счет, а дикари ничего не поймут, даже если на острове одновременно станут бить пятьдесят нефтяных фонтанов.

Памела. Как же вы собираетесь поступить? Помоему, надо пойти к отцу...

Фрэнк. Ни в коем случае.

Памела. Но как же...

Фрэнк. Я хорошо все обдумал. Сначала надо скупить у дикарей как можно больше участков на Западном побережье и, конечно, мыс Памелы. Такого удобного случая, как сейчас, не было на земном шаре по крайней мере лет триста. Ведь дикари не знают даже, что такое деньги. Землю можно будет поменять у них

черт знает на что — на старые брюки, на галстуки, на пустые консервные банки, на виски, даже на такую дрянь, как спицы вашей экономки. Трудно поверить, но один небольшой участок я выменял у Махунхины на старый перочинный нож.

Слышен шум автомобиля.

П а м е л а. Я обожаю вас, Фрэнк.

Ф р э н к. Это, наверно, ваши родители возвращаются с прогулки. Пойдемте им навстречу.

Уходят.

10

Из-за дивана вылезает экономка. Она оправляет юбку и, значительно поджав губы, выходит из комнаты.

11

Г о л о с м-р а Д ж е к о б с а. Осторожней, Майкрофт. Сэм, возьмите же его за ноги.



Голос м-сс Джекобс. Кэтрин! Где Кэт-рин? Памела, принеси из моей комнаты нашатырный спирт.

Голос м-ра Джекобса. Майкл! Сбегайте за доктором. Он сейчас на радиостанции играет в шахматы.

Майкрофт и Сэм вносят в комнату человека. За ними идут м-р и м-сс Джекобс и Фрэнк. Через комнату пробегает Памела. Она сейчас же возвращается с флаконом в руке.

М-р Джекобс. Положите его на диван.

Человека укладывают.

Фрэнк. Он похож на японца.

Вбегает Памела с нашатырным спиртом.

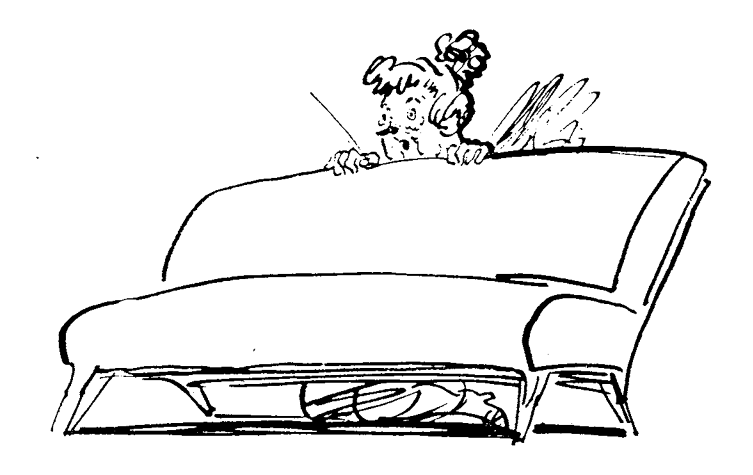
М-сс Джекобс (*подносит к носу человека флакон*). Открыл глаза.

Входят доктор и священник. За ними — Артур. В дверях толпятся слуги.

Доктор. А ну-ка. (*Щупает пульс*). Отлично. Лед на голову.

Майкл подает пузырь со льдом.

Небольшой солнечный удар и общее истощение. Дайте молока.



Майкл подает молоко. Доктор подносит ко рту больного стакан с молоком.

Ну, а так все остальное в полном порядке. Через пять минут он будет здоров. Позвольте поздравить вас, мистер Джекобс, с увеличением населения на Острове Мира.

Человек приподымается, обводит взглядом всех присутствующих, потом садится. На нем лохмотья и низенькая соломенная шляпа-канотье. Он улыбается, шипит, как кот, и кланяется. Потом становится на ноги.

Незнакомец. Вы говорите по-английски?

Все. Конечно.

Незнакомец. Очень приятно поблагодарить за спасение кого? *(Все взоры устремляются к м-ру Джекобсу.)* Очень приятно, господин сэр. *(Кланяется и шипит.)* И госпоже леди. *(Кланяется м-сс Джекобс.)* Баба.



М-р Джекобс. Простите?

Баба. Моя фамилия Баба.

М-р Джекобс. Простите, очень приятно познакомиться, мистер Баба. *(Торжественно склонившись над маленьким японцем, протягивает ему руку. Японец пожимает ее двумя своими, приседает, шипит.)*

Баба. Я капитана парусник «Цуруга-мару» шел из Иокогамы в Бразилию.

М-р Джекобс. Катастрофа?

Баба. Если вы позволите. Я боюсь, леди, остался один жив. *(Разводит маленькими ручками.)* Пути господа бога неисповедимы.

М-р Джекобс. Вы христианин?

Баба. Православный, если позволите.

Памела. Боже, как интересно! Как же вы спаслись?

Баба. Вследствие чуда, мадемуазель.

М-р Джекобс (*смотрит на часы*). Однако, господа, я хотел бы видеть всех у себя на рождественском обеде. Мистер О'Риали, мистер Гаттон, конечно, Фрэнк. А где граф, Пэми?

Памела. Я послала его на берег за шарфом.

М-р Джекобс. Вас, мистер Баба, я также прошу к обеду. Арчи, предложи капитану свой фрак. Ты больше всех подходишь к нему по росту.

Все расходятся.

12

Входит Ламперти с шарфом.

Ламперти. Никого.

Входит Майкрофт с подносом, уставленным напитками. Ставит поднос на столик. Потом приводит в порядок комнату, расставляет кресла.

Ламперти. М-м, Майкрофт, вы... м-м-м, так сказать...

Майкрофт. Мисс Джекобс у себя, сэр. Она изволит переодеваться к обеду.

Ламперти. М-м... изволит...

Майкрофт. Простите сэр, но вам тоже следовало бы переодеться.

Ламперти. Да?

Майкрофт. Да.

Ламперти быстро уходит, размахивая шарфом.

Видел я дураков, но такого...

Входят Артур и Баба. Оба во фраках. На японце фрак сидит мешковато.

13

Баба. Это... дом... вашего папа?

Артур. Моего отца, мистера Джозефа Джекобса-младшего.

Баба. А-а. Младшего? Спасибо. А-а это? *(Широко разводит руками.)* Земля... английская?

Артур. Нет, она никому не принадлежит, то есть она туземная.

Баба. А-а. Спасибо. Очень красиво.

Артур. Мы живем на острове Безымянном, но мы сами называем его Остров Мира.

Баба. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо.

14

С разных сторон постепенно входят м-р и м-сс Джекобс, Памела, Фрэнк, доктор и священник. Он в длинном сюртуке. Остальные мужчины во фраках. Дамы в вечерних туалетах. Майкрофт разносит на подносе напитки. Ему помогает Сэм.

М-р Джекобс. Всем этим современным аперитивам я предпочитаю наше доброе шотландское виски. Побольше льда, Майкрофт.

Баба. Виски... это... крепкий.

Фрэнк *(обращаясь к Памеле)*. Выпьем, Пэми, вы знаете за что.

Памела. За ваш успех, Фрэнк.

Входит Ламперти.

М-р Джекобс. А! Вот и прекрасно. Познакомьтесь. Капитан Баба. Граф Ламперти.

Баба. А-а. Спасибо. Граф? Ваше сиятельство? Очень красиво.

М-р Джекобс. В этот торжественный день рождества мне хочется сказать нашей родине несколько слов. Фрэнк, вы все подготовили?

Фрэнк. Да, мистер Джекобс, я еще утром предупредил по радио, что будет рождественская передача. *(Выносит на середину комнаты микрофон. В микрофон.)* Алло! Алло! Алло! Говорит Остров Мира, говорит Остров Мира на волне четырнадцать с половиной метров. Сейчас у микрофона выступит мистер Джекобс.

М-р Джекобс (*торжественно говорит в микрофон*). Мои дорогие соотечественники! Прежде всего позвольте поздравить вас с днем рождества. Нельзя сказать, чтобы мы здесь сильно мерзли в этот день. У нас здесь сорок три градуса тепла. Вы, вероятно, помните, что мой отъезд наделал в свое время много шума. Некоторые газеты, как им и полагается, наговорили на мой счет немало глупостей, но я думаю, что в такой день, как рождество Христово, их можно простить. Не правда ли? Мне хочется, дорогие друзья, сказать вам несколько слов о тех причинах, которые побудили меня покинуть, временно покинуть нашу чудесную Англию. Леди и джентльмены, я неоднократно обращался и обращаюсь ко всем правительствам мира с призывом прекратить пролитие крови, уничтожить оружие, уничтожить все эти бесчисленные средства истребления, которые...

Раздается сильный шум, похожий на шум горного обвала, затем сильное шипение. Все вскакивают со своих мест. Голоса: «Что это?» «Землетрясение!» «Спокойствие, господа!» Шум увеличивается. Потом смолкает.

Памела (*подбегает к окну*). Боже мой! Смотрите сюда!

Фрэнк (*подбегает к ней, смотрит. С отчаянием*). Самый большой нефтяной фонтан, который я видел в своей жизни. Проклятый неудачник! (*Рвет на себе волосы.*)

М-сс Джекобс. Нефть! На нашем острове нефть! Скорее же, скорее, нужно что-нибудь делать! Что же вы стоите? (*Мечется по сцене.*)

М-р Джекобс. Позвольте, я не совсем понимаю. (*Надевает пенсне, потом снимает его.*) Какая нефть? Почему?

На сцене полный переполох. Постепенно сознание м-ра Джекобса возвращается в реальный, знакомый ему с детства, мир. Он подымается во весь рост и подымает руку.

Молчите! Внимание! Хозяин здесь я!

Все замолкают. На сцене — тишина. М-р Джекобс выбегает из комнаты. За ним устремляются все.

15

Сцена некоторое время пуста. Слышны крики. Потом все возвращаются обратно. Фраки и вечерние платья измазаны нефтью. На лицах торжество.

Доктор. Это миллионы.

Фрэнк. Это миллиарды! Миллиарды! Понимаете вы? Миллиарды!

Пауза.

16

Входит Майкрофт.

Майкрофт. Кушанье готово. *(Останавливается в изумлении.)*

М-р Джекобс *(деловито)*. Майкрофт, сколько у вас в запасе бутылок вермута?

Майкрофт. Восемьсот пятьдесят бутылок, сэр.

М-р Джекобс. Очень хорошо.

Занавес.

АКТ ТРЕТИЙ

Декорации первого акта. Прибавилось два конторских стола. На них телефоны. Пейзаж тот же, что и во втором акте. Но он так же, как и комната, претерпел изменения. На берегу видны несколько нефтяных вышек, а на рейде — два грузовых парохода. Сцена пуста. Утро.

Голос из радио. Положение на Острове Мира напрягается все больше и больше. Вчера послы Англии и Соединенных Штатов посетили японского министра иностранных дел и имели с ним продолжительную беседу. По сведениям из авторитетных кругов, беседа касалась проблемы Острова Мира.

Агентство Рейтер сообщает, что вчера на заседании палаты общин представитель оппозиции лейборист полковник Гопкинс спросил премьера, известно ли ему,

что Япония претендует на то, чтобы объявить Остров Мира японской территорией. Господин первый министр ответил, что правительству об этом ничего не известно, но что Остров Мира издавна являлся и является английской территорией, что известно каждому школьнику.

Обозреватель журнала «Тихоокеанская торговля» мистер Доури указывает, что нефть Острова Мира совершенно меняет стратегическое положение на Тихом океане. По его мнению, Соединенные Штаты кровно заинтересованы в том, чтобы эта нефть не попала в японские руки.

Представитель нефтяной компании «Стандарт ойл» мистер Маркворт вчера вылетел на самолете из Лос-Анжелоса на Остров Мира. В пути самолет потерпел аварию и затонул.

В связи с военной ситуацией в Европе Остров Мира с его исключительными запасами нефти приобретает громаднейшее значение, как возможная военно-морская и авиационная база на Тихом океане.

В беседе с корреспондентом «Дейли Мейль», прилетевшим на Остров Мира в пятницу, мистер Джекобс сообщил, что, хотя положение и серьезно, он не теряет надежды на мирное разрешение конфликта.

Первый лорд адмиралтейства категорически опроверг слухи о том, что в среду на Остров Мира вышел якобы крейсер «Фробшиер» с отрядом морской пехоты для защиты английских граждан.

1

Входит Майкрофт. За ним слуга с охапкой дров.

Майкрофт. Вот сюда. *(Растапливает камин. Выключает радио.)*

2

Входит м-сс Джекобс. На ней простая блузка, мужской галстук. В руках портфель.

Майкрофт. Доброе утро, леди.

М-сс Джекобс. Доброе утро, Майкрофт. Зачем

вы опять топите камин? Пора уже прекратить эти глупости.

М-сс Джекобс садится за один из столов, раскладывает бумаги, надевает большие очки и углубляется в дела. Майкрофт, тяжело вздохнув, уходит. Звонок телефона.

(Берет трубку.) Алло! Акционерное общество «Американская нефть». Да. Слушаю... Так... Так... Отлично. Приступайте к разгрузке. *(Вешает трубку.)*

3

Входит м-р Джекобс.

М-р Джекобс. Доброе утро, Мэри.

М-сс Джекобс. Доброе утро. Как ты спал, Джозеф?

М-р Джекобс. Спасибо, дорогая. Превосходно.

Садится за свой стол и углубляется в дела. На его столе звонит телефон.

(Снимает трубку.) Алло! Акционерное общество «Английская нефть». Так, так, отлично. Начинайте бурение на сорок шестом участке. Нет, ни в коем случае. До свидания. *(Вешает трубку.)* Мэри.

М-сс Джекобс. Да?

М-р Джекобс. Почему ты не хочешь объединиться с «Английской нефтью»? Я уже не говорю о том, что это непатриотично. Это просто глупо. Какой смысл распылять капитал?

М-сс Джекобс. Я хочу быть самостоятельной.

М-р Джекобс. Я предлагаю тебе вступить в мое общество на паритетных началах.

М-сс Джекобс. А я неоднократно предлагала тебе вступить в мое общество на паритетных началах.

М-р Джекобс. Но, дорогая моя, я хотел бы сохранить фирму «Английская нефть».

М-сс Джекобс. Я родилась в Америке, и я гораздо больше американка, чем англичанка.

М-р Джекобс. Но ведь остров-то английский!

М-сс Джекобс. С каких это пор? *(Звонок телефона.)* Алло! «Американская нефть». Что? Безобра-

зие! Возмутительно! *(Вешает трубку. Сейчас же снимает ее снова.)* Дайте один—двенадцать. Спасибо.

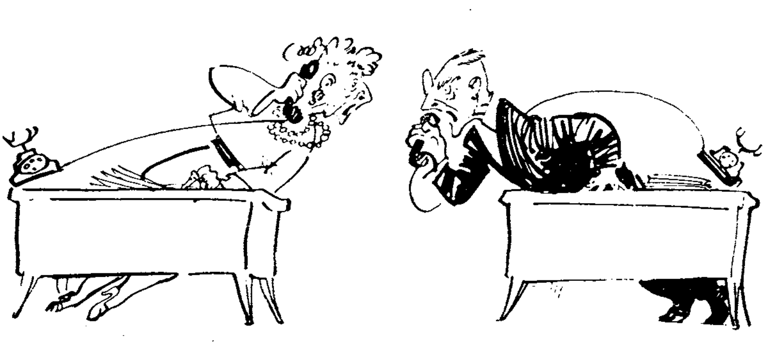
На столе м-ра Джекобса звонит телефон.

М-р Джекобс *(снимает трубку)*. Алло! «Английская нефть».

М-сс Джекобс *(в телефон)*. Попросите председателя «Английской нефти» мистера Джекобса.

М-р Джекобс. Я у телефона, сударыня.

М-сс Джекобс. Только что ваши люди перешли на сорок шестой участок, принадлежащий нашему обществу, и сделали попытку произвести там бурение.



М-р Джекобс. Простите, я не понимаю вас. Сорок шестой участок всегда принадлежал обществу «Английская нефть».

М-сс Джекобс. С каких это пор?

М-р Джекобс. Знаете, сударыня, мне просто противно с вами разговаривать. Повесьте трубку.

М-сс Джекобс. Ах, такое отношение! *(Бросает трубку.)*

4

Входят Майкрофт и горничная.

Майкрофт. Пароход подходит, сэр.

М-р Джекобс. Сейчас иду. Приготовьте автомобиль.

Горничная. Пароход подходит, леди. Ваш автомобиль подан.

М-сс Джекобс. Иду.

Оба подымаются и выходят. У выхода м-р Джекобс уступает жене дорогу. Она бросает на него довольно злобный взгляд. Шум автомобилей. Потом все смолкает.

5

Входит Фрэнк. Он мрачен. Звонит телефон на столе м-ра Джекобса.

Фрэнк (*снимает трубку*). Алло! «Английская нефть». Нет, говорит секретарь. Не знаю. Он, вероятно, скоро будет. (*Раздраженно кладет трубку.*)

6

Входит Памела. У нее сонный вид. В руках книга.

Памела. Доброе утро, Фрэнк.

Фрэнк. Доброе утро, Пэми. Я пробовал с ним говорить вчера вечером. Вы были правы. Это безнадежно. Самое ужасное, что он даже не сердился. Он отнесся к моему предложению юмористически.

Памела. Я знаю.

Пауза.

Теперь у меня нет никаких надежд. Странная судьба. Любить, и быть любимой, и быть несчастной.

Пауза.

Скука.

Пауза.

С тех пор как нашли нефть, наш остров стал просто невыносим. Во-первых, этот отвратительный запах. Он не дает мне покою ни днем, ни ночью. Потом стало совершенно невозможно купаться. Позавчера обокрали доктора. Уже в тюрьме сидит пять туземцев. Странно. Тюрьма на острове... Вчера ночью пытались влезть в контору к нашей Кэтрин. (*Смеется.*) Но как вам нравится Кэтрин? Ее невозможно узнать.

Ф р э н к. Чего не делают с человеком деньги! *(Садится за стол и обхватывает голову руками.)*

П а м е л а. Плохо стало на острове. Мы живем здесь меньше трех лет, а наши милые туземцы за это время успели совершенно перемениться. Стали какие-то злые, грубые. Воруют, дерзят. А уж, кажется, папа сделал все, чтобы им помогать: устроил больницу, открыл несколько магазинов, школу, кинематограф. Мистер Гаттон обратил в христианство восемь человек. Потом этот ужасный банкирский дом «Баба и сыновья».

Пауза.

Скука.

Пауза.

Фрэнк.

Ф р э н к. Да, Пэми.

П а м е л а. Уедем. Бросим все. Завтра уходит в Европу танкер «Дублин». Ведь не пропадем же мы. Я не верю, что человек может пропасть на свете. Хотите? Как в романах — начать новую жизнь.

Ф р э н к. Нет, Пэми, не могу.

П а м е л а. Я знала, что так будет.

Ф р э н к. Я отравлен этой нефтью! *(Вскакивает с места.)* Как! Найти нефть и остаться в дураках! Миллиарды! К черту! К черту! Вы знаете, что эта идиотка Кэтрин через десять лет будет богата, как Морган? А ваша мать! Нет, теперь она поумнела, она теперь не станет вкладывать свои деньги в пороховой завод. Эти двое тупиц — доктор и священник,— и те открыли акционерное общество. Один я получил от вашего отца тридцать акций и остался тем же, кем и был...

Звонок телефона.

(Снимает трубку.) Алло! «Английская нефть». Нет, его нет. Уехал на пристань. Говорит секретарь. *(Швыряет трубку.)* Вот кто я! Секретарь! Всегда секретарь! Паршивый, несчастный секретарь! Все погибло! Все к черту!

П а м е л а. Бедный Фрэнк.

Ф р э н к. Я не хочу, чтобы меня жалели. Слышите? Не нужна мне ваша жалость.

П а м е л а. Тоска. *(Уходит.)*

7

Раздается шум автомобиля.
Входит Майкрофт. За ним — экономка. За ней — Ламперти с дамской накидкой и сумочкой в руках.

Майкрофт. Пожалуйте, леди.

Экономка. Доброе утро, Майкрофт. Вы хорошо выглядите. Здравствуйте, мистер Суинни.

Фрэнк. Рад вас видеть, мисс Моррисон. Садитесь, прошу вас. Патрон скоро будет.

Экономка (*торжественно опускается в кресло*). Спасибо. Благодарю вас, мистер Суинни. Вы очень любезны. Так приятно видеть в наше время вежливых молодых людей. На острове происходят какие-то события. Не пойму я, в чем тут дело.

Ламперти. Сегодня прекрасная погода. Термометр показывает... м-м-м... тридцать восемь.

Экономка. Мерси. Вы очень любезны, граф. Вчера было более жарко.

Ламперти. Вчера было... м-м-м... сорок один.

Экономка. Боже мой! Я забыла свой новый зонтик. Наверно, в конторе.

Ламперти (*вскакивает с места*). Он будет у вас через пятнадцать минут!

Ищет, куда бы положить накидку и сумочку. Сует их в руки Фрэнка. Стремительно выбегает. В дверях сталкивается с мистером Джефрисом, корреспондентом «Дейли Мейль», вооруженным записной книжкой и маленьким кинематографическим аппаратом.

8

Джефрис. Слушайте, Суинни, что у вас тут делается на острове? Туземцы возводят вокруг дома колючую проволоку.

Фрэнк. Чепуха! Это все шутки банкирского дома «Баба и сыновья». Им просто выгодно натравить на нас туземцев. Не волнуйтесь, Джефрис, на этот раз сенсации для «Дейли Мейль» не будет. Познакомьтесь. Мисс Моррисон — мистер Джефрис из «Дейли Мейль».

Джефрис. Боже! Наконец! Она! Самая популярная девушка в Англии!

Экономка. Очень приятно. Я обожаю «Дейли Мейль». Какой милый молодой человек.

Джефрис. Я прилетел в пятницу и с тех пор не имел счастья быть вам представленным. Вы позволите небольшую беседу?

Экономка. Я люблю давать интервью.

Джефрис. Вам нравится этот остров?

Экономка. О да.

Джефрис *(записывает с неслыханной быстротой, бормочет)*. «Она обожает этот маленький остров, остров уединения, где так приятно побродить в одиночестве, глядя на океанские просторы...» Теперь, мисс Моррисон, назовите мне две вещи, которые вы больше всего любите, и две вещи, которые вы больше всего не любите.



Экономка. Больше всего я люблю... *(думает)* цветы и кинематограф.

Джефрис *(быстро записывает)*. «Да, эта мечтательная девушка больше всего любит цветы, стройные белые лилии и тюльпаны. Ее влечет к кинематографу. Искусство — ее жизнь...» А не любите?

Экономка. Больше всего я не люблю... запах и... грубость...

Джефрис *(записывает)*. Вы разрешите заснять несколько метров?

Экономка. Пожалуйста.

Джефрис. Вы смотрите вдаль.

Экономка принимает позу. Джефрис снимает.

Теперь вы за работой. *(Усаживает ее за стол. Снимает.)* Мерси. До свидания. Побегу в банкирский дом снимать Бабу с сыновьями. *(Уходит.)*

9

Фрэнк некоторое время смотрит на сумочку и накидку, которые все еще у него в руках.

Фрэнк *(в сторону)*. А что ж, в самом деле, кажется, это единственный выход. *(Подходит к экономке.)* Вас не тяготит одиночество, мисс Моррисон?

Экономка. Я так привыкла к нему.

Фрэнк. Не чувствуете ли вы потребности в поддержке твердой, мужественной руки? Мне кажется, вам теперь, как никогда, нужна поддержка сильного, умного мужчины, знающего нефтяное дело.

Экономка. Я так беспомощна.

Фрэнк *(берет ее за руку)*. Жизнь страшна, мисс Моррисон. Она не щадит слабых и уважает сильных.

Экономка. Вы так красиво говорите, мистер Суинни!

Фрэнк. Я умею не только красиво говорить, но и красиво поступать. *(Целует экономкину руку.)*

Экономка. Вы любите цветы?

Фрэнк *(твердо.)* Да. Я люблю цветы и кинематограф. *(Еще раз целует руку.)*

Экономка. Что вы делаете? Разве можно целовать руку девушке?

Фрэнк. Это смотря какой девушке и какую руку.

Экономка. Это неприлично. *(Вздыхает.)*

Фрэнк. Да, я безумен, простите меня. Вы не знаете, на что способно сердце, пылкое и нежное человеческое сердце.

Экономка. Наверно, на что-нибудь неприличное.

Фрэнк. Не говорите таких слов. Вы раните ими мою душу. Ей больно. Душе.

Экономка. Какой симпатичный и вежливый молодой человек.

Фрэнк *(берет экономку за руку.)* Хотите, чтобы на вашем жизненном пути вас сопровождал вежливый и симпатичный молодой человек, хорошо знающий нефтяное дело?

Экономка. Какой вы быстрый!

Фрэнк. А жизнь разве не быстра, мисс Моррисон? Не успеешь оглянуться, как...

10

Входит Памела.

Памела. Фрэнк... *(Останавливается на полуслове.)*

Экономка. Здравствуйте, милая.

Памела. Здравствуйте, мисс Моррисон. *(Растерянно.)* А... где граф?

Экономка *(торжественно.)* Я послала его за зонтиком.

Слышен шум автомобилей. Потом неясные громкие крики, потом опять шум автомобилей.

11

На сцену в страшном волнении входят: м-р и м-сс Джекобс, м-р и м-сс Симпсон, старик Джекобс, лакей с собаками, няня с ребенком, Майкрофт, Майкл и Сэм с огромным количеством чемоданов и картонок. Все говорят одновременно.

М-р Джекобс. Это событие, не имеющее прецедентов. Это оскорбление британского флага.

М-сс Джекобс. Я всегда говорила, что этот Баба...

М-р Джекобс-старший *(трескучим голосом).* Джони! Фрам! На место!

Экономка. Что случилось, господа?

М-р Джекобс. Случилось то, что эти мерзавцы осмелились остановить наши автомобили, английские автомобили, и потребовали какие-то пропуска.

М-сс Джекобс. Нужно действовать, господа, нужно немедленно действовать.

М-р Джекобс. Не торопись, Мэри, сначала нужно получить более точную информацию. *(Подходит к телефону и снимает трубку.)* Алло! Алло! Алло, алло, черт возьми! Никто не отвечает. *(Стоит у телефона, не двигаясь, с трубкой в руке.)*

М-сс Джекобс *(подходит к своему телефону, снимает трубку).* Алло! Алло! Полное молчание. *(Опускает трубку. Столбенеет.)*

М-сс Симпсон (*тараторит*). Тут у вас очень мило. Не правда ли, Роби? Я все время говорила ему — едем и едем на остров. В Европе такое беспокойство, что я сказала ему — или он, или я. Боже! Памела! Здравствуй, моя прелесть!

Целуются.

Мисс Моррисон! Боже, как я рада вас видеть! Вы сейчас самая знаменитая девушка в Лондоне!

Целуются.

Но мой Чарли! Вы не представляете себе, до чего умен этот ребенок. Когда меня укачало, он смотрел на меня такими осмысленными глазами, что мой Роберт сказал... Как ты сказал, Роби?

М-р Симпсон (*откашливается*). Гм...

М-сс Симпсон. Но когда нашли эту нефть, я сразу же сказала, что наш папа — гениальный человек. Боже! Памела! Где же наш милый граф?

Экономка. Я послала его за зонтиком.

М-сс Симпсон поражена. Этим пользуется ее муж, чтобы вставить словечко.

М-р Симпсон. Мы, кажется, прибыли не совсем вовремя.

12

На сцену вбегают всклокоченные доктор и священник.

Доктор. Несчастье! Несчастье, господа!

Священник. Они ворвались в контору общества «Христианская нефть» и опечатали сейф.

Доктор. Мы еле спаслись.

Священник. Они заставили нас пить касторку, господа.

Доктор. Имейте в виду, господа, среди туземцев орудуют японские агенты.

М-р Джекобс. Но как же Махунхина? Ведь я одному Махунхине дал пятьсот бутылок вермута. Это наш человек.

13

Входит А р т у р. Он взволнован.

А р т у р. Махунхина свергнут. Баба и сыновья образовали новое туземное правительство.

М-р Д ж е к о б с. Марионеточное правительство!

А р т у р. Захвачена радиостанция. Я видел собственными глазами. *(Подходит к двери.)* Махунхина! Идти сюда. Не надо бояться. Здесь спасаться.

М а х у н х и н а *(появляется в двери)*. Англези Махунхина брать землю. Жапанези Махунхина убивать. *(Проводит ребром ладони по горлу.)* Махунхина не хотеть.

М-р Д ж е к о б с. Как? Моего царя! Ну, это уже слишком. Артур, скажи ему, что он может рассчитывать на наше гостеприимство.

А р т у р. Махунхина. Оставаться здесь. Спасаться. Жапанези там. Махунхина здесь. Уверяю вас, это отличный парень. Я здорово с ним подружился.

М-р Д ж е к о б с. Леди и джентльмены. Прежде всего я требую сохранения полного спокойствия. Нашим женщинам и... *(оглядывается, видит на руках у няньки ребенка)* и детям угрожает серьезная опасность. Я считаю своим долгом принять все меры для получения точной информации, которой я сейчас не располагаю, и вступить с мистером Бабой в переговоры. Я надеюсь, что...

14

Вбегает Д ж е ф р и с.

Д ж е ф р и с. Как вам нравится! Пристань занята японцами. Пароходы выходят на рейд. Мыс Памелы отрезан со всем служебным персоналом. На японской концессии происходят антианглийские демонстрации.

М-с с Д ж е к о б с. Допрыгался со своим пацифизмом!

Д ж е ф р и с. Я только что взял беседу у мистера Бабы. Баба еще туда-сюда, но сыновья — настоящие черти. Я таких не видел даже в Маньчжурии. Ничего не поделаешь — военная партия. Но мистер Баба все

же надеется, что вопрос можно будет разрешить миром.

М-р Джекобс. Я ему покажу мир! Я ему пропишу такой мир!..

15

Входит Ламперти. Он в одних коротеньких кальсонах. В руках зонтик. Дамы ахают. Ламперти раскрывает зонтик и пытается прикрыть им свою наготу.

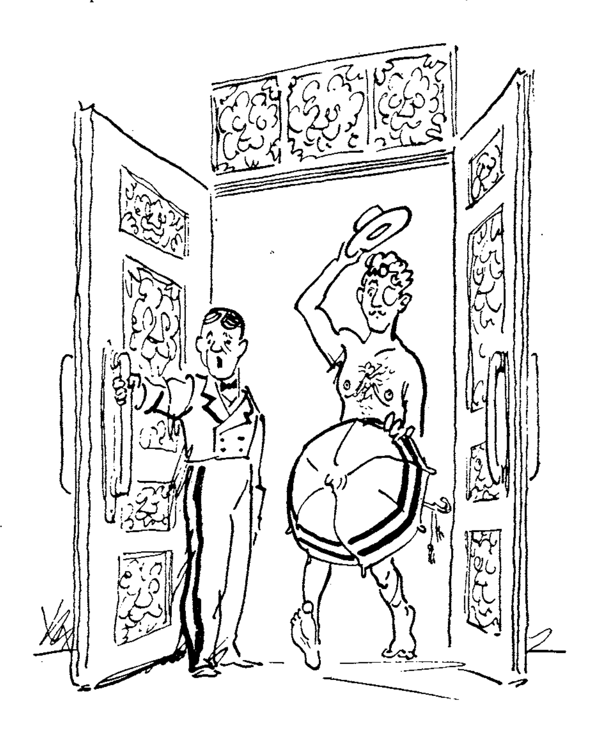
Ламперти. Я... м-м-м... брал зонтик, но... м-м-м... в это время, так сказать...

М-сс Джекобс. Да говорите же скорей.

Ламперти. ...Заняли контору... м-м-м... мисс Моррисон.

Экономка. Мою контору! Боже!

Ламперти. ...и... м-м-м... когда я, так сказать,



возвращался, то есть... м-м-м... совершал обратный путь, они... м-м-м... раздели меня и вот м-м-м...

М-р Джекобс. Они ответят за это!

Пауза.

Леди и джентльмены! Я признаю создавшееся положение серьезным.

М-р Симпсон. Не кажется ли вам, Джозеф, что от этого вашего заявления, к которому я целиком присоединяюсь, нам не станет легче?

Оглушительно звонит телефон. М-р Джекобс бросается к нему.

М-р Джекобс. Алло! Я слушаю. Это мистер Баба? Добрый день, мистер Баба. Благодарю вас, мистер Баба, спасибо. А вы как изволите поживать? Не будете ли вы любезны объяснить... Что? То есть как это вы объявляете блокаду? На каком основании? А знаете ли вы... Повесил трубку... *(Торжественно.)* Леди и джентльмены! Перед лицом опасности я предлагаю объединить все наши общества в одно и назвать его «Тихоокеанская нефть».

М-сс Джекобс. Ты этого не дождешься.

Экономка. Зачем же, мистер Джекобс? Мне кажется, что...

Доктор и священник *(вместе)*. Но почему же?

М-р Джекобс. Да. Я предлагаю объединиться в единое акционерное общество «Объединенная Тихоокеанская нефть, Джозеф Джекобс-младший и компания».

М-сс Джекобс. Я сказала — нет.

Остальные шумно протестуют.

М-р Джекобс. Я здесь хозяин. И я требую подчинения. Кто не желает, может покинуть этот дом. Тот, кто хочет поступить под мою защиту, выполнит все мои предписания.

М-сс Джекобс *(иронически)*. Под твою защиту? Чем же ты собираешься защищать нас? Своими речами? Ведь ты же отказался взять с собой оружие, когда мы выезжали из Англии!

М-р Джекобс. Леди и джентльмены, я взял оружие.

Сенсация.

Артур. Браво, папа!

М-р Джекобс. Ты вступаешь в мое общество, Мэри?

М-сс Джекобс. Да. *(Плачет.)*

М-р Джекобс. А вы, господа?

Все. Да, конечно, разумеется.

М-р Джекобс. Майкрофт! Скажите Сэму и Майклу, чтобы они помогли вам принести из кабинета мой ящик, тот, который лежит под диваном.

Майкрофт. Сию минуту, сэр. *(Быстро уходит.)*

М-р Джекобс *(подходит к карте острова)*. Итак, наши коммуникации перерезаны. *(Быстро и ловко показывает на карте.)* Мыс Памелы, телефонная станция, пристань. Прежде всего необходимо захватить радиостанцию и восстановить связь с внешним миром, затем...

Входит Майкрофт. За ним Сэм и Майкл. Они несут громадный ящик.

М-р Джекобс. Отлично. Поставьте его сюда.

Ящик ставят на середину сцены, открывают.



М-сс Симпсон. Какая красота! Ты, папа, гениальный человек, я всегда это говорила...

Джефрис снимает мистера Джекобса киноаппаратом.

М-р Джекобс (*берет в руки ружье*). Видит бог, я не хотел этого. Я ехал сюда с миссией мира, а не с миссией войны. Мое поведение на этом острове было безукоризненно. Мы помогали местному населению как могли. Мы открывали школы рукоделия для девочек, больницы, кинематографы. А когда на острове появилась нефть, разве не я предостерегал вас от незаконных действий? Разве не я требовал, чтобы покупка земель происходила в строго законном порядке, с соблюдением всех формальностей? Разве не я открыл здесь первую нотариальную контору? Разве не я заключил с Махунхиной договор о вечной дружбе и взаимопомощи! В своем стремлении к миру я дошел даже до того, что дал мистеру Баба и сыновьям возможность образовать небольшую японскую концессию, хотя для этого мне пришлось принести в жертву некоторые интересы моего друга Махунхины. Видите, чем я жертвовал для мира. Я жертвовал для мира независимостью маленького, но благородного народа, который мы уважали и любили как братьев! Теперь хватит с нас! Чаша терпения переполнена. Бог поможет нам в нашем справедливом деле.



Священник. Отдадим себя в руки его милосердию!

Мужчины разбирают оружие, строятся в одну шеренгу.

М-р Джекобс. По порядку номеров рассчитайтесь!

Фрэнк. Первый!
Майкрофт. Второй!
М-р Симпсон. Третий!
Доктор. Четвертый!
Ламперти. Пятый!

Занавес.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Та же декорация. У большой двери, ведущей в сад, установлена баррикада из мешков с песком и чемоданов. У окон — тоже мешки с песком. При открытии занавеса слышна стрельба. Все действующие в пьесе мужчины расположились у баррикады, спиною к зрительному залу, стреляют из ружей и пулеметов. Джефрис снимает эту батальную картину киноаппаратом.

1

М-р Джекобс. Веселей! Веселей! Больше жизни! *(Артуру.)* Как ты держишь ружье? Смотреть противно!

Артур. Но ты же сам запрещал мне не только держать в руках оружие, но и смотреть на него.

М-р Джекобс. За мной! Ура!

Все поднимаются со своих мест и нестройной толпой, держа ружья, как палки, устремляются в атаку. Джефрис бежит за ними, снимая на ходу. Некоторое время слышны крики. Потом все смолкает.

2

Голос из радио. Как сообщает агентство Рейтер, в кругах, близких к министерству иностранных дел, считают, что Остров Мира представляет собой бочку с порохом. Достаточно поднести к ней фитиль — и мир на Тихом океане взлетит на воздух.

Вчера на заседании палаты общин представитель оппозиции лейборист полковник Гопкинс спросил премьера, известно ли ему, что жизнь женщин и детей

на Острове Мира подвергается серьезной опасности. Господин первый министр ответил, что не располагает достаточно полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос положительно, но по имеющимся у него частным сведениям положение на Острове Мира вызывает известную тревогу.

Лондон. Первый лорд адмиралтейства официально подтвердил, что еще в прошлую среду на Остров Мира направлен крейсер «Фробшиер» с отрядом морской пехоты для защиты интересов английских граждан на острове.

По непроверенным сведениям из Буэнос-Айреса, в непосредственной близости от Острова Мира китобойным судном «Незабудка» была замечена подводная лодка неизвестной национальности.

Агентство «Юнайтед Пресс» сообщает, что из Нагасаки на Остров Мира вышел крейсер «Рефунсири» с отрядом морской пехоты для защиты интересов японских граждан на острове.

На нью-йоркской бирже акции общества «Объединенная Тихоокеанская нефть, Джозеф Джекобс-младший и компания» снова поднялись на два пункта.

Из Венецуэлы сообщают, что экспортеры нефти чрезвычайно озабочены увеличившимся в последнее время экспортом нефти с Острова Мира. Они предполагают объединиться для борьбы с «Объединенной Тихоокеанской нефтью». По слухам, правительство Венецуэлы решило оказать новому объединению свою поддержку.

Как сообщают из Вашингтона, вопрос о посылке на Остров Мира американского крейсера «Арканзоу» с отрядом наблюдателей еще не решен.

Начинается музыка.

3

Снова слышатся крики «ура». Крики приближаются. Вся компания, побежавшая в наступление, возвращается обратно и занимает свои места за баррикадой.

М-р Джекобс *(орет)*. Огонь! Пли!

Стрельба возобновляется. Фрэнк смотрит в бинокль.

Фрэнк. Они выбросили белый флаг.

М-р Джекобс. Ага! Это интересно. (*Вынимает носовой платок и, поднявшись во весь рост, размахивает им.*)



Фрэнк. Это мистер Баба. Он держит белый флаг и что-то кричит.

М-р Джекобс. Пойдите за ним, Фрэнк.

Фрэнк уходит, подняв над головой носовой платок.

4

Фрэнк возвращается в сопровождении Бабы. Баба держится с большим достоинством. Появляются любопытствующие женщины. Джефрис снимает встречу государственных мужей.

Баба. Здравствуйте все.

М-р Джекобс. Что вам угодно, сэр?

Баба. Немножко вести переговоры, если позволите, господин.

М-р Джекобс. Но предварительно я требую снять блокаду.

Баба. Тогда обратиться советую к местному правительству.

М-р Джекобс. Я не признаю этого нового, так называемого правительства. Вы просто выпустили из тюрьмы несколько воров...

Баба. Тогда будет нехорошо вам, сэр, если позволите. Вы окружены. И туземцы тогда будут стрелять в вас, сэр, если позволите. И немножко поджигать ваш дом. Я вижу тут европейских женщин. *(Вежливо шипит.)* Зачем их убивать?

М-р Джекобс. Но какое отношение имеете вы, японец, к местному правительству? И к этому острову?

Баба. А вы имеете какое отношение, сэр, если позволите?

М-р Джекобс. Я считаю своей священной обязанностью защиту интересов местного населения и их мирного труда от всяких посягательств третьих сторон.

Баба. Мой банкирский дом «Баба и сыновья» имеет отеческие заботы о местном населении.

М-р Джекобс. У меня существует договор о дружбе и взаимной помощи с правительством его величества Махунхины.

Баба. Если позволите, господин сэр, нет такого правительства, а Махунхина — преступник. И будет судиться. Судом нового правительства. И, если позволите, у меня торговый договор с новым правительством.

М-р Джекобс. Чего же вы хотите?

Баба. Мы хотим искренности и взаимного сотрудничества. Мы хотим, чтобы вы проявили много искренности, сэр. И тогда можно делать перемирие и пропустить в ваш дом немного продовольствия.

М-р Джекобс. Что же я должен сделать?

Баба. Мы хотим, чтобы вы проявили искренность и передали новому правительству Махунхину для законного суда.

М-р Джекобс. Англичане никогда не выдают людей, просивших убежища и получивших это убежище.

Б а б а. Зачем выдавать? Просто передать нам для судебного производства.

М-р Д ж е к о б с. Ах, просто передать. Это другое дело. Но чем вы гарантируете нам перемирие, в случае если мы, гм... передадим вам на некоторое время нашего гм... друга Махунхину?

Б а б а. Слово самурая.

А р т у р. Папа, они его убьют.

М-р Д ж е к о б с. Прошу тебя, Арчи, не вмешивайся в политику. И потом, нашему другу Махунхине не угрожает никакая опасность. Я уверен, что суд его оправдает. Не правда ли, мистер Баба?

Б а б а. Сущая правда, сэр, если позволите.

М-р Д ж е к о б с. Арчи, приведи Махунхину.

Артур уходит.

5

А р т у р вводит М а х у н х и н у.

М а х у н х и н а *(видит Бабу)*. Жапанези Махунхина убивать.

Баба свистит. Входят д в а я п о н ц а. Скручивают Махунхине руки и уводят его. М-р Джекобс отворачивается.

А р т у р. Жалко. Хороший был парень. Я здорово с ним подружился за последнее время.

Б а б а. Очень было приятно видеться. Очень хорошо. *(Шипит.)* До свидания. Счастливо оставаться. *(Уходит.)*

6

М-р Д ж е к о б с. Вот и достигнут мир — тихо, спокойно, без кровопролития, благодаря одной лишь дипломатии.

7

Входит М а й к р о ф т.

М а й к р о ф т. Кушанье готово.

Все уходят. На сцене остаются Фрэнк и Памела.

8

Памела. Фрэнк, я несчастна. Помогите мне.

Фрэнк. Что делать, Пэми, всем теперь плохо.

Памела. Неужели вы решили жениться на этой старухе?

Фрэнк. Ну, что вы, Памела, какая же она старуха, ведь ей нет даже пятидесяти. И потом для своих лет она неплохо выглядит.

Памела. Это подлость!

Фрэнк. К чему эти кислые слова? Вы видели только что небольшую жанровую сценку. То, что я собираюсь сделать, по сравнению с тем, что сделал ваш уважаемый родитель,— всего лишь легкая шалость. А разве кому-нибудь придет в голову назвать его поступок подлостью? Обыкновенная дипломатия. Только и всего. К сожалению, Пэми, жизнь есть жизнь, а политика есть политика. Что побудило вашего отца выдать этого славного парня японцам? Нефть! Что вынуждает меня просить руки этой глупой старой девушки? Тоже нефть! Я не вижу никакой разницы.

Из соседней комнаты доносятся крики «ура».

9

Вбегает м-сс Симпсон.

М-сс Симпсон. Сенсационная новость! Только что мисс Моррисон заявила, что приняла предложение графа Ламперти.

Входят м-р и м-сс Джекобс. За ними — все остальные.

М-р Джекобс. Майкрофт! Шампанского!

Памела. Смотрите, дурак-дурак, а умный!

Фрэнк совершенно ошеломлен. Он не в состоянии произнести ни слова.

10

Майкрофт вносит шампанское.

М-р Джекобс (*поднимает бокал*). Леди и джентльмены! Прежде всего позвольте поздравить прелестную пару, которая нашла свое счастье на Острове Мира! Позвольте поднять бокал за первый брак на этом острове!

Общие крики, все поздравляют жениха и невесту.

Ламперти. Я... м-м-м... поднимаю... м-м-м... так сказать, этот... м-м-м... бокал, то есть м-м-м... я хотел бы м-м-м... поднять...

М-сс Симпсон. Браво! (*Целует экономку.*) За первую графиню на этом острове!

М-р Джекобс. Это прекрасный случай, господа, чтобы поднять бокалы за новое общество «Объединенная Тихоокеанская нефть», будущее которого более чем блестяще. Кстати, Фрэнк, я решил назначить вас секретарем Объединенного общества. Ваше жалованье будет увеличено до десяти фунтов.

Фрэнк. Всегда секретарь! Вечный секретарь!

М-р Джекобс. И наконец, господа, разрешите поднять бокал за мир, которым мы благополучно пользуемся благодаря моей предусмотрительности.

Раздается выстрел.

11

Вбегает Майкл с ружьем.

Майкл. Они наступают, сэр.

М-р Джекобс. Ну, Баба, ну, подлец! И это называется слово самурая. К оружию!

Мужчины хватают винтовки и занимают свои места у баррикад.

М-р Джекобс. Огонь!

Оживленная стрельба.

Артур. Мы пропали, папа!

Фрэнк (*смотрит в бинокль*). Мистер Джекобс,

к берегу подходит военный корабль! Английский флаг! Ура!

Все кричат «ура». Раздается густой, тошнотворно громкий орудийный выстрел. За ним — другой, третий.

М-р Джекобс (*становится в позу, которую принимал в первом действии, когда проклинал войну, поднимает кверху руки и обращает глаза к небу*). Благодарю тебя, господи, создавшего человека по своему образу и подобию, за то, что ты не забываешь малых сил и помогаешь им в беде!

Еще несколько выстрелов. Слышны отдаленные крики.

12

Входит полковник Эллис А. Гудмэн. За ним виднеются солдаты морской пехоты. Один из них тянет провод полевого телефона.

Полковник. Здравствуйте, господа. Я, кажется, прибыл кстати. Здравствуйте, Джозеф. (*Трясут друг другу руки.*) Видите, Джозеф, я был прав. Мы не можем уйти от войны, а если мы уходим, мы уносим ее с собой потому, что хотим мы этого или не хотим, а она заключена в нас самих.

Входит солдат.

Солдат (*полковнику.*) На горизонте появился неприятельский корабль, сэр.

Полковник (*в трубку полевого телефона*). Выйти в море. Открыть огонь!

Занавес.

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

АЭРОДРОМ ПОД МОСКВОЙ

Здесь совершенно темно. Я не знаю, где запад и где восток. Видно только небо, покрытое легкими темными облачками. Я спрашиваю:

— Где Москва?

— Вы сейчас стоите к ней лицом,— отвечает голос,— скоро взойдет луна.

Я начинаю видеть кожаное пальто моего собеседника. Мы только что познакомились с ним и долго тыкали в воздух руками, прежде чем они соединились в рукопожатии. Рука у него теплая и твердая. Он майор, командир подразделения истребительной авиации.

— Выпейте пока чаю,— говорит майор.

— Успею ли я? Он может прилететь каждую минуту.

— Он прилетит позднее, когда взойдет луна. Ему сейчас невыгодно лететь.

Майор осторожно берет меня за плечи и ведет куда-то. По сторонам чудятся деревья. Я всматриваюсь. Это действительно деревья. Потом мы останавливаемся под навесом из ветвей, которые висят на веревках. Теперь видны не только куски неба, но становится виден горизонт.

— Садитесь здесь,— говорит майор.

Мои колени прикасаются к скамейке, а руки нащупывают стол. Я сажусь. Майор представляет меня.

— Маруся, дайте нам чаю,— говорит майор.

Я вижу белый фартук, а за ним очертания чего-то большого. Через минуту «оно» оказывается автобусом-столовой, а рядом со мной за столом сидят не менее десяти человек в кожаных пальто и пилотках набекрень. Нам подают чай, и мы беседуем.

Вчера летчик эскадрильи лейтенант Киселев протаранил «хейнкеля». Спускаясь на парашюте, он зацепился за дерево и немного поранил лицо. Сейчас он в госпитале. За столом говорят о его подвиге, о принципах применения тарана и о том, кто первый его применил.

— Первый протараненный самолет в истории был австрийский самолет,— говорит майор,— и протаранил его русский летчик капитан Нестеров. Он протаранил его и сам погиб.

— Это было в тысяча девятьсот пятнадцатом году,— говорит кто-то.

— Нет, это было в тысяча девятьсот четырнадцатом году,— строго поправляет майор.— Нестеров протаранил австрийца и сам погиб. Он был великий летчик.

— Он первый сделал мертвую петлю,— говорит еще кто-то.

— Но штука в том,— перебивает майор,— чтобы протаранить немца и не погибнуть. И еще лучше — спасти самолет.

В голосе майора звучит педагогическая нотка.

Я спрашиваю, выгодно ли жертвовать самолетом и летчиком, чтобы сбить самолет противника.

— Да, это выгодно,— говорит майор,— но еще лучше, уничтожив противника, спастись самому и спасти самолет.

— Даже если погибнуть и погубить самолет, все равно это выгодно,— говорит чей-то голос.— Во-первых, с вами погибнут четыре врага или даже пять, если это «хейнкель». Во-вторых, бомбардировщик стоит гораздо дороже, чем истребитель. И там очень много дорогих навигационных приборов. Но самое главное, что он уже не сбросит бомбы над Москвой и можно спасти много людей.

— Это правильно,— подтверждает майор,— но нужно таранить так, чтобы спастись самому и спасти самолет. И таранить только тогда, когда уже нечем стрелять.

Киселев протаранил «хейнкеля» на высоте тысячи восьмисот метров. Он отрубил ему пропеллером кусок крыла. Еще за несколько дней до этого летчик соседней эскадрильи Талалихин отрубил «юнкерсу» часть элерона.

Самое поразительное, что летчики говорят об этом сверхгероизме деловито, как об общепризнанном виде оружия. «Он протаранил самолет» говорится так же, как «он подстрелил самолет».

— На горизонте небольшой пожар,— говорю я.

— Нет, это восходит луна,— отвечает майор.

Ему что-то докладывают на ухо.

— Надо поднять людей,— говорит он, потом обращается ко мне:— Пойдемте на командный пункт. Они пролетели Вязьму и будут здесь минут через двадцать. Я подниму дежурных.

Мы подходим к землянке, где помещается командный пункт. Это небольшой холмик земли, насыпанный над бревенчатым входом. На холмике стол, стул и телефон. Майор поднимается на холмик, садится и берет трубку. Сначала он говорит непонятные мне цифры. Потом дает приказание: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду, буквально в ту же секунду, я слышу в темноте рев мотора, мелькают огненные вспышки, рев усиливается, потом уменьшается. Над головой проносится буря. Первый истребитель уже в воздухе.

Под землей две очень чистые бревенчатые комнаты. Огромное количество телефонов, наушников, каких-то аппаратов, бумаг. Здесь царствует начальник штаба. Оказывается, пока германские самолеты летят над темной землей, за их передвижением следят тысячи людей. Оказывается, каждый истребитель, который ушел в воздух, опекают несколько человек. Они переговариваются с ним, указывают ему место посадки. Здесь, в этой бревенчатой комнате, точно известно, что делается на небе.

Я снова выхожу наверх. Сейчас все небо расчерчено голубыми геометрическими линиями прожекторов. Они перекрещиваются, зацепляя красную ущербную луну. Иногда один из них потухает, и тогда на его месте на секунду возникает черный столб. Он зажигается снова и медленно идет по небу. И по всему небу прыгают золотые звездочки разрывов. Слышится далекий гром зениток: это заградительный огонь. В промежутках слышно напряженное гуденье тяжелонагруженных германских бомбардировщиков. Снова громкий голос майора: «Поднимайтесь!» И в ту же секунду рев мотора — и новый истребитель проносится над головой. В перекрещенных лучах прожекторов, на очень большой высоте, становится виден беленький самолетик. Теперь из командного пункта выходят почти все. Начинается воздушный бой. Истребителя не видно. Видны только трассирующие пули. Бомбардировщик, который все время упорно шел по курсу, теперь разворачивается и уходит назад. Светящиеся пули летят к нему то с одной стороны, то с другой. Летчики, стоящие рядом со мной, начинают аплодировать. Они понимают то, чего сразу не понимаю я,— бомбардировщик сбит. Только на секунду я вижу где-то в стороне огненный след.

1941

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ В СЕНТЯБРЕ

Уже несколько дней я нахожусь на самом оживленном участке Западного фронта. Слово «фронт», которое в первый месяц войны употреблялось лишь условно, сейчас стало реальностью. Здесь многое напоминает первую мировую войну — окопы, колючая проволока, известная стабильность. Но эта война неизмеримо страшнее, упорнее, кровопролитнее. Такой силы огня, какой ведется здесь уже третий месяц без отдыха, днем и ночью, в ту войну не было даже в самые напряженные дни.

Немцы стали строить здесь очень серьезные полевые укрепления примерно месяц назад, после занятия Смоленска, стоившего немцам громадных потерь. Затем начались непрерывные местные атаки частей Красной Армии. Я посетил участок протяжением в несколько десятков километров и глубиною до двенадцати километров, откуда немцы были выбиты в последние дни.

Произошло событие, которое войдет в историю этой, если можно так выразиться, сверхвойны. Впервые немцы были не только остановлены, но и отогнаны. Красная Армия продолжает оказывать сильнейшее давление на их позиции, прорывая все новые оборонительные линии, захватывая новые деревни и городки, орудия, пулеметы, пленных. Немцы, перешедшие к обороне, защищаются стойко и иногда переходят в контратаки. Вчера на том участке, где я нахожусь, они

переходили в контратаки шесть раз, стремясь во что бы то ни стало вернуть потерянные территории, но были не только отбиты, но отброшены еще дальше. Их силы подорваны. Это несомненно.

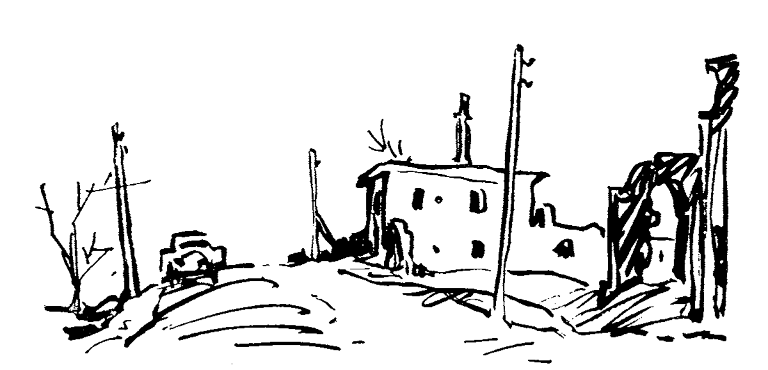
Наш автомобиль медленно переваливает на пахнущий свежей стружкой бревенчатый мост, возведенный саперами позавчера. Под ним маленькая мутная речка, которая лениво течет среди невысоких поросших травой берегов. У нее есть имя. Но я не могу назвать его. О таких речках обычно пишут: «На реке N. продолжаются упорные бои». Но здесь ее простое русское название произносится с уважением.

— По этой речке проходил фронт несколько дней назад,— говорит мой спутник.

Он капитан, участник последних боев. Сейчас мы едем вместе на передовую линию, где идет бой.

На берегу реки почти совершенно разрушенная немцами деревня. Сохранились только ограждающие жилье заборы. Самого жилья уже нет. На его месте торчат кирпичные трубы и в квадратах золы можно рассмотреть глиняные почерневшие горшки да искривленные огнем железные кровати. На огородах осела пыль, поднятая тысячами танков, грузовиков и солдатских сапог. Совершенно непонятен здесь крохотный беленький цыпленок, который деловито роется в золе. Собак нет совершенно: они ушли с людьми,— но зато попадаются кошки.

Дальше идет несжатое поле ржи. Она полегла и спуталась. Местами поле изрыто немецкими окопами и воронками снарядов. Оттуда несется сильнейший



трупный запах. Валяются простреленные немецкие каски, вдавленная в рыжую землю проволока, трупы лошадей. Люди уже похоронены.

Мы едем дальше. Коричневые поля поспевающего льна (Смоленская область богата льном) сменяются лесами. В природе чувствуется наступление осени. Леса начинают ронять желтый лист. Но хвои здесь больше. Ели густо стоят вдоль дороги. Оттуда несет холодком и прелью. Людей и машин почти не видно — местность, по которой мы едем, простреливается немцами. Мы не видим людей и машин даже тогда, когда находимся совсем рядом с ними. И только подойдя почти вплотную к автомобилю или орудию, которые очень ловко замаскированы ветвями, начинаешь понимать, что собой представляет современный фронт.

Очень часто нас задерживают регуляторы движения. У них на руках повязки. Орудуют они красным и желтым флагами. Проверив документы, они вежливо берут под козырек и объясняют дальнейший путь.



Все чаще попадаются немецкие могилы — холмики земли, деревянный крест, на котором висит каска, и табличка с множеством фамилий, торопливо написанных химическим карандашом. И я вспоминаю слова пленного немецкого солдата, с которым разговаривал вчера о книге Гитлера «Моя борьба».

— Я всегда думал,— сказал солдат,— что когда меня убьют, о *моей* борьбе никто не напишет.— И он добавил с бессмысленно радостной улыбкой человека, спасшегося от смерти, стереотипную фразу, которую повторяют почти все немецкие пленные: — Теперь для меня война кончилась.

Для этих, которые лежали в чужой земле, под чужим солнцем, рядом с чужими елями, война кончилась иначе.

1941

В ЛЕСУ

Этот лес обжит, как дом. Люди ходят друг к другу в гости, как в соседний подъезд. Низко согнувшись, они входят в палатку, прикрытую сверху еловыми ветвями, и, блеснув на секунду электрическим фонариком, садятся и закуривают. В лесу сыро. Накрапывает дождик. Здесь, недалеко от Смоленска, осень уже пришла. Слышится непрерывный шум, похожий на шум прибоя. Это шумят на ветру высокие вершины елей. С правильными промежутками в несколько минут раздается нарастающий визг, и тотчас же за ним громкий тупой звук разрыва. Это стреляет немецкая тяжелая артиллерия. С идиотической методичностью она бьет по пустому месту. На тошнотворный грохот разрывов никто не обращает внимания.

— Он будет бить до двух часов ночи,— говорит молоденький лейтенант, деловито поглядев на часы.— Снаряды падают отсюда метров за четыреста. Странные люди — немецкие артиллеристы! Уже несколько дней, как они вообразили себе какую-то цель, вероятно, несуществующую батарею, и теперь садят каждую ночь прямо в болото. Мы им не препятствуем. Пусть садят.

Ночью в лесу до такой степени темно, что мне кажется чудом, как это люди разыскивают нужные им палатки и блиндажи. Потом я замечаю под ногами

множество маленьких и больших, светящихся холодным голубоватым светом крупинок. Как будто кто-то прошел впереди с мешком, из которого понемногу сыпался на землю этот волшебный, непотухающий огонь. И я не сразу могу сообразить, что это просто гнилушки, которые собрала в лесу заботливая интендантская рука и провела светящиеся дорожки между палатками. Здесь такие дорожки называют Млечным Путем. Это до такой степени похоже, что лучшего сравнения невозможно придумать. Я осторожно ступаю своими грубыми, непромокаемыми сапогами, стараясь не растоптать мироздание.

Мы приехали, когда было уже темно, и я заснул, не раздеваясь, укрывшись шинелью, в полном неведении того, что за мир меня окружает. Но заснул не сразу. Трудно было привыкнуть к немецким разрывам, от которых дрожала земля. Я насчитал их что-то шестьдесят. Потом наступила тишина. Я посмотрел на светящиеся часы. Было ровно два часа ночи.

Проснулся я поздно, часов в восемь. Из-под завешенного брезентом входа в палатку проникал солнечный свет. Погода за ночь изменилась. Слышались голоса проходящих людей и какой-то чрезвычайно знакомый непрерывный стук. «Вероятно, дятел»,— подумал я. Но это оказался не дятел, а молоденькая хорошенькая машинистка, с аккуратно подвитыми кудряшками, в военной пилотке набекрень и вообще в полной военной форме, включая маленькие сапоги. Нагнувшись к своей машинке, она отстукивала нечто, состоящее главным образом из цифр. Над ее головой, на четырех вбитых в землю столбиках, была крыша, сделанная из ветвей. Немного дальше, перед входом в блиндаж, парикмахер, тоже в военном, брил клиента, любезно усадив его на ящик. Повсюду, в редких косых столбах солнца, проникавшего в торжественный темный лес, были разбиты замаскированные палатки и шатры из ветвей, стояли грузовики и лимузины, расхаживали военные с папками дел. По высокому стволу сосны пробежала жирная красная белка, на секунду

замерла на обломанном сучке и посмотрела вниз своими черными стеклянными глазками. Это был штаб соединения генерала Конева, человека, о котором сейчас много говорят на фронте.

Он ведет с немцами непрерывные дневные и ночные бои и понемногу вытесняет их с нашей территории. За десять — двенадцать дней он прорвал несколько укрепленных немецких линий и взял большое количество трофеев и пленных. Сейчас бои продолжаются по всему фронту.

Я уже писал о том, что нынешний Западный фронт напоминает фронт первой мировой войны, но со значи-



тельно большим огнем. Когда-то по знаменитой Верденской дороге в минуту проходили пять военных грузовиков. Сейчас по одной из дорог, ведущих к тому участку, где я нахожусь, проходит восемь грузовиков в минуту. А так как этот участок не является исключением (подобные бои идут по всему Западному фронту), читатель легко может судить о силе современного огня. Увеличенный почти вдвое Верден по всему фронту!

Здесь необходимо упомянуть о порядке, который существует на фронтовых дорогах. Нет не только дорожных пробок — ужасного бича современной войны,— но движение построено так, что оно почти не ощущается. Впечатление такое, что на фронтовых дорогах свободно. Искусство маскировки, необыкновенно обостренное современной воздушной войной, в Красной Армии достигло совершенства. Вы едете по фронту, но почти не замечаете его. А между тем он велик и предельно уплотнен.

Среди ветвей мелькает расшитая золотом генеральская фуражка.

— Встать! — командует дежурный.

Генерал принимает рапорт. Он в кожаном пальто. В руках у него палка, с которой он никогда не расстается. Генерал уже не молод, но очень крепок, сухощав и подвижен.

Он приглашает пройти на наблюдательный пункт, откуда будут хорошо видны результаты артиллерийской подготовки, которая должна начаться через двенадцать минут и предшествовать атаке.

По дороге генерал показывает чертежи германских окопов, захваченных накануне нашими частями. Современный немецкий окоп строится в виде ломаной линии с длинным ходом сообщения посредине. Командир роты сидит у этого хода сообщения, и ни один солдат не может уйти, не пройдя мимо своего командира.

— Это хитро придумано,— смеется генерал,— в последнее время дух немецких солдат значительно поколеблен.

Примечательно и то, что от индивидуальных окопчиков, принятых в современной войне, немцы снова переходят к общим окопам, как это было в первую мировую войну.

Мы на наблюдательном пункте. Отсюда хорошо видно расположение немцев, невысокие холмы и лесочки.

Артиллерийская подготовка начинается точно, по расписанию. Один за другим в расположении противника возникают разрывы, и скоро ими покрыт

весь горизонт. Снаряды с визгом проносятся над нашими головами. В дыму можно разглядеть блеск пожаров.

Этот ад длится полчаса.

Подходит адъютант и в наступившей тишине тихо докладывает:

— Пошли.

— Ага, пошли. Отлично! — говорит генерал.

Он идет в блиндаж и просит соединить себя с командиром части, которая пошла в наступление.

1941

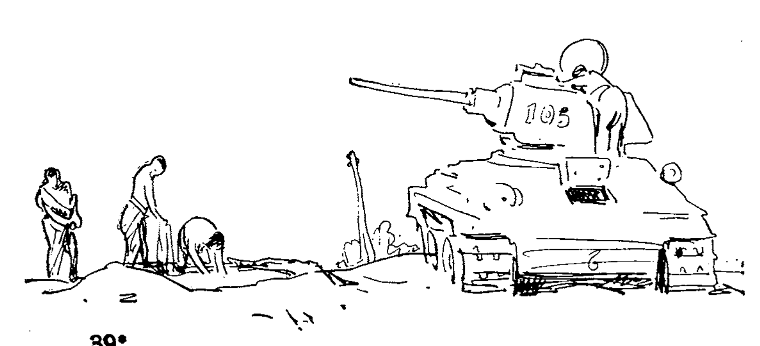
КОМАНДИР И КОМИССАР

Когда наступила тишина и адъютант доложил генералу, что части пошли в наступление, мы уселись в свой автомобиль и поехали вперед. Снова была дорога, и снова лес, и снова овраги и небольшие подъемы. Лесные дороги, наскоро проложенные проходившими войсками, были грязны. Во многих местах их успели замостить тонкими стволами деревьев. Иначе невозможно было бы проехать. Автомобиль тарахтел по ним, как тарантас. В лесах была осень. Но на полевых дорогах еще стояла глубокая, летняя пыль.

Тишина продолжалась недолго. Снова стала бить артиллерия. О приближении линии фронта мы судили по характеру огня. Когда на наблюдательном пункте генерала мы наблюдали действие артиллерийской подготовки, тяжелые орудия стреляли позади нас. Тотчас же за выстрелом мы слышали над головами визг снаряда, и потом он долго еще летел туда, к немцам, и сначала мы видели разрывы, а уже после слышали их звук. Звук выстрела был сильнее, чем звук разрыва. Теперь визг пролетавшего снаряда слышался раньше всего. Потом долетал слабый выстрел, и мгновенно за ним сильный разрыв. Потом через головы стали летать снаряды легкой артиллерии, и время от времени очень громко били пулеметные очереди. Они били так громко, как будто стрельба происходила над самым ухом. Но до первой линии оставалось еще километра полтора.

Шофер въехал задним ходом в лес, остановился рядом с большим танком и накрыл машину ветвями. Дальше надо было идти пешком. В лесу сидели шоферы с танкистами и, прислонясь к танку, ели из алюминиевых котелков кашу с салом. Кроме того, у них было много сладкого чая. Наш шофер был тотчас же приглашен к столу. Шоферы совсем как масоны. Они мгновенно узнают друг друга и сходятся так, будто знакомы добрый десяток лет. Танкистов они охотно считают своими и любят их, но с несколько покровительственным оттенком. Так умудренный опытом, умный папа относится к своему отчаянно храброму сыну. Шоферы и танкисты ели кашу с очень серьезными лицами. По лицам людей всегда видно, в каком месте фронта ты находишься. Нет такой линии, которая отделяла бы тыл от фронта. Но она существует и может быть с полной точностью определена по лицам людей. Здесь люди делают серьезное мужское дело. Движения их неторопливы и очень четки. И что бы человек ни делал: вел коня на водопой, ел кашу, писал донесение, копался в моторе танка или даже улыбался чему-нибудь, у него совсем не то выражение, какое бывает у него же в двух-трех километрах ближе к тылу.

Мы пошли пешком прямо через поле спутанной, поникшей, погибающей ржи (ее уже никто не сможет убрать), и ее было жалко, как живое существо. Было жалко человеческого труда и баснословного урожая, какой бывает едва ли раз в десять лет. Мы поднялись на пригорок, и здесь надо было бежать метров четыреста до наблюдательного пункта командира части, так



как местность была открытая и простреливалась противником. И мы побежали, унизительно пригибаясь и гремя амуницией. Командир части, громадный человек, с толстой шеей и добрым круглым лицом, сидел в блиндаже у телефонного аппарата и хрипло кричал что-то в трубку. Комиссар сидел снаружи, среди вороха ржи, свесив ноги в яму, в которой была вырезана лестница, и смотрел в бинокль. Иногда командир и комиссар переговаривались о чем-то, хорошо им знакомом, что происходило впереди. Иногда командир уговаривал комиссара спуститься вниз. «Ты мне всю маскировку портишь»,— сердито говорил он. Но комиссар только посмеивался, показывая свои сверкающие зубы, особенно белые на темном, запыленном лице. «Когда ты сидел здесь,— отвечал он,— я тоже все время звал тебя вниз, и ты не хотел идти».

Для того чтобы понять, что такое комиссар на фронте, надо прежде всего запомнить одно: комиссар и командир — почти всёгда друзья. Их содружество естественно и гармонично. Один замещает другого, если того убьют. Это высшая форма братства. Такая может родиться только на войне. Я посетил много частей и подразделений Красной Армии и всюду наблюдал эту крепкую, простую, мужскую дружбу.

Часть прошла уже две линии немецких полевых укреплений и окопалась под сильным минометным огнем. Этот бой будет продолжаться весь день, возобновится ночью и потом опять возобновится завтра утром.

Командир и комиссар знают, как тяжела и кровопролитна эта война. Они ведут ее с первого дня вместе. Вместе они переживали гнетущие дни отступления, хотя это отступление было правильным и единственным выходом в то время. Вместе они выходили из окружения и блестяще выполнили этот труднейший маневр, прорвав немецкую блокаду и выведя всю свою часть. Вместе они были в Смоленске, отстаивая каждый дом. Теперь вместе на крепком, установившемся фронте они крепко бьют немцев. Эти два месяца боев стоят двадцатилетней дружбы. Теперь оба, дополняя друг друга, они рассказывают мне о капитане, командире разведывательного батальона. Капитан совер-

шил подвиг, о котором будут складываться песни через сотни лет. Он вел разведку всем батальоном и устроил свой наблюдательный пункт на колокольне церкви в маленьком покинутом жителями селе. Командир и комиссар попеременно разговаривали с ним по телефону. Он давал замечательные указания артиллерии. Его батальон вел бой по сторонам от села. Неожи-



данно в село прорвалась большая колонна немецких танков. Танки заполнили всю сельскую площадь. Капитану немцы предложили сдаться. Герой вместе со своим связистом ответил выстрелами. Капитан сразу понял, какая опасность угрожает не только его батальону, но всему стоящему позади соединению и, может быть, даже фронту. И он немедленно скомандовал в трубку:

— Огонь по мне!

Ориентир — церковная колокольня — был идеальный, площадь была забита немецкими танками.

— Прощайте, товарищи! — сказал он в трубку.

И на него обвалился шквал артиллерийского огня.

1941

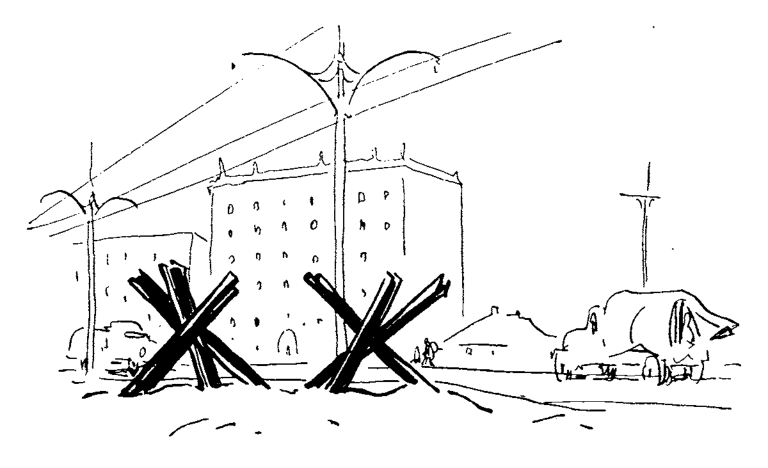
МОСКВА ЗА НАМИ

Последние пять дней я провел на Можайском и Волоколамском направлениях. Здесь защищают грудь Москвы от прямого удара в сердце.

Мы выехали на шоссе, которое начинается еще в городе и представляет собою одну из лучших улиц новой Москвы. Здесь еще осталось несколько ветхих деревянных домишек былой, запущенной окраины. И они очень выразительно контрастируют с длиннейшей перспективой громадных новых домов, выстроенных за последний год. Некоторые из них еще не закончены. Здесь осуществлено то, о чем мечтал Ленин. Окраины больше нет. Нет убогих лачуг, где в былое время ютилась нищета. Дома новой улицы выстроены со вкусом и даже известным великолепием. Они выстроены из хороших материалов. Многие отделаны мрамором и гранитом. За последним домом с золоченой вывеской кондитерского магазина сразу начинается поле. Еще весной этого года по Можайскому шоссе мчались автомобили дачников. Сейчас оно перегорожено баррикадами и противотанковыми заграждениями.

Кажется, что с мирного времени прошло не пять месяцев, а триста лет; так это было давно.

Мы проехали холм, до половины срезанный широкой автострадой. Это — Поклонная гора, хорошо известная в истории русского государства. Отсюда в 1812 году Наполеон впервые увидел Москву. Здесь, сидя на



барабане, он ждал, когда бургомистр принесет ему ключи от города. Но он не дождался. Русские не приносят ключей от своих городов.

Мы ехали часа полтора, обгоняя обозы военных грузовиков. Все меньше становилось мирных жителей и все больше военных.

Последние жители, которых мы видели, шли и ехали нам навстречу со своим имуществом. Некоторые тащили его на санках. Старики и женщины гнали коров по обочинам дороги. Все ближе становится гул артиллерии и минометов. Люди уходили с насиженных мест, боясь нашествия немцев.

Скоро уже невозможно было встретить штатского человека.

Это был фронт.

Западный фронт, который я помнил в августе и сентябре накануне великих и кровавых боев за столицу, крепкий, но все же беспечный фронт, уже не существовал. Но не потому, что был начисто уничтожен, как это с обычным своим нахальством утверждает немецкий генеральный штаб. Люди остались те же, если не считать погибших. Были те же дороги, и те же леса, и те же бревенчатые деревушки, и те же танки, и тот же одуряющий запах отработанного бензина, смешанный с запахом пожарища — запах современ-

ной войны,— и простреленные каски, и закоченевшие трупы с согнутыми коленями, и обгорелые машины на обочинах дорог.

Но все было не то.

Тогда начиналась осень. Сейчас была злая, колючая, небывало ранняя зима. Оголенные лиственные леса оледенели. Деревья казались дорогими и тонкими изделиями из серебра. Отчетливо была видна каждая веточка. Хвоя была покрыта крепким промерзшим инеем только с северной стороны. С юга она оставалась зеленой. Земля стала крепкой, как дерево. Погода — идеальная для действия крупных танковых соединений. В такую погоду танки могут пройти решительно в любом месте. И этой погодой воспользовались немцы, чтобы произвести новое решительное наступление на Москву.

Но изменилась не только природа. Танки, приспособляясь к ней, покрылись белой краской. На красноармейцах и командирах появились теплые меховые шапки из голубоватого меха, ватники и безрукавки, которые отлично греют под шинелями. Сейчас светает только к семи часам утра, а к пяти часам дня уже начинает темнеть. Боевой день стал страшно короток и поэтому особенно напряжен. И потому еще фронт стал совсем другим, что приблизилась Москва. Тогда, сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще большая территория, что если немцы не будут отогнаны сегодня, они будут отогнаны завтра. Сейчас Москва за самой спиной, на некоторых участках всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно именно сегодня. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что на фронте нет ни одного человека, который поверил бы, что Москва может пасть. Люди хорошо вооружены. У них есть танки (их, правда, не много), отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но если придет такая минута, русские люди будут перегрызать фашистам горло зубами. Потому что за спиной самое дорогое, что есть у русского человека,— Москва.

Как полагают здесь, немцы убедились, что взять Москву фронтальным ударом, действуя по сходящимся

к столице магистралям, чрезвычайно трудно и сопряжено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по нынешнему сражению, немецкое командование делает новую и, очевидно, генеральную попытку обойти Москву с флангов.

Как всегда, немцы ищут стыков между крупными соединениями, ищут слабых мест. Как всегда, они отходят там, где натыкаются на сильное сопротивление, и предпринимают все новые и новые маневры.

Бои идут очень серьезные. Но на фронте, от переднего края до штабов, люди полны уверенности. Тогда на Западном фронте, в августе и сентябре, тоже была уверенность. Но то была уверенность гордой нации, сопряженная с известным добродушием. Звучит это несколько странно, но это именно так — с добродушием мирных людей, для которых убийство, даже на войне, даже самое справедливое из справедливых,— занятие малопривлекательное. Нужно знать характер русского человека. Это очень добрый человек. Он вспыльчив, но отходчив, и нужно много времени, чтобы он озлобился по-настоящему. Сейчас люди озлобились до такой степени, что не могут слышать слова «немец». Ненависть к захватчикам сделала каждого бойца крепким, как оледеневшая почва, на которой он стоит. Сейчас люди черпают уверенность в своей ненависти.

Вчера вступило в бой танковое соединение, состоящее из английских танков. И английские машины, и советские танкисты, управлявшие ими, шли в бой впервые. И те и другие экзамен выдержали. Танкисты отзываются о танках хорошо. Если бы машины могли говорить, они еще больше хвалили бы танкистов.

Идти в бой в первый раз в жизни — нелегкая штука. Сколько было случаев, когда люди, дрогнувшие в первом бою, оказывались потом героями. Танкисты нового соединения сразу повели себя героями. Потому что за спиной — Москва.

— Знаете, буквально приходится их удерживать,— сказал командир батальона.

И по той нежной и в то же время мужественной

улыбке, с которой он сказал это, было видно, что удерживать своих бойцов — задача хотя и не легкая, но приятная.

Мы сидели в бревенчатой комнате, только вчера покинутой хозяевами. Танкисты помогли хозяевам эвакуироваться — дали им грузовик. Старуха хозяйка не знала, как поблагодарить. И когда уже все было собрано и погружено, она отозвала начальника штаба и, значительно поджимая губы, зашептала:

— Тут я оставила в погребе бочонок с солеными огурцами. Все лето солила. Ешьте, милые, на здоровье. И оставляю вам еще гитару. Будет свободное время — играйте, веселитесь.

И уже трудно поверить, что еще только вчера шла в этом домике хорошо налаженная, привычная жизнь и чирикала в клетке канарейка, стояли на подоконниках горшки с геранью, за маленьким окном с резными наличниками играли снежинки, и только лай собак да пенье петухов нарушали деревенскую тишину.

Сейчас в комнате царили полевой телефон и карта. Пахло сапогами и овчиной. Невдалеке шел бой. Казалось, что за стеной, беспрерывно стуча сапогами, сбегают по деревянной лестнице какие-то люди. В деревне есть уже разрушенные дома, и явственно чернеют на снегу следы разорвавшихся мин.

В комнату стремительно вошел лейтенант, огромного роста молодой человек с прекрасным курносым лицом и широко расставленными глазами, сверкавшими отчаянной радостью.

— Разрешите доложить! — крикнул он, вытянувшись перед командиром.

Было ясно, что он собирается доложить нечто чрезвычайно важное.

— Докладывайте,— сказал командир.

Лейтенант оглянулся, потом махнул рукой и, уже не в силах сдержать возбуждения, выпалил:

— Немцы прорвались на Бараки.

И, ожидая ответа, он в нетерпении стал переминаться с ноги на ногу. Он был еще совсем мальчик.

Командир стал что-то соображать, глядя на карту.

«Ну что же ты медлишь? — думал, вероятно, лей-

тенант в эту минуту.— Ведь сейчас все решается: и судьба Москвы, и твоя судьба, и моя судьба».

На его лице появилось выражение мольбы. А командир все еще смотрел на карту. Он смотрел на карту страшно долго, катастрофически долго — минуты две.

— Послать в Бараки третью роту танков,— тихо, но твердо сказал он наконец.

— Есть! — гаркнул лейтенант.

Он обвел всех счастливыми глазами, хотел что-то сказать, потом рванулся к двери, потом остановился и



спросил: «Разрешите идти?» — и, получив разрешение, выбежал с таким грохотом, что после его ухода некоторое время звучала гитара на стене.

— В первый раз идет в бой,— сказал командир.— А хорош!

Да, танкисты шли в бой, как на парад. Потому что за спиной была Москва.

Уже было совсем темно, когда получили донесение, что пункт Бараки отбит и немцы отброшены в исходное положение.

26 ноября 1941 г.

СЕГОДНЯ ПОД МОСКВОЙ

В простой бревенчатой избе, под образами, совсем как на знаменитой картине «Военный совет в Филях», сидят три советских генерала — пехотный, артиллерийский и танковый.

И так же, как тогда, та же русская природа за окном, и карта на столе, и заглядывает в комнату любопытный деревенский мальчик, и недалеко Москва. И генералы даже чем-то похожи на Дохтурова или молодого Ермолова, вероятно, русскими лицами и золотом на воротниках.

Только они не решают здесь — оставить Москву врагу или дать новое сражение.

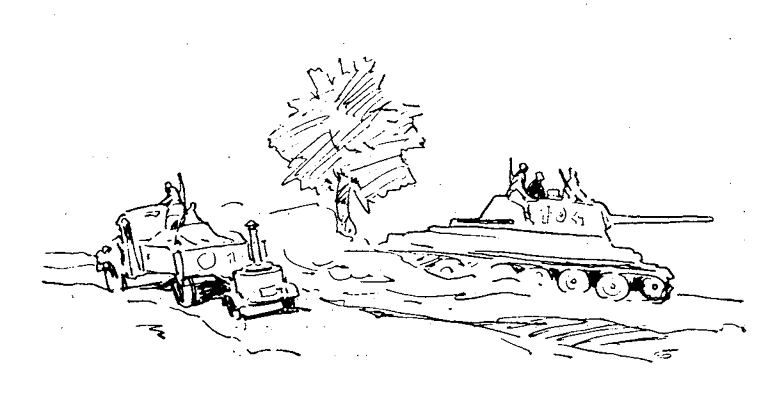
Вопрос уже решен: Москву отстоять во что бы то ни стало. А генеральное сражение уже идет четырнадцатый день, не только не ослабевая, но все усиливаясь.

Если продолжить историческую параллель с 1812 годом, хочется сравнить с Бородинским сражением октябрьские бои на Западном фронте, когда наши армии, непрерывно сражаясь, откатывались от Вязьмы и Брянска, а израненный враг, совершивший гигантский прыжок в двести километров, должен был остановиться, чтобы зализать свои раны и собраться с новыми силами. Сейчас же на подступах к Москве идет то сражение, которое Кутузов не решился дать Наполеону, но обязательно дал бы, если бы, защищая Москву, находился в современных условиях.

Величайшее сражение идет четырнадцатый день. Далеко впереди горят оставленные нами деревни. Глядя на карту, я отчетливо вспоминаю. Вот в этой я был пять дней назад. В этой — позавчера. Неужели горит эта чудесная деревушка, вся в садах, с прекрасным домом отдыха по соседству? И не их ли, жителей этой деревушки, встретили мы только что на дороге, направляясь к фронту? Они едут в телегах и на военных грузовиках со всем своим домашним скарбом. Нет ни слез, ни причитаний. Женщины молча смотрят перед собой сухими глазами, обнимая свои узлы. Их мужья на фронте, дома их горят. Но у них есть родина и месть. Страшна будет эта народная месть, когда гитлеровские армии покатятся обратно!

Три генерала, которые так похожи на кутузовских, заехали далеко вперед от своих штабов. Сейчас они бросили навстречу прорвавшимся немцам моторизованную пехоту и теперь ждут результатов. Впереди, за деревней, уходящее вниз поле. Потом лес, начинающийся на пригорке. Поле уже покрыто заранее вырытыми окопами. Они чернеют на снегу.

Немец обстреливает из минометов дорогу между деревней и лесом. Иногда по этой дороге с большой скоростью проносится небольшой связной танк или грузовик с походной кухней. На грузовике, заваливаясь к бортам на поворотах, сидят повара. Из трубы валит дым. Кухня торопится за своей пехотой, которую



полчаса назад бросили в бой. На околицах деревни уже поджидают противника противотанковые орудия.

В густом еловом лесу, в засаде, стоят большие белые танки, немного прикрытые хвоей. Их ни за что не увидишь, если не подойдешь совсем близко. Это очень грозная сила, и красный ромбик, которым они отмечены на карте, несомненно, играет в планах командования большую роль. Вероятно, они пойдут в бой еще сегодня, к концу дня.

Все чаще с сухим треском лопаются мины. Бой приближается. Но орудийная прислуга в деревне, и танкисты в лесу, и генералы в своей избе как бы не замечают этого. Таков неписаный закон фронта.

Командир танковой роты, старший лейтенант, молодой двадцатидвухлетний кубанец (он, совсем как казак, выпустил из-под кожаного шлема вьющийся чуб), со смехом рассказывает, как, отправившись на разведку в одиночку, встретился с пятью немецкими средними танками, как подбил два из них, а остальные удрали. Но этим не кончились его приключения. Он помчался дальше, захватил противотанковое орудие, десять ящиков со снарядами к нему и все это в исправном виде (хоть сейчас стреляй!) доставил в свое расположение. Все это он рассказывает как забавный анекдот. У старшего лейтената уже большой боевой опыт — он сорок семь раз ходил в танковые атаки, и все они были удачны. Наши танки «Т-34» он считает лучшими в мире.

Он еще раз обходит приготовившиеся к бою машины, потом останавливается возле одной из них и, похлопав ее по стальному боку, ласково говорит:

— А это мой танк!

Он узнает его среди многих совершенно одинаковых машин, как кавалерист узнает свою лошадь. Вероятно, он знает какое-нибудь одному ему известное масляное пятно или небольшую вмятину от снаряда.

Сейчас, во время генерального немецкого наступления на Москву, когда в разных направлениях беспрерывно вспыхивают бои и сражение представляет собою целую серию сложных маневренных действий,

исключительный интерес вызывает ближайшии тыл, примерно десять километров в глубину.

По состоянию ближайшего тыла, уже просто по одному тому, что и как движется по дорогам и что происходит в деревнях, можно безошибочно судить о состоянии фронта.

Наш ближайший тыл очень хорош.

Немцев ждут всюду — на всех дорогах, на околицах всех деревень. Их ждут рвы и надолбы, колючая проволока и минированные поля. И чем ближе к Москве, тем теснее и разнообразнее оборона, тем гуще сеть укреплений.

Что сегодня под Москвой? Сколько времени может еще продолжаться немецкое наступление? Когда наконец оно выдохнется? Сколько времени неистовый враг сможет бросать в бой все новые резервы, все новые и новые группы танков?

Эти вопросы волнуют сейчас страну. Об этом думают сейчас все.

Трудно делать предположения, когда всем сердцем ждешь остановки немцев, а затем их разгрома. Почти физически невозможно стать объективным и приняться за рассуждения.

Однако некоторые выводы напрашиваются сами собой.

С первого дня наступления, 16 ноября, на Волоколамском направлении немцы прошли от сорока до шестидесяти километров, то есть в среднем от трех до четырех километров в день. Очень важно при этом, что самый длинный бросок был сделан в первые дни. Получается, следовательно, что движение немцев все время замедляется. Между тем они вводят в дело все больше и больше сил. Чем все это объяснить? Вероятно, по планам германского командования выходило, что постепенное усиление нажима приведет к победе, к разгрому Красной Армии. Но этого не получилось. Напротив. Сопротивление усилилось. При приближении к Москве увеличилось количество укреплений и движение немцев стало менее быстрым.

Если взять июньское и июльское, потом октябрьское и, наконец, это генеральное наступление немцев

на Москву, то мы увидим, что от наступления к наступлению темпы их уменьшаются: пятьсот — шестьсот километров в июне — июле, двести километров в октябре и шестьдесят километров сейчас.

Немец должен быть остановлен.

А остановка его в поле с загнутыми, далеко выдвинувшимися вперед флангами будет равносильна проигрышу им генерального сражения.

И это будет началом конца.

30 ноября 1941 г.

КЛИН, 16 ДЕКАБРЯ

Положение военных корреспондентов на Западном фронте становится все более сложным. Всего несколько дней назад мы выезжали налегке и, проехав какие-нибудь тридцать километров, оказывались на фронте. Сегодня в том же направлении нам пришлось проехать около сотни километров.

Путь немецкого отступления становится довольно длинным. И этот путь однообразен — сожженные деревни, минированные дороги, скелеты автомобилей и танков, оставшиеся без крова жители. Такой путь я наблюдал на днях, когда ехал в Истру.

Но есть еще один путь — путь немецкого бегства. Его я видел сегодня. Этот путь еще длиннее. И гораздо приятнее для глаза советского человека. Здесь немцы не успевали сжигать дома. Они бросали совершенно целые автомобили, танки, орудия и ящики с патронами. Здесь жителям остались, хотя и загаженные, но все-таки дома. Полы будут отмыты, стекла вставлены, и из труб потянется дымок восстановленного очага.

Клин пострадал довольно сильно. Есть немало разрушенных домов. Но все-таки город существует. Вы подъезжаете к нему и видите: это — город.

Он был взят вчера в два часа утра. Сегодня это уже тыл.

Что сказать о жителях? Они смотрят на красноармейцев с обожанием.

— Немцы уже не вернутся сюда? Правда? — выпытывают они.— Теперь здесь будете только вы?



Красноармейцы солидно и загадочно поднимают брови. Они не считают возможным ставить военные прогнозы. Но по тому, каким веселым доброжелательством светятся их глаза, исстрадавшимся жителям ясно — немцы никогда не придут сюда.

К Москве никто никогда не подходил дважды.

Красная Армия не только взяла Клин. Она спасла его в полном смысле слова. Удар был так стремителен и неожидан, что немцы бежали, не успевши сделать то, что они сделали с Истрой,— сжечь город дотла.

И жители не знают, как отблагодарить красноармейцев.

Как только в Клин вошли первые красноармейцы, жители сразу же рассказали им, где и что заминировали немцы и где они оставили свои склады.

В одной из деревушек за Клином произошел случай, столь же героический, сколь и юмористический.

Первыми о том, что немцы собираются бежать, пронюхали мальчики. Они подкрались к немецким грузовикам и стащили все ручки, которыми заводятся моторы. Пришлось немцам бежать самым естественным путем, при помощи собственных ног. Как только в деревне появились наши войска, мальчики торжественно поднесли им ручки. Машины были заведены и пущены в дело.



Побывал я и в домике Чайковского. Это была давнишняя моя мечта — увидеть то, о чем я столько раз

читал: уголок у окна, где Чайковский писал Шестую симфонию и смотрел на свои любимые три березки, его рояль, книги и ноты.

То, что сделали в домике Чайковского немцы, так отвратительно, чудовищно и тупо, что долго еще буду я вспоминать об этом посещении с тоской.

Мы вошли в дом. Встретил нас старичок экскурсовод А. Шапшал. Он так привык встречать экскурсантов и водить их мимо экспонатов музея, что даже сейчас, после первых радостных восклицаний, он чинно повел нас наверх по узкой деревянной лесенке и, пригласив в довольно большую комнату, сказал:

— Вот зал, принадлежавший лично Петру Ильичу Чайковскому. Здесь, в этой нише, был устроен кабинет великого композитора. А здесь Петр Ильич любил...

Но вдруг он оборвал свою плавную речь и, всплеснув руками, крикнул:

— Нет, вы только посмотрите, что наделали эти мерзавцы!

Но мы давно уже во все глаза смотрели на то, что было когда-то музеем Чайковского. Стадо взбесившихся свиней не могло бы так загадить дом, как загадили его фашисты. Они отрывали деревянные панели и топили ими, в то время как во дворе было сколько угодно дров. К счастью, все манускрипты, личные книги, любимый рояль, письменный стол, одним словом, все самое ценное было своевременно эвакуировано. Относительно менее ценное упаковали в ящики, но не успели отправить. Фашисты выпотрошили ящики и рассыпали по дому их содержимое. Они топили нотами и книгами, ходили в грязных сапогах по старинным фотографическим карточкам, срывали со стен портреты. Они отбили у бюста Чайковского нос и часть головы. Они разбили бюсты Пушкина, Горького и Шаляпина. На полу лежал портрет Моцарта со старинной гравюры с жирным следом немецкого сапога. Я видел собственными глазами портрет Бетховена, сорванный со стены и небрежно брошенный на стул. Неподалеку от него фашисты просто нагадили. Это совершенно точно. Немецкие солдаты или офицеры нагадили на полу рядом с превосходным большим портретом Бетховена.

Повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки из-под коньяку.

— Неужели вы не объяснили немецкому офицеру, что это за дом?

— Да, я объяснял. Захожу как-то сюда и говорю: «Чайковский очень любил вашего Моцарта. Хотя бы поэтому пощадите дом». Да меня никто не стал слушать. Вот я и перестал говорить с ними об искусстве. И то — придешь, а они вдруг и скажут: «А ну, старик, снимай валенки». Куда я пойду без валенок? Они тут многих в Клину пораздевали. Нет, с ними нельзя говорить об искусстве!

Я подошел к окну в том месте, где стоял письменный стол Чайковского и где он писал Патетическую симфонию. Прямо за окном, рядышком, стояли три знаменитые березки. Только это были уже березы, большие, вполне взрослые деревья.

Но сейчас было не до грусти. Была деятельная военная жизнь.

У начальника гарнизона собралось множество военного народа. Начальник быстро отдавал приказания, куда эвакуировать раненых, как получше и побыстрее разминировать дома и дороги, как восстановить электростанцию, баню и хлебопекарню. Не хватало штатских. Но тут мы услышали знакомый голос:

— Товарищи, надо принять меры. Для Клина еще не выделены фонды.

Мы обернулись. Конечно, это был он, председатель райпотребсоюза. На нем было странное по сравнению с военными полушубками, а в самом деле самое обыкновенное драповое пальто. На нем была барашковая шапка пирожком и калоши.

— А! — воскликнул начальник гарнизона, приятно улыбаясь.— Ну, вот и прекрасно. И давайте работать. Вы когда пришли?

— Да только что,— сказал человек в пальто.— Тут я, товарищи, уже кое-что наметил. В части организации торговых точек...

И работа началась.

Как будто ее никто и не прерывал.

1941

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Мы любили говорить о счастье будущих поколений, о счастье наших детей, наконец о нашем общем счастье, когда через пятнадцать лет мы построим коммунистическое государство, где всего будет вдоволь для всех. Но мы редко говорили о нашем сегодняшнем счастье. И никогда не думали о нем. Человеку свойственно сетовать на свои, даже самые маленькие, несчастья и в то же время не замечать, когда он счастлив.

Очень часто я встречаю людей, которых не видел с начала войны. И, обсудив предварительно все военные вопросы, включая последнюю речь Черчилля, и не забыв о положении на острове Гуам, мы начинаем вспоминать, где встречались в последний раз.

— Ну, конечно же, в Ялте. Я еще жил в санатории ВЦСПС и еще, дурак, жаловался, что там плохо кормят. Помните, мы встретились на набережной? Вы еще шли купаться, а я еще сказал: «Ну кто купается в мае! Вот в июне...». А в июне-то...

— М-да. Хорошо было.

— Здорово жили. Ничего не скажешь.

Или:

— Позвольте, позвольте! Ну конечно! На этом самом месте! Вы шли по улице Горького с женой и детьми. Помните, вы еще жаловались, что просто ума не приложите, куда отдать сына после окончания де-

сятилетки. Вы хотели в политехникум, жена — в театральное училище, а сам мальчик хотел в летнюю школу.

— Уже летает. На Юго-Западном.

— Истребитель?

— Бомбардировщик. Два месяца нет писем. Жена каждый день шлет мне телеграммы. Не знаю, что и отвечать.

— А она где?

— Она с маленьким в Сибири. А девочка с пионерским лагерем в Средней Азии. А мою тетушку помните? Старушку? Она сейчас у немцев, в Днепропетровске. Что с ней — не знаю. Ведь и жила она только на то, что я ей посылал.

— М-да. Жили — не думали.

— Ничего не скажешь. Хорошо жили.

Мы хорошо жили на нашей советской земле. Но все ли мы понимаем это? И не было разве среди нас людей, которые не только не понимали этого, но, напротив, твердо считали, что они недостаточно счастливы, что для их счастья чего-то не хватает?

Мы ехали по лесной дороге ночью, в полной тишине. В белом свете автомобильных фар лес выглядел, как оперная декорация, очень странная, потому что мы никогда не видим оперных декораций без музыки. А сейчас была тишина. Очень странная тишина, потому что мы ехали в прифронтовой полосе, где, казалось, должен был бы стоять грохот. Но на фронте даже во время самого интенсивного наступления бывает какое-то время тишина. Я не знаю более полной, абсолютной тишины, чем фронтовая.

По этому лесу прошел медведь войны. Он ободрал металлическими боками стволы деревьев, выломал сучья и раскидал их, протащился вперед и в стороны своим тяжелым телом, взрывая землю и вытаскивая с корнем кусты.

Потом почти целые сутки шел снег.

Медведь войны ушел на запад. Снег закрыл страшные раны, нанесенные войною природе.

Природа сопротивляется войне. Подпиленное и сваленное на дорогу громадное дерево лежит, как гладиатор, который под ударом врага упал на руки, но еще надеется подняться. Природа сопротивляется войне как может. Когда же сопротивление сломлено, она гибнет горделиво, как храбрый солдат. Нетронутая — она вызывала восхищение, она была красива. Изломанная, побежденная — она величественна и вызывает уважение.

Немцы, отступая, минировали дорогу. Саперы осторожно выбирали мины. Наш караван автомобилей ехал за ними, останавливаясь через каждые пять минут. Это было, как в минированном море, когда эскадра движется за тральщиками.

Мы ехали очень долго, часов двенадцать. Мы объезжали брошенные немцами грузовики и куски разорванных минами лошадей. Иногда мы останавливались в деревнях. Там немецких машин было еще больше, чем по пути. Мы узнавали дорогу и двигались дальше.

В деревню, где мы собирались остановиться, мы приехали часа в два ночи. Это была деревня, где не пели петухи и не лаяли собаки.

Тут уцелело много домов. Сохранилось и несколько семейств. Днем они возвратились из лесу, где жили, как звери, в ямах, и теперь устраивались в своих пустых, загрязненных немцами домах. Немцы не оставили им ничего — ни одной крупинки еды, ни одного лоскута материи.

На печи сидела старуха и смотрела, как в избе возятся красноармейцы. Печь хорошо натопили. Старухе было тепло, и она все время улыбалась, ожидая вопросов.

— Ты что, бабка, тут развалилась? — сказал ей маленький, веснушчатый красноармеец строгим голосом.— Не видишь, готовим избу для высшего начальства? Шла бы себе в лес ночевать.

— Так вот взяла да и пошла,— ответила старуха радостно.

— Небось когда немец был, ты и в избу боялась взойти, не то что на печь лезть в присутствии высшего командования.

— Что, бабушка,— спросил я,— надоел немец?

— Совсем, думали, пропадем,— быстро и оживленно ответила старуха, которая ожидала этого вопроса.— Как пришел, так сразу: «Иди, иди, говорит, в ямцы». В ямы, значит. А сам все чисто забрал. Ничего не оставил.

— Кто теперь тебя, такую, замуж возьмет без приданого? — заметил веснушчатый красноармеец.

— Да ну тебя совсем! Привязался! — сказала старуха, делая вид, что замахивается на веснушчатого красноармейца.

Между ним и старухой явно устанавливались приятельские отношения.

В избу вошел командир. Он снял ремни и положил на стол трофейный немецкий автомат, потом посмотрел на печь.

— А! — сказал он.— Ты еще жива, моя старушка?

— Не хочет больше в лес идти, товарищ старший лейтенант. Все за печку держится,— почтительно доложил веснушчатый красноармеец.

— Накормили старуху?

— Точно.

Старший лейтенант некоторое время глядел на старуху улыбаясь.

— Что это ты такая веселая, бабушка? — спросил он.— Уж, кажется, и натерпелась ты от немцев, и ограбили тебя всю как есть, и внука убили. А ты веселая.

— На вас гляжу — веселюсь,— ответила старуха.— Веселюсь, что русские пришли. Что̀ хозяйство! Даст бог, опять подымемся. А мне думалось, еще разок на своих посмотреть. А там и помирать не жалко.

На другое утро я был в Волоколамске.

Там я видел старика крестьянина, видно зажиточного, в хорошей бараньей шапке, в исправных валенках с калошами. Он быстро шел по развороченной снарядами, покрытой глубоким снегом улице. В руке у него была веревка. В морозном воздухе резко звучала пулеметная стрельба: бой шел еще в двух километрах от города.

— Куда, дедушка?

— Да вот корову ищу! — крикнул старик.— Я сам из деревни...

Он назвал одну из бесчисленных Покровок или Петровок. Перед приходом немцев, когда многие колхозники уходили, он считал, что все обойдется, что «немец — тоже человек». Ему повезло. Деревушка его далеко от шоссейной дороги, и немец так до нее и не дошел. Старик единоличник прожил два месяца не плохо. Заявились к нему немцы только перед своим уходом, когда он уже надеялся, что нелегкая вывезла. Это были отступающие немцы. Старик вовремя успел убежать в лес. Избу немцы разграбили и увели корову. Теперь он ее искал.

— У нас так люди говорят,— сказал он,— что немцев в Волоколамске окружили, я и пришел. Думал, найду мою корову. Ан, оказывается, окружение-то вышло неполное.

— Да они, дедушка, наверно, уж съели твою корову.

— Нет,— сказал старик убежденно,— они ее на Берлин погнали, в Германию. Пойду поищу, может, где-нибудь здесь бросили. Смотри, сколько машин покидали! Ишь бежали, черти! — добавил он с ненавистью.

Он быстро пошел вверх по улице. Потом остановился и, обернувшись ко мне, закричал тонким голосом:

— Что же вы, товарищ командир? Окружать их надо, гадов! Окружать! Так их окружать, чтоб... Эх!

Он махнул своей веревкой и побежал дальше.

Уже много писалось о том, каких дел натворили фашисты в Волоколамске, как изломали, пожгли, загадили милый городок, как повесили они там восемь советских патриотов и не снимали их с виселицы сорок пять дней. И когда бы ни вышел волоколамский житель на улицу и куда бы он ни пошел, он никуда не мог уйти от этого страшного зрелища.

Я зашел в один из домов, в котором расположился штаб нашей части.

В клетушке, примыкавшей к большой комнате, где за картой сидели командиры, я увидел двух женщин и маленькую девочку.



Мы разговорились. Я заметил, что люди, избавившиеся от немецкой власти, становятся очень разговорчивы, как будто хотят сразу выговорить все, что собралось у них на душе. Во время разговора одна из женщин, видно, когда-то полная, а теперь дряблая сорокапятилетняя женщина в кофейного цвета платочке, несколько раз принималась плакать. Фашисты застрелили ее сына, четырнадцатилетнего парнишку, когда он пытался проскочить в ближайшую деревню, где стояли тогда передовые части Красной Армии. Женщина обстоятельно перечислила, что забрали у нее немцы. Я занес в блокнот этот список: корова, 8 овец, 2 свиньи, 26 породистых кур, 40 пудов овса, много муки, крупы, сала и масла. Это только продукты. Кроме того, немцы вынесли решительно все вещи, которые были в доме. А их, по рассказу женщины, было немало.

— Каждую тряпочку смотрели на свет и, если сгодится, брали. Елочные игрушки — и те взяли. Вон для нее берегла.

И женщина кивнула на свою дочурку, которая за время разговора успела взгромоздиться на колени начальника штаба, водила пальчиком по карте и с уважением спрашивала:

— А это что, дяденька?

— Ну, ну, девочка, спокойненько. Не мешать дяде,— отвечал начальник штаба рассеянно.

— За людей нас не считали,— сказала женщина. Она вытерла платком глаза, потом высморкалась.— Их у нас тут в доме много перебывало, немцев-то. Что ребенок? Кому он может помешать? А немец идет по комнате и никого не видит. Наткнется на ребенка,—

ребенок в сторону летит. А немец даже не оглядывается. Не замечает.

— Вот! Будешь в другой раз знать! — крикнула вдруг вторая женщина, очевидно соседка, маленькая, простоволосая, с решительным морщинистым лицом.— Будешь теперь знать! Будешь теперь знать, какие твои немцы! Все ходила, все говорила: «Врут газеты, немец нам зла не сделает». Не сделает, не сделает! Дождалась! Тьфу!

— Все сделал, как в газете,— сказала первая женщина.— А я думала, немец культурный! Теперь одно остается — бить немца!

Я уже не в первый раз слышал эту фразу: «Немец все сделал, как в газете». Она очень характерна для тех людей, которые думали, что немец не может быть таким чудовищным зверем, как об этом пишут в газетах.

— Бить его! — повторила женщина.— Так бить, чтоб ни один живым не ушел!

Теперь эти люди многое поняли. Женщина из Волоколамска, у которой при советской власти было довольно большое имущество, думала, что она недостаточно счастлива при советской власти.

А на самом деле она была очень счастлива! Ей очень хорошо жилось в чистеньком волоколамском домике, в тепле и довольстве. Но она не ощущала своего счастья.

Она ощущает его сейчас, когда у нее в доме ничего не осталось. Она счастлива лишь тем, что ушли немцы, что не будут больше висеть под окнами восемь повешенных, что никогда больше не услышит она грохота немецких сапог.

Нет счастья без родины, свободной, сильной родины.

Нет и не может быть.

Люди, которые не понимали этого, поняли это сейчас. Жизнь научила их.

6 января 1942 г.

«ПТЕНЧИКИ» МАЙОРА ЗАЙЦЕВА

Я проехал необозримое снежное поле, где особые машины беспрерывно разравнивали и утрамбовывали снег, миновал несколько десятков аэропланов, расставленных на довольно большом расстоянии друг от друга, и подъехал к деревушке. Тут дальше автомобиль проехать не мог. Пришлось идти по чьим-то следам, глубоко вдавившимся в снег.

Майор Зайцев стоял во дворе домика, на пустом ящике, и смотрел через бинокль в молочное небо.

Он рассеянно со мной поздоровался и тотчас же снова взялся за бинокль.

— Летит,— сказал он наконец, облегченно вздохнув, но не опуская бинокля.

— Я не вижу,— заметил я.

— Он в облаках. Сейчас увидите.

Действительно, через две минуты совсем низко над землей вышел из облачной мути пикирующий бомбардировщик.

Майор продолжал стоять на своем ящике. И, только когда бомбардировщик благополучно сел, майор опустил бинокль и, как бы впервые меня увидев, улыбнулся.

— Пойдемте,— сказал он.

Мы пошли на аэродром. Самолет подруливал к своему месту. Вскоре он остановился. Было видно, как от него отделились три человека в меховых комбинезо-

нах и быстрым шагом пошли нам навстречу. Майор Зайцев тоже прибавил шагу. Теперь он нетерпеливо ждал донесения. Трое в комбинезонах почти бежали. Полевые сумки подпрыгивали на их бедрах. Это были очень молодые люди, на вид почти мальчики.

Обе наши группы с ходу остановились. Все взяли под козырек.

— Товарищ майор, ваше задание выполнено! — крикнул молодой человек, стоявший впереди.— Бомбили на аэродроме К. скопления неприятельских самолетов.

Вся тройка молодых людей — летчик, штурман и стрелок-радист — была очень взволнована. Оказывается, за немецким аэродромом охотились уже целую неделю, ждали, когда немцы перегонят туда самолеты. И вот наконец дождались. Донесение было очень серьезное, и майор не скрывал своей радости.

После первой же фразы донесения строго официальная часть кончилась, и трое юношей, перебивая друг друга, стремясь вспомнить все подробности полета и ничего не пропустить, принялись рассказывать, как было дело. Видимость была плохая, и почти весь полет прошел в облаках. Шли по приборам. Когда вынырнули из облаков, немецкий аэродром оказался справа. На нем было не меньше двадцати самолетов.

— Там было еще два четырехмоторных,— вставил штурман.— Они вот так стояли.

И он стал чертить на снегу ногами в меховых унтах расположение четырехмоторных самолетов.

Никто так хорошо не знает положения на фронте за последний час, как летчики. Здесь уже с утра имели сведения, что немцы начали беспорядочный отход. Дороги забиты обозами. Вот уже три часа, как наши бомбят эти обозы.

Меня поразило, что летчики и их командир ни разу не взглянули на карту.

— Мы тут все наизусть знаем,— сказал майор, не оборачиваясь.

Молодые люди продолжали свой рассказ.

Как только они увидели справа от себя немецкий аэродром, начали бить зенитки. Забегали люди.

— Ну? — сказал майор нетерпеливо.

— Я, значит, принял решение,— сказал летчик,— стал заходить на цель.

— Это правильно,— заметил майор.

Он знал, что экипаж шел без сопровождения истребителей, и решение, которое принял командир самолета,— идти в бой против многих истребителей и зенитных снарядов, вместо того чтобы уйти в облака и дать газу,— было мужественное решение.

— Зашли мы, значит, точно и отбомбились.

— Результаты? — спросил майор.

— Не знаю,— сказал летчик,— все в дыму было. Как-никак сбросили четыре сотни, не считая осколочных.

— Я им еще дал пить из пулемета,— вставил стрелок-радист.

— Сказать честно,— добавил штурман,— ничего не было видно. Один дым.

— Тогда я принял решение — пошел в облака и лег на обратный курс,— сказал летчик.

— Правильно сделал,— сказал майор.— Ну, товарищи, теперь быстренько в штаб. Донесение серьезное.

Мы пошли к только что прилетевшему бомбардировщику. Его заправляли к следующему вылету. К кассетам подкатывали в решетчатой деревянной таре тяжелые бомбы. Их с трудом поднимали на руках и вкладывали в кассеты. На них были еще следы снега. В пустые места, остававшиеся в кассетах, впихивали листовки для германских солдат. Механики проверяли открытые моторы. Из подъехавшей к самолету цистерны перекачивали бензин. Над самолетом трудились человек пятнадцать. Они работали так быстро, что даже не имели времени повернуть голову — естественное движение человека, который чувствует, что на него смотрят. От людей валил пар. Было очень холодно.

Майор показал мне множество мелких и крупных латок на крыльях и хвостовом оперении самолета. Латки были сделаны очень аккуратно и закрашены.

— Вчера наши птенчики привезли штук шестьдесят пробоин,— сказал майор.

В это время майору доложили, что другой экипаж другого самолета готов к вылету. Моторы запущены.

Майор дал разрешение на вылет, и мы снова пошли к домику. Когда мы шли, над нашей головой низко пролетел бомбардировщик.

— Это он? — спросил я.

— Это сосед,— ответил майор, не поднимая головы.

— Откуда вы знаете? Вы ведь даже не посмотрели на него.



— А по звуку,— сказал майор с удивлением, очевидно, поражаясь моей неосведомленности.

— Я узнаю по звуку и собственный самолет,— сказал политрук Дубинин, который шел рядом с нами.

— Он милого узнает по походке,— заметил майор, усмехаясь. Но тут же стал очень серьезен.— Пошел,— сказал он, прислушавшись.

И начался новый пятидесятиминутный тур сдерживаемого изо всех сил волнения.

Прошло десять минут. Мы сидели в домике.

— Поступила радиограмма,— доложил радист.— «Все в порядке. В строю самолетов один».

— Хорошо,— сказал майор.— Теперь будут самые неприятные десять минут. Они будут бомбить и не смогут давать радиограммы.

Я стал перелистывать любовно сделанный альбом — историю части. Здесь были портреты летчиков-орденоносцев, диаграммы боевых вылетов, своих и немецких потерь. Я вздрогнул, когда услышал голос радиста:

— Товарищ майор, поступила радиограмма: «Все в порядке. Задачу выполнили. В строю самолетов один».

— Это хорошо,— сказал майор.— Отбомбились. Теперь будут самые неприятные десять минут. Ведь они у меня пошли без сопровождения.

Майор некоторое время походил по комнате, потом молча вышел. Я пошел за ним. Он погулял по двору, посмотрел на часы, ступил на свой ящик и взялся за бинокль, висевший у него на груди.

— Летит,— сказал он и поднес бинокль к глазам.

Мы пошли на аэродром. И повторилось все то, что я уже видел. Новая тройка шла, почти бежала нам навстречу. Майор торопился к ним.

— Вчера не вернулся один экипаж,— сказал он на быстром ходу.— Замечательные ребята! Я еще не теряю надежды. Могут еще прийти. Правда?

— Конечно,— ответил я,— теперь от немцев часто приходят.

— Я тоже так думаю,— сказал майор.

Он остановился и, приложив руки к шлему, стал слушать донесение.

Вечером я разговаривал с первой тройкой, бомбившей аэродром. Уже из штаба армии было получено известие, что наша авиация уничтожила все немецкие самолеты, обнаруженные утром. Настроение у трех молодых людей было приподнятое. День прошел очень хорошо.

Мы сидели в комнате политрука Дубинина — комиссара эскадрильи, опытного, знающего пилота. Он воспитал эту тройку и гордился ею.

— Вот они, наши птенчики! — сказал он.— Летчик сержант Мельников, штурман сержант Гапоненко и стрелок-радист старшина Каверников.

«Птенчики» переглянулись и засмеялись.

Выяснилось, что экипажу самолета шестьдесят два года: Мельникову — двадцать три, Каверникову — двадцать, а Гапоненко — девятнадцать.

— Как раз стукнуло шестьдесят два,— заметил Мельников со смехом.

— Да вы, ребята, снимите комбинезоны,— сказал политрук,— здесь жарко. Опустите их до пояса. Как в столовой.

«Птенчики» опустили комбинезоны, и тогда на трех гимнастерках засветились золотом и эмалью три новеньких ордена Красного Знамени.

Я хотел бы рассказать читателям биографии этих молодых храбрецов. Но их нет еще. Их биографии только еще начинаются. Во всяком случае, семьдесят четыре блестящих боевых вылета — прекрасное начало.

Как все было? Они учились. Мельников окончил семилетку. Потом учился в животноводческом техникуме. Мечтал стать музыкантом, но в музыкальный техникум ему не удалось попасть. Потом он работал на лесозаводе и без отрыва от производства учился в аэроклубе.

— Когда к нам приехали летчики, настоящие летчики, отбирать ребят в летную школу, они мне сразу понравились,— сказал Мельников,— вот они, оказывается, какие, летчики... Такие, знаете... эластичные. Они мне здорово понравились с первого раза.

Со своими двумя неразлучными спутниками Мельников познакомился уже в части. Гапоненко кончил десятилетку в кубанской станице. В день окончания школы выпускники гуляли со своими девушками. Был теплый кубанский вечер. Они встретили почтальона. «А,— сказал он,— вот вы где, ребята!.. Вас-то мне и надо». И роздал им всем повестки из военкомата. Уже на другой день девять юношей были в Краснодаре, и всех девятерых зачислили в школу штурманов. Им дали погулять тринадцать дней. Последние тринадцать дней детства. И сразу началась юность.

Гапоненко смотрит на себя, того кубанского, с высоты по крайней мере пятидесяти лет — так много времени ушло за последний год! Смотрит с некоторым даже юмором:

— Я такой был... Жоржик. Волосы челочкой. Кепочка. Одним словом, совсем не то. Вылетел я как-то с инструктором, в школе. Должен был проложить курс. Говорю инструктору: «Подъезжаю к цели». А инструктор обернулся и говорит: «Учтите, курсант: мы не подъезжаем — мы летим».

Каверников был шофером.

— Три года вкручивал это дело,— сказал он хмуро.

Потом со сказочной быстротой школа стрелков-радистов, война, первый боевой вылет.

Об этом первом боевом вылете вся тройка говорит с юмором. Но, видно, ребятам было тогда не до юмора.

— Летели и земли не видели,— сказал Мельников.

Прежде чем полететь, распрощались со всеми, сделали распоряжения, как поступить с несложным их имуществом, отдали фотографии любимых девушек. Одним словом, полетели в полном убеждении, что никогда больше не вернутся. А потом привыкли. Ничего. Летают.

— Заядлое дело,— сказал Мельников.— Затянуло.

— Они вам про себя не расскажут,— заметил политрук Дубинин.— Смотрите, первый полет был у них в октябре, а сейчас как будто десять лет летают. Талант! Помню, брал их ведомыми в облака. Левый самолет сразу вывалился, а эти, справа, идут. Криво, косо, а все-таки идут. Ну, думаю, оперяются птенчики. А потом как стали летать! Только держись! Один раз немцы хотели их от меня оторвать (а оторвут — значит, конец!). Смотрю, машина Мельникова, как венком, окружена черными разрывами. Но ничего. Молодцы! Шли вперед. Хорошо держали строй! Тогда они и подбили «мессершмитта» под Солнечногорском.

«Птенчики» хмурились.

Им было неловко, что их так хвалят.

15 января 1942 г.

ВОЕННАЯ КАРЬЕРА АЛЬФОНСА ШОЛЯ

Знакомство наше произошло под землей, на глубине трех метров. Было это в землянке, в очень хорошей землянке, являющейся составной частью целого подземного городка в густом еловом лесу, недалеко от Малоярославца.

Альфонс Шоль был в немецкой зеленой шинели с ефрейторскими нашивками, ботинках из эрзацкожи и пилотке из эрзацсукна. Альфонс Шоль плакал, размазывая слезы на своем грязном лице большой, грубой рукой с серебряным обручальным кольцом на указательном пальце. Я старался его утешить.

— Вы только на них посмотрите! — говорил Альфонс Шоль, в десятый раз расстегивая шинель и доставая фотографическую карточку.— Это жена и сын.

И я в десятый раз вежливо рассматривал карточку, а ефрейтор в десятый раз принимался всхлипывать и размазывать по лицу слезы.

На карточке были изображены очень некрасивая толстая молодая женщина, которую провинциальный фотограф (чего не сделаешь для искусства!) заставил окаменеть в чрезвычайно неудобном положении, и пятилетний мальчик — вылитый папа. У мальчика были такие же, как у папы, оттопыренные ушки и низкий лобик. Только у папы выражение лица было плаксивое, а у мальчика капризное. Когда видишь сына,

похожего на отца, как две капли воды, отца почему-то становится жалко.

Альфонс Шоль рассказывал о себе охотно и торопливо, как человек, который боится, что ему не поверят, хотя и говорит чистейшую правду.

Взяли его сегодня утром. Красноармейцев поразило одно обстоятельство. В отличие от прочих немецких пленных, обычно заросших, грязных, вшивых, в разодранных шинелях и дырявых сапогах, Альфонс Шоль являл собою необычайное зрелище. На нем все было новое — шинель, пилотка, ботинки. Все это не только не успело пропитаться запахами войны: порохом, дымом и отработанным бензином,— но сохранило, правда, военный запах, но свойственный никак не передовым позициям, а глубокому тылу — запах цейхгауза. Только лицо и руки были у него грязные. И на грязном лице светлели пятна от слез.

Его взяли в семь часов утра. Он сидел в снежной яме и дрожал. Он поднял руки еще задолго до того, как к нему подошли.

На первом же допросе он сообщил, что прибыл на фронт три дня назад и еще ни разу в жизни не стрелял.

Военная карьера этого молодого человека началась два года назад. Ему посчастливилось: он попал в Краков, в караульную часть, и целый год занимался тем, что стоял на часах у солдатского публичного дома. Конечно, это не слишком почетная обязанность — охранять публичный дом. И сцены, которые происходят у входа в это почтенное, чисто германское военное учреждение, не так уж приятны. Но там никто не стрелял в Альфонса Шоля. Там было безопасно. И Альфонс Шоль был очень доволен. Он сказал мне, что считает краковский период своей военной деятельности наиболее для себя удачным.

— Там было хорошо,— добавил он, подумав,— там было очень хорошо!

Это существо в ефрейторской шинели, с мозгом овцы и мордочкой хорька, разговаривало с полной откровенностью. Оно старалось все рассказать, ничего не пропустить, раскрыть всю свою душу.

— Разве это хорошо,— сказал я,— что немцы на завоеванной земле сгоняют женщин в солдатские публичные дома?

Он очень хотел ответить так, чтобы это мне понравилось. Но он не понимал, какого мнения я от него жду. Поэтому он ответил неопределенно:

— Солдатский публичный дом — это как воинская часть. Меня поставили — я и стоял.

Следующий этап в деятельности Альфонса Шоля был менее удачным. Но жить еще можно было. Его перевели в польский город Ясло денщиком к старшему лейтенанту. Он чистил лейтенанту сапоги. Что он еще делал? Он еще чистил лейтенанту мундир.

Я спросил его, что он может сказать о польском населении.

— Поляки с нами не разговаривали,— ответил Шоль.

— Как? Совсем не разговаривали?

— Они с нами никогда не разговаривали. Если мы спрашивали что-нибудь, поляки не отвечали.

— Это, наверно, было неприятно?

— Не знаю. Я как-то не думал об этом. Они просто с нами не разговаривали. Они, наверно, не хотели с нами разговаривать. Потом началась война с Россией. И я все время боялся, что меня пошлют на фронт. Но все было хорошо, и лейтенант оставался в Ясло. И только в декабре нас вдруг собрали и послали на фронт.

— Кого это — нас?

— Ну, нас. Денщиков. Писарей. Всяких, которые в тылу.

Это был, в сущности, первый интересный факт, который сообщил Альфонс Шоль. Германское командование в стремлении затянуть дыры кинуло под Москву писарей и денщиков.

— Что вы скажете о смещении Браухича? — спросил я.

— Мы услышали об этом в пути, на какой-то станции, по радио. Было сказано, что у Браухича больное сердце и что теперь будет командовать фюрер. А солдаты между собой говорили...

Ефрейтор испуганно оглянулся на дверь, как будто из нее мог появиться его хозяин — старший лейтенант,— и зашептал:

— ...солдаты между собой говорили, что фюрер поссорился с Браухичем. Они говорили, что Браухич хочет дать солдатам с Восточного фронта отдохнуть и хочет заменить их свежими войсками. А фюрер,— ефрейтор снова оглянулся,— а фюрер говорил, чтобы их оставить на фронте, и вот они не поладили.

Это был второй интересный факт.

Я уже несколько раз слышал от германских солдат такое толкование. И дело не в том, что оно глупое, а в том, что действия Гитлера истолковываются его солдатами по-своему и не всегда в его пользу.

Вся сила Гитлера заключалась в том, что внешне все выходило так, как он говорил. Он сказал, что разгромит Францию и Польшу,— и он добился этого. Он говорил, что разобьет англичан в Греции и в несколько дней покончит с Югославией,— и он сделал это. Но в России его ждала неудача. Теперь в германской армии происходит интереснейшее явление: там есть еще дисциплина, там есть еще много оружия, армия еще очень сильна, но вера в победу подорвана.

Война будет продолжаться еще долго, но рана, нанесенная Гитлеру, не заживет.

Этими мыслями я не поделился с ефрейтором Альфонсом Шолем. Он попросту не понял бы их.

25 января 1942 г.

НА ЗАПАД

На пути наступления наших войск, среди сожженных и разрушенных врагами деревень, стали попадаться деревни, в которых немец, оказывается, так и не успел обосноваться. Я видел там живых кур. На территории, которая была занята немцами, живые куры кажутся удивительными для наших широт существами. Красноармейцы удивились бы меньше, если бы увидели страусов. В одной из таких деревень мне рассказывали, что немцы заходили туда только один раз, но жители успели многое спрятать (в том числе даже и кур), а немцы не имели времени на поиски.

Это места, которые принято называть глухими. И сами деревни, и подходы к ним завалены глубоким снегом. Наши части медленно продвигаются вперед, обходя узлы сопротивления и вынуждая противника освобождать каждый день по нескольку населенных пунктов.



Представьте поля и леса, занесенные снегом на метр-полтора. Представьте себе дороги, узенькие, проселочные дороги, которые беспрерывно надо расчищать и расширять, воздвигая по сторонам снежные стены в человеческий рост. Представьте, наконец, ледяной ветер, бесцеремонно гуляющий по полям, залезающий за воротник, под ушанку, под шинель, ветер, от которого некуда уйти,— и вам станет ясно, что собою представляет театр войны в двухстах — трехстах километрах от Москвы.

Немцы, такие самоуверенные в первые две недели войны, уже на третьей неделе стали жаловаться. Сперва они жаловались, что русское население их не понимает. Потом стали жаловаться на партизан, на то, что русские воюют «не по правилам». Потом, в октябре, они заявили, что им мешает осенняя грязь. В ноябре они подняли крик на весь мир, что им мешает мороз, которого в то время не было. И с тех пор Гитлер не перестает жаловаться на мороз.

Впрочем, черт с ним, с Гитлером. Вор, который ночью залез в чужой дом и встретил хозяина с револьвером, тоже, вероятно, жалуется на что-нибудь!

Мы каждый день читаем в сводках Информбюро о том, что заняты новые населенные пункты. Их уже перестали называть: так их много. Вы едете в дровнях (на автомобиле тут не проедешь) и поражаетесь, до чего долго нужно ехать между этими населенными пунктами и какие ожесточенные бои шли почти за каждую деревушку.

С ужасным скрипением, заглушающим шум «юнкерсов», которые время от времени появляются в чистом голубеньком небе, наши дровни выползают на железнодорожный разъезд. Еще издали видна кирпичная водокачка, развалины путевой будки и несколько вагонов с паровозом. Во избежание недоразумений я назову этот разъезд буквой К. После войны весьма обычное название этого разъезда станет одним из знаменитых названий, а проезжающие мимо путешественники будут снимать шляпу у монумента, который, конечно, будет здесь установлен.



На днях здесь был бой. Далеко вокруг начинаются следы разрывов мин и снарядов. И чем ближе к разъезду, тем гуще они становятся. На самом разъезде нет ни одного метра почвы, которого бы не коснулся огонь войны. На путях, покрытых закопченным снегом, стоит железнодорожный состав — ржавый паровоз, несколько теплушек и среди них длинный изотермический вагон. Они так густо пробиты пулями и осколками, что просвечивают насквозь. Вдоль вагонов, от начала состава и до конца его, лежат трупы немцев. Мы едем на низких дровнях по эту сторону вагонов. Немцы лежат по ту сторону. Мы видим, как между колесами мелькают их руки, согнутые или вытянутые, будто мертвые люди хотят схватить колеса мертвого поезда.

Мы тащимся через переезд. Слева — лесок.

— Там, у опушки,— говорит красноармеец, который едет с нами,— набито их еще человек пятьсот.

Но пройти туда трудно: слишком глубок снег; и мы едем дальше, от деревни к деревне, от пункта к пункту, которых так много, что их уже не перечисляют в сводках, и каждый из них не похож на другой, и в каждом было сражение, и у каждого была своя судьба. Мы проезжаем большое село, которому повезло. Наши бойцы ворвались в него с такой быстротой, что немцы не успели его поджечь. Дальше деревня, пострадавшая от бомбардировки, но не слиш-

ком сильно. Бой шел здесь лишь этой ночью, а вернувшиеся жители уже снова хозяйничают в своих домах. Еще дальше село Доманово. Немцы сожгли его ночью. Я вижу ужасную картину полного и всестороннего уничтожения — картину, какую видел уже не раз. Женщина злобно раскидывает вилами дымящиеся кирпичи фундамента. Она надеется найти немного картошки, которая оставалась у нее под полом. В конце деревни вырыта большая яма. Человек пятьдесят женщин и стариков молчаливо толпятся вокруг. Мы подходим. Это похороны. Рядом с братской могилой в два ряда лежат исковерканные тела пленных красноармейцев. Фашисты расстреляли их, прежде чем уйти. Тут и тела убитых жителей.

Женщины рассказывают нам, как все произошло. Они не плачут. Уже давно выплаканы слезы. Теперь это сгусток горя, отвердевший, как тело убитого сына или отца. Он давит на сердце, но уже не может вызвать слез. Он вызывает только ярость.

Да! Еще и еще раз мы говорим о том, что сделали фашисты с военнопленными и мирными жителями, и будем говорить и кричать об этом. Когда видишь все собственными глазами, невозможно молчать, преступно молчать. Нужно собрать все факты, ничего не забыть, все занести в книгу мести.

Немцы расстреляли в Доманове семьдесят пленных красноармейцев, вот этих, которые лежат сейчас возле приготовленной для них могилы. Сначала пытали их, потом расстреляли. Женщины видели, как их вели, и слышали выстрелы. Немцы расстреляли в селе Доманове Василия Афанасьевича Новикова за то, что он был депутатом сельсовета, Антона Борисовича Ермакова, ветеринарного врача, крестьян Ивана Васильевича Нюнекова, Антона Тимофеевича Короткова, Михаила Ивановича Илларионова и Константина Семеновича Симонова, семидесятилетнего старика. Его немцы расстреляли за то, что он не хотел отдать им своей шубы и валенок. Фашисты убили четырнадцатилетнюю девочку Нину Уткину. Они затащили ее в конюшню, надругались над девочкой и закололи ее ножом в спину. Фашисты расстреляли семью Поликановых — старика

и его невестку. Трех маленьких ее детей они бросили в поле, в снег, в мороз.

Все идут и идут деревни, которых так много, что их невозможно перечислить. И мы подъезжаем к последней освобожденной от немцев деревне. Бой идет за следующую.

Здесь мне посчастливилось разговаривать с Василием Селиным, старшим сержантом, героем сражения за переезд, который мы проезжали утром. Этот громадного роста, ширококостный сибиряк, в своем маскировочном халате похожий на бедуина с русским лицом, вел бой в одном из вагонов.

— Там был хороший длинный вагон,— сказал он,— он был как будто покрепче других. Только я в него не попал. А попал я в простой товарный. Ну, и клал немец минами, только щепки летели. Три раза мы заходили в эти вагоны. Только тут не так было интересно. Интереснее было, когда немец шел в последнюю контратаку, в нее шли те пятьсот немцев, что лежат сейчас под снегом на опушке леса.

И Василий Селин рассказал то, что я уже слышал от его командира и от его товарищей. У них это было гораздо интереснее. У него куда проще. А сделал он вот что. Подполз с пулеметом к двум немецким орудиям, которые вели огонь по переезду, перебил всю орудийную прислугу с офицером во главе и тотчас открыл огонь из немецкой пушки по путевой будке, где засели немцы. Там у немцев были пулемет, миномет и радиостанция. Помогал ему боец Голубев.

Я видел эту будку на разъезде. От нее ничего не осталось.

— Как же вы так сразу смогли стрелять из орудия?

— А я ж раньше был артиллеристом,— сказал Селин,— вторая профессия.

Совсем недавно, еще в 1929 году, Селин, как он выразился, не знал ни одной буквы. Он хорошо работал в колхозе, и его решили послать на курорт.

— Ну, я на курорт не дал согласия,— сказал Селин,— просился в совпартшколу.

Был он председателем сельсовета, и директором МТС, и директором леспромхоза.

Советская власть научила его грамоте в зрелые годы, сделала его не только полезным, но и видным членом общества. Теперь он борется за свою советскую, народную власть.

Он простужен, кашляет, разговаривает хрипло. Он только что пришел из снега (его батальон окружил деревню). Сейчас он пойдет снова туда. Ночь. Но он хорошо знает дорогу. Он закуривает еще одну козью ножку в тепле. Потом он уходит, огромный, широкий, русский человек, надев на шею трофейный немецкий автомат.

— Думаем, к утру деревня будет наша,— говорит командир, задержавшийся еще на некоторое время в избе.

К утру будет занята еще одна деревня, название которой так и не укажут в сводке, потому что слишком много деревень будет занято на фронте в это утро.

13 февраля 1942 г.

В ФЕВРАЛЕ

— Сейчас я вам покажу его,— сказал генерал. Он повернулся к двери и крикнул: — Фриц!

Дверь отворилась, и в комнату живо вошла громадная немецкая овчарка. Она оглядела всех находившихся в комнате и остановилась перед генералом.

— Видите, какие мы берем трофеи,— сказал генерал.— Ну, садись. Как это по-немецки? Зецен зи зих!

Фриц сел, радостно глядя на окружающих.

— Молодец! — сказал генерал.— Заслуживает поощрения.— И он бросил Фрицу кусочек хлеба.— Теперь дай лапу. Черт его знает, не помню, как по-немецки лапа. Одним словом, давай лапу!

Он сначала потянул собаку за лапу. Потом дал ей кусок хлеба.

— Теперь понимаешь? Ну! Дай лапу!

Умная собака подняла лапу и тотчас же получила новый кусочек хлеба.

— Смотрите, понемногу приучается к русскому языку. Совсем ручная стала. Интересно: чья она была? Наверно, какого-нибудь интенданта. Мы взяли ее с немецким обозом.

Пошел третий месяц, как война вступила в новую фазу. Мы двигаемся вперед и забираем обозы. К этому привыкли и бойцы и командиры. Неуклонное движение вперед стало не только военной задачей, но и бы-

том армии. Появилось множество новых бытовых черт, сопутствующих этому новому периоду войны. Произошло это прежде всего потому, что наступающая армия всегда узнает об отступающей армии очень много деталей, которых она не знала раньше.

Если раньше, до нашего наступления, мы знали немцев слишком общо, то теперь знаем их во всех подробностях. Это как с предметом, который мы видим сначала простым глазом и замечаем лишь общие его черты, а потом смотрим на него через микроскоп и видим неведомый нам до сих пор мирок микроорганизмов.

Мы узнали о немцах и значительное и незначительное, и чудовищное и юмористическое. И, что самое главное, узнали не только штабы (они и раньше знали, что собою представляют немцы), но вся масса красноармейцев. После первого же большого отступления германская армия открылась нашему взору во всей своей силе и слабости, со всеми своими обозами, штабами, приказами, складами, — со всякого рода нестроевщиной, которая играет такую важную роль в жизни всякой армии.

Не в том, конечно, дело, что на командном пункте прижилась, так сказать, дважды немецкая овчарка или что красноармейцы курят немецкие эрзацсигареты и поругивают их (кисленькие и слабенькие, как солома). Дело в том, что вместе с фальшивым ореолом непобедимости с немцев сошел и сопутствующий ему ореол некоей загадочности. Слишком уж хорошо слаженным представлялся кое-кому организм германской армии. В этом было что-то непонятное. А в войне непонятное действует на войска гораздо сильнее, чем самое ужасное, но понятное.

Теперь немцы «понятны» и нашим обозникам. На днях на наш обоз возле деревни Б. неожиданно напали немцы. Они производили довольно серьезный контрманевр, от которого многого ожидали. И вот на их пути встретился наш обоз. Обычно столкновение передовых войск с обозом заканчивается быстрым разгромом обоза. Но наши обозники быстро организовали оборону (в обозе находился энергичный коман-

дир) и не только отбили атаку немцев, но далеко отогнали их и расстроили все их планы.

Это были самые обыкновенные обозники, которые не столько воюют, сколько погоняют лошадей. Но они прошли перед этим большой путь, видели много немецких трупов, сожженных немцами деревень, убитых немцами жителей, брошенных немцами автомобилей и орудий, немецких пленных и пришли к убеждению, что «немец» при всем своем зверстве не так уж силен, как это казалось раньше. И точно. «Немец» попятился от обозников, когда они проявили решимость и мужество.

Интересно, что немецкие обозники, до которых мы наконец по-настоящему дорвались, находятся в прямо противоположном психологическом состоянии, чем наши, и совершенно не выдерживают удара наших передовых частей.

Новое знание противника, которым обогатилась сейчас Красная Армия, дает возможность яснее увидеть, что представляют собою немецкие солдаты сейчас, в феврале.

Их можно условно разделить на две категории: старых фронтовиков, некоторым образом «ветеранов» войны, и резервистов, присланных на фронт в январе и начале февраля. Фронтовики сражаются упорно. Разумеется, не все они таковы. Но в основном это стойкие войска. Вероятно, по этой причине я видел их главным образом мертвыми. Их очень много на дорогах, на опушках, у снеговых окопов, возле изб, превращенных ими в укрепленные точки. Они сражались с ожесточенным отчаянием в своих подранных, вшивых шинелях, в худых сапогах, обмотанных тряпками, в краденых бабьих платках. В течение одной лишь короткой поездки я насчитал их несколько сот.

В тот же день я разговаривал с десятком резервистов, только что взятых, вернее сдавшихся в плен. Это — главным образом солдаты, находившиеся раньше на нестроевых должностях. Все они были в совершенно новом обмундировании, правда обыкновенном, не зимнем. Ни один из них не был на фронте больше двух недель. И были среди них такие, которых только

три дня назад привезли на самолетах из Германии. Они были совершенно одинаковы не только своими новыми шинелями, но и своим внутренним содержанием. Говорили они примерно одно и то же. Они уверены, что Германия уже не может выиграть войну. Теперь у них одно желание — спастись. Спастись любой ценой.

Не подумайте, что я видел классово сознательных рабочих или крестьян, понявших реакционную, империалистическую сущность гитлеровского режима. Нет. Это типичные тупые гитлеровские солдаты, почти неодушевленные существа, скорее предметы, чем люди. Для них жизнь сводится, как у животных, к еде и питью, и отличаются они от животных только тем, что животные не посещают солдатских публичных домов, не носят шинелей, мундиров и погон и не хранят в бумажнике рядом с порнографическими открытками фотографий жен и детей, так как они не сентиментальны.

Я был не совсем точен, когда сказал, что у этих резервистов не было зимнего обмундирования. Один из них — вахмистр Христоф Сайц — был обладателем роскошных эрзацваленок, недавно поступивших на довольствие германской армии и предназначенных ввиду небольшого количества лишь для солдат, идущих в караул или в разведку.

Христоф Сайц, очень аккуратный, подтянутый немец, стоял посреди кружка красноармейцев и сконфуженно смотрел на свои ноги. Красноармейцы просто помирали со смеху. Сооружение, построенное каким-то специалистом по русской зиме из германского интендантства, представляло собою следующее: войлочный верх и деревянные подошвы. Очевидно, основательно изучив русские морозы, специалист придал своим валенкам форму коротких дамских ботиков с широким, в два пальца, идущим сверху донизу разрезом спереди и с двумя дамскими пряжками.

— Когда в них стоишь, еще ничего,— сказал Христоф Сайц,— но вот ходить в них невозможно. Только сделаешь шаг — в разрезы сразу же набивается снег.

Вахмистр Христоф не стоял в карауле и не ходил в разведку. Жил он в тылу и занимался хозяйством

роты прикрытия на одном из фронтовых аэродромов. Замысловатые ботики он получил «по блату». И теперь очень жалеет, что так много хлопотал, чтобы их получить. По его мнению, другие, более опытные, солдаты делают гораздо лучше, обматывая ноги поверх сапог разными тряпками и перевязывая их потом бечевками, так что в конце концов получаются два гигантских четырехугольных пакета.

— Я испытал меньше трудностей войны, чем те, которые на фронте,— сказал вахмистр,— и все-таки с декабря я стал думать о судьбе Наполеона. У нас в роте стали говорить, что, видно, нам не вернуться из России. Думали мы и о прошлой войне. Как-то так всегда получалось, что Германия вначале побеждала, а потом обязательно проигрывала войну. И с Наполеоном так было. Когда сместили Браухича, нам это показалось странным. Как это так? Все время был хорош, а потом вдруг сразу стал плох? Говорили о Гудериане и о других генералах. Все время были хороши, а потом вдруг стали плохи! То же самое Клюге. Мы решили, что фюрер убрал его потому, что Браухич поставил его командовать Четвертой армией. Потом мы говорили, что раз всюду мы отступаем, то, наверное, и здесь будем отступать. Конечно, так оно и вышло, потому что ведь солдаты всегда все хорошо понимают.

Вахмистр Христоф прижился у нас. К нему привыкли. Он очень сентиментален. Если сделать для него что-нибудь приятное, он плачет. Вид у него очень бравый, но вояка он плохой. Часть, которая взяла его в плен, все время двигалась вперед, и не было возможности отправить его в тыл. Он очень волновался, так как его мучила мысль, что немцы вдруг «выручат» его из плена, и все время просился, чтобы его поскорее отправили в лагерь.

— Этого если отпустить — сам назад придет,— говорят о нем красноармейцы.

Остальные девять были похожи на Христофа тем внутренним сходством, которое гораздо сильнее внешнего и которое позволяет говорить о типичности явления. Все это нестроевщина, которая отсиживалась в

тылу, а потом была брошена в пехоту. Они сдались недолго думая.

— Дело плохо. Все надоело. Из этой войны ничего хорошего не выйдет.

Вот и все их мысли. Среди них есть бондарь, маляр, есть крестьяне.

— Мы политикой не занимаемся. Для этого есть офицеры.



О своей армии и о Германии они рассуждают так, будто нанялись куда-то на работу со сдельной оплатой и на хозяйских харчах. Хозяин оказался сволочь, харчи оказались плохие, и теперь они просто бросили эту невыгодную работу. Довольно! С них хватит. Если Гитлер хочет, он может искать себе других работников.

Нет! Те, другие, гитлеровские фронтовики сражаются за свою добычу с умением и упорством профессиональных разбойников. Они еще есть. Их немало. И борьба с ними предстоит долгая и кровавая.

А эти... Эти уже начинают кое-что понимать.

21 февраля 1942 г.

«УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»

У этого простого солдата тонкое, выразительное лицо, длинные волосы, спадающие на уши, и так называемые артистические пальцы. Они, правда, грязные и потрескавшиеся, но они сохранили нервность и подвижность. Солдат беспрерывно перебирает ими полы своей длинной не по росту шинели.

Он музыкант из города Касселя — Рейнгард Райф. Он молод. Ему всего двадцать восемь лет, но он успел в жизни: окончил консерваторию по классу рояля и скрипки и вскоре стал преподавателем теории музыки в той же консерватории, в том же Касселе. В тысяча девятьсот тридцать девятом году его взяли в солдаты, и с тех пор он выполнял всяческую тыловую работу. На днях его отправили на советско-германский фронт, и он сразу же сдался в плен.

— Война — это ужас,— сказал он,— я никогда ничего подобного не ожидал.

Это очень характерно. Они все ожидали найти в России то, что нашли во Франции. Захлебнувшись в собственной крови, они поняли, что ошибались. Рейнгарду Райфу не понадобилось много времени, чтобы решить для себя вопрос о мире и войне. Он просто выбрал мир. Он уже избавился от страха смерти и испытывает сейчас приятное чувство безопасности.

Я задаю вопрос:

— Как вы относитесь к гитлеровскому режиму?

— О, все это мало меня интересует! Это политика. Для меня в мире существует только музыка.

— Вы — молодой человек. Вы развивались и формировались в гитлеровские времена. Не может быть, чтобы у вас отсутствовало всякое отношение к гитлеризму.

— Представьте, это так,— говорит молодой человек, приятно улыбаясь,— у меня есть одна любовь — музыка. Все остальное для меня не существует.

Я стараюсь стать на его точку зрения. Может быть, и вправду он убежден в том, что музыка и политика — понятия несовместимые. Что ж, музыка так музыка! Немного странно говорить о музыке, когда неподалеку идет тяжелый бой, а стекла избы, где происходит разговор, время от времени дребезжат, потому что «юнкерсы» имеют обыкновение сбрасывать бомбы, когда никто их об этом не просит. Но музыка — все-таки хорошая тема для разговора.

— Давайте же поговорим о музыке,— говорю я.

— С величайшим удовольствием,— говорит он.

— Что вы скажете о французской музыке?

— Простите, о французской?!

— Да.

Он поражен. Он некоторое время смотрит на меня с искренним изумлением. Потом, очевидно, вспомнив, что находится в плену, очень мягко говорит:

— Но во Франции нет музыки.

— То есть, как это нет?

Он смотрит на меня с некоторым сожалением, потом объясняет:

— Нет французской музыки.

— Вы не знаете ни одного французского композитора?! Не можете назвать ни одной фамилии?!

— Н-нет...— говорит он, пожимая плечами и, видимо, пытаясь вспомнить.— Французских? Н-нет, не знаю.

— Хорош! — восклицает комендант — майор, кото-

рый ходит по избе и, видно, не одобряет этого разговора о музыке.— А «Фауст» Гуно? А «Кармен» Бизе? Хорош преподаватель! Просто он врет. Никакой он не музыкант!

— Погодите,— говорю я,— еще минуточку,— и обращаюсь к пленному: — А русских композиторов вы знаете?

— Русских? Конечно! Кто их не знает! Чайковский!

— Еще бы! А что сочинил Чайковский?

— Пятую и Шестую симфонии. О! Это гениальные произведения!

— А вы знаете, что ваши солдаты и офицеры наделали в Клину, в домике Чайковского, там, где он писал эти гениальные произведения?

Я коротко рассказываю ему об этом.

— Это ужасно! — говорит он.— Вероятно, так оно и было.

Видно, он хорошо знает, на что способно гитлеровское войско.

— Ну, а что еще написал Чайковский?

Музыкант молчит.

— Неужели вы не знаете? Никогда не слышали?

Музыкант пожимает плечами.

— Врет он,— сердито бормочет майор,— никакой он не музыкант.

— А каких еще русских композиторов вы можете назвать?

Рейнгард Райф морщит лоб. Он силится вспомнить.

— Чайковский,— говорит он,— и еще этот... тоже очень гениальный композитор...

Он шевелит пальцами, но вспомнить не может.

— Хорошо. Оставим французскую и русскую музыку. Как-никак, это музыка ваших врагов (умоляющий жест со стороны музыканта). Но вот ваш союзник — Италия. Любите вы итальянскую музыку?

— О! Итальянская музыка! Я очень люблю итальянскую музыку!

— Ну и прекрасно! Я тоже люблю. Расскажите

мне об итальянских композиторах и назовите их сочинения.

— Верди,— сразу же выпаливает он.— У него есть опера «Аида».

— Это правильно. А еще что написал Верди?

— «Аиду»,— повторяет преподаватель теории музыки,— и потом...

Он шевелит пальцами. Я уже знаю, что это означает.

— Верди написал несколько десятков опер, и половина их всемирно известны. Их может перечислить любой первоклассник из музыкального училища. Ну, ладно, оставим пока Верди. Ведь не только Верди есть в Италии. Назовите еще итальянских композиторов.

— Россини. У него есть одна опера... очень хорошая... Ну, просто выскочило из головы!

— В конце концов это неважно, как она называется. Предположим, «Севильский цирюльник». Расскажите сюжет этой оперы.

Музыкант из Касселя молчит. Он красен. На лбу у него пот.

— Вы знаете,— говорит он,— на фронте так быстро все забывают.

— Как! И самая музыка забывается?

— Музыка никогда не забывается. Музыку Россини я отлично помню.

— Хорошо. Спойте мне любую мелодию из любого сочинения Россини.

Гнетущая пауза. Наконец музыкант из Касселя откашливается и говорит:

— Я, знаете, простудился на фронте. У вас тут в России такой мороз, что... гм...

Он показывает на горло: дескать, требуйте у него чего угодно, но петь он не может.

Я беру листок бумаги, вычерчиваю пять линеек, бодро ставлю скрипичный ключ и протягиваю листок гитлеровскому музыканту.

— Пожалуйста, напишите здесь любую мелодию Россини.

Солдат багрово краснеет.

— Я не знаю,— говорит он наконец.

— Вы, кажется, любите «Аиду». Запишите здесь любую мелодию из «Аиды».

— Я не знаю,— бормочет он.

— Хорошо. Запишите здесь любую мелодию любого иностранного композитора.

Подавленное молчание.

— Я же вам говорил, что он не музыкант! — восклицает майор.

Но вот представьте, товарищи, что он все-таки оказался музыкантом. Он ни в чем не соврал. Он говорил чистейшую правду.

Весь разговор с этим молодым человеком записан мною со стенографической точностью. Дальнейшее показало, что молодой человек отлично знает немецкую музыку, что он действительно окончил гитлеровскую консерваторию, а потом стал в ней преподавателем.

Факт этот страшен. С юношеских лет музыкально одаренный человек попал в некий музыкальный концлагерь, где существует лишь одна немецкая музыка. От всего остального, от всего, что было создано человеком в области музыки, от всей красоты мира человек был отделен колючей проволокой. И Гитлер получил то, что хотел. Он воспитал невежду, который убежден, что в мире есть одна лишь Германия, что ни одна другая страна в мире не имеет и не может иметь своего искусства, что все страны могут быть лишь рабами Германии. Сейчас, в плену, он, конечно, поджал хвост. Видите ли, он любит музыку, а до политики ему нет дела. Ему нет дела до того, что шайка злых маньяков превратила даже такое мирное дело,

как музыкальное образование, в орудие национального угнетения, а следовательно, разбоя и грабежа.

В течение долгих лет в центре Европы хладнокровно готовились миллионы убийц. Их нужно было воспитать так, чтобы им ничего и никого не было жалко; им нужно было доказать, что только немцы — это люди, способные создавать культурные ценности. Весь остальной мир — это двуногие существа, ни на что не способные. Ведь этот молодой невежда совершенно искренне убежден в том, что во Франции нет музыки, подобно тому, как миллионы других немецких молодых невежд совершеннейшим образом убеждены, что и во Франции, и в России, и в Англии, и в Америке, и даже в Италии нет ни живописи, ни науки, ни театра, ни кино, ни литературы.

Мы долгое время не могли понять этого. Собственно, мы знали, но не могли поверить в это, а потому не понимали. В своем воображении мы создавали немецкого молодого человека, которого не худо бы перевоспитать. Но у нас не хватило воображения, чтобы понять, что давно уже Гитлер превратил свою молодежь в человекоподобных обезьян, которых научили только лишь носить штаны, бриться, говорить «хальт» и «цурюк» и стрелять из автомата.

И ненавидеть все человечество.

15 марта 1942 г.

В МАРТЕ

Мы выехали в необычный час — в четыре утра. Это потому, что от луны было очень светло и можно было ехать, не зажигая фар.

В конце ноября фронт на некоторых участках был так близко от Москвы, что мы, военные корреспонденты, выезжая из редакции в восемь, оказывались в девять уже на том месте, где дорога неожиданно становилась зловеще пустынной, а выскочивший откуда-нибудь из-за сугроба красноармеец в маскировочном халате махал винтовкой и с грозным весельем кричал на шофера:



— Ну, куда? Куда тебя занесло, ворона? К немцам захотелось?

Мы давали красноармейцу свеженький — только из машины — номер газеты и с некоторой торопливостью поворачивали к ближайшему командному пункту.

Теперь до фронта нужно было добираться в автомобиле часов десять. И вот мы выехали в необычный час.

Мы проехали Подольск, отъехали от него километров на двадцать, и только тогда еле-еле стало намечаться утро. Обычно ночь уходит, а утро приходит. Но ночь не уходила. Она прочно держалась в небе. Свет раннего утра не мог победить сильного света луны. И только когда мелькнул знакомый поворот дороги, изрытое снарядами поле, утонувшие в снегу длинные ряды колючей проволоки, исковерканный артиллерией лесок, знакомый остов немецкого грузовика (его все больше заносит снегом), и началась страшная кровавая дорога войны, дорога фашистских преступлений и русского мужества,— взошло солнце.

Солнце светило по-весеннему. Но зима не сдавалась, удивительная зима 1941—1942 года.

Запомните эту зиму! С началом зимы началось наше наступление на Западном фронте. За три с половиной месяца не было ни одной оттепели. И не было ни одного дня, когда бы Красная Армия выпустила из рук инициативу.

Запомните все эти дни, один за другим, не пропустив ни одного! И те дни, когда дул сильный северный ветер, и дороги были покрыты льдом, и буксовали колеса автомобилей, и люди на этом сумасшедшем ветру подталкивали орудия на пригорки. И те дни, когда сверкало солнце, и была удивительная тишина, и выпавший за ночь снег покрывал следы вчерашнего боя, и термометр показывал сорок ниже нуля. И те дни, когда была снежная буря, и по широкой автостраде ходили белые кисейные волны, и люди в белых халатах, с автоматом на шее, отворачивая лицо от ветра, шли по пояс в снегу в обход немецкого укрепленного пункта.

Запомните и те серые дни, не дни, а сплошные сумерки, когда надо было торопиться и как можно стремительнее идти в атаку, потому что боевой день был очень короток. Люди тогда останавливались на пять минут. Молодец повар догонял их со своей кухней, и они ели на морозе из котелков под минометным огнем, и суп сначала был горячий, обжигающий горло, а потом совсем ледяной.

Обо всем этом мы помнили, когда проезжали по до-

роге, знакомой до мельчайших подробностей, как будто это была дорога нашей жизни. Вот здесь, в лесочке, два месяца назад был командный пункт соединения. Здесь, в этой деревне, немцы были окружены и уничтожены. А эта деревня оказалась трудным орешком, немцы упорно держались, и выбивать их пришлось отсюда дней пять. А на этой вот опушке разыгралась битва, пожалуй, не меньшая по своим масштабам, чем какой-нибудь прославленный наполеоновский Ваграм.

Сегодня на фронте обыкновенный день. О таких в сводке пишут: «Существенных изменений не произошло».

Теперь, в марте, снова видишь то, что видел в течение всей зимы. Но видишь еще более ясно и отчетливо, чем в ноябре или декабре. Мы разобрались в громаде войны, мы подчинили ее себе. Мы поняли ее. И это понимание прежде всего выражается в понимании войны народом и армией.

В одной деревне, возле Юхнова, я видел председателя колхоза, который, так сказать, наголову разбил немцев в несколько необычном, но очень важном сражении. Когда немцы приближались к его селу (это было в октябре), он организовал в лесу некий «филиал» колхоза. Туда были перевезены все запасы зерна, сена и продовольствия. Были вырыты громадные землянки, куда был размещен рогатый скот. Спрятали даже свиней и птицу.

Сам председатель жил в лесной сторожке, куда временно было переведено правление колхоза. Немцы не получили в селе ни крошки еды, ни соломинки. Немцы не смогли свернуть голову ни одной курице, не смогли выстрелить в ухо ни одной свинье. Председатель дождался, когда немцев выгонят, и теперь все перевезено обратно, и колхоз живет совершенно нормальной жизнью, как будто никаких немцев и не было. Только в оставшихся немногих хатах тесно жить.

Что произошло? Немцы, воюя с нашим народом, пользовались правилом, которым обычно пользуются: они вошли в село, расстреляли для устрашения несколько человек и вывесили на видном месте свои

омерзительные приказы — сдать то-то и то-то, тогда-то и тогда-то, туда-то и туда-то.

Они всегда так действовали, и это приносило им победу над маленькими и слабыми народами Европы. Это был параграф такой-то в подлом фашистском кодексе войны, который они так хорошо изучили. Но они проиграли бой. Председатель колхоза, принявший неравный бой, действовал, не имея никакого опыта войны. Он просто делал то, что ему подсказывал здравый смысл. Среди пожарищ и крови, грохота орудий и воздушных налетов, среди разрушений и ужасов войны он сделал единственно правильный ход. Он спас для людей, а следовательно, для государства, колхозное богатство. Он разобрался в громаде войны. И он выиграл бой.

Там же, возле Юхнова, я видел молоденькую актрису, исполнительницу русских песен. Ее вступление на сцену совпало с началом войны. Она сразу же вошла в одну из актерских бригад, обслуживающих фронт, и все время ездит по передовым позициям и поет бойцам свои песни под аккомпанемент гармоники. А так как она еще и хорошая певица, и привлекательная женщина, то можете себе представить успех, которым она пользуется у бойцов. И вот пела эта певица с грузовика в русском костюме, надетом поверх пальто, и изо рта у нее шел пар. Вокруг стояли бойцы. А в небе довольно часто появлялись немецкие самолеты, что немного отвлекало зрителей. Певица пела знаменитую песенку «И кто его знает, чего он моргает». Когда она подошла к припеву, недалеко показался очередной «мессершмитт». И певица сделала то, что, как она потом говорила, даже и не ожидала от себя. Она посмотрела на небо, пожала плечиками, подмигнула и спела:

И кто его знает, чего он летает.

Хохот, раздавшийся после этого, немцы на своих передовых позициях приняли, вероятно, за начало артиллерийской подготовки.

Спросите любого немца, и он скажет, что певица должна петь в концертном зале, а солдат — сражаться

на фронте. Так бывало всегда. Между тем, если разобраться, это действительно странная картина — стреляют орудия, по небу носятся самолеты, певица стоит на грузовике, где-то недалеко горит деревня и тянется по чистому небу горький дым.

Но сколько величия в этой картине, сколько в ней мужественной твердости! Какое здесь новое понимание войны!

Старик художник, сидящий в блиндаже и со страстным увлечением зарисовывающий портрет героя-разведчика, вместо того чтобы сидеть в своей мастерской перед громадным мольбертом и писать натюрморт (кувшин и хвост селедки); десятилетний мальчик, провожающий разведчиков в тыл к немцам, вместо того чтобы учить уроки; молоденькая девушка, стреляющая в немецкого генерала, вместо того чтобы записывать в плюшевый альбом стихи и ждать женихов; заведующий райпотребсоюзом, организующий партизанский отряд, вместо того чтобы принимать в своем кабинете посетителей,— все это (и еще тысячи и тысячи примеров) и есть то необычное, противное привычным представлениям и непонятное для немцев, что внес Советский Союз в свою Отечественную войну. Он подчинил себе громаду войны и в то же время подчинил войне всего себя.

Западный фронт
1942

КАТЯ

Катя Новикова — маленькая толстенькая девочка с круглым румяным лицом, светлыми, по-мужски подстриженными волосами и черными блестящими глазами. Я думаю, что когда она начала свою фронтовую жизнь, военная форма топорщилась на ней и девочка выглядела неуклюжей и комичной. Сейчас это подтянутый, бравый солдатик в больших, не пропускающих воды сапогах и в защитной гимнастерке, которая заправлена в широкий кожаный пояс опытной рукой. На боку у толстенькой девочки потертая кобура, из которой выглядывает видавший виды пистолет. На красных петлицах у толстенькой девочки четыре красных треугольника, что означает звание старшины. В иностранных армиях это звание соответствует чину фельдфебеля.

Я слышал ее историю еще задолго до того, как с ней увиделся. Слышал ее от очевидцев. И сейчас мне интересно было, как она сама расскажет о себе. Мои предположения оправдались. Катя Новикова была истинная героиня и, как все истинные герои, с которыми мне приходилось разговаривать, отличалась большой скромностью. Я неоднократно пытался проникнуть в природу этой скромности, понять ее сущность. Ведь скромность истинных героев представляет собою не менее удивительное явление, чем их героизм. И я понял. Это не ложная скромность, родная сестра

лицемерия. Это сдержанность делового человека, который не любит распространяться о своих делах, так как считает, что дела эти — не более чем самая обыкновенная будничная работа, правда очень тяжелая работа, но никак не исключительная, а следовательно, лишенная, на их взгляд, интереса для посторонних. Протаранить самолет противника, направить свой горящий самолет на вражеские цистерны с бензином, забраться в тыл противника и взорвать там мост — да, это все исключительные поступки, о них стоит рассказать. А вот то, что делала на фронте Катя Новикова и что делают многие тысячи русских юношей и девушек,— это, как они считают, обыкновенная будничная работа. И в таком вот простом понимании своей великой миссии и заключается истинный героизм.

Двадцать первого июня в одной из московских школ состоялся выпускной вечер. Девочки и мальчики праздновали свое превращение в девушек и юношей.

— Это был очень хороший вечер,— сказала Катя,— и мне было очень весело. Мы все тогда мечтали, кем мы станем, обсуждали, в какой университет пойдем учиться. Я всегда хотела быть летчицей и несколько раз подавала заявления в летную школу, но меня не принимали, потому что я очень маленького роста. И вот в тот вечер ребята надо мной подшучивали, что я маленького роста. И нам было очень весело.

Когда в ту ночь счастливые дети, ставшие вдруг взрослыми, спали своим первым взрослым сном, на страну, которая их вырастила и воспитала, обрушились сотни тысяч тонн бомб, сто восемьдесят отборных немецких дивизий с тысячами танков устремились на мирные города, над которыми подымался теплый дым очагов; посыпались с неба парашютисты с гангстерскими пистолетами-пулеметами — началась война.

В то же утро Катя Новикова со своей подругой Лелей побежали в военный комиссариат записываться добровольцами в армию. Они бежали, сжимая свои маленькие кулачки, и, когда они стояли у стола регистрации, они сразу не могли говорить, потому что задыхались от быстрого бега и волнения. Их не приняли в армию и посоветовали им продолжать учиться.

Тогда девушки записались в отряд молодежи, который был послан копать противотанковые рвы и строить укрепления. Когда отряд прибыл на место работ, немцы уже подходили к Смоленску. Недалеко остановился полк, который следовал на передовые позиции. Очевидно, этот полк входил в резерв командования Западным фронтом. Был конец июля. Катя и Леля не оставили своей идеи попасть в армию. Они выжидали, ища удобного случая. Они постоянно разговаривали с красноармейцами и все старались выяснить у них, где расположен штаб полка. Девушки надеялись, что там их без долгих формальностей примут в полк. Но ни один боец не рассказал им, где штаб, потому что это военная тайна. Тогда девушки пустились на хитрость. Они направились прямо в расположение полка. Часовой окликнул их. Они не ответили. Он окликнул их во второй раз. Они снова не ответили и продолжали быстро идти вперед. Тогда их задержали и как подозрительных людей отвели в штаб. Изобретательность девушек, решившихся во что бы то ни стало проникнуть на фронт, рассмешила командира полка. Он посмеялся, потом стал серьезным, подумал немного и записал их в свой полк дружинницами. Им выдали обмундирование и санитарные сумки с красным крестом. На другой день полк выступил на фронт, и уже через несколько часов девушкам пришлось приступить к исполнению своих обязанностей. Колонну на марше атаковали немецкие пикирующие бомбардировщики.



— Мне было очень страшно,— сказала Катя,— и мы с Лелей побежали в поле и легли, потому что все так делали. Но потом оказалось, что это не так страшно, потому что во всей колонне было только не-

сколько раненых. Мы с Лелей еще в школе обучались стрелять из пулемета и перевязывать раненых. Но командир полка сказал, чтобы о пулемете мы и не думали. И когда мы стали перевязывать раненых, мы увидели, что обучаться — совсем не то, что делать это на войне. Мы с Лелей такие, в общем, не сентиментальные девушки. А тут мы увидели раненых и так их пожалели, так пожалели, что сами перевязывали, а сами плакали и плохо видели из-за слез. Потом мы тоже всегда жалели раненых, но, когда перевязывали, уже не плакали. Только иногда мы с Лелей плакали тихо, ночью, чтобы никто не заметил, потому что мы видели столько страданий, что иногда, понимаете, просто нужно было поплакать.



И началась жизнь Кати Новиковой на фронте, на самом страшном фронте, который когда-либо был на земле. Она была приписана к одному из батальонов и беспрерывно находилась с ним в бою. Она ползла вместе с пехотой, когда пехота шла в атаку, ходила с бойцами в глубокую разведку. Дважды она была легко ранена и осталась в строю. Так прошел месяц. Она свыклась со своей работой и стала, в сущности, отличным бойцом. Девушек полюбили в полку.

— Все нас звали к себе,— сказала Катя и засмеялась.— Минометчики говорили: «Идите к нам, девушки, мы вас на миномете обучим». Артиллеристы тоже постоянно звали. Танкисты тоже. Они говорили: «Будете с нами в танке ездить, все-таки приятней». А мы с Лелей отвечали: «Нет, мы уж будем в пехоте».

Девушкам очень хотелось получить оружие. И вот однажды раненый лейтенант, которого Катя вытащила из боя, подарил ей пистолет и три обоймы.

— Но потом была большая неприятность,— объяснила Катя.— Был один раз тихий день, и мы с Лелей пошли в воронку попробовать пистолет. Была у нас такая большая, очень большая воронка от крупной фугасной бомбы. И мы, значит, залезли в эту воронку, чтоб никто не видел, поставили бутылку и стали в нее стрелять. И мы так увлеклись, что выпустили все три обоймы. Ну, тут, понимаете, началась тревога, потому что думали, что это подобрались немцы. Мы, конечно, осознали свою ошибку. Но командир полка так пушил нас, так пушил! Ужас! И он отобрал у меня пистолет и сказал, что в другой раз демобилизует.

Однажды во время атаки командир полка был серьезно ранен в правую руку. Он потерял сознание, и Катя вытащила его с поля боя. Потом ей поручили отвезти его в Москву, в госпиталь. Она сдала его и вышла в город. Она горделиво шла по родной Москве в полной военной форме и только подумала, что хорошо бы встретить кого-нибудь из друзей, как тут же и встретила подругу Люсю.

— А Люся все время мечтала попасть на фронт и, как только меня увидела, так прямо задрожала вся. «Ты, говорит, как попала на фронт?» Я ей рассказываю, как попала, и как воевала, и как привезла сейчас раненого командира полка, и что со мной легковая машина с шофером, и что завтра я возвращаюсь обратно в часть. А Люся говорит: «Катя, ты должна взять меня с собой». А сама просто не может стоять на месте. Она не такая, как я. Она такая высокая, тоненькая, красивая девушка. Такая нежная. И она гораздо старше меня. Ей уже было лет двадцать, и она кончала университет. Я говорю: «Люся, как я тебя возьму, чудачка ты? Ты что думаешь: на фронт так легко попасть? По дороге, говорю, двадцать раз будут проверять документы». А потом мы думали, думали и сделали так: пошли в госпиталь к нашему командиру полка и стали его просить. Ну, он, конечно, понимал, что мы, девушки, не плохо работали у него в полку.

И он тогда левой рукой, потому что правая у него была раненая, написал, что принимает Люсю в полк дружинницей. И наутро мы с ней выехали, и так было весело, что мы все время пели.

Теперь в полку были три дружинницы, и их распределили по трем батальонам. Они пропахли дымом и порохом, их руки загрубели. Шли августовские наступательные бои, и полк каждый день, прогрызая оборону немцев, продвигался на несколько сот метров. Они выполняли свою обычную работу: переползали от бойца к бойцу и перевязывали раненых. Иногда раздавался крик: «Санитара!» Они искали, кто крикнул, и ползли к нему. Девушки были так заняты, что почти не встречались.

— И вот как-то,— сказала Катя,— привезли в полк подарки, и мы встретились возле командного пункта полка. Нам на троих пришлось одно яблоко, правда громадное. Вот такое. И одна пара тоненьких дамских чулок со стрелкой. Знаете, есть такие. Мы, конечно, друг дружке не говорили, но каждая, безусловно, хотела надеть такие чулки, потому что ведь мы девушки. И мы держали в руках эти тоненькие шелковые чулки со стрелкой, и нам как-то смешно было на них смотреть. Я говорю: «Возьми их себе, Люся, потому что ты самая старшая и самая хорошенькая». А Люся говорит: «Ты, Катя, наверно, сошла с ума. Их нужно просто разделить». Мы похохотали тогда и разрезали их на три части, и каждой вышло по паре носков, и мы их стали надевать под портянки. А яблоко мы тоже разделили на три части и съели. И потом мы весь вечер провели вместе и вспоминали всю нашу жизнь. Люся сказала тогда: «Давайте, девочки, поклянемся, что каждая убьет по пять немцев, потому что я уверена, что мы в конце концов станем бойцами». Мы поклялись и на прощанье расцеловались. И хорошо сделали, потому что я Люсю больше не увидела. На другой день полк пошел в атаку, и Люся была убита. Ее сильно ранило миной. Ее унесли метров за пятьсот в тыл. И вот тогда она пришла в себя и увидела, что вокруг стоит несколько санитаров (ее очень жалели все). Она посмотрела на них и крик-

нула: «Вы что стоите здесь? Там бой идет. Идите работать!» И умерла. Только мне об этом рассказали потом. А тогда был такой день, когда моя судьба совсем перевернулась.

Вот что произошло с Катей в тот день. На правом фланге наступающего батальона был установлен наш пулемет, который прочесывал лес, где сосредоточились немецкие автоматчики. Неожиданно пулемет замолчал.

— Ну, я, конечно, поползла к нему, думала, что пулеметчик ранен. Подползаю и вижу, что он убит, приткнулся к пулемету и сжимает ручки. Я тогда оторвала его пальцы от пулемета и сразу приладилась стрелять. Подползает командир батальона. «Ты что, говорит, делаешь, Катя?» Я испугалась, думала, не даст мне стрелять. И говорю: «Я, товарищ капитан, еще в школе обучалась пулемету». А он говорит: «Ну, ладно, давай, Катюша, стреляй, прочесывай лес». Я говорю: «Это как раз я и хочу делать».— «Правильно, говорит, валяй! Будешь теперь бойцом. Дай им жизни!» Мы тогда выбили немцев из леса. Наш полк здорово наступал. Заняли село. И там, на старом сельском кладбище, немец нас сильно обстрелял из орудий. Такой обстрел был! Я такого не помню! Все перерыл. Разрывами выбрасывало мертвых из могил, и даже нельзя было понять, кто когда умер — раньше или теперь. Я тогда спрятала голову под пулемет. Ничего, отлежалась. Потом мы опять пошли вперед. Только тяжело было везти пулемет с непривычки. Потом я привыкла.

Пулеметчицей Катя пробыла больше месяца и значительно перевыполнила план, предложенный Люсей. Она была очень хорошей пулеметчицей, с прекрасным глазомером и выдержкой.

В сентябре Катя была тяжело контужена, и ее отправили в Москву в госпиталь. Она пролежала там до ноября. А когда вышла, ей дали бумажку, что для военной службы она больше не годится и направляется для продолжения образования.

— А какое может быть образование, пока мы не побили немцев? — сказала Катя, холодно усмехаясь.—

Я ужасно загрустила. Даже не знала, где мой полк стоит. Что было делать? Я походила, походила и записалась в отряд парашютистов-автоматчиков.

— Как же вас приняли, Катя,— спросил я,— раз у вас такая бумажка из госпиталя?

— А я им не показала этой бумажки. Я им показала совсем другую бумажку — из полка.

Я посмотрел ее. Это была очень хорошая бумажка. Там говорилось, что Катя — храбрый боец-дружинница, а потом пулеметчик, что она представлена к ордену. Когда я читал эту бумажку, Катя немного покраснела и потупилась.

— Одним словом, приняли,— сказала она.— Теперь проходим специальное обучение. Говорят, скоро на фронт.

1942

ЗАПИСКИ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ

МАЙ НА МУРМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

1

Эти строки пишутся в маленькой землянке, построенной на склоне горы, среди гранитных скал и мелкого, очень редкого лесочка. Сейчас ночь, но пишешь при дневном свете. Землянка обита внутри фанерой. Горит железная печка, в которую надо беспрерывно днем и ночью подкладывать дрова, иначе станет холодно. За маленьким окошком косо летит снег. После нескольких солнечных дней, во время которых вскрылись горные реки и ручейки и стал было таять снег, температура снова упала. Начался буран. Он завалил снегом дороги, лощины, склоны гор, огневые позиции артиллерии, наблюдательные пункты, землянки и сложенные из камней пехотные окопы (окопы здесь не роются, а возводятся). Как видите, май на Кольском полуострове, за Полярным кругом, имеет свои чисто местные особенности.

Фронтовики, проведшие здесь всю кампанию, говорят, что такого обильного снегопада не было за всю зиму. Но война продолжается. На этом далеком фронте, прилегающем к Баренцеву морю (с крайней правой его точки видны не только финляндские, но и норвежские берега), идут ожесточенные бои.

Мурманское направление — один из серьезных участков войны с Германией. Отстоять Мурманск от немцев, которые рвались туда летом и осенью прошлого года, было задачей чрезвычайно тяжелой. В июне немцы, пользуясь, как и всюду, преимуществом внезапности, перешли границу и, оттеснив наши пограничные части, устремились к Мурманску. Немцы надеялись захватить этот единственный в Советском Союзе северный незамерзающий порт в течение нескольких дней. Немцы возлагали на эту операцию громадные надежды. В бой они бросили две прославленные горно-егерские дивизии (2-ю и 3-ю). Все солдаты ее носили на левом рукаве мундира серебряную табличку с лавровым венком и надписью: «Герою Нарвика». Кроме того, в наступление были брошены четыре батальона эсэсовцев, огромных молодцов, не ниже ста восьмидесяти сантиметров роста. Эмблемой этих людей, считавших состояние войны единственно нормальным состоянием человека, был череп с костями. Глупые молодые звери носили черепа на фуражках, на рукавах, на портмоне, портсигарах, кольцах,— одним словом, всюду, где только возможно. И вот все эти «герои Нарвика», с приданными им героями черепа, устремились на Мурманск. Егерями командовал генерал-майор Шернер. Пленные рассказывали, что во время первой мировой войны он был командиром взвода в той самой роте, в которой Гитлер служил писарем. Достигнув власти, писарь проникся к своему бывшему командиру внезапной симпатией (это хорошо звучало для газет), сделал его генералом и всячески заботился об этих привилегированных дивизиях. Пленные рассказывали, что часто Гитлер сносился непосредственно с Шернером через голову его начальства.

— Шернер — жестокий человек,— сказал мне один из пленных,— солдаты не любят его.

В июне немцы несколько продвинулись по дороге Петсамо — Мурманск. Но дальше немцы пройти не смогли. Потеряв семьдесят пять процентов своего состава, горные егеря остановились. Множество егерей было уничтожено в одной из лощин, которая носит с тех пор название «Долина смерти».

Фронт стабилизовался. Немцы делали еще две попытки овладеть Мурманском, в августе и сентябре, но понесли полное поражение. В сентябре немцам удалось продвинуться еще немного, но последовал наш контрудар, и немцы были не только побиты, но и отброшены на десятки километров.

Последние дни я бродил по фронту (именно бродил, потому что здесь собственные ноги — наиболее популярный способ передвижения) и теперь имею некоторое представление о том, что собой представляет мурманский театр войны.

Театр этот состоит из почти сплошного нагромождения покрытых снегом невысоких гор и громадных, часто четырехугольных камней. Они черные, с малахитовой прозеленью. Между горами озера или лощины, по которым идут протоптанные в снегу скользкие тропинки шириною всего в одну подошву, так что идти по ним трудно, как по канату. Иногда из-под снега выступают кочки, покрытые сухим желто-зеленым мхом — ягелем. В трещинах между ними, среди синего льда, течет быстрая весенняя водица. По тяжелым дорогам идут к фронту те же люди, те же орудия и те же автомобили, что и на Западном фронте. Война, всюду война. Но здесь вы вдруг можете увидеть сделанное из снега стойло и гнедую лошадку, которая мирно жует сено, уткнув добрую морду в ледяную кормушку. Или, проходя в непосредственной близости от передовой линии, вы вдруг остановитесь перед зрелищем, от которого забьется сердце любого мальчика или любителя географии: с горы со скоростью мотоциклета спускается на лыжах человек в островерхой шапке и меховой малице. Он проносится мимо вас, на мгновение обернув к вам скуластое коричневое морщинистое лицо без признаков растительности. Это погонщик оленей, ненец, который пришел со своими оленями за три тысячи километров из Большеземельской тундры, чтобы воевать с немцами. Потом вы видите стадо оленей. Они запряжены в длинные высокие нарты. Олени здесь подвозят разведчикам боеприпасы и увозят в тыл раненых. Но это не те олени, которых вы привыкли видеть на картинках. Это весенние олени.

Рога у них уже отпали. Отрастут они только к осени. Лишь у одного сохранился на голове полный ветвистый комплект. У другого уныло торчит только один рог, покрытый на концах разветвлений нежным мехом. Пройдет два-три дня — и эти два оленя тоже лишатся своих прелестных украшений. Безрогие олени



похожи на самых обыкновенных телят. Очевидно, поэтому вид у них немного сконфуженный.

Горное эхо далеко разносит выстрелы. Когда стреляет пулемет в трех километрах, кажется, что стреляют над самым ухом.

Здесь нет населенных пунктов. Бойцы живут в землянках и палатках. Их не видно, пока не подойдешь к ним вплотную: так похожи они на разбросанные повсюду камни. И только горький дымок от железных печек, снежные тропки да провода телефона напоминают о том, что здесь, в этом глухом краю, можно не только жить, но и воевать.

II

Метель продолжалась три дня. Военные действия не затихали. Они, конечно, потеряли в стремительности, но самый тот факт, что они велись, дает вам

представление о неслыханном в истории ожесточении, с каким проходит эта титаническая война не на жизнь, а на смерть.

По утрам во время метели дежурный телефонист снимал в штабной землянке телефонную трубку и, нисколько не удивляясь, слышал строгий командирский голос:

— Откопайте меня. Я уже проснулся.

Командирскую палатку откапывали. Командир выходил из нее, низко согнувшись. Он разгибал и поводил богатырскими плечами. Он снимал гимнастерку и долго, с удовольствием тер лицо и шею свежим, сухим снегом. То, что это не декабрьский снег, а майский, даже веселило командира. Можно немного пошутить на этот счет. Собственно, командир был даже рад, что его палатку завалило снегом. По крайней мере никто его не беспокоил и можно было наконец вздремнуть часа два после шести бессонных ночей.

Красноармейцы раскапывали палатки соседей. Начинался боевой полярный день, ничем, впрочем, не отличающийся от ночи.

Разведчики в белых маскировочных халатах, с автоматами на шее отправлялись в разведку. В такую бурю можно подойти незамеченным хоть к самому генералу Шернеру. Олени увозили в тыл раненых. Артиллерия била по заранее пристрелянным целям. Пехота все больше смыкала кольцо вокруг небольшого горного пространства, где на вершинах среди камней сосредоточилась довольно крупная немецкая часть. Этот выступ командование для удобства назвало «аппендицитом».

Этот «аппендицит» требовал незамедлительной операции. И она была проведена с удивительным упорством. Немцев отрезали и уничтожили. Человек тридцать солдат во главе с обер-лейтенантом сдались в плен.

Сейчас еще трудно сказать, сколько немцы потеряли убитыми, так как трупы завалены снегом. Но, судя по показаниям пленных, немцы потеряли не меньше батальона.

Всего же за первые дни мая немцы потеряли на

этом узком участке фронта (он не превышает от берега Баренцева моря и сорока километров) больше четырех тысяч человек.

Интересно, что потери эти пали главным образом на 6-ю горно-егерскую дивизию, которая сменила разбитые части 2-й и 3-й дивизий. Она прибыла из Нарвика. После разгрома их увели в Норвегию на отдых и переформирование.

Интересна история 6-й германской горно-егерской дивизии. С наглостью и самоуверенностью бандитов, знающих, что они не встретят серьезного сопротивления, вторглись немецкие солдаты в пределы несчастной отважной Греции.

Во время парада в Афинах 6-я дивизия шла во главе войск. Она была признана лучшей среди лучших. Это были наглые здоровые парни. Я рассматривал фотографии, найденные в их карманах. Они любили сниматься на Акрополе, на фоне Парфенона. Надо видеть этих людей в стальных шлемах, с идиотски выпученными глазами рядом с классическими колоннами, под сенью которых прогуливались когда-то мудрецы и поэты!

Однако любовь к истории недолго занимала господ командиров и солдат знаменитой дивизии. Они занялись более существенным делом.

— В Греции очень хорошие и дешевые женщины,— деловито рассказал мне один из пленных,— их можно было брать за кусок хлеба. Но вот мужчины — сущие черти. Того и гляди, воткнут нож в спину.

Последняя операция, проведенная в Греции командованием 6-й дивизии, заключалась в том, что оно просто-напросто обокрало в Афинах королевскую конюшню. Взамен королевских коней поставили в королевские стойла потрепанных в походе немецких одров.

На наш фронт дивизия явилась с такой же самоуверенностью, как и в Грецию, да еще с королевскими лошадьми. Лошадки быстро подохли. Их новые хозяева были разбиты так же, как и их предшественники.

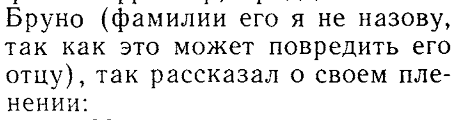
Сейчас, во время майских боев, Шернер бросил на фронт все свои силы. Но от дивизий осталась лишь

одна сомнительная слава. Солдаты либо лежат в лапландских снегах, либо отлеживаются в норвежских госпиталях. Новый состав дивизий совсем не похож на старый.

«Весенний немец», как выражаются на фронте,— это не очень-то верящий в победу человек. Он еще далек от панического бегства. Он сражается в силу своей покорности и привычки подчиняться. Но среди пленных уже нелегко найти убежденных гитлеровцев (в свое время их было довольно много).

Я провел несколько интересных часов в землянке, где в ожидании отправок в тыл сидели человек двенадцать немецких солдат. Они хозяйственно растапливали печку, наслаждаясь теплом, и были очень словоохотливы.

Один из них, старший ефрейтор, тридцатилетний



Бруно (фамилии его я не назову, так как это может повредить его отцу), так рассказал о своем пленении:



— Мне поручили отвести этого солдата в околоток, так как он был болен.

— Это меня,— широко улыбаясь, подтвердил солдат, стоявший рядом.

— Ладно. Помолчи,— сказал первый.— Значит, мы пошли. И когда мы шли, началась вьюга. И мы потеряли дорогу. Идем, а куда, не знаем.

— Мы все-таки думали, что идем правильно,— вставил второй солдат.

— Ладно. Помолчи,— сказал первый.— Вот идем мы, а тропинок уже никаких нет, все занесло снегом. Ну, думаю, кажется, мы заблудились. И холодно стало. Ветер. Вот, значит, мы идем и идем. Потом, смотрим: пробе-

жала какая-то фигура в маскировочном халате. А он говорит (Бруно показал на второго солдата), что мы, наверно, правильно пришли к нашим тылам.

— Я так сказал,— подтвердил второй солдат, разевая рот до самых ушей.

— Он так сказал. А я говорю, что как будто так оно и есть. Потом смотрим: стоят за скалой несколько человек в белом. Спасаются от ветра. Мы пошли к ним, потому что вьюга била прямо в лицо и нам тоже хотелось укрыться от ветра. Вот, значит, мы подходим, и, когда до них оставалось пять шагов, мы увидели, что это русские.

— Выходит, мы шли как раз в противоположную сторону,— объяснил второй солдат.

— Ладно. Помолчи,— сказал первый.— Ну, только мы увидели, что это русские, мы сразу бросили винтовки и подняли руки. Я закрыл глаза и думаю: «Ну, наверно, сейчас застрелят». И иду дальше вперед с закрытыми глазами.

— Но они в нас не стали стрелять,— сказал второй солдат.

— Да, они в нас не стали стрелять! — торжественно подтвердил первый.

— Как же вас приняли? — спросил я.

— О! Herzlich! — воскликнул Бруно, приложив руки к груди.— Сердечно.

— Как же все-таки?

— Нас согрели, дали чаю, покормили.

— А мы думали, что они нас убьют,— объяснил второй солдат,— нам всегда говорили, что русские пленных убивают.

— Да, нам так говорили,— сказал первый,— и мы этому верили.

— Теперь мы видим, что это оказалось не так,— сказал второй.

— Мы не хотели сдаваться в плен,— сказал первый,— потому что мы были уверены, что нас убьют. Мы не нарочно пришли. Мы заблудились. Мы просто заблудились.

— Мы ничего не видели из-за вьюги,— подтвердил второй.

— Помолчи,— сказал первый и торжественно объявил:— Но это очень хорошо, что мы заблудились.

— Нам просто здорово повезло, что мы заблудились,— сообщил второй.

— Если б мы знали, что нас не убьют,— продолжал первый,— мы бы пришли раньше.

— Мы бы пришли нарочно, а сейчас мы пришли случайно.

— Да, мы бы пришли нарочно. И не только мы. У нас есть очень много солдат, которые пришли бы нарочно, чтобы сдаться в плен. Хотя это трудно. Но они все равно пришли бы, если б только знали, что их не убьют.

— Они не хотят драться с русскими.

— Они не понимают, зачем им надо воевать с Россией. Пусть русские живут у себя, а мы будем жить у себя.

— Эту войну выдумал Гитлер,— сказал второй солдат.

— Это верно,— сказал первый.— Мой отец — очень умный человек. Он кузнец. И, как сейчас помню, в тысяча девятьсот тридцать третьем году, когда Гитлер взял власть, отец мне сказал: «Ну, сынок, теперь ты не должен жениться, теперь, значит, Гитлер обязательно устроит войну». Так оно и оказалось. Я не женился. И теперь мне легче, что у меня нет жены и детей. Да. Мой отец все понимал.

— Жалко, что наши ребята не знают, что русские берут в плен,— сказал второй со вздохом.— Если б они знали...

— Им там здорово забили головы,— подтвердил первый.

Впоследствии оба эти солдата выступали по радио и звали солдат из своей роты сдаваться в плен.

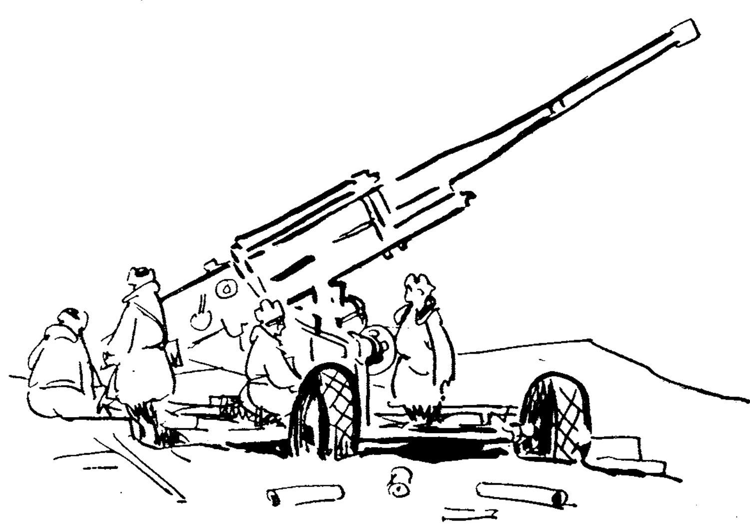
III

Мы долго идем в гору, скользя по подтаявшей дороге. Иногда, желая сократить расстояние до вершины, мы идем напрямик и проваливаемся в снег

до бедер. Иногда мягко ступаем по обнажившимся от снега островкам земли, покрытой сухим, пружинящим мхом. Он зеленоватый с небольшой желтизной. Его очень любят олени. Среди мха попадаются вялые, полопавшиеся ягодки брусники.

Недалеко от вершины мы останавливаемся, чтобы немного передохнуть.

Конец мая.



С Баренцева моря дует свежий корабельный ветер. Но моря не видно. Оно там, впереди. К нему ведет залив, похожий на широкую горную реку. Солнце в зените. От его отвесно падающих лучей залив так горячо блестит, что отсюда, сверху, на него больно смотреть,— огненная вода среди заснеженных гор.

На батарее готовность номер два. Это значит, что в воздухе тихо, но тем не менее надо помнить, что враг близко и появления его нужно ожидать каждую минуту. Стволы зениток торчат почти вертикально над землей. Люди сидят неподалеку. Один читает газету. Другой с ловкостью опытной хозяйки ставит латку на прохудившиеся рабочие брюки. Третий просто греется на солнышке, отдыхая после суровой поляр-

ной зимы. У него мечтательное выражение лица. Может быть, он думает о любимой девушке. Бойцы часто говорят о доме. Но всякий разговор о возвращении домой начинают так: «Вот побьем немца — и тогда...»

Целая группа бойцов играет с оленем по имени Лешка. Русский человек любит покровительствовать. Вероятно, поэтому на кораблях или на батареях часто приживаются коты и собаки. С ними охотно возятся, дают им вкусные кусочки, обучают их разным веселым фортелям.

Здесь, на зенитной батарее, почти с самого начала войны завелся олень. Его нашли в горах. Он, видимо, отбился от стада, заболел, отощал и еле двигался. Бойцы привели его на батарею, вылечили и откормили, назвали Лешкой.

Олень для русского человека — весьма экзотическое животное, и то, что по батарее бегал большой отъевшийся олень с длинными ветвистыми рогами, веселило и радовало людей. С ним разговаривали так, как обычно человек разговаривает с собакой. И Лешка, если можно так выразиться, приобрел собачий характер: он прибегает, если его зовут, ласкается, как щенок, иногда в шутку делает вид, что хочет укусить. Иногда он уходит в горы, бродит там, вспоминая свою оленью жизнь, разгребает копытами снег и жует олений мох; но к завтраку, обеду и ужину обязательно поспевает домой.

Война не нравится ему, но он привык. Как это ни странно, но, заслышав выстрелы, он мчится на батарею. Там, правда, грохот сильнее, но зато все свои, а на миру, как говорится, и смерть красна. Один раз его использовали по прямому назначению: когда замело дороги и автомобили не могли двигаться, его впрягли в сани, и он подвозил на батарею снаряды.

Есть на батарее также маленькая раздражительная собачка и жирный, совершенно апатичный кот. Зимою кот по целым дням сидел в землянке и грелся возле железной печки. Когда печка потухала, он мяукал, чтобы привлечь внимание дневального, на обязанности которого лежит подкладывать дрова. Сейчас он греется на солнышке, вытянув лапки.

Мне привелось посмотреть батарею в действии.

Была объявлена тревога.

Неприятельские самолеты еще не появлялись, а на батарее уже все было готово.

Дальномерщики прильнули к своему длинному, похожему на горизонтально поставленный пушечный ствол, дальномеру.

Орудия были заведены в ту сторону, откуда ожидались немцы. Уже были известны их курс и высота их полета.

Приготовления были сделаны в течение нескольких секунд.

Командир и комиссар стояли с биноклями посредине батареи.

Олень Лешка пошел поближе к дальномерщикам (подальше от орудий) и остановился, опустив голову. Так он и простоял в течение всего боя — совершенно неподвижно,— не олень, а памятник оленю.

Кот, не дожидаясь первых выстрелов, брезгливо отряхнул лапки, потянулся (он знал, что в его распоряжении есть еще несколько секунд) и неторопливо пошел в землянку: там спокойнее.

Собачка томилась. Она тоже знала, что предстоит стрельба, но никак не могла к ней привыкнуть. Она присела на задние лапы и стала смотреть туда, куда смотрели все,— в небо. При этом она часто моргала рыжими ресничками. Как только раздался первый залп, она залаяла. Так она и пролаяла весь бой, суетливо и нервно, как лает подозрительная дворняжка, почуявшая чужого. Она облаивала «юнкерсов» и «мессершмиттов» с такой же страстью, с какой ее деревенский двойник облаивает забравшуюся из соседского двора курицу.

Собачка была единственным существом, проявившим во время боя нервозность. Люди работали с поразившим меня спокойствием. Между тем они работали и с удивительной быстротой. Это вот соединение спокойствия с быстротой и есть высший класс работы артиллеристов. В какие-то секунды нужно было ловить в дальномер неприятельские самолеты, определять их меняющуюся высоту, направление и скорость.

Потом наводка и наконец залп. Если бы эту сцену наблюдал глухой, ему, вероятно, показалось бы, что неторопливые люди делают какую-то спокойную работу. Только по непрерывным оглушительным залпам можно было судить, с какой быстротой велась стрельба.

Немцев не допустили до города. Зенитки стреляли очень точно, и немцы поспешили выйти из сферы огня.

Был объявлен отбой.

И тотчас же олень поднял голову и обвел всех повеселевшими телячьими глазами.

Из землянки медленно вышел кот. Он зевнул и, выбрав местечко посуше, растянулся на солнышке.

И только собачка никак не могла успокоиться. Она бегала от орудия к орудию, обнюхивала людей. Потом улеглась неподалеку от кота, закрыла глаза и сделала вид, что дремлет. Но по дрожащему кончику хвоста было видно, что она все еще переживает событие. Потом хвостик перестал работать, собачка и впрямь заснула; но и во сне она не могла успокоиться, рычала и повизгивала.

Вероятно, ей снились пикирующие бомбардировщики.

IV

Мы сидели в уютно обставленном кабинете бревенчатого домика, типичного домика в Заполярье, и говорили об авиации.

Здесь, на Мурманском направлении, трудно сказать, кто первенствует: наземные войска, флот или авиация. Участок фронта необыкновенно напряженный. Напряжение здесь никогда не уменьшается. Но особенно сильное напряжение, конечно, в авиации. Если, скажем, в пехоте решают дни, а в море часы, то в авиации решают секунды.

Нас было двое в кабинете. Но в наш разговор, который обещал стать интересным, вмешался третий голос. Это был твердый, довольно громкий, весьма официальный голос. И он сказал:

— Воздух. Ноль девять, пятьдесят два, двенадцать. По курсу сто тридцать пять. Высота три тысячи метров. Два «мессершмитта — 109».

Командующий ПВО не обернулся на голос, который исходил из репродуктора за его спиной. Он мельком взглянул на карту и сказал:

— Обычная история. Это их классическая тактика. Поднять нашу авиацию, отвлечь ее, заставить погулять по воздуху, а когда она пойдет на аэродромы заправляться, сделать налет. Мы хорошо знакомы с этой ловушкой и стараемся в нее не попадаться. В воздухе совсем как в картежной игре — кто кого обманет!

И командующий засмеялся.

Мне всегда казалось с земли, что в воздушном бою есть много романтики, много личного героизма, но вовсе нет плана боя. Мне казалось, что тактика воздушного боя рождается сама собой, как бог на душу положит. Оказывается, с земли не только следят за ходом боя, но очень точно и быстро им руководят.

Минут через десять репродуктор снова сказал «воздух!» и назвал новые данные. На этот раз на Мурманск шли бомбардировщики с истребителями.

— Придется давать тревогу,— сказал командующий со вздохом.

Мне повезло. Я вовремя очутился в некоем месте с биноклем. Назовем это место: «Где-то в Заполярье». Рядом стоял командующий. Немного ниже, на уровне наших ног, сидела у радиотелефона весьма милая девушка в кокетливой пилотке и в наушниках. Она выслушивала приказания и говорила в трубку:

— Леопард! Леопард! Я Вишня. Я Вишня. Измените курс! Измените курс! (Она назвала курс.) Повторите приказание. Перехожу на прием...

«Леопардом» назывался один из истребителей в воздухе. Это не помешает ему завтра назваться «Сорокой». «Вишней» на этот раз были мы.

И в то же мгновение самолет, которого в голубом небе почти не было видно на высоте пяти тысяч метров и находить его приходилось по белому следу, который он оставлял, сделал то, о чем просила его сим-

патичная «Вишня»: повернул и пошел в том направлении, откуда (на земле люди знали это точно) шли немецкие бомбардировщики. За ним повернули еще несколько истребителей.

Я видел потом, как «юнкерсы» вываливались из легких, перистых облаков и камнем пикировали вниз, на залив.

Такого ясного и четкого, я бы сказал «сюжетного», сражения невозможно увидеть на земле в условиях современной войны. Трудно найти сравнение. Пожалуй, самым точным было бы сравнить такой воздушный бой с каким-нибудь наполеоновским сражением, когда полководец видит в подзорную трубу все перипетии боя, с той только поправкой, что сражение продолжается всего несколько минут.

За эти несколько минут действительно произошло все. Мы видели ход боя и в точности узнали его результаты.

— Браво, зенитчики! — сказал командующий, не отрываясь от бинокля.

— Я не вижу,— пролепетал я.

— Смотрите, торчит труба,— сказал он,— возьмите чуть правее и выше.

Я увидел простым глазом падающий на землю бомбардировщик. От него отделились три парашюта. Они казались совсем маленькими:

— Посмотрите: немецкие истребители скопились слева. Они охраняют бомбардировщики при выходе из пике.

Он отдал несколько приказаний.

— Орел! Орел! — закричала под нами телефонистка взволнованным голоском.— Я Вишня, я Вишня!..

Над нашими головами с грохотом пронеслась семерка «харрикейнов». Они шли, чтобы отрезать путь бомбардировщикам.

Очень ясно было видно, как упал еще один немецкий бомбардировщик, сбитый истребителем.

— Черт побери! — крикнул вдруг командующий.

— Что? Что? — спросил я.

— Подбили нашего! — отрывисто сказал он, не отрываясь от бинокля.

Я увидел в бинокль, как один из наших истребителей быстро уходил куда-то в сторону и вниз. За ним тянулся дымок.

— Пошел на аэродром,— сказал командующий,— может быть, дотянет.

Бой отдалился. Бомбардировщики ушли. Их было семь. Ушло пять. Теперь на большой высоте сражались только истребители.

— Еще один немец,— сказал генерал.— «Мессер сто девятый».

Он упал на далекую снежную гору, и оттуда долго еще шел дым, как будто путники развели там костер.

Бой окончился. К командующему подошел адъютант.

— С аэродрома сообщают, что самолет сел на живот. Летчик жив. Легко ранен. Самолет требует ремонта.

— Соколов? — спросил командующий.

— Точно. Соколов, товарищ полковник.

— Хороший летчик! — сказал командующий.— Талант! Это не шутка — посадить горящую машину!

— С аэродрома сообщают, что Соколов не хочет идти в лазарет,— добавил адъютант,— просится в бой.

Еще через несколько минут доложили, что все немецкие бомбы попали в воду. Я вспомнил, что мы действительно не видели ни одного разрыва фугасок.

С постов ПВО подтвердили, что на земле обнаружены три сбитых немецких самолета. На поиски спустившихся на парашютах немцев была послана команда.

На другой день я собственными ушами слышал по радио немецкое сообщение об этом бое. Немцы сообщали, что произвели на Мурманск ужасный налет. По их утверждению, город разрушен, сбито двадцать два советских самолета, а немцы потеряли лишь один самолет.

Это была даже не ложь, а нечто совершенно непонятное, патологическое. Впрочем, противник, теряющий чувство юмора,— хороший признак!

1942

СЕВАСТОПОЛЬ ДЕРЖИТСЯ

Прошло двадцать дней, как немцы начали наступать на Севастополь. Все эти дни напряжение не уменьшалось ни на час. Оно увеличивается. Восемьдесят шесть лет назад каждый месяц обороны Севастополя был приравнен к году. Теперь к году должен быть приравнен каждый день.

Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходит все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее простреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь.

Города почти нет. Нет больше Севастополя с его акациями и каштанами, чистенькими тенистыми улицами, парками, небольшими светлыми домами и железными балкончиками, которые каждую весну красили голубой или зеленой краской. Он разрушен. Но есть другой, главный Севастополь, город адмирала Нахимова и матроса Кошки, хирурга Пирогова и ма-

тросской дочери Даши. Сейчас это город моряков и красноармейцев, из которых просто невозможно кого-нибудь выделить, поскольку все они герои. И если мне хочется привести несколько случаев героизма людей, то потому лишь, что эти случаи типичны.

В одной части морской пехоты командиры взводов лейтенант Евтихеев и техник-интендант 2-го ранга Глущенко получили серьезные ранения. Они отказались уйти с поля сражения и продолжали руководить бойцами. Им просто некогда было уйти, потому что враг продолжал свои атаки. Они отмахнулись от санитаров, как поглощенный работой человек отмахивается, когда его зачем-нибудь зовут.

Пятьдесят немецких автоматчиков окружили наш дзот, где засела горсточка людей. Но эти люди не сдались, они уничтожили своим огнем тридцать четыре немца и стали пробиваться к своим только тогда, когда у них не осталось ни одного патрона. Удивительный подвиг совершил тут краснофлотец Полещук. Раненный в ногу, не имея ни одного патрона, он пополз прямо на врага и заколол штыком двух автоматчиков.

Краснофлотец Сергейчук был ранен. Он знал, что положение на участке критическое, и продолжал сражаться с атакующими немцами. Не знаю, хотел ли он оставить по себе память или же просто подбодрить себя, но он быстро вырвал из записной книжки листок бумаги и написал на нем: «Идя в бой, не буду щадить сил и самой жизни для уничтожения фашистов, за любимый город моряков — Севастополь».

Вообще в эти торжественные и страшные дни людей охватила потребность написать хоть две-три строки. Это началось на одной батарее. Там кто-то написал, что готов умереть, но не пустить немцев в Севастополь. Он подписал под этими строками свою фамилию, за ним то же самое стали делать другие. Они снова давали родине клятву верности, чтобы сейчас же, тут же сдержать ее. Они повторяли присягу под таким огнем, которого никто никогда не испытал. У них не брали присягу, как это бывает обычно. Они давали ее сами, желая показать пример всему фронту и оставить память своим внукам и правнукам.

В сочетании мужества с умением заключена вся сила севастопольской обороны лета 1942 года. Севастопольцы умеют воевать. Какой знаток военно-морского дела поверил бы до войны, что боевой корабль в состоянии подвезти к берегу груз, людей и снаряды, разгрузиться, погрузить раненых бойцов и эвакуированных женщин и детей, сделав все это в течение двух часов, и вести еще интенсивный огонь из всех орудий, поддерживая действия пехоты! Кто поверил бы, что в результате одного из сотен короткого авиационного налета, когда немцы сбросили восемьсот бомб, в городе был всего один убитый и один раненый! А ведь это факт. Севастопольцы так хорошо зарылись в землю, так умело воюют, что их не может взять никакая бомба.

Только за первые восемь дней июня на город было сброшено около девяти тысяч авиационных бомб, не считая снарядов и мин. Передний край обороны немцы бомбили с еще большей силой. Не знаю точно, сколько было сброшено бомб и сделано выстрелов по Севастополю и переднему краю за все двадцать дней штурма. Известно только, что огонь беспрерывно возрастает и каждый новый день штурма ожесточеннее предыдущего.

Немцы вынужденно пишут сейчас, что Севастополь неприступная крепость. Это не восхищение мужеством противника. Гитлеровцы не способны на проявление таких чувств. Это примитивный прием фашистской пропаганды. Если им удалось бы взять Севастополь, они заорали бы на весь мир: «Мы взяли неприступную крепость!» Если они захлебнутся, не смогут войти в город, они скажут: «Мы говорили, что эта крепость неприступна».

На самом деле Севастополь никогда не был крепостью со стороны суши. Он укрепился с волшебной быстротой уже во время обороны. Восьмой месяц немцы терпят под Севастополем поражение за поражением. Они теряют людей втрое, впятеро больше, чем мы. Они обеспокоены и обозлены — Севастополь уже давно обошелся им дороже самой высокой цены, которую они сочли бы разумным за него заплатить.

Теперь каждый новый день штурма усугубляет поражение немцев, потому что потери, которые они несут, невозместимы и рано или поздно должны сказаться.

Двадцать дней длится штурм Севастополя, и каждый день может быть приравнен к году. Город держится наперекор всему — теории, опыту, наперекор бешеному напору немцев, бросивших сюда около тысячи самолетов, около десяти лучших своих дивизий и даже сверхтяжелую 615-миллиметровую артиллерию, какая никогда еще не применялась.

Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее.

Когда моряков-черноморцев спрашивают, может ли удержаться Севастополь, они хмуро отвечают:

— Ничего, держимся.

Они не говорят: «Пока держимся». И они не говорят: «Мы удержимся». Здесь слов на ветер не кидают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма на море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают корабль всей силой своего умения и мужества.

Действующая армия
24 июня 1942 г. (По телеграфу.)

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

Лидер «Ташкент» совершил операцию, которая войдет в учебники военно-морского дела как образец дерзкого прорыва блокады. Но не только в учебники войдет эта операция. Она навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя, как один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа.

Люди точно знали, на что они идут, и не строили себе никаких иллюзий. «Ташкент» должен был прорваться сквозь немецкую блокаду в Севастополь, выгрузить боеприпасы, принять на борт женщин, детей и раненых бойцов и, снова прорвав блокаду, вернуться на свою базу.

26 июня в два часа дня узкий и длинный голубоватый корабль вышел в поход. Погода была убийственная — совершенно гладкое, надраенное до глянца море, чистейшее небо, и в этом небе занимающее полмира горячее солнце. Худшей погоды для прорыва блокады невозможно было придумать.

Я услышал, как кто-то на мостике сказал: «Они будут заходить по солнцу».

Но еще долгое время была тишина, и ничто не нарушало ослепительного голубого спокойствия воды и неба.

«Ташкент» выглядел очень странно. Если бы год назад морякам, влюбленным в свой элегантный корабль, как бывает кавалерист влюблен в своего коня, сказали, что им предстоит подобный рейс, они, ве-

роятно, очень удивились бы. Палубы, коридоры и кубрики были заставлены ящиками и мешками, как будто это был не лидер «Ташкент», красивейший, быстрейший корабль Черноморского флота, а какой-нибудь пыхтящий грузовой пароход. Повсюду сидели и лежали пассажиры. Пассажир на военном корабле! Что может быть более странного! Но люди уже давно перестали удивляться особенностям войны, которую они ведут на Черном море. Они знали, что ящики и мешки нужны сейчас защитникам Севастополя, а пассажиры, которых они везут,— красноармейцы, которые должны хоть немного облегчить их положение.

Красноармейцы, разместившись на палубах, сразу же повели себя очень самостоятельно. Командир и комиссар батальона посовещались, отдали приказания, и моряки увидели, как красноармейцы-сибиряки, никогда в жизни не видевшие моря, потащили на нос и корму по станковому пулемету, расставили по бортам легкие пулеметы и расположились так, чтобы им было удобно стрелять во все стороны. Войдя на корабль, они сразу же стали рассматривать его, как занятую ими территорию, а море вокруг — как территорию, занятую противником. Поэтому они по всем правилам военного искусства подготовили круговую оборону. Это понравилось морякам: «Вот каких орлов везем»,— говорили они.

И между моряками и красноармейцами сразу же установились приятельские отношения.

В четыре часа сыграли боевую тревогу. В небе появился немецкий разведчик. Раздался длинный, тонкий звоночек, как будто сквозь сердце быстро продернули звенящую медную проволочку. Захлопали зенитки. Разведчик растаял в небе. Теперь сотни глаз через дальномеры, стереотрубы и бинокли еще внимательнее следили за небом и морем. Корабль мчался вперед в полной тишине навстречу неизбежному бою. Бой начался через час. Ожидали атаки торпедоносцев, но прилетели дальние бомбардировщики «хейнкели». Их было тринадцать штук. Они заходили со стороны солнца по очереди и, очутившись над кораблем, сбрасывали бомбы крупного калибра (мне показалось, как-то неторопливо сбрасывали).

Теперь успех похода, судьба корабля и судьба людей на корабле — все сосредоточилось в одном человеке. Командир «Ташкента» капитан 2-го ранга Василий Николаевич Ярошенко, человек среднего роста, широкоплечий, смуглый, с угольного цвета усами, не покидал мостика. Он быстро, но не суетливо переходил с правого крыла мостика на левое, щурясь смотрел вверх и вдруг, в какую-то долю секунды приняв решение, кричал сиплым, сорванным голосом:

— Лево на борт!

— Есть лево на борт! — повторял рулевой.

С той минуты, когда началось сражение, рулевой, высокий голубоглазый красавец, стал выполнять свои обязанности с особенным шиком. Он быстро поворачивал рулевое колесо. Корабль, содрогаясь всем корпусом, отворачивал, проходила та самая секунда, которая, как положено в банальных романах, кажется людям вечностью, и справа или слева, или впереди по носу, или за кормой в нашей струе поднимался из моря грязновато-белый столб воды и осколков.

— Слева по борту разрыв! — докладывал сигнальщик.

— Хорошо,— отвечал командир.

Бой продолжался три часа почти без перерывов. Пока одни «хейнкели» бомбили, заходя на корабль по очереди, другие улетали за новым грузом бомб. Мы жаждали темноты, как жаждет человек в пустыне глотка воды. Ярошенко неутомимо переходил с правого крыла на левое и, прищурившись, смотрел в небо. И за ним поворачивались сотни глаз. Он казался всемогущим, как бог. И вот один раз, проходя мимо меня между падением двух бомб, бог 2-го ранга вдруг подмигнул черным глазом, усмехнулся, показав белые зубы, и крикнул:

— Ни черта! Я их все равно обману!

Он выразился более сильно, но не все, что говорится в море во время боя, может быть опубликовано в печати.

Всего немцы сбросили сорок крупных бомб, примерно по одной бомбе в четыре минуты. Сбрасывали они очень точно, потому что по крайней мере десять

бомб упали в то место, где бы мы были, если бы Ярошенко вовремя не отворачивал. Последняя бомба упала далеко по левому борту уже в сумерках, при свете луны. А за десять — пятнадцать минут до этого мы с наслаждением наблюдали, как один «хейнкель», весь в розовом дыму, повалился вслед за солнцем в море.

Бомбардировка окончилась, но напряжение не уменьшилось. Мы приближались к Севастополю. Уже была ночь, и в небе стояла громадная луна. Силуэт нашего корабля отлично рисовался на фоне лунной дорожки. Когда он был примерно на траверзе Балаклавы, сигнальщик крикнул:

— Справа по борту торпедные катера!

Орудия открыли огонь. Трудность положения заключалась в том, что ночью нельзя увидеть торпеду и отвернуть от нее. Мы ждали, но взрыва не было. Очевидно, торпеды прошли мимо. Корабль продолжал идти полным ходом. Катеров больше не стало видно. Вероятно, они отстали.

И вот мы увидели в лунном свете кусок скалистой земли, о котором с гордостью и состраданием думает сейчас вся наша советская земля. Я знал, как невелик севастопольский участок фронта, но у меня сжалось сердце, когда я увидел его с моря. Таким он казался маленьким. Он был очень четко обрисован непрерывными вспышками орудийных залпов. Огненная дуга. Ее можно было охватить глазом, не поворачивая головы. По небу непрерывно двигались прожектора, и вдоль них медленно текли вверх огоньки трассирующих пуль. Когда мы пришвартовывались к пристани и прекратился громкий шум машины, сразу стала слышна почти непрерывная канонада. Севастопольская канонада июня 1942 года!

Командир все еще не уходил с мостика, потому что бой, в сущности, продолжался. Был только новый этап его. Нужно было войти туда и пришвартоваться там, куда до войны никто не решился бы войти на таком корабле, как «Ташкент», и где ни один капитан в мире не решился бы пришвартоваться. Нужно было выгрузить груз и людей. Нужно было успеть взять раненых

и эвакуируемых женщин и детей. И нужно было сделать это с такой быстротой, чтобы можно было уйти еще затемно. Командир знал, что немцы будут ждать нас утром, что уже готовятся самолеты, подвешиваются бомбы. Хорошо, если это будут «хейнкели». А если пикирующие бомбардировщики? Командир знал, что, каким курсом он ни пойдет из Севастополя, он все равно будет обнаружен. Встречи избежать нельзя, и немцы сделают все, чтобы уничтожить нас на обратном пути. Я видел, как стоял командир на мостике и следил за разгрузкой. Его напряженное лицо было освещено луной. Двигались скулы. О чем он думал, глядя, как по сходням, поддерживая друг друга, всходили на корабль легкораненые, как несли на носилках тяжелораненых, как шли матери, прижимая к груди спящих детей? Все это происходило почти в полном молчании. Разговаривали вполголоса. Корабль был разгружен и погружен в течение двух часов. Командир взял на борт две тысячи человек. И каждый из них, проходя на корабль, поднимал голову, ища глазами мостик и командира на нем.

Василий Николаевич Ярошенко отлично знал, что такое гибель корабля в море. В свое время он командовал небольшим кораблем, который затонул от прямого попадания неприятельской бомбы. Тогда Ярошенко отстаивал свой корабль до конца, но не смог отстоять. Он к тому же был серьезно ранен. Корабль пошел ко дну. Ярошенко спас команду, а пассажиров тогда не было. Он последним остался на мостике и прыгнул в море только тогда, когда мостик стал погружаться. Он зажал тогда в одной руке партийный билет, а в другой револьвер, так как решил застрелиться, если выбьется из сил и станет тонуть. Тогда его спасли. Но что делать теперь? Теперь у него пассажиры — женщины, дети, раненые. Теперь надо будет спасать корабль или идти вместе с ним на дно.

Корабль вышел из Севастополя около двух часов...

1942

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1942 году в статье «Из воспоминаний об Ильфе» Е. Петров сообщал: «Я очень волновался, когда... ехал к Ильфу со своей первой в жизни, самостоятельно написанной главой».

Он имел в виду одну из глав «Одноэтажной Америки», единственного совместного произведения, написанного Ильфом и Петровым раздельно, по главам — на десятом году их соавторства. Обозревая пройденный путь, Е. Петров считал началом его и Ильфа литературной жизни роман «Двенадцать стульев».

А между тем писатели Евгений Петров и Илья Ильф появились в литературе значительно раньше. Произведения, написанные ими порознь, представляют не только несомненную художественную ценность, но интересны еще и тем, что позволяют приоткрыть завесу над секретом соавторства И. Ильфа и Е. Петрова.

Загадка соавторства Ильфа и Петрова привлекала внимание едва ли не с первых шагов их совместной работы. Загадочным здесь казался не сам факт сотрудничества двух художников (подобными фактами изобилует и русская и зарубежная литература), но удивительная цельность каждого из произведений, подписанных двумя авторами. В этих произведениях нет швов. Даже читатель с острым чувством стиля не найдет здесь смешения двух творческих манер. Вот, например, отзыв Лиона Фейхтвангера по этому поводу: «Никогда еще я не видел, чтобы содружество переросло в такое творческое единство, чтобы результатом совместной работы двух писателей явились такие органичные, монолитные произведения, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» («Литературная газета», 1937, № 21, 20 апреля).

Ильф и Петров и сами пытались не раз взглянуть на свою работу со стороны, как бы стараясь объяснить, как это получается. В шутливой форме они говорили о своем соавторстве в «Двойной автобиографии», в предисловии к «Золотому теленку», в автобиографии «Соавторы». Шутливая и в то же время раздумчивая запись появилась в записных книжках Ильфа в последний год его жизни («Как мы пишем вдвоем?», см. в этом томе стр. 257). В статье «Из воспоминаний об Ильфе» Е. Петров всерьез обратился к этой теме.

Обрисованный в воспоминаниях Е. Петрова живыми красками, процесс творчества писателей стал для нас зримым. Стало ясно, что это было соавторство равных, с глубоким, как взаимопроникновение, пониманием друг друга. Но соавторство равных не было соавторством одинаковых. Что вносил в общую работу каждый из писателей, чем разнились их творческие индивидуальности? Е. Петров не ставил перед собой такого вопроса и потому ответа на него не дал.

Немного может дать в этом отношении и анализ архива Ильфа и Петрова. Почерк в их рабочих записях сам по себе не может свидетельствовать о принадлежности той или иной мысли, слова тому или другому из соавторов. Из воспоминаний Петрова известно, что в начале совместного творчества они решили, что писать будет Петров, так как его почерк был лучше. Им написано большинство рукописей и черновых вариантов. Например, в период подготовки авторов к работе над романом «Золотой теленок» Петров переписывал на большие листы свои и Ильфа заметки, чтобы потом удобнее было пользоваться ими в процессе совместной работы. Отдельные черновики Ильфа, тут же повторенные рукой Петрова вперемежку с новыми записями, сохранились.

Для определения творческой манеры каждого из писателей и характеристики их соавторства интересно сравнение и анализ произведений, написанных Ильфом и Петровым раздельно.

Литературная деятельность Ильфа (если не считать почти неизученный, юношеский, одесский период) началась в 1923 году в газете «Гудок».

Это была боевая, по-настоящему партийная, широко связанная с массами газета, вырастившая отряд первоклассных журналистов-гудковцев. Многие из них стали известными писателями. В «Гудке» выступали Ю. Олеша (псевдоним «Зубило»), В. Катаев (псевдонимы «Старик Саббакин» и «Оливер Трист»),

М. Булгаков, Л. Славин, К. Паустовский, С. Гехт, А. Эрлих. На страницах газеты появлялись стихи В. Маяковского.

В «Гудке» Ильф сотрудничал в отделе «Рабочая жизнь», более известном под названием «четвертой полосы» (материалы этого отдела печатались на последней странице — полосе газеты). Он редактировал рабкоровские корреспонденции, и многие из ранних его фельетонов написаны на материале рабочих писем.

Первые свои произведения Ильф печатал в «Гудке», в журналах «Красный перец», «Смехач» и других. Подписывался так: Ильф (без инициалов), Иф., И. Фальберг, иногда инициалами И., И. Ф. Употребление Ильфом этих псевдонимов подтверждается архивными данными. Принадлежность Ильфу псевдонима И. А. Пселдонимов обосновывается следующим образом.

Фельетоны И. А. Пселдонимова публиковались в журнале «Смехач», чаще всего — в разделе «Смехач на рельсах», готовившемся работниками «Гудка». Написаны они, как правило, на материале конкретных фактов из писем рабкоров-железнодорожников. И. А.— инициалы Ильфа. Пселдонимов — половинка псевдонима, которым позже пользовались Ильф и Петров сообща («Виталий Пселдонимов»). В фельетонах Пселдонимова встречаются выражения и имена, позже использованные Ильфом и Петровым в их романах (например, имя «Васисуалий»). Кроме того, имя И. А. Пселдонимов дважды встречается в записных книжках Ильфа за 1927 год.

В 1923—1924 годах Ильф еще не был уверен, что его призвание — сатира. Он писал рассказы на героические темы («Рыболов стеклянного батальона», «Маленький негодяй»). В 1925 году по командировке «Гудка» Ильф побывал в Средней Азии и опубликовал серию очерков об этой поездке. Его глубоко взволновал этот край, где на фоне внешне сохранившейся ветхозаветной старины уверенно пробивались ростки нового. Здесь впервые проявился характерный для него острый интерес к ярким подробностям жизни, которые он как бы коллекционирует, составляя пеструю, увлекающую блеском красок мозаичную картину. В эти годы Ильф пишет и кинофельетоны и рецензии на кинофильмы («Драма в нагретой воде», «Неразборчивый клинок»).

Начало творчества Е. Петрова почти совпадает с появлением в печати первых произведений Ильфа. С 1924 года он работает в журнале «Красный перец», сначала выпускающим, потом — ответственным секретарем редакции. В 1926 году переходит в «Гудок», где работает в профотделе. До начала сотруд-

ничества с Ильфом Петров опубликовал в «Красном перце», «Смехаче», «Огоньке» и других периодических изданиях более полусотни юмористических рассказов, выпустил три самостоятельных сборника: «Радости Мегаса» (ЗИФ, М.— Л. 1926), «Без доклада» (б-ка «Смехач», М. 1927), «Случай с обезьяной» (ЗИФ, М.— Л. 1927).

В этот период, кроме псевдонима Е. Петров, у него был еще один: Иностранец Федоров, а позже появился и третий: Е. Петрович.

С 1925 года имя Иностранца Федорова весьма часто встречается на страницах «Красного перца», «Смехача», «Чудака», «Крокодила» и «Рабочей газеты». Принадлежность псевдонима Иностранец Федоров Е. Петрову не вызывает сомнений, хотя в своих воспоминаниях автор ничего об этом не говорит. Один из рассказов Иностранца Федорова («Звездакин в доме отдыха»), опубликованный в «Крокодиле» в 1925 году, был перепечатан в 1926 году в сборнике Е. Петрова «Радости Мегаса».

Псевдоним Иностранец Федоров Е. Петров взял у Гоголя, писателя, которого горячо любил: в первой главе «Мертвых душ» упоминается «магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров».

Наиболее характерным для раннего творчества Е. Петрова жанром был юмористический рассказ, отличавшийся сюжетной занимательностью, живостью диалога. «Евгений Петров обладал замечательным даром — он мог рождать улыбку»,— писал И. Эренбург уже после смерти Петрова («Литература и искусство», 1944, № 27, 1 июля). Это свойство было у Е. Петрова природным и отличало уже его первые произведения. Но рассказы Е. Петрова были не только юмористичны. Таким, например, как «Всеобъемлющий зайчик», «Весельчак», был присущ и сатирический пафос.

Такие разные, писатели были во многом близки друг другу. Их роднили острый интерес к жизни, сатирическая направленность, стремление обнажить скрытый комизм явлений.

Начав работать вместе, Ильф и Петров продолжали создавать свои художественные произведения и порознь.

Некоторые из них тематически и идейно чрезвычайно близки тому, над чем писатели работали сообща. Так, фельетон Ильфа «Источник веселья», фельетоны Петрова «Непогрешимая формула» и «Нюрнбергские мастера пения», обличающие халтуру в искусстве, напечатанные в театральном разделе журнала «Чудак» под

рубрикой «Деньги обратно», перекликаются с совместными фельетонами Ильфа и Петрова, которые они помещали в этом же разделе за подписью Дон-Бузильо (см. том II наст. Собр. соч.).

В фельетоне Ильфа «Путешествие в Одессу» и рассказе Петрова «Долина» были намечены темы, развитые ими впоследствии в «Золотом теленке».

Начало совместной работы И. Ильфа и Е. Петрова над романом «Двенадцать стульев» (1927) не привело к нивелировке их дарований. Собственно, в творчестве Ильфа и Петрова и не было слияния их творческих индивидуальностей, а была многолетняя, упорная и вполне успешная выработка нового, совместного стиля.

Выступая порознь, Ильф и Петров иногда создавали произведения, близкие между собой по теме и даже по сюжету. Сравните фельетон Ильфа «Молодые дамы» и рассказ Е. Петрова «День мадам Белополякиной», рассказы «Разбитая скрижаль» Ильфа и «Дядя Силантий Арнольдыч» Петрова. Но к решению темы писатели подходили по-разному, с разными художественными приемами, свойственными их творческим индивидуальностям.

У Ильфа образ обобщен, почти безымянен. Мы бы так и не узнали, как зовут «молодую даму», если бы в самом имени этих «гурий» — Бригитта, Мэри или Жея — автор не видел предмета для насмешки. Мы не знаем их внешности. Ильф пишет об этих «молодых дамах» вообще, и черты лица или цвет волос одной из них здесь не важны. Такая «молодая дама» любит являться на семейных вечерах в «голубой или оранжевой пижаме». Индивидуальные детали не интересуют автора. Он подбирает лишь типические, видовые. Почти так же обобщен образ сварливого соседа в рассказе «Разбитая скрижаль».

Петров стремится дать явление или характер в конкретной, индивидуализированной форме. Не «молодая дама» вообще, а именно мадам Белополякина с ее жирным лобиком и стриженым затылком. Не обобщенный квартирный склочник, а вполне определенный дядя Силантий Арнольдыч с его серенькими ресничками и испуганным взглядом. Е. Петров подробно описывает и утро мадам, и ее счеты с домработницей. Мы узнаем, какие именно вещи и как перетаскивал в новую квартиру склочный «дядя».

Петров основное внимание уделяет сюжету, юмористический и сатирический материал в его рассказах обычно организован вокруг развития действия (см. рассказы «Беспокойная ночь»,

«Встреча в театре», «Давид и Голиаф» и др.). Ильф же стремится воплотить свою сатирическую мысль в острой комической детали, часто выделяя одно смешное сюжетное положение и всячески обыгрывая его.

В характерной подробности Ильф часто искал проявления сущности вещей. Это видно и в фельетонах «Переулок», «Для моего сердца» и в очерке «Москва от зари до зари». Восхищенно следя за наступлением нового, он в то же время с острым интересом наблюдает старое — в переулках Москвы, на «персидских» ее базарах, теснимых новым бытом. Это старое, уходившее на задворки жизни и в то же время еще перемешивавшееся с новым, не ускользало от внимания Ильфа-сатирика.

Рассказы Е. Петрова насыщены диалогами, в которых раскрываются характеры действующих лиц. В произведениях Ильфа повествование ведется в основном от лица автора, диалог не играет в них решающей роли.

Эти столь разные особенности дарований молодых авторов, соединившись, дали одно из самых ценных качеств стиля писателя «Ильфа и Петрова» — сочетание увлекательности сюжета с точной отделкой каждой реплики, каждой детали.

Надо также отметить, что совместные произведения Ильфа и Петрова, как правило, глубже, отчетливее по мысли, резче в своем актуальном звучании, чем произведения, написанные раздельно, даже если те и другие весьма близки по времени их создания или по содержанию. Достаточно сравнить фельетон Ильфа «Источник веселья» (1929) и общий фельетон писателей «Веселящаяся единица» (1932), созданные примерно на одном материале, или рассказ Е. Петрова «Долина» (1929) с текстом главы «Багдад» в «Золотом теленке».

В течение десяти лет совместной работы Ильф и Петров находились под непрерывным, сильным и всевозрастающим обоюдным влиянием. Ценное в творческих принципах, взглядах, вкусах одного непременно усваивалось другим, а то, что признавалось ненужным, фальшивым, постепенно вытравлялось. Так был создан стиль, о котором Е. Петров в своих воспоминаниях об Ильфе писал: «...стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе» (см. в этом томе «Из воспоминаний об Ильфе». К пятилетию со дня смерти).

На протяжении всего творчества Ильф делал записи в своих записных книжках. В них вошли черновые заметки, наброски задуманных произведений, мысли и афоризмы, которые могли бы пригодиться в работе.

Записные книжки Ильфа представляют собой обыкновенные блокноты и тетради разного формата. Есть среди них разрозненные и рассыпанные листки. Творческие записи, четко отделенные одна от другой черточкой, перемежаются с номерами телефонов и адресами, бытовыми заметками, рисунками.

Некоторые книжки не дописаны. Отложив почему-нибудь записную книжку или заведя новую (подробно об этом см. в воспоминаниях Е. Петрова), Ильф уже не возвращался к старой, не дописывал ее, но отдельные выражения и мысли, казавшиеся ему наиболее ценными, переносил в новую книжку. Так образуются в записях Ильфа повторения.

Нередко, использовав какую-нибудь запись, Ильф вычеркивал ее. Особенно много таких вычеркнутых, использованных записей встречается в книжках, относящихся ко времени работы над романом «Золотой теленок».

В некоторых книжках, главным образом связанных с путешествиями, записи приобретают дневниковый характер.

Записывал Ильф не только придуманное, но и услышанное или прочитанное. В 1926 году он вырезал из газеты объявление ресторана «Фантазия», «единственного ресторана, где кормят вкусно и дешево», а потом перенес заметку в свою записную книжку (газетная вырезка хранится в ЦГАЛИ, 1821, 190) [1]. Товарищ Ильфа и Петрова по «Гудку» М. Л. Штих посоветовал им взять псевдоним Пополамов, раз уж они пишут «пополам». Псевдоним этот не был использован, но в записную книжку Ильфа попал. Записывал Ильф слова и афоризмы, общеупотребительные в кругу его и Петрова товарищей. «Я пришел к вам как мужчина к мужчине» — по свидетельству М. Л. Штиха, в «Гудке» это было распространенное выражение, повторение реплики, которую всерьез произнес один из сотрудников, пытаясь вымолить у редактора не положенный ему аванс.

В одной из книжек Ильф записал: «Мы возвращаемся

---

[1] (ЦГАЛИ, 1821, 190) — Центральный государственный архив литературы и искусства, фонд 1821, единица хранения 190. Далее для краткости везде будет принято такое обозначение.

назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто... Он торопится к себе на второй этаж рисовать «сапоги».

В своих воспоминаниях об Ильфе и Петрове Борис Ефимов так рассказывает об этом эпизоде:

«В этой не очень понятной для читателя записи речь идет обо мне. Дело в том, что я поставил себе ежедневный «урок» — не менее пяти рисунков. А так как почти в каждой карикатуре антифашистского альбома неизбежно фигурировали штурмовики или эсэсовцы, то мне приходилось на протяжении рабочего дня рисовать не менее десятка пар сапог.

Ильф был в курсе дела и каждое утро в столовой за завтраком не забывал вежливо спросить:

— Сколько пар сапог выдано вчера на-гора, Боря?» (журн. «Москва», 1961, № 1, стр. 197).

Многие записи представляют собой законченные художественные миниатюры. Они раскрывают перед нами внутренний мир художника. Поэтому, впервые собранные и опубликованные после смерти Ильфа в 1939 году с предисловием Е. Петрова, они были восприняты читателем как своеобразное и до того не известное произведение Ильфа.

Смерть И. Ильфа была для Е. Петрова глубокой травмой, и личной и творческой. С потерей друга он так и не примирился до последнего дня своей жизни. Но творческий кризис преодолевал с упорством и настойчивостью человека большой души и большого таланта.

Заканчивать в одиночку начатое вместе с Ильфом оказалось невозможным, хотя незадолго до смерти Ильфа соавторы уже попробовали работать врозь — над «Одноэтажной Америкой». Но тогда, работая в разных концах Москвы и даже видясь не каждый день, писатели продолжали жить общей творческой жизнью. Каждая мысль была плодом взаимных споров и обсуждений, каждому образу, каждой реплике предстояло пройти суд товарища. Со смертью Ильфа писателя «Ильфа и Петрова» не стало.

Е. Петров продолжает работать много и напряженно. Он ищет новые темы, новые жанры. Вскоре после смерти Ильфа у него возник замысел книги «Мой друг Ильф». В этой книге писатель намеревался рассказать «о времени и о себе». О себе — в данном случае означало бы: об Ильфе и о себе. Замысел его далеко выходил за пределы личного. Здесь должна была заново,

в иных чертах и с привлечением другого материала, отразиться эпоха, уже запечатленная в их совместных произведениях. Раздумья о литературе, о законах творчества, о юморе и сатире. Из статей, которые были им опубликованы под названием «Из воспоминаний об Ильфе», и из планов и набросков, найденных в его архиве, видно, что книга была бы щедро насыщена юмором. Фактический материал, которым изобилует эта только еще начатая работа, чрезвычайно богат.

Как корреспонденту «Правды» Е. Петрову приходилось много ездить по стране. В 1937 году он был на Дальнем Востоке. Впечатления этой поездки отразились в очерках «Молодые патриотки», «Старый фельдшер». В это время Петров пишет и литературно-критические статьи. Особенностью его статей является то, что писатель в них высказывает мысли, относящиеся не только к разбираемой книге, но и к литературе в целом. Так, статья «Серые этюды» явилась поводом для рассуждений об отношении писателя к языку художественных произведений. В статье «Реплика писателя» дана интересная характеристика РАППа. Ильф и Петров литературно-критических статей не писали (их речь «Писатель должен писать» была единственным выступлением в таком плане), и статьи Е. Петрова, в которых выражены его, а следовательно, и Ильфа, взгляды на литературу и литературное творчество, в связи с этим особенно ценны.

Занимается Е. Петров в этот период и большой организаторской работой. Он был заместителем редактора «Литературной газеты», в 1940 году стал редактором журнала «Огонек» и в редакторскую свою работу вносил подлинную творческую страстность.

В 1940—1941 годах Е. Петров обращается к жанру кинокомедии. Им было написано пять сценариев: «Воздушный извозчик», «Тиха украинская ночь», «Беспокойный человек», «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится» — три последних в соавторстве с Г. Мунблитом.

«Музыкальная история», «Антон Иванович сердится» и «Воздушный извозчик» были экранизированы.

С первых дней Великой Отечественной войны Е. Петров стал корреспондентом Совинформбюро. Его фронтовые очерки появлялись в «Правде», «Известиях», «Огоньке», «Красной звезде». Он посылал телеграфные корреспонденции в США. Хорошо знавший Америку, умевший говорить с рядовыми американцами, он немало сделал в годы войны, чтобы донести до американского народа правду о героическом подвиге советских людей.

Осенью 1941 года это были очерки о защитниках Москвы. Е. Петров бывал на передовой, появлялся в освобожденных селах, когда там еще дымились пепелища, разговаривал с пленными.

Когда фашистов отогнали от Москвы, Е. Петров отправился на Карельский фронт. В своих корреспонденциях он рассказал о героизме и мужестве защитников советского Заполярья.

Разрешения поехать в осажденный Севастополь Е. Петров добился с трудом. Город был блокирован с воздуха и с моря. Но туда ходили наши корабли и летали самолеты, доставляя боеприпасы, вывозя раненых и жителей. Крейсер «Ташкент», на котором находился Е. Петров, успешно достиг цели, но на обратном пути в него попала немецкая бомба. И все время, пока подошедшие на помощь корабли снимали раненых, детей и женщин, «Ташкент» был под обстрелом. Петров отказался покинуть корабль. Он оставался с экипажем до прихода в порт, находясь все время на палубе и помогая бороться за сохранение корабля. «Когда в день отлета я вошел утром на веранду, на которой спал Петров,— рассказывает адмирал И. С. Исаков,— вся веранда и вся мебель на ней были устланы исписанными листками бумаги. Каждый был аккуратно придавлен камешком. Это сушились записи Евгения Петрова, вместе с его полевой сумкой попавшие в воду во время боя» («Огонек», 1943, № 25—26, стр. 7).

Здесь был и его последний, неоконченный очерк «Прорыв блокады».

Возвращаясь с фронта, 2 июля 1942 года Е. Петров погиб при аварии самолета.

И. ИЛЬФ. РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1923 — 1930)

Произведения датируются по первой публикации и располагаются в хронологическом порядке. Авторская датировка отсутствует. Неопубликованные произведения помещены после публиковавшихся.

Москва, Страстной бульвар, 7 ноября.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1923, № 1045, 9 ноября. Подпись: Иф. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Рыболов стеклянного батальона.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1923, № 1064, 1 декабря. С подзаголовком: Рассказ. Подпись: И. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

«Маленький негодяй».— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1924, № 1092, 6 января, на «Литературной страничке «Гудка». Подпись: И. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Беспризорные.— Впервые опубликован в журнале «Железнодорожник», 1924, № 3. Подпись: И. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Железнодорожник».

Перегон Москва — Азия.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1925, № 154, 9 июля. Подпись: Ильф. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Глиняный рай.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1925, № 156, 11 июля. Подпись: Ильф. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Азия без покрывала.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1925, № 161, 17 июля. Подпись: Ильф. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Драма в нагретой воде.— Впервые опубликован в газете «Вечерняя Москва», 1925, № 273, 30 ноября. С подзаголовком: Кинофельетон. Подпись: И. Фальберг. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Вечерняя Москва».

Неразборчивый клинок.— Впервые опубликован в газете «Кино», 1925, № 37, 1 декабря. Подпись: И. Фальберг. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Кино».

Кинофельетон посвящен разбору голливудского фильма «Клинок Кестенбрука» и стоит в ряду многих статей и фельетонов, в которых газета «Кино» резко критиковала пустоту и пошлость американских кинокартин.

Банкир-бузотер.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 30, на страничке «Смехач на рельсах». Подпись: И. А. Пселдонимов. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Пешеход.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1928, № 43. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Москва от зари до зари.— Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1928, № 11. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «30 дней».

Случай в конторе.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1928, № 47. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Разбитая скрижаль.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 9. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Как делается весна.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 12. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Диспуты украшают жизнь.— Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1929, № 3. Со следующим предисловием от редакции: «Устроители лекций иногда используют в чисто коммерческих интересах тягу масс к знанию, предлагая слушателям недоброкачественный материал. В фельетоне «Диспуты украшают жизнь» И. Ильф высмеивает некоторые уродливые явления нашей культурной жизни». Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «30 дней».

Путешествие в Одессу.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 13. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

ОДН — Общество «Долой неграмотность!»

ВУФКУ — Всеукраинское фотокиноуправление.

Молодые дамы.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 21. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Источник веселья.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 27. Под рубрикой: «Деньги обратно». Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Новый дворец.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 28. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Принцметалл.— Публикация не установлена. Рассказ написан в 1924 году: в тексте упомянуты «семь прошедших революционных лет». В рукописи есть подзаголовок «Борьба с детской беспризорностью», зачеркнутый Ильфом. Незачеркнутыми остались слова: «Или как не надо бороться».

Печатается по рукописи. Подпись: И. (ЦГАЛИ, 1821, 85).

Неликвидная Венера.— Публикация не установлена. Рассказ относится приблизительно к 1925 году. Упоминаемые в рассказе «братья Капли», кооператив (артель) «Красный бублик» и «лунный, осыпанный серебряными звездочками жилет», встречаются в записях Ильфа за 1925 год.

Печатается по машинописной копии с правкой автора. Подпись: Ильф (ЦГАЛИ, 1821, 83).

Для моего сердца.— Фельетон не публиковался. На машинописном экземпляре этого фельетона с правкой Ильфа — в правом углу первой страницы — карандашная пометка, не принадлежащая Ильфу: 29 — V. 1930 г. Произведение можно датировать и по записным книжкам Ильфа: название «Для моего сердца» и слова-аббревиатуры, вошедшие в текст рассказа, встречаются в записях Ильфа за 1930 год.

Печатается по машинописной копии с правкой автора (ЦГАЛИ, 1821, 76).

Переулок.— Даты написания и публикации фельетона не установлены.

Печатается по рукописи. Подпись: И. Ф. (ЦГАЛИ, 1821, 84).

Благообразный вор.— Публикация не установлена. В ЦГАЛИ хранятся невыправленные гранки этого фельетона, подписанные: И. Илья. В тексте много опечаток. В заголовке гранок «Благообразный ворог». Это опечатка. В оригинале, как это видно из текста фельетона, могло быть «Благообразный вор». В тексте есть фраза: «Внешний вид книжного вора весьма благообразен». Слово «вор» в фельетоне встречается, слово «ворог» (укр., означает враг) — отсутствует. Слова, взятые Ильфом как эпиграф к этому рассказу: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу»,— упоминаются в его записной книжке за 1930 год.

Печатается по тексту гранок (ЦГАЛИ, 1821, 73). Опечатка в заголовке исправлена.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
(1925 — 1937)

Большинство записных книжек Ильфа им не датировано и время их создания приходится устанавливать по косвенным данным. Поскольку не все записные книжки поддаются точной датировке, расположение их в томе основано на последовательности использования записей в художественных произведениях Ильфа и Петрова.

Записные книжки Ильфа содержат карандашные зарисовки автора, носящие юмористический характер. Подобные зарисовки делались Ильфом не только в записных книжках, но и на отдельных листах, старых фотопластинках и т. д. По теме они часто перекликаются с отдельными публикуемыми записями.

Редакция сочла возможным поместить некоторые из них для того, чтобы дать читателю представление и об этой стороне своеобразного дарования автора.

Записные книжки печатаются выборочно, по оригиналам, хранящимся в ЦГАЛИ (1821, 97, 98, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132). Для удобства комментирования книжек в примечаниях приводится первая фраза, с которой начинается каждая книжка в настоящем издании. В тексте одна книжка от другой отделяется звездочками.

Написанное Ильфом в скобках воспроизводится в круглых скобках. В квадратных скобках публикуются записи, зачеркнутые Ильфом, после того как он использовал их в художественных

произведениях. На месте опущенных редакцией слов ставятся четыре точки. Три точки — многоточие Ильфа. Недописанные автором слова или написанные им сокращенно раскрываются для удобства читателя без дополнительных оговорок.

«Как забыть, Самарканд...» — автором не датирована. Записи о поездке Ильфа в Среднюю Азию летом 1925 года заполняют ее до середины. Затем книжка была перевернута, так что последняя ее страница стала первой, и вновь заполнена до середины — здесь зафиксированы впечатления от поездки с тиражной комиссией на пароходе «Герцен». Эти впечатления использованы в романе «Двенадцать стульев» — в изображении путешествия на пароходе «Скрябин».

«Двое молодых...» — в издании: И. Ильф, «Записные книжки», «Советский писатель», М. 1957 (далее везде это издание будет названо предыдущим), была отнесена к 1927 году. На самом деле она заполнялась в сентябре — октябре 1925 года. Основанием для таких выводов могут служить черновые наброски фельетона «Ферт с товарищами», сделанные Ильфом в этой же книжке (фельетон опубликован в газете «Гудок» 2 октября 1925 года), а также занесенные в эту книжку записи о профсоюзном собрании гудковцев, состоявшемся около 1 октября того же года.

«Серпухов. Ходили две барышни...» — заполнена во время поездки Ильфа и Петрова на Кавказ в июне 1927 года. Впечатления поездки отразились в третьей части романа «Двенадцать стульев». Публикуется впервые.

«Упаковочная контора «Быстроупак»» и «Поедем в город...» — составлялись в период работы над «Двенадцатью стульями» — осенью 1927 года. Вторая из них в предыдущем издании была отнесена к 1926 году, т. е. ко времени, когда Ильф еще не сотрудничал с Петровым и сюжета «Двенадцати стульев» не существовало. Между тем в обеих этих книжках, содержащих различные заготовки к роману, рядом с фразеологическими записями имеются разные наброски плана второй части романа «Двенадцать стульев». Следовательно, эти записи не могли быть сделаны раньше августа — сентября 1927 года (когда В. Катаев подсказал Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев»). В январе же 1928 года роман уже начал печататься.

Терминология карточного гаданья, подробно записанная Иль-

фом, явилась творческой заготовкой для сцены гаданья Елены Станиславовны в романе «Двенадцать стульев».

«З а с т е н ч и в ы й в л ю б л е н в м а ш и н и с т к у...» — в предыдущем издании отнесена к 1929 году — составлялась Ильфом не позднее конца 1927 — начала 1928 годов. В начале ее встречаются выражения, вошедшие в третью часть романа «Двенадцать стульев», но уже со второй примерно трети господствующим материалом становятся заготовки к повести «Светлая личность» (начала печататься в июле 1928 г.). Соответствующие записи использованы в произведениях позже записей из книжек, помещенных выше, и в то же время не позднее середины 1928 года.

«М е щ а н с к а я р о д о с л о в н а я...» — содержит ряд заметок к повести «Светлая личность» и по порядку использования записей Ильфом следует непосредственно за предыдущей (в нее перенесены Ильфом многие записи из предыдущей книжки). На этом основании книжка датируется приблизительно первой половиной 1928 года.

«Я с н о, ч т о и м е ю т с я д о с т а т к и...» — На внутренней стороне обложки дата: 27—V—28 г. Точность этой даты подтверждается содержанием книжки: в ней имеются записи, использованные в повести «Светлая личность»; фамилия Богорез (Богорэз), упоминаемая в ней, вошла в фельетон Ильфа «Пешеход» (опубликован в журнале «Смехач» в ноябре 1928 г.).

«Н у, с д е л а й т е е м у к л и з м у и з к р е п к о г о ч а ю» — заполнялась после создания повести «Светлая личность», но раньше, чем были написаны рассказы Ильфа «Случай в конторе», «Пуритане и барабанщики» (опубликованы в декабре 1928 г.) и «Странное племя» (1929), т. к. ряд выражений из этой книжки вошел в названные рассказы. В книжке имеется запись счета, в котором перечисляются месяцы с мая по октябрь. Все это позволяет отнести ее к периоду между маем и октябрем 1928 года.

«П р о ф е с с о р к и н о э т и к и».— В предыдущем издании записи частично были отнесены к 1926 году, частично к 1928. Однако ничего не говорит о том, что книжка составлялась с столь большим перерывом. По последовательности использования записей Ильфом можно предположить, что она заполнялась во второй половине (в конце) 1928 года после работы над «Светлой личностью», но раньше, чем появился сюжет романа «Великий комбинатор» (первые заметки к сюжету романа, озаглавленные «Великий комбинатор», см. в следующей записной книжке). Выражение «Оде-

колон «Чрево Парижа» вошло в фельетон Ильфа «Молодые дамы» (май 1929 г.), выражение «Могила неизвестного частника» вошло в одну из «Необыкновенных историй из жизни города Колоколамска», опубликованную в четвертом (январском) номере «Чудака» за 1929 год. Многие записи впоследствии были использованы в работе над романом «Золотой теленок» и по этой причине вычеркнуты Ильфом.

«В квартире, густо унавоженной бытом».— Среди первых записей стоит число: 22—X—28, примерно в середине книжки, после записи «Вакханюк, Вакханский, Вакханальский» — другая дата: 26 — II. Несомненно, следующие за нею записи (а вероятно, и несколько предшествующих) сделаны уже в 1929 году. В предыдущем издании эти последние записи датированы 1928 годом.

«Ему не нужна была вечная иголка для примуса...» — заполнялась не ранее июня — июля 1929 года, т. к. среди ее записей есть упоминание об издании романа «Двенадцать стульев» в Париже (осуществленном именно в это время), и не позднее этих же месяцев, поскольку здесь упомянут шофер Сагассер, персонаж, вошедший в роман «Великий комбинатор» уже под именем Цесаревича. Роман был начат 2 августа 1929 года, и запись не могла быть сделана позднее этого числа. В предыдущем издании книжка датировалась 1930 годом.

«Лоб, изборожденный пивными морщинами» — закончена в январе 1930 года, датирована Ильфом.

«Вы культурное наследие царизма...» — в предыдущем издании была отнесена к 1926 году. Между тем значительную часть этой книжки составляют рабочие записи Ильфа по фотографии, помеченные февралем и мартом (без года). Из воспоминаний Е. Петрова (план книги «Мой друг Ильф») известно, что фотографией Ильф увлекся в период, когда был временно отложен «Золотой теленок» (т. е. в конце 1929 — начале 1930 г.). Среди лиц, которых фотографировал, судя по его записям, Ильф, упоминается Женя, а в феврале — марте 1926 года Е. Петров (Женя) позировать Ильфу не мог, он проходил службу в армии на юге. Новую датировку этой записной книжки подтверждает и находящаяся в ней выписка из 23-го (декабрьского) номера журнала «Советское фото» за 1929 год.

«Мы летим в пушечном ядре...» — Часть записей в книжке относится к поездке на Турксиб, что позволяет датировать ее приблизительно апрелем — маем 1930 года.

«Как бурлит жизнь?..» — Записи извлечены из книжки с набросками сюжета второй и третьей частей «Золотого теленка» книжка может быть датирована на этом основании серединой 1930 года.

«Левиафьян» — составлялась не ранее июня 1930 года (в ней записан телефон ЛОКАФ — Литературной организации Красной Армии и Флота, созданной в июне 1930 г.) и не позднее последних месяцев того же года, т. к. в книжке имеется рабочая запись к облику «пикейных жилетов» («Глуховатые, не слушающие друг друга люди...»). Такую запись Ильфу незачем было бы делать после окончания второй части «Золотого теленка» (где появляются «пикейные жилеты»), а закончена была вторая часть во второй половине 1930 года.

«Бернгард Гернгросс» — датирована в предыдущем издании 1931 годом, содержит заметки для последней части «Золотого теленка» (упоминание конгресса почвоведов, неиспользованная в романе запись о бедствиях Остапа-миллионера, собирающего окурки, и др.). Но, несмотря на это, отнести ее к 1931 году, когда создавались последние главы романа, нельзя. Имеющаяся в ней фраза: «Слепой в сиреневых очках — вор», является рабочей, тематической записью к главе «Гомер, Мильтон и Паниковский» (из второй части романа «Золотой теленок»), написанной во второй половине 1930 года. Следовательно, книжка заполнялась не позднее второй половины 1930 года.

«Семейство хорьков...» — Записи взяты из большой, типа бухгалтерской, книги (подробно о ней см. в воспоминаниях Е. Петрова об Ильфе). Записи автором не датированы. Имеющиеся среди них наброски и планы сценариев «Барак» и «Однажды летом» позволяют предположительно датировать книжку 1931 годом.

«Возьмем тех же феодалов» и «Печальные негритянские хоры». — По характеру материала книжки связаны с пребыванием Ильфа и Петрова в 1931 году на маневрах Белорусского военного округа, о которых они написали в очерке «Различное отношение к пейзажу» (опубликован в журнале «30 дней», 1931, № 12).

«Работа в литгазете...» — Записи сделаны на листках, на которых мы находим черновики и наброски фельетонов на литературные темы и фельетона «Веселящаяся единица», написанных в 1932 году, что позволяет датировать эту книжку также 1932 годом.

«Дело обстоит плохо, нас не знают...» — Запись сделана на нескольких маленьких листочках. На обороте одного из них — адрес военного моряка. Возможно, запись сделана в конце 1933 года, когда Ильф и Петров находились на военном корабле Черноморского флота.

«Так кончилась жизнь, полная тревог...» — Записи связаны с путешествием Ильфа и Петрова в 1933 году — сначала на кораблях Черноморского флота в Италию, затем по Европе — через Неаполь, Рим, Венецию, Вену. Книжка отчасти Ильфом датирована.

«Я торжественно клянусь...» — Записи в предыдущем издании отнесены к 1931 году, но, несомненно, сделаны в 1935. Они находятся на листках, отделившихся от книжки, в которой заключены памятные заметки и адреса, связанные с поездкой Ильфа и Петрова за границу в 1935 году. В книжке есть отдельно стоящая дата: 9. X. 35 г.

«Выехали 19 сентября...» — содержит дневниковые записи, относящиеся к поездке Ильфа и Петрова через Европу в Америку. Датирована Ильфом.

Из воспоминаний Е. Петрова известно, что в последний год жизни (с весны 1936 г.) Ильф делал свои записи «сразу на машинке». Однако сохранились и рукописные его заметки примерно того же периода — несколько узких, длинных, не нумерованных им листков. Эти записи, начинающиеся словами: «Записывает книжечку до конца...», не датированы, но, поскольку многие из них повторяются в машинописном тексте, рукописный текст можно считать более ранним и поместить его впереди.

Машинописные записи, начинающиеся словами: «В долине Байдарских ворот...», являются последней записной книжкой Ильфа.

Е. ПЕТРОВ. РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1924—1932)

Произведения датируются по первой публикации и располагаются в хронологическом порядке. Авторская датировка отсутствует.

В 1930 году Е. Петров собрал и отредактировал для книги, которую предполагал издать под названием «Без доклада» (не пу-

тать с его же сборником «Без доклада», б-ка «Смехач», М. 1927), большую часть своих ранних рассказов и очерков. Книга не была издана. Публикуемые в настоящем издании произведения, из числа подготовленных автором для книги «Без доклада», даны в этой последней редакции. Неопубликованный сборник «Без доклада» хранится в ЦГАЛИ (1821, 121).

Идейный Никудыкин.— Впервые опубликован в журнале «Красный перец», 1924, № 21. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Гусь и украденные доски.— Опубликован в сборнике: Е. Петров, «Без доклада», б-ка «Смехач», М. 1927.

Печатается по этому тексту.

Семейное счастье.— Опубликован в сборнике: Е. Петров, «Случай с обезьяной». ЗИФ, М.— Л. 1927. Рассказ не переиздавался.

Печатается по этому тексту.

Пропащий человек.— Впервые опубликован в журнале «Смехач»», 1927, № 7. Рассказ вошел в сборник: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Сильная личность.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 8. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Нахал.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 9. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Последний из могикан.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 10. Этот номер был посвящен десятилетию свержения самодержавия. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

П р о к л я т а я п р о б л е м а.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 14. Рассказ вошел в сборник: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

В е с е л ь ч а к.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 15. Рассказ вошел в сборник: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Р а с с к а з о б о д н о м с о л н ц е.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 19.

Печатается по тексту сборника: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928.

П у т е ш е с т в е н н и к.— Рассказ впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 22.

Печатается по тексту сборника: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928.

В с е о б ъ е м л ю щ и й з а й ч и к.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 32. Рассказ вошел в сборник: Е. Петров, «Всеобъемлющий зайчик», б-ка «Огонек», М. 1928, и дал ему название.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Ю м о р и с т Ф и з и к е в и ч.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 33. Подпись: Иностранец Федоров. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Д а р о в и т а я д е в у ш к а.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 35. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

В е л и к и й п о р ы в.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1927, № 36. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Встреча в театре.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1928, № 13. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Дядя Силантий Арнольдыч.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1928, № 37. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Беспокойная ночь.— Впервые опубликован в журнале «Смехач», 1928, № 48. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Смехач».

Нюрнбергские мастера пения.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 7, под рубрикой «Деньги обратно». Подпись: Иностранец Федоров. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

А. И. Свидерский — в 1929 году был начальником Главискусства.

Долина.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 11. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Давид и Голиаф.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 23. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Непогрешимая формула.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 23. Подпись: Иностранец Федоров. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Записная книжка.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 25. При жизни автора рассказ не переиздавался. В сборник: И. Ильф и Е. Петров, «Загадочная натура», который имел два издания (б-ка «Крокодила», М. 1948; «Радянська Україна», Киев, 1949), был ошибочно включен как рассказ Ильфа и Петрова.

Печатается по тексту журнала «Чудак».

Мешки и социализм.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1929, № 249, 27 октября. Под рубрикой «Маленький фельетон». Подпись: Е. Петрович. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Для будущего человека.— Впервые опубликован в газете «Гудок», 1929, № 259, 10 ноября. Подпись: Е. Петрович. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

День мадам Белополякиной.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 49. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Энтузиаст.— Впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, № 50. При жизни автора рассказ не переиздавался. В сборник: И. Ильф и Е. Петров, «Загадочная натура», который имел два издания (б-ка «Крокодила», М. 1948; «Радянська Україна», Киев, 1949), был ошибочно включен как рассказ Ильфа и Петрова.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для книги «Без доклада».

Гослото.— Опубликован в сборнике Е. Петрова «Шевели ногами», б-ка «Огонек», М. 1930. В журнале «30 дней», 1928, №№ 10 и 11 напечатаны два самостоятельных очерка: «Римляне XX века» и «Римские пророки». Впоследствии они были объединены автором в очерк «Гослото».

Сборник «Шевели ногами», в котором Е. Петров подытожил свои впечатления от поездки в Италию в 1928 году, имел следующее вступление:

«Брать читателя за пуговицу и, интимно подмигивая, заявлять, что Италия славится исключительно макаронами, музеями и солнцем,— просто свинство.

Объявлять во всеуслышание, что солнце в Италии редкий гость, что итальянские музеи не стоят выеденного яйца и что к макаронам итальянцы относятся с врожденным презрением,— свинство двойное.

Набрасывать же перед читателем широкую картину современной итальянской жизни, наскоро переписав из путеводителя заковыристые названия городов, станций и картинных галерей,— свинство тройное.

Ни одно из перечисленных выше свинств в писательские планы автора не входит».

Готовя в 1930 году свои итальянские очерки для книги «Без доклада», Е. Петров дал им общее заглавие: «По ту сторону Альп», изменив бывшее ранее название «Шевели ногами». Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для сборника «Без доклада».

Чертоза.— Опубликован в сборнике: Е. Петров, «Шевели ногами», б-ка «Огонек», М. 1930. Очерк не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для сборника «Без доклада».

Открытое окно.— Опубликован в сборнике: Е. Петров, «Шевели ногами», б-ка «Огонек», М. 1930. Рассказ не переиздавался.

Печатается по тексту, подготовленному Е. Петровым в 1930 году для сборника «Без доклада».

Знаменитый путешественник.— Впервые опубликован в «Рабочей газете», 1930, № 229, 2 октября. С подзаголовком: Фельетон. Подпись: Е. Петрович. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту «Рабочей газеты».

Его авторитет.— Впервые опубликован в «Рабочей газете», 1931, № 89, 31 марта. Подпись: Е. Петрович. Фельетон не переиздавался.

Печатается по тексту «Рабочей газеты».

Загадочная натура.— Впервые опубликован в журнале «Крокодил», 1932, № 22. Подпись: Иностранец Федоров. При жизни автора рассказ не переиздавался. В сборник: И. Ильф и Е. Петров, «Загадочная натура», который имел два издания (б-ка «Крокодила», М. 1948; «Радянська Україна», Киев, 1949), был ошибочно включен как рассказ Ильфа и Петрова.

Печатается по тексту журнала «Крокодил».

Произведения Е. Петрова, написанные в 1937—1942 годах, располагаются в томе по жанрово-хронологическому принципу и датируются по первой публикации.

Молодые патриотки.— Очерк впервые опубликован в газете «Правда», 1937, № 226, 17 августа. Не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Правда».

Старый фельдшер.— Очерк впервые опубликован в газете «Правда», 1938, № 4, 4 января. Не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Правда».

В фашистской Германии.— Очерк впервые опубликован в журнале «Огонек», 1941, №№ 20, 21.

Печатается по этому тексту.

В Германии Е. Петров побывал в марте 1941 года на традиционной Лейпцигской ярмарке в качестве специального корреспондента «Известий».

Реплика писателя.— Статья впервые опубликована в «Литературной газете», 1938, № 44, 10 августа. Не переиздавалась.

Печатается по тексту «Литературной газеты».

Серые этюды.— Статья впервые опубликована в «Литературной газете», 1939, № 39, 15 июля. Не переиздавалась.

Печатается по тексту «Литературной газеты».

Статья Н. Атарова «Обыкновенные этюды» напечатана в этом же номере газеты.

«Падение Парижа».— Статья впервые опубликована посмертно в сборнике: Е. Петров, «На войне», б-ка «Огонек», М. 1942. Не переиздавалась.

Печатается по этому тексту.

Торжество русской музыки.— Статья впервые опубликована в газете «Литература и искусство», 1942, № 14, 4 апреля. Не переиздавалась.

Печатается по тексту газеты «Литература и искусство».

Из воспоминаний об Ильфе.— Воспоминания впервые опубликованы в книге: И. Ильф, «Записные книжки», «Советский писатель», М. 1939.

Печатаются по этому тексту.

Из воспоминаний об Ильфе. К пятилетию со дня смерти.— Воспоминания впервые опубликованы в газете «Литература и искусство», 1942, № 16, 18 апреля. Не переиздавались.

Печатаются по тексту газеты «Литература и искусство».

ОСТРОВ МИРА

Пьеса-памфлет, впервые опубликована посмертно в журнале «Новый мир», 1947, № 6. Написана в 1939—1940 годах. Впервые поставлена в 1947 году на сцене Ленинградского театра Комедии. Постановка Н. Акимова.

Политическая глубина, злободневность, острота комедийно-памфлетной формы сделали «Остров мира» одним из заметных литературных явлений послевоенных лет.

Печатается по тексту рукописи (ЦГАЛИ, 1821, 51).

ФРОНТОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Незадолго до смерти Е. Петров собрал часть своих фронтовых корреспонденций и составил сборник «Москва за нами» (б-ка «Огонек», М. 1942), вышедший в свет вскоре после его гибели. Следующее издание фронтовых корреспонденций Е. Петрова — под названием «Фронтовой дневник» («Советский писатель», М. 1942) — было подготовлено после смерти автора. Рукописей или правленных автором печатных листов обнаружить не удалось. Поэтому фронтовые корреспонденции печатаются по прижизненным изданиям: по сборнику «Москва за нами», а те, которые в этот сборник не вошли,— по газетным и журнальным публикациям.

Аэродром под Москвой.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1941, № 31, под общим заголовком: «Фронтовые заметки (военный репортаж)» и со следующим примечанием: «С этого номера «Огонька» начинаем печатать серию фронтовых

очерков Евгения Петрова, написанных им для Североамериканского газетного объединения».

Печатается по тексту журнала «Огонек».

На Западном фронте в сентябре.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1941, № 31, под общим заголовком: «Фронтовые заметки (военный репортаж)».

Печатается по этому тексту.

В лесу.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1941, № 32, под общим заголовком: «Фронтовые заметки (военный репортаж)».

Печатается по этому тексту.

Командир и комиссар.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1941, № 32, под общим заголовком «Фронтовые заметки (военный репортаж)».

Печатается по этому тексту.

Москва за нами.— Впервые опубликована в газете «Известия», 1941, № 279, 26 ноября, под названием «За спиной — Москва».

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

Сегодня под Москвой.— Впервые опубликована в газете «Известия», 1941, № 283, 30 ноября. В книгу «Фронтовой дневник», «Советский писатель», М. 1942, была включена под названием «Остановить немца».

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

Клин, 16 декабря.— Впервые опубликована в газете «Известия», 1941, № 297, 17 декабря. В книгу «Фронтовой дневник», «Советский писатель», М. 1942, была включена под названием «В Клину».

Печатается по тексту газеты «Известия».

Что такое счастье.— Впервые опубликована в газете «Известия», 1942, № 4, 6 января.

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942. В этом сборнике корреспонденция ошибочно датирована 16 января 1942 года.

«Птенчики» майора Зайцева.— Впервые опубликована в газете «Известия», 1942, № 12, 15 января.

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

Военная карьера Альфонса Шоля.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1942, № 4.

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

На запад.— Впервые опубликована в газете «Правда», 1942, № 44, 13 февраля. В книгу «Фронтовой дневник», «Советский писатель», М. 1942, была включена под названием «В январе».

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942. В этом сборнике корреспонденция ошибочно датирована 13 января 1942 года.

В феврале.— Впервые опубликована в газете «Правда», 1942, № 52, 21 февраля.

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

«Учитель музыки».— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1942, № 11.

Печатается по тексту сборника «Москва за нами», б-ка «Огонек», М. 1942.

В марте.— Впервые опубликована в газете «Правда», 1942, № 88, 29 марта.

Печатается по этому тексту.

Катя.— Впервые опубликована в журнале «Огонек», 1942, № 13—14.

Печатается по этому тексту.

Записки из Заполярья.— Впервые опубликованы в журнале «Огонек», 1942, № 21 и № 23—24.

Печатаются по этому тексту.

Севастополь держится.— Впервые опубликована в газете «Красная звезда», 1942, № 147, 25 июня. В книгу «Фрон-

товой дневник», «Советский писатель», М. 1942, была включена под названием «Двадцать дней».

Печатается по тексту газеты «Красная звезда».

Прорыв блокады.— Неоконченный очерк. Впервые опубликован посмертно в газете «Красная звезда», 1942, № 159, 9 июля, со следующим предисловием от редакции: «За несколько дней до своей безвременной гибели писатель Евгений Петров отправился в Севастополь на лидере «Ташкент», который прорвался сквозь кольцо вражеской блокады к осажденному городу. Вернувшись на этом же корабле на побережье, Евг. Петров приступил к работе над очерком о походе для «Красной звезды». Гибель на посту прервала эту работу. Незаконченная рукопись была доставлена в Москву».

Печатается по тексту газеты «Красная звезда».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
к Собранию сочинений И. Ильфа и Е. Петрова в пяти томах

СОДЕРЖАНИЕ

И. ИЛЬФ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1923—1929)

Е. ПЕТРОВ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ (1924—1932)

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ (1937—1942)

ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ ИЛЬФ,
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ

Собрание сочинений, т. 5

Редактор *И. Израильская*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *М. Фридкина*

Сдано в набор 2/VIII 1961
Подписано к печати 19/XII 1961. А087982.
Бумага 84 × 108 1/32. 23 1/4 печ. л.
38,13 усл. печ. л. 31,27 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 (1—100 000). Зак. 2869.
Цена 1 р. 05 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.


1 р. 05 к.


И. ИЛЬФ
Е. ПЕТРОВ
5